Перед вами, говоря словами автора, мемуары зрителя, благодарного и внимательного к эпохе. Кажется, что так подробно нельзя ни помнить жизнь, ни описать ее. Можно. Отсюда и эффект присутствия.

Максим Кронгауз

Лора Беленкина

Окнами на Сретенку

[memoria]

CORPUS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ганна-Лора родилась летом 1923 года в Берлине. «Папа потом говорил, что он бы назвал меня Надей или Наташей. Но мамин выбор пал на это имя, потому что она вычитала из журналов, что так звали королеву красоты того года — фото этой королевы ей понравилось, а вместе с королевой и имя», — начинает воспоминания Лора Беленкина. А потом описывает свою жизнь: счастливое детство в Германии, отрочество и взросление после переезда в СССР. Берлин 1920-х, Москва 1930-х, война, бедность, коммунальный быт, советская школа, послевоенный антисемитизм, дружба и любовь. Лора Беленкина, с ее памятью к деталям и заинтересованным взглядом на события, рисует в мемуарах красочную картину жизни ушедшей эпохи.

- Лора Беленкина
  - Предисловие
  - Берлин
    - Шенеберг
    - Ланквиц
    - Штеглиц
    - Школа
    - Отъезд
  - Москва
    - Первые недели
    - Воронцовская улица
    - Поездка в Германию
    - «Ново-Московская» гостиница
    - Арбатская площадь
  - Сретенка
    - 1934 год
    - Жизненный уклад
    - Школьные годы
    - 1941 год
    - Война
    - Смерть папы
    - В институте
    - Трудфронт. Лесозаготовки
    - Снова дома
    - День Победы
    - Институт востоковедения
    - Неожиданный удар
    - 1951-й и дальше

- Вместо заключения 1994 год. Поездка в Германию
- Дополнения
  - Послесловие редактора
  - Не завершился круг
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37

- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78

Лора Беленкина
Окнами на Сретенку

Предисловие

В предисловии к своим мемуарам люди обычно оправдываются — почему решили написать да зачем… Я сама очень люблю читать воспоминания, все равно чьи: это всегда кусок истории, кусок быта глазами очевидца, пусть даже описанный предвзято — ведь официальная история тоже всегда предвзята, к тому — безлична.

Автобиографии великих людей читаешь, чтобы сказать: «Великий человек, а в детстве-то был такой же, как мы все!» — или чтобы понять истоки и начало их величия.

Чаще же всего мемуары пишут те, кому довелось встречаться с известными людьми: добавляют штрихи к общественному их портрету и вместе с тем скрыто хвастают: «А я-то, видите, тоже не балбес — с такими общался».

Я же — самый обыкновенный человек со своими, никому не интересными причудами; жизнь моя небогата была событиями, а характер таков, что мне сейчас не приходится жалеть ни о чем таком, что я сделала, — наоборот, мне очень жаль, что я многого не сделала, для чего были возможности. Всех людей можно разделить на актеров и зрителей в жизни, так вот я была зрителем. Зрителем внимательным, благодарным.

В детстве я часто меняла места жительства: Берлин, потом переезды в Москве с квартиры на квартиру, меняла и школы. Покинутое всегда сразу становилось прошлым: я к нему не возвращалась, и оно не могло слиться с более поздними впечатлениями, а новое всегда вызывало более внимательное к себе отношение; этого не может быть у детей, которые всю жизнь прожили в одном доме, в одном окружении, учились в одной школе.

А помимо всего, может быть, будет интересно узнать, как отражались тридцатые годы в голове ребенка, приехавшего из другой страны, многого не понимавшего, но видевшего все и выделившего что-то для себя.

Может быть, интересно будет прочитать и о войне в жизни рядовой москвички. И возможно, о судьбах других людей и семей, которые мне повстречались.

Подробно я опишу раннее детство, школьные годы и юность — примерно до 1945 года, более поверхностно — до рождения моих детей и уж совсем скупо — потом. Не мне писать о тех временах — пусть это сделают, если будет охота, мои потомки.

В эти мемуары я включу отрывки из моих дневников, которые сохранились, и воспоминания, написанные мною ранее.

Берлин

Шенеберг (1923–1924)

Я

Лора Беленкина

(1923 (01.06) — 19…)

1 июня 1923 года в Берлине (район Шенеберг) родилась Я. Родители мои снимали комнату у некоей фрау Даутерт. Время было тяжелое, инфляция, было трудно что-либо купить, никто не хотел сдавать квартир. Нас пустили только потому, что Торгпредство стало выплачивать сотрудникам зарплату в долларах. Ни кроватки, ни детской коляски у родителей не было, и когда меня принесли из частной клиники, то поместили в большую бельевую корзину, в которой я и провела первые недели своей жизни. По желанию мамы меня назвали *Hanne-Lore.* Папа потом говорил, что он бы назвал меня Надей или Наташей. Но мамин выбор пал на это имя, потому что она вычитала из журналов, что так звали королеву красоты того года — фото этой королевы ей понравилось, а вместе с королевой и имя. Папа был очень мне рад, хоть и говорил до того, что хотел бы иметь сына.

Именно папе пришлось меня пеленать. Мама сказала, что боится меня трогать: ей казалось, что она сломает мне руки или ноги. Папа пеленал меня умело и с удовольствием; мама заболела грудницей, и молоко у нее пропало, меня вскармливали искусственно — опять же часто бутылочку мне подавал папа, — наверное, поэтому именно он «запечатлелся», и я на всю жизнь оказалась папиной дочкой.

Мама рассказывала, что я необычно рано начала говорить. Ко времени возвращения папы с работы мама подносила меня к окну, и, если трамвай под окном уходил, не высадив папу, я разводила руками и с грустной интонацией говорила: «Мама — папа?» Если же он выходил из трамвая, я подпрыгивала и кричала: «Мама — папа! Мама — папа!» На звонок в дверь я тоже реагировала словом «папа», но потом мама объяснила мне, что это не папа, а «Болле» (известная фирма, доставлявшая по утрам молоко на дом), поэтому на утренние звонки я стала отзываться криком: «Болле-болле-болле».

Мы прожили у фрау Даутерт ровно год. Мне почему-то кажется, что стены в комнате были темно-зеленые. Хотя вряд ли в этом возрасте вообще можно различать цвета. Но расположение окна и двери я действительно помню правильно — это потом подтвердила мама.

Мама

Марга Бютов

(1892 (01.04) — 1975 (20.06))

Маму мою вообще-то звали Мартой (при крещении — Марта-Хенни-Мари-Лисбет), но она очень не любила это имя, называла себя только Мартой, и о ее настоящем имени никто даже не подозревал. Хотя она была похожа на отца, но от бабушки унаследовала чрезвычайно жидкие белокурые волосы и тонкие губы. Восемь лет она проучилась в Народной школе, где учили Бог знает чему, ибо мама, которую нельзя заподозрить в плохом прилежании, по окончании этого училища не знала ни литературы, ни алгебры, ни даже дробей. Из географии надо было знать только столицы больших государств. Из физики зато она помнила точную формулировку, что такое электричество. Учебников там вообще не было, кроме букваря. Правда, писала мама после этой школы красиво и очень грамотно и прекрасно умела считать в уме. Кроме этого, она всю жизнь помнила длиннейшую поэму на день рождения кайзера: каждая девочка славила Вильгельма от имени какого-нибудь цветка, маминым цветком была ее любимая фиалка, но она знала наизусть все роли.

Когда Марге исполнилось одиннадцать лет, она предложила своей маме помочь зарабатывать деньги — семья жила впроголодь, и, если ели селедку, каждому доставалось по одному кусочку; целого яйца мама в детстве тоже никогда не съедала, а сахар клали в кофе только по воскресеньям. Маму послали нянькой к маленькому сыну секретаря Гюстровской ратуши; сразу после занятий в школе она отправлялась в тот дом и иногда до ночи качала на руках малыша. Но хозяйка использовала ее не только как няню, а посылала еще за покупками, иногда заставляла мыть пол и стеречь дом, если она с мужем вечером уходила в гости. Последнее было самое жуткое для девочки, потому что было страшно одной ночью в чужом доме. Платила

хозяйка мало, но девочка гордилась тем, что помогает маме зарабатывать деньги.

Когда Марга окончила школу, мать отправила ее на курсы горничных при одной из гостиниц на берегу Балтийского моря. Совсем не этого хотелось маме, не о том мечтала она, чтобы потом всю жизнь прислуживать чужим людям, поэтому, накопив немного денег во время практики, она отправилась в Берлин. Долго искала, где подешевле снять комнатушку, потом пошла по разным конторам искать работу. Но владельцы этих контор, узнав, что она окончила всего лишь Народную школу, немедленно отказывали ей и не слушали ее уверения, что она «умеет хорошо и быстро считать». Наконец нашелся сердобольный мини-предприниматель, который взял ее на работу с условием, что она будет вечерами учиться на бухгалтерских курсах. С этих курсов ее вскоре захотели выгнать за невежество: «Как — даже этого вы не знаете!» Но мама сказала: «Я из очень бедной семьи и ходила только в Народную школу. Я училась хорошо, но мы этого не проходили. Я очень хочу учиться у вас, и я прошу вас, объясните мне все то, что нам не рассказывали в школе». Преподаватель был поражен и обезоружен маминой наивностью, и он терпеливо занимался потом с мамой отдельно. В конце концов мама немного обогнала других учениц — из «хороших» семей, обучавшихся в школе для благородных девиц *(höhere Töchterschulen)*.

Мини-предприниматель торговал каким-то особым мылом, состав которого он сам изобрел и которое сам же изготовлял. В обязанности мамы среди прочего было ходить по парфюмерным магазинам города в виде покупательницы и спрашивать, нет ли у них в продаже этого «замечательного мыла «Лабико». Несмотря на такую рекламу, предприниматель вскоре прогорел и закрыл свою контору. А мама пошла работать счетоводом в крупную электрокомпанию АЭГ. Жизнь у нее стала более веселой, она попала в дружный коллектив бухгалтерии, состоявший из таких же девушек и одного белокурого молодого человека по фамилии Блак. Своими шутливыми замечаниями и розыгрышами он веселил и смешил девушек — они потом всю жизнь вспоминали его и снова смеялись. Мама была на хорошем счету у начальства, и ей вскоре прибавили жалованье. Она купила себе лютню и стала брать уроки игры на ней. Кроме этого, она заинтересовалась политикой и стала посещать митинги и сходки различных партий. Она надеялась, что придет время, и она сама тоже будет кричать что-нибудь с трибуны. Но этому положил конец ее шеф: он вызвал ее и сказал: «Фрейлейн Бютов, мы очень довольны вашей работой, но мой вам совет — руки прочь от

политики, она вас до добра не доведет».

Вместе с мамой в отделе работала и Меля Карп, приехавшая из Польши. Она брала маму с собой в оперу и на концерты, а как-то позвала к себе, чтобы познакомить ее со своим женихом Ваней Шустовым. А Ваня привел с собой своего бывшего товарища по лагерю гражданских пленных в Хольцминдене, и таким образом состоялось первое знакомство моих будущих родителей.

Поженившись через четыре года, молодожены поехали на какое-то время в Гюстров, к бабушке. К тому времени бабушка уже не жила в приюте для бедных. Ей дали небольшую квартирку в ветхом голубом двухэтажном доме, построенном каким-то благодетельным герцогом в начале XVIII века для одиноких вдов города Гюстрова. Он стоял на Соборной площади *(Domplatz, 7)* в тени массивного краснокирпичного собора XIII века и был населен одними старушками. Мне в детстве часто приходилось бывать в этом доме. Парадная дверь вела в большую, вымощенную каменными плитами переднюю, здесь же находился кран с огромной раковиной, где все жильцы брали воду. Кран всегда был начищен до блеска. Слева в углу вела вверх страшно скрипучая деревянная лестница, там стоял свой, особый запах: пахло деревом, немножко плесенью, немножко чем-то тяжелым, сладким — трудно описать его, но он мне был приятен.

Бабушкин дом

У бабушки[1] были комната и кухня на втором этаже, сразу за лестницей. Потолок был очень низкий: мама, подняв руку, упиралась в него. Небольшие окна выходили за дом, где был небольшой сад, дровяной сарай и кирпичная уборная. Одно из окон кухни выходило в сад настоятеля собора, в окно упирались ветви грушевого дерева. Комната была заставлена мебелью — большой овальный стол, диван, вольтеровское кресло, грузный комод с уютно тикающими часами в виде яйца, которое несет в когтях большой черный металлический орел. Два шкафчика, кровать и письменный стол с застекленной полкой. Широкие подоконники были заставлены горшками, и во всех горшках — розы. Бабушка искусно выращивала разные сорта и очень ими гордилась. В кухне, смежной с комнатой, было больше простора: я любила плясать по ее навощенным скрипучим половицам. Там была дровяная плита, но готовили чаще на спиртовках. За дверью стояла кровать, на которой спала бабушка. Еще на кухне была скамья с двумя белыми ведрами, где держали воду. Освещалась бабушкина комната настольной керосиновой лампой с зеленым

абажуром, электричества в доме не было.

Бабушке был выделен еще и небольшой сад, один из многих на обнесенном проволочной сеткой участке, — это было за чертой города, но недалеко от дома. Там у бабушки росло несколько вишен, очень много клубники, крыжовник, смородина, ревень и разнообразные цветы. В отличие от мамы, которую никогда не интересовала земля и не тянуло к сельским работам, бабушка находила удовольствие в садоводстве, все у нее всегда хорошо росло, и она получала большие урожаи ягод.

Папа

Борис Фаерман

(1888 (06.10) — 1941 (29.10))

А теперь я наконец хочу рассказать и о своем отце, старшем сыне семьи Фаерманов, о его жизни до того времени, как я сама его помню.

Как старшему сыну ему выпала участь гораздо более тяжелая, чем другим детям семейства: он рос в то время, когда семья еще очень бедствовала. Об учебе в гимназии не могло быть и речи еще и потому, что по каким-то неписаным еврейским законам старший сын должен был в первую очередь стать помощником в семье. Поэтому дед дождаться не мог, когда наконец Борис уйдет на заработки и станет присылать семье деньги.

Младшие дети[2] очень любили и уважали Борю, а он был мальчик скромный и довольно нелюдимый; в свободное время он рисовал, научился даже писать маслом; по рассказам братьев и сестер, эти картины были очень хороши. Когда девочки задумали устроить театральное выступление, он из тряпок и картона смастерил им великолепные костюмы в стиле исторической эпохи. Вообще у него, несомненно, был талант к художеству, но он скорее стеснялся этого таланта, чем стремился его развивать. То ли сразу после окончания школы, то ли позже он отбыл воинскую повинность и всю жизнь с содроганием вспоминал, как заставляли их, солдат, штыком прокалывать куклу из тряпок и соломы… Потом отец[3] отправил его в Харьков учеником к немцу-аптекарю. В то время младшие дети уже учились в гимназиях и институтах, а папа все работал и слал домой деньги. А по ночам усиленно занимался: сдавал экстерном за курс гимназии и, наверное, откладывал ежемесячно небольшие суммы

на поездку учиться за границу Только в марте 1912 года его отец дал согласие на отъезд Бориса на учебу Не знаю, было ли у папы где-то глубоко в душе чувство обиды на своего отца, ведь тот всех детей как бы предпочел ему, старшему, но папа никогда об этом не говорил и, очевидно, принимал все как должное. Но нежно любил мать, а та в свою очередь считала Борю лучшим и самым добрым из своих детей и всегда жалела его.

Итак, в марте 1912 года папа переехал в Берлин и поступил в высшую школу экономики и коммерции. Папа интересовался статистикой, любил и хорошо знал математику, поэтому, видно, и выбрал такой институт. Он снял чердачную комнатушку и все свободное время читал книги по философии и художественную классику. Встречался, конечно, с Ильей[4] — и спешил постичь немецкий язык, ибо на первых лекциях почти ничего не понимал. Когда он был на третьем курсе, началась мировая война, и папу как гражданина враждующей державы заключили в лагерь для гражданских военнопленных в Хольцминдене. В этом лагере встретились мужчины и женщины из Франции, Бельгии, России и других стран, люди из всех слоев общества. (В этом же лагере, между прочим, был среди заключенных и писатель Константин Федин.) Все эти люди жили в бараках, пища была скудная, на работу выгоняли с утра: папа потом рассказывал мне, что там он на всю жизнь возненавидел пруссачество — тупых и безжалостных, как заведенные машины, офицеров с их лающими окриками. И тем не менее этот лагерь был, по-моему, для папы чем-то вроде особого университета. Именно там он выучился английскому, французскому, на которых потом свободно говорил и читал; именно там он познакомился с классической музыкой (там находился дирижер-бельгиец, собравший самодеятельный оркестр), научился хорошо играть в шахматы, а еще узнал цену дружбе и общению с другими людьми (многие из них были широко образованны), равными в тех суровых условиях.

Был там и организатор драматического общества и хора, сын донского казака Иван Шустов, веселый затейник, сначала не очень близкий к папе, но позже сыгравший важную роль в его жизни.

В 1918 году, когда война кончилась, пленных выпустили, и папа снова очутился в Берлине — без гроша в кармане в буквальном смысле слова. На работу устроиться было трудно, иностранные подданные ежедневно должны были отмечаться в полицейском участке. Денег не было даже на еду, не то что на возвращение в Россию. Наконец папа устроился на какую-то должность в кинокомпании «Сатурн». Ходил в потертом

пальтишке с лагерной нашивкой на рукаве, голодный, но на первые заработанные деньги купил себе дешевый поддержанный фотоаппарат, которым снимать можно было только со штатива. С тех пор фотография стала его хобби, совсем маленькие снимки он увеличивал и в 1920-е годы даже участвовал в выставках и получал первые и вторые премии на конкурсах фотолюбителей. Лишь позже его любовь к фотографии стало вытеснять увлечение радио. Уже в 1924-м он собрал маленький детекторный приемник с наушниками, а к 1930 году смастерил целый сет из трех ящиков, которым можно было ловить и заграничные станции.

В начале 1919 года он случайно встретил на улице Ваню Шустова, и тот затащил его к своей новой знакомой, польке Амелии, работавшей конторщицей в компании АЭГ. Там-то его и увидела моя мама, сослуживица и приятельница Мели. Она нашла его «некрасивым еврейчиком с яйцевидной головой», но в то же время ее, как пишут в романах, «поразила острая жалость» к этому бледноватому оборванному человеку. Она решила его накормить и заштопать дыры на его одежде. Они стали встречаться, он полюбил ее. Его привлекли ее улыбающиеся глаза, неиспорченность и наивность, ее привычка петь целыми днями. Она полюбила его позже, продолжая жалеть и ценя его покорность. Очень приблизила ее к нему и схожесть их судеб: оба были единственные из братьев и сестер, кому пришлось рано работать, чтобы помогать родителям.

У немцев принято в воскресные дни выезжать с рюкзаком за город; папе такое времяпрепровождение было незнакомо, но мама увлекала его с собой, и он полюбил на всю жизнь природу средних широт, до того не виданную им, южанином. Все сильнее он любил и мою поющую маму, но жениться ему пока было нельзя. «Сатурнфильм» вскоре распался, снова пришлось искать работу; зарабатывали они оба очень мало, и не на что было бы жить. Вот и тянулась их дружба целых четыре года. А в 1922 году в Берлине открылось советское Торгпредство, папа сразу же явился туда, и его взяли на постоянную работу[5]. Родители мои расписались, скромно отпраздновали свадьбу и поехали на несколько дней в город Гюстров, к маминой маме.

Ланквиц (1924–1926)

По-настоящему же я помню какие-то события и свое окружение после того, как мы в 1924 году переехали в Ланквиц (на южной стороне Берлина) — по-видимому, это когда-то была деревня, потом слившаяся с городом; сейчас этого района на карте Берлина не найти. Мои родители сняли две комнаты в квартире, принадлежавшей пожилой еврейке, фрау Архенгольд, — родственнице знаменитого астронома[6]. Она постоянно что-нибудь вязала крючком и запомнилась мне вместе с мягкими клубками разноцветной шерсти. Мама потом рассказывала, что она продавала связанные вещи на аукционе, а вырученные деньги отдавала в фонд помощи еврейским эмигрантам. Она заразила маму вязальным азартом и даже научила ее вязать платья. Но интереснее этой фрау Архенгольд был дом, в котором располагалась ее квартира. Это было длинное одноэтажное серое здание с фонарями у входной лестницы и гнутыми железными решетками на высоких окнах, построено оно было в XVIII веке кайзером Фридрихом для своей любовницы, балерины. Здесь он тайно встречался с нею. Но, когда мы туда въехали, дом уже весь прогнил и отсырел, печи плохо горели, а на стенах кое-где выступала плесень. Перед домом росли огромные толстые каштаны, и летом в комнатах было темно от их густой листвы. Напротив дома был сквер, тоже с каштанами, и маленькая скромная церквушка за каменной оградой. За церковью была трамвайная остановка и стояли дома, более высокие, чем на нашей стороне. Я любила красивые блестящие каштаны, всегда собирала их. За нашим домом был сад с деревьями и цветами, за садом крутой спуск к небольшому ручью, скрытому за густым кустарником, вдоль ручья — проселочная дорога, по которой мы часто прогуливались, особенно когда к нам приезжали гости. На этой дороге, помню, за мной однажды погнался гусак и больно ущипнул меня — факт, который родители мои не запомнили, а я неспроста до сих пор боюсь гусей.

Комнаты наши находились справа от входа с улицы; одна была очень большая, другая, смежная с ней, гораздо меньше (крошечной она запомнилась даже мне, совсем маленькой девочке), это была наша спальня. Там умещались только три наши кровати да печка. На этой печке зимой сушили отсыревшие наши одеяла. Я совершенно ясно помню расположение комнат и

расстановку мебели в них, помню и пути от дома до некоторых магазинов и в детский сад — родители мои были поражены, когда я, уже будучи взрослой, до мелочей все им правильно описала. Коридор был темный, изогнутый, и вел он в огромную светлую кухню с тремя окнами в сад. Из кухни выходили четыре двери: в коридор, в кладовую, в комнатушку фрау Архенгольд и в сад. Посреди кухни стоял стол, за которым обычно обедали, но у меня был свой особый маленький столик — сейчас он стоит у нас на балконе единственной вещественной памятью тех времен: все еще жив!

Мне много запомнилось из тех двух с небольшим лет, что мы жили в Ланквице. И запомнилось как раз не то, что моим родителям…

Что помню я

Моя белая железная кроватка с узорчатыми боковыми стенками — правда, я спала в ней почти до семи лет уже со спущенными боковинками, но именно тогда я ее любила. Хотя уже в два-три года не умела спать днем. Но и любила ее не как удобную постель, а как произведение искусства. Однажды летом я проснулась ночью — было еще не совсем темно — и удивилась, увидев, что папа стоит на подоконнике и шваброй водит по стеклу, а мама тоже около окна шлепает тряпкой по рамам и стенкам. «Столько комаров!» Потом меня, полусонную, вынесли на кухню, положили на стол и всю натерли сильно пахнущей жидкостью.

Помню, как иногда по утрам в воскресенье я перелезала в кровать к папе. В отличие от мамы он любил утром долго спать и, поцеловав меня в нос, сразу опять засыпал. А я слушала его дыхание с тихим-тихим тонким свистом, и мне представлялась темная бесконечность с мелкими разноцветными искорками.

Помню, как мама на кухне готовит обед и всегда, всегда поет, громко и красиво.

Один раз я хотела спуститься из кухни в сад, держась за железные перила, и вдруг заметила, что эти перила сплошь облеплены маленькими черными существами — муравьями, я их испугалась, и вот мама и наша хозяйка смахивают их большими тряпками и успокаивают меня.

Помню также, как какая-то гостья фрау Архенгольд подавилась рыбьей костью; взрослые очень волновались, их тревога передалась мне, и я решила, что случилось что-то ужасное.

Еще помню детский сад. Мне было только два года, и, говорят, меня с трудом удалось отдать туда. Дорогу в этот детский сад я бы нашла хоть сейчас; она вела по широкой улице, мимо маленькой лавчонки, куда мама иногда на обратном пути из сада заходила что-нибудь купить, хозяйка этой лавочки меня любила, водила через подворотню в зеленый сад и угощала кусочками моей любимой вареной колбасы. Здание детского сада я не помню, детей тоже; мне представляется, что мы были все время на воздухе — на большой лужайке, сплошь поросшей кашкой. Мне нравился сладковатый запах этих цветочков. Один раз я ползала по траве на четвереньках, и меня ужалила в запястье оса. Было очень больно! До сих пор помню стишок, которому нас учила наша светловолосая воспитательница, танте Лотте, о том, как посеяли зернышко в землю и вырос цветок, — декламацию мы сопровождали жестами, их я тоже помню.

Однажды по дороге из сада мама повстречала какую-то свою знакомую, пожаловалась ей на мои капризы, а та женщина сказала: «Да бить их надо — бамбуковой палкой». Я возненавидела эту женщину, хоть и не показала виду.

Помню свои две первые книжки — толстую с множеством сказок и тонкую, картонную, где было мало текста и красивые пестрые картинки. Я даже запомнила, как мне ее купили: мама везла меня в сидячей коляске и сначала в маленькой подвальной лавочке направо от дома купила большую красную эмалированную сковородку, а потом и книжку — ту, которую я очень полюбила. Книжка скоро куда-то потерялась или порвалась, но я запомнила три картинки из нее: у мальчика выглядывает пальчик из рваного носочка, девочка сидит спиной к нам и смотрит в окошко, а за окном идет сильный дождь, и лужок с коровами, и дети пьют из кружек молоко.

Из еды мне помимо колбасы запомнились *Makronen* — маленькие кружочки миндального печенья, которые мама добавляла в шоколадный крем, а еще подобие торта, которое называли *Götterspeise* («Пища богов»). Позже мама говорила, что там послойно выкладывались тертые черные сухари, пропитанные ромом, консервированная вишня и взбитые сливки.

Каждое воскресенье папа ходил со мной гулять в большой парк неподалеку, от этих прогулок осталось впечатление праздничности и счастья. Папа во время этих прогулок пел, вернее, не пел громко вслух, а тихо мычал или насвистывал: марш из «Аиды», «Тангейзера», «Пророка», кусочки из увертюр Вебера — что это были за мелодии, я узнала, конечно, позже, но сразу вспоминала парк и папину руку.

У нас часто бывали гости: Шустовы, у которых в 1924 году

родилась дочка Ирина; тетя Ева[7] с мужем Виктором; тетя Соня Майкон (позже — Злотникова) из папиного Торгпредства, у тети Сони была дочка Вика, тремя годами старше меня; мамина приятельница по АЭГ фрау Молленхауэр и другие, которых я не помню. Мама, Виктор и Ваня Шустов часто пели под гитару и лютню. На Рождество однажды приходил Дед Мороз — я верила, что это он. Но какие он принес подарки, не помню.

Кукол я никогда не любила и была более благосклонна к трем своим мишкам: большому белому Юмбо, остроносой, как лиса, Браут и маленькому коричневому Морхену. Еще у меня была свинка на колесиках, которую я всюду таскала за собой.

Помню, как вечерами мы с мамой сидим на диване, мама вяжет, а на голове у нас надеты наушники. В них было слышно слова и музыку, но меня это не очень удивляло тогда. Наушники у меня все время съезжали, и приходилось придерживать их обеими руками.

Надо еще сказать несколько слов о лете. На время папиного отпуска мы ненадолго ездили к бабушке, а потом — к морю, в Арендзее (так было в 1924, 1925 и 1926-м). В Арендзее запомнилась одна бессонная ночь: у меня сделалась высокая температура сразу после приезда, помню нашу комнату в пансионе и бесконечную мамину колыбельную: *Schlaf, Herzenskindlein, mein Liebling hist du, tue die beiden Guck-Augelein zu…* Песня звучала жалостливо, хотелось плакать, а мама все пела, пела — всю ночь вместе со мной не сомкнула глаз. Только под утро я уснула, а проснувшись, была здорова. Какое впечатление на меня произвело само море, я не помню, но помню белый песок, запах сосен и шишки. Они нравились мне не меньше каштанов, и я всегда собирала их в корзиночку.

Еще одно странное чувство мне запомнилось: мы гуляли по набережной, и там был крытый брезентом павильон; внутри художник как раз писал портрет девочки (так мне объяснили). Заглянув в павильон, я со света только смутно рассмотрела девочку, портрет же ее был освещен солнцем, ярок и красив, и меня охватил какой-то ужас, я подумала, что, когда художник закончит ее портрет, девочка вся исчезнет и перейдет в эту картину.

«Что ты смотришь? Хочешь, чтобы и тебя нарисовали?» — «Нет-нет, — закричала я, — уйдем скорее отсюда».

Мои родители совершенно не запомнили этого художника, я им потом рассказывала, и они только пожимали плечами: не пережили того ужаса моего заблуждения, о котором я им тогда не сказала.

Осенью 1926 года родители стали активно подыскивать новое

жилье. Мама и меня брала с собой: меблированных комнат сдавалось много, и было из чего выбирать; я этих квартир, что мы смотрели, не запомнила. Помню только бесконечные поездки на трамвае. Один раз мы долго стояли. Мама сказала: «Что-то сломалось. В колесе дырка», — и я пыталась себе представить, где в колесе дырка и почему она мешает нам ехать дальше. «Видишь — вон те две женщины, что сидят впереди? Это русские». Русских эмигрантов в Берлине было полно. «А откуда ты знаешь, что они русские, они же молчат?» «Посмотри, как у них сильно накрашены губы — только русские так красятся», — утверждала мама.

Наконец подходящая квартира нашлась, и мы навсегда покинули дом возлюбленной Фридриха Великого.

Штеглиц (1926–1930)

Комнаты

Новое наше жилище было в районе Штеглиц, на Альбрехтштрассе, 99, второй этаж (по-русски — третий). В отличие от хоть и романтического, но прогнившего и заплесневелого замка в Ланквице это был нестарый еще пятиэтажный, с красивой парадной лестницей дом со всеми удобствами. Нашу квартирную хозяйку звали фрау Оленбостель; из пяти комнат своей квартиры она оставила себе только одну, крайнюю справа по длинному коридору, бывшую столовую с фонариком. Две большие комнаты, гостиную (ее называли *Herrenzimmer* — комната для мужчины) и спальню, заняли мы. Рядом по ту же сторону коридора сдавалась еще одна комната и еще одна небольшая — в торце, а с той стороны, где была входная дверь, слева располагалась большая кухня и за ней — ванная с туалетом.

Полы были паркетные, очень красивая была мебель — в гостиной почти черного цвета огромный книжный шкаф с граненым стеклом, массивный письменный стол, маленький круглый курительный столик с двумя мягкими креслами, тахта, на стене над ней большой ковер, покрывавший и тахту, над письменным столом картина маслом, изображающая каких-то государственных мужей в орденах и лентах — то ли в конгрессе, то ли на дипломатическом приеме. В этот мебельный гарнитур входил даже граммофон в виде ящика на ножках с крышкой. Круглый обеденный стол стоял посередине комнаты, над ним лампа с малинового цвета абажуром, с которого свисали темные деревянные бусинки. Но самым замечательным для меня в этой комнате были часы. Они тоже принадлежали к темному гарнитуру и стояли в углу справа от двери. Циферблат был золотого цвета, а за резным стеклом медленно, раздумчиво качался большой маятник. Звон у этих часов был благородный, приглушенный; казалось, что часы эти все знают, они мудроравнодушные. Я любила прижаться лицом к их корпусу; эти высокие часы словно были живым человеком, и я часто с ними шепталась. Наверное, из-за этих часов я потом всю жизнь была слаба в математике, не умела абстрактно мыслить. Дело в том, что я впервые именно у этих часов научилась цифрам от 1 до 12.

Сначала я удивляла своих родителей, когда я в возрасте четырех лет во время прогулок иногда приговаривала «3-6-9-12» или «4-8-12». Это были не математические способности, а золотой циферблат, который я любовно делила на части. Признаюсь, что до сих пор для меня первые 12 чисел стоят по кругу, я от этого так и не отделалась. Все числа дальше я тоже представляю в пространстве.

И, проводя арифметическое действие, я мысленно вижу числа на своих местах.

В нашей спальне мебель была белого цвета: посередине две сдвинутые кровати, платяной шкаф, комод и подобие трюмо. Моя железная кроватка стояла в углу между дверью в коридор и дверью в гостиную. Из спальни вела дверь на балкон, который, как и окна гостиной, выходил на Альбрехтштрассе.

Соседи

Фрау Оленбостель, наша хозяйка, была приветливой, слегка глуховатой женщиной, лицо ее покрывали морщины, хотя была она, кажется, не так уж стара. У этой женщины был муж с больными легкими, и он постоянно жил в одном роскошном частном санатории (мы один раз были там: вилла, утопающая в сирени, жасмине, вся обвитая жимолостью). Фрау Оленбостель редко с ним виделась и говорила, что он ей там изменяет с другой женщиной. Комнаты она сдавала, чтобы оплачивать его содержание. Недалеко от нее жила ее дочь Грета Хензель с мужем и двумя сыновьями. Старший, Йохен, худой и некрасивый парнишка, был моего возраста, а младший, Дитер, или Дикки, как его все называли, — толстый, похожий на девочку малыш с мечтательными глазами, — был на год младше меня. Эти мальчики часто гостили у своей бабушки и вместе с Харро, о котором речь ниже, были первыми и единственными в те годы моими товарищами. Мама сразу полюбила фрау Оленбостель, и все время, пока мы жили в той квартире, мы видели в фрау Оленбостель не хозяйку, а всегда готового прийти на помощь друга. Я, например, не помню, чтобы она хоть раз сделала мне замечание[8].

Две другие комнаты, которые сдавались в квартире, сначала пустовали, потом месяца два там жила женщина с девочкой старше меня, а потом туда въехала фрау Эггерс, черноволосая южанка (кажется, из Штутгарта), со своим сыном Харро. Он был старше меня на полтора года, веселый, лукавый парнишка, курносый, светловолосый, с ямочками на щеках. Отец его, если я

не ошибаюсь, голландец, был разведен с матерью. С Харро, пока он в марте 1928 года не пошел в школу, мы играли почти ежедневно — в индейцев, в папы-мамы, рисовали или просто бесились. У него была своя комната в конце коридора, там у него был настоящий кукольный театр из фанеры, с настоящими куклами, и он часто развлекал меня представлениями.

Недалеко от нашего дома был штеглицкий городской парк с тенистыми аллеями старых кленов, холмами, поросшими березами, детской площадкой и мелким детским бассейном. Если пройти через весь парк, то можно было выйти к какому-то каналу. На другом его берегу был закоптелый газовый завод, а на нашей стороне — посыпанная мелким гравием дорожка, вдоль нее росли совсем молодые еще деревья, не дающие тени. Именно на этой дорожке — было это, кажется, уже в 1927-м, а то и в 1928-м — мы сидели с мамой в один жаркий день на скамейке, хотелось пить, и я ныла, пока мимо не проехала поливальная машина и приятно меня не обрызгала. Сидевшая рядом с нами женщина вдруг спросила меня, кем мне хочется стать, когда я вырасту. Я подумала и сказала: «Весной я хочу быть художницей. Летом — шофером поливальной машины. Осенью я хочу быть замужем. А зимой буду балериной».

Из первого года нашей жизни на Альбрехтштрассе мне запомнились два события. Первое — мой четвертый день рождения, но не весь тот день, а часть. Помню, как я встала после дневного отдыха (меня продолжали днем укладывать, хотя я никогда не спала!), как мама надела на меня желтое платьице, и я, держа в руках расческу, стала прыгать по всей комнате, распевая: *Jetzt werd' ich vier Jahr; jelzt werd' ich veir Jahr* («Мне теперь уже четыре года»). При этом я нечаянно ударила расческой о дверь, и из нее выломалось несколько зубцов. Потом мама повела меня в гостиную и поставила перед курительным столиком: «А вот твои подарки!» Ни одного подарка из расположенных на столике я не запомнила, зато помню ту радость, которую мне доставили разбросанные среди подарков на белой скатерке маленькие розовые маргаритки *Gänseblümchen* («гусиные цветочки» по-немецки).

Второе событие — я заболела корью. В ногах у моей кроватки сидел папа и пел мне русскую колыбельную: «Спи, младенец мой прекрасный…» Песня мне очень нравилась, папа перевел мне ее слова. Пел он мне по-русски еще и другие песни, тоже на слова Лермонтова: «По синим волнам океана…», «В глубоком ущелье Дарьяла…»

Странно, что никогда больше папа песен этих не пел, ни до, ни после этой моей болезни.

Лето-1927

Летом 1927 года мы впервые поехали не к морю, а в горы — *Riesengebirge* (Исполинские горы). Эта поездка, непохожая на все прежние и последующие, такие одинаковые, отчетливо мне запомнилась. Еще, кажется, в начале 1940-х я записала все, что запомнилось. Тетрадка эта не затерялась, вот отрывок из нее.

«О дороге помню только, что я заснула в поезде, — в Бреслау надо было делать пересадку, меня разбудили, а потом я снова заснула и проснулась, только когда мы приехали в Обершрайберау, маленький зеленый городок, с трех сторон окруженный зелено-голубыми лесистыми горами. Мы стали искать квартиру и сначала вошли в низкий серый домик с мутными окнами; навстречу нам сразу вышла толстая хозяйка в сальном переднике и стала уговаривать нас снять у нее комнату. Но, пока она вела нас в эту комнату, нам окончательно расхотелось жить у нее: в доме было темно, грязно, стоял густой прелый запах; отовсюду выпрыгивали чумазые ребятишки, говорившие на непонятном мне языке. На папин вопрос, почему она не проветривает помещения, она удивленно ответила, что боится простудить детей. Мы рады были снова выбраться на свежий воздух и отделаться от назойливой хозяйки. Но другие комнаты, которые мы смотрели, были дороги; из них мне почему-то запомнился двухэтажный коричневый особняк на углу одного переулочка, весь в густой тени старых деревьев. Мы наконец сняли в домике, на втором этаже, комнату с балконом, который весь был густо обвит плющом. В середине комнаты стоял стол со скатертью, на которой были вышиты чашки, кофейники и надпись: *Kaffee muß sein-schwarz wie die Nacht, — heiß wie die Liehe, — süß wie Schlaf*[9]. Меня устроили спать на кушеточке рядом со столом. Потом по утрам мы всегда пили кофе на балконе и сразу отправлялись на дальние прогулки. В городке было всегда много отдыхающих, всюду продавался лимонад, книжки, трости, полудрагоценные камни; папа купил маме кулон с аметистом, а мне сердечко из черного хрусталя. Все мы купили по трости — папе потолще, из корня старого дуба, маме изящную, светлую, а мне — по росту, маленькую. На каждой вершине, в каждом примечательном месте продавались металлические бляшки с видами, и их тут же прибивали гвоздиками к тростям: у кого их было больше, тот, значит, больше и пропутешествовал. К концу нашего пребывания наши с папой палки были оббиты больше чем наполовину, а мама к своей только сверху прибила один Эдельвейс.

Из наших прогулок мне запомнились многие. Обычно мы,

выбрав направление, присоединялись к какой-нибудь группе туристов и вместе с ними пели, особенно часто *Wem Gott will rechte Gunst erweisen*[10] и *Das Wandern ist des Müllers Lust*[11] (но не на музыку Шуберта).

В самом начале нашего пребывания со мной случился неслыханный позор: мы с мамой стояли у какого-то киоска, ждали папу, и я до того забылась, рассматривая незнакомую природу вокруг, что намочила штанишки. Папа нацепил их в виде флага на свою палку, чтобы они побыстрее высохли, а мне было стыдно, и я на него очень рассердилась за это, просила, чтобы мы как можно дальше отстали от народа.

Мы ходили смотреть водопад. Там была специальная площадка с деревянной оградой для его обозрения. Вода низвергалась, пенясь и, к моему восторгу, обдавая нас ледяными брызгами, за шумом не слышно было своего голоса. Меня больше всего озадачило, откуда берется такая масса воды; мы поднялись выше и увидели озеро, но я еще больше забеспокоилась — думалось, что, если вода и дальше будет с такой скоростью вытекать из него, как бы она вся не вылилась и озеро бы не высохло. Потом водопад приснился мне ночью — я будто карабкаюсь на скалу и никак не доберусь до озера, наверное, озера уже нет; вот я уцепилась за последние камни… — тут я открыла глаза и долго не могла понять, где я. Потом нащупала стул, стоящий в ногах у моей кушетки — я стояла на нем на коленях. Я хотела переползти к себе, но в темноте ошиблась и шлепнулась под стол. Я не ушиблась, но запуталась в свисающей скатерти. Наконец я приподняла край ее и увидела лежащего напротив папу; он с широко раскрытыми от удивления глазами глядел на мою голову, вынырнувшую среди ночи из-под стола. Я почему-то сказала: «Спокойной ночи!», и папа сразу вскочил, поднял меня и уложил на кушетку, где я сразу уснула. Утром папа с мамой смеялись и спрашивали, как же я попала под стол. Почему-то ночь эта запомнилась мне на всю жизнь!

Мы исходили все окрестности Обершрайберау, забирались на высокие горы, перевидали все деревни, реки, музеи! Случайные наши спутники-туристы удивлялись, что я, такая маленькая, взбираюсь вместе со всеми на такие крутые горы, проделываю такие дальние прогулки — я действительно бывала в этих походах единственным ребенком, но мне нравилось ходить и открывать новые места. Однажды, встав пораньше, мы отправились на гору Хохштайн, одну из самых высоких в тех местах. На вершине горы стояла *Bande* — род гостиницы с рестораном; и вот когда мы добрались наконец до нее, солнце мигом скрылось, стало темно, и грянул гром. Когда мы уселись за

столик у окна, хлынул ливень. В зал ввалилась шумная, до нитки промокшая группа туристов; за наш столик села еще женщина с мальчиком лет десяти. Дождь лил потоками так, что за окном ничего не стало видно, потом посыпался град, и мы с этим мальчиком вылавливали из оконной рамы белые шарики, пытались делать из них снежки, но они мгновенно таяли. Потом мы катали по столу картонные подставки для бутылок. Когда дождь стал утихать, мы с мамой и еще одной женщиной пробежались до деревянной уборной, стоявшей в стороне. Но, когда мы оттуда вышли, снова пошел дождь и полились мутные потоки, и мы долго простояли под навесом, дрожа от холода, а папа махал нам рукой из окна ресторана. Потом дождь сразу кончился, и снова засияло теплое солнце. С елей сыпались на дорогу крупные радужные капли, а внизу был туман: влага испарялась. Домой мы пошли уже к вечеру.

Наше внимание давно привлекала странная каменная глыба под названием Сахарница. Это конусообразная скала каким-то чудом держалась на другом камне своим острым концом; казалось, что она покачивается и вот-вот свалится. Мы решили подойти к ней поближе, а также обследовать ее окрестности. Долго мы шли берегом бурного горного ручья; мы с мамой, помню, пели «Интернационал», вернее, только один его припев, других слов мы не знали. Рассмотрев получше Сахарницу, мы решили обойти ее с другой стороны; по дороге мы немного отвлеклись и разговорились о Рюбецале, любимом герое народных сказок тех мест. Рюбецаль — насмешливое прозвище в общем-то доброго духа, который всегда помогал бедным. Говорили, что он очень сердится на людей, которые вслух его так называют. И вот мы все втроем начали выкрикивать это нелюбимое его прозвище. Эхо откликалось в горах: *ü-e-za-a-al*! Мы смеялись. А Рюбецаль нас на самом деле наказал: мы заблудились. Вернее, не заблудились, а оказались на такой дороге, которая неожиданно кончилась непроходимой глубокой лужей, и ее нельзя было обойти: с боков раскинулось свежескошенное поле, в котором можно было увязнуть в грязи. Мы пошли назад, свернули на другую дорогу, но та привела нас совсем не к Сахарнице, а в какой-то лес. Мы все немножко расстроились, и нам было немного стыдно, что мы обидели Рюбецаля.

Не только Сахарница, но очень много других скал, обветриваясь, принимали причудливые формы, часто они выглядели сложенными друг на друга подушечками. Мы бродили среди этих странных скал и радовались, когда вдруг открывался вид вниз, на почти игрушечные домики деревень, где по дорогам

ползли крошечные, как букашки, люди.

Однажды мы отправились искать какой-то *Moltkefels.* Долго бродили по горным лугам с сочной травой, где паслись пестрые коровы с колокольчиками на шеях, пытались с мамой вымыть ноги в заваленном круглыми камнями горном потоке, но вода оказалось такой обжигающе холодной, что мы сразу выскочили обратно. А целью нашего путешествия оказалось какое-то странное сооружение из деревянных бревнышек, что-то вроде обзорной площадки на маленьком холмике, туда мы и поднялись по лестнице.

Помню на окраине Обершрайберау справа от дороги среди цветочных клумб и подстриженных кустиков красивый деревянный дом с узкими окнами — это был музей. Папе почему-то не разрешали его фотографировать, но он тайком «щелкнул» нас с мамой внутри. Не помню никаких экспонатов, помню только, что внутри было приятно прохладно.

Мы ходили не только по горам. Можно было полями и лугами пройти в две соседние деревни — Миттельшрайберау и Нидершрайберау, от них было дальше до гор. Помню островерхую католическую церковь у дороги — мы тихонько вошли в открытую дверь посмотреть. Ряды скамеек стояли пустые, через высокие окна светило солнце. Однажды встретили теленочка, стоявшего посреди дороги, я подошла погладить его.

Вечерами мы совершали небольшие прогулки по окраинам городка, там кое-где играла музыка. А в кустах зелеными огоньками светились светлячки.

Именно в то лето я научилась читать. Я подолгу рассматривала надпись на скатерти в нашей комнате и спрашивала то у мамы, то у папы название то одной, то другой буквы; меня вовсе не собирались учить чтению так рано, но отвечали, чтобы отвязаться, и были крайне удивлены, когда я вдруг прочла всю надпись. Мне купили книжку, которую я быстро и жадно прочла. Этой первой моей книгой были сказки о Рюбецале.

Как-то мы набрели на детский праздник. По улицам шли колонны детей, преимущественно девочек. Все были нарядно одеты, и у всех на шее висело по красному картонному сердечку. Меня тоже поставили в одну из колонн, и мы все под звуки марша пришли на какую-то поляну. Что это был за праздник и что потом происходило на этой поляне, я не помню.

Неподалеку от нас, в Агнетендорфе, жил Харро со своей мамой, и мы решили навестить их, а заодно посмотреть знаменитый замок Кйнаст, где в то воскресенье должен был состояться традиционный праздник с представлением. После

недолгой поездки на поезде мы сошли на маленькой станции. Здание станции было из красного кирпича, с закругленными сверху окнами. Пока мама куда-то отходила, мы с папой присели на скамеечку на платформе, и я внимательно рассматривала, как выложены вокруг этих закруглений кирпичи; одновременно я прижалось щекой к папиной ладони и впервые отчетливо почувствовала, что люблю папу больше всех на свете!

Мы бродили по двору дома, где жил Харро, и там было много пушистых утят, с которыми играла маленькая белобрысая дочка хозяев. После обеда мы отправились в Кинаст. Погода была чудесная, по дороге шли толпы веселых людей, все смеялись и пели. Сам полуразвалившийся замок стоял на вершине небольшой горы, поросшей высокими соснами. Где-то играл оркестр; я не помню точно, что играли, но когда я слышу «Сороку-воровку» Россини и антракт из «Лоэнгрина», передо мной сразу встает картина того радостного солнечного дня — солнце, люди верхом на лошадях, сосны, развалины… Во дворе замка собралось так много народу, что мы толком не увидели представления, которое там разыгрывалось, танцующих девушек в белых одеяниях; они были как странные фантастические птицы.

Вечером Харро со своей мамой пошли провожать нас на поезд.

А вскоре после этого кончился папин отпуск, и мы вернулись в Берлин».

Город

Конец 1927-го, 1928 и 1929 годы немного слились в моей памяти, и я зачастую не могу вспомнить точно, когда именно что было, поэтому часть моих последующие записок идет без точных дат и передает лишь общее впечатление о тех годах; расположены эти отрывки несколько сумбурно.

Берлин тех лет был грешен и соблазнителен. Конечно, я и слов таких не знала в свои 4–6 лет, но была очень восприимчива к его разнообразным впечатлениям. И часто что-то неведомое и непонятное наполняло меня странной тоской. Был Берлин — ясный, понятный и красивый, Берлин наших с папой воскресных прогулок по ренессансному центру: Шпрее, Тиргартен, Рейхстаг, Музей на острове, парки с разнообразными скульптурами, Груневальд и Тегель.

Еще был Берлин особняков, скрытых за садами, около них гуляли нарядно разодетые дети. Однажды мы с Харро и Диклетом, отделившись на прогулке от наших мам, стали

дразнить этих детей и швырять в них каштаны, в ответ полетели камешки, и нас еле угомонили. Видимо, прорвалась извечная ненависть более бедных к богатым.

Или прохладное солнечное воскресенье, весна, синее небо; где-то на одной из окраин среди изумрудного газона на возвышении — ослепительно белое здание, почти все из стекла: выставка «Свет — газ — вода». Много людей; папе все интересно, он восхищен: «Вот чего достигла техника!» Я совсем не помню, что было внутри, на этой выставке, осталось только чувство радости.

Однажды мы вдвоем с папой едем далеко-далеко на трамвае, стоим на задней площадке, и так непривычно смотреть на выбегающие из под колес рельсы, сходящиеся вдали… Уже давно кончились дома и улицы, с обеих сторон только деревья. А вагон почти пустой. Наконец мы выходим. Детский праздник уже заканчивается: бегут в мешках. Я тоже пробую, падаю, и мы с папой весело смеемся…

И кроме этого, был еще совсем другой Берлин щемящих душу танго, нарядных толп на Курфюрстендамм, чужой и непонятный. Частью этого Берлина была тетя Ева со своим любовником и толпой русских. Порой едем вечером из гостей, и города не узнать: кругом сверкают, крутятся, бегут, мигают разноцветные огни рекламы, много людей, красивые женщины в пушистых мягких мехах, и мне хотелось знать, куда все эти люди спешат, чему улыбаются, что за веселая жизнь у них ночью. Скорее бы стать взрослой и тоже гулять по ночам и танцевать под эту сладкую музыку…

Магазины

Иногда мы с мамой ходили в большие универмаги. Самый популярный — «Вертхайм», многоэтажный, с эскалаторами, с земным шаром на башенке крыши. Более дорогой — «Тиц», а самый экстравагантный, новый, где мы и были, кажется, всего один раз — *KDW (Kaufhaus des Westens)*. Мне нравилось ходить по универмагам, там стоял какой-то особый, неопределимый запах — запах новых вещей? — а кассирши стучали штемпелями по чекам: «Та-та-там, та-та-там, та-та-там». Продавцы ловко заворачивали покупку в тонкую бежевую бумагу — если посмотреть на свет, в ней видны светлые и темные полоски, — и перевязывали шпагатом с короткими круглыми деревянными палочками на концах, чтобы за них держать сверток. А самое главное, там были закусочные двух конкурирующих фирм —

Ашингера и Кемпинского. У них были еще и самостоятельные кафе по всему центру. «Зайдем быстренько к Ашингеру?» — спрашивали друг друга люди, и это означало — съедим сосисочек? Ибо кормили там только двумя блюдами — сосисками с картофельным салатом да кофе с яблочными пирогами со взбитыми сливками. У Вертхайма это всегда клали на картонные тарелочки с рифлеными краями. Сосиски были тонкие — *Knackwürstchen*[12], потому что вкусно щелкали, когда от них откусывали, а картофельный салат был из порезанного пластиночками мелкого картофеля, немножко посыпанного зеленью петрушки и политого особым видом майонеза, и был этот салат холодный, как (а может быть, не как, а в самом деле) из холодильника. Ашингер и Кемпинский здорово набили руку на изготовлении своих блюд. Набили, наверное, и карманы, но, по-моему, им можно только сказать спасибо. Еда эта была дешева и необычайно популярна и, наверное, всем нравилась так же, как и мне.

Самые крупные обувные магазины были «Лайзер» и «Штиллер», и это звучало смешно, так как обе фамилии в переводе — синонимы понятия «тише». Для детей там были высокие креслица, туфли примеряли сами продавщицы. Если что-то покупали, детям давали в придачу сувенирчики. У меня долго хранились от них маленький мячик и круглое зеркальце (на обратной стороне — реклама).

Еще в Берлине был луна-парк. Мы там были летом 1927 года: помню, как мы крутили рулетки, но ничего не выигрывали. А потом с папой стали стрелять в тире и сразу достали два трофея: синюю стеклянную вазу и игрушку, сидящего лисенка, который крутил головой вправо и влево, если ему вертеть хвост. Мы возвращались поздно, очень долго ждали трамвая, было зябко, уже горели фонари (вокруг них — туманные круги с мелькающими точками), папа с мамой веселы, я крепко прижимала к себе лисенка. Он потом надолго стал моей любимой игрушкой.

Транспорт

Главным видом транспорта были, конечно, трамваи. Кондукторами чаще всего работали мужчины, и билеты они выдавали картонные, разные для взрослых и школьников, и обязательно прокалывали компостером. Популярна была также *Stadtbahn* — городская железная дорога. Входы были в вагонах отдельные в каждое купе, и были надписи: «Для курящих» и «Для

некурящих». На станциях этой дороги всегда продавали пестрые журналы и вкусный жженый миндаль. Кроме того, были и автобусы, желтые, двухэтажные, облепленные рекламой, особенно запомнились крупные буквы: *Continental* (я мысленно произносила «конти́ненталь») — так называлась фирма, выпускающая шины. Метро в Берлине было темное и грязное, никаких надземных вестибюлей, просто лестница вниз (как у подземных переходов), только буква *U* (*Untergrundbahn)* на парапете.

Один раз меня водили вечером в ресторан. Ресторан был большой и красивый, где-то в центре. Там отмечался ежегодный праздник, посвященный рейнским винам. Народу было очень много, и мы еле протиснулись к столику, откуда нам махала тетя Ева, сидевшая в компании русских. Весь зал был обвит виноградными лозами, огни были пригашены, звучала музыка, и по более широким проходам между столиками двигались скудно одетые во что-то развевающееся прекрасные танцовщицы с венками на головах. Обеими руками они приподнимали над головами гнутые палки, обвитые виноградными листьями. Но самое красивое — сцена в глубине зала: там был Рейн, горы, поросшие лесом и виноградниками, все это живописно освещалось: розовая утренняя заря, яркий полдень. Мы с папой подошли совсем близко и увидели, что по сцене двигались по реке пароходы, а по берегу — настоящий маленький поезд. Вдруг сделалось темно: нашла туча, засверкали молнии, загремел гром. «Папа, как же они гром делают?» — «Пойдем посмотрим». И мы поднялись вверх по крутой лесенке — там, над сценой, был большой зал, почти пустой. Папа спросил у двух мужчин, как делается гром, и они указали на несколько кресел и несколько стульев, валявшихся на полу: «Просто бросаем их на пол!» К сожалению моему, мы скоро ушли из ресторана, и мне даже не дали попробовать вина.

В городе было много маленьких кинотеатров — *Kintopp*, как их фамильярно называли. Папа с мамой часто ходили туда и потом смеялись над именами всех новых кинозвезд. «Миа Май — Бриа Брай, — шутил папа, — Монтеконтекукулорум». Маме нравились только Аста Нильсен и Хенни Портен. Харро тоже иногда ходил в маленький кинотеатр недалеко от нашего дома на фильмы про индейцев и Дикий Запад. Я в кино была один-единственный раз, воскресным утром 1929 года. Фильм назывался «Мой папа». Это была душещипательная история про девочку, которая жила у своей злой мамы, прогнавшей ее папу и взявшей в дом другого, очень злого дядьку. Они били и обижали девочку, и она убежала и отправилась на поиски своего папы. После долгих перипетий она наконец нашла его среди

пассажиров большого парохода. Папа тоже очень радовался дочке, бросил женщину, с которой хотел уехать, и вернулся с девочкой к своей жене, которая тоже раскаялась и прогнала злого дядьку. У меня из глаз текли слезы, но я их не вытирала, чтобы никто не заметил, что я плачу!

Праздники

Из праздников самым большим и радостным было Рождество. И даже, пожалуй, не само Рождество, а все, что было до него. Детям разрешалось писать *Weihnachtsmann'y* (Деду Морозу) список подарков, которые бы им хотелось получить. Не помню, писала ли я, но скорее всего нет; ведь неожиданный подарок интереснее. Харро писал, это уж точно.

В больших магазинах творилось что-то невообразимое: всюду еще больше цветной рекламы, чем обычно, массы народа, особенно детей и особенно у Вертхайма. Там перед каждым Рождеством в огромном зале с елкой устраивалась для детей «Страна Сказок». Помню натиск огромной толпы, мужчина еле сдерживает ее и кричит в рупор: «Дети справа, взрослые — слева!» Это чтобы дети шли вдоль стены и им лучше было видно. Мама крепко брала меня за левую руку, и нас вносило в этот зал, который обходили по кругу. Там было около двенадцати застекленных ниш, и в них — сцены из популярных сказок. Персонажами были куклы в человеческий рост, декорации — лес, горы, улицы — были как настоящие, и все это красиво подсвечивалось. Мало было, наверное, детей, которые не тащили родителей в эту пору в «Вертхайм».

Вообще этот месяц перед Рождеством, так называемый адвент, был счастливой порой, полной ожидания. Продавались специальные «адвент-календари» в виде картонного дома с множеством окошек. Каждый день ребенок вырезал по одной ставенке, и там открывалась красивая картинка: какой-нибудь зверек, игрушка или цветок. Заглядывать вперед не разрешалось, и каждый вечер ожидался с нетерпением. Самое последнее окно было большое, посередине — там в сиянии лучей с подарками в руках появлялся *Christkind* (кто-то наподобие ангела).

Фрау Эггерс ввела в нашей квартире обычай, принесенный с юга: в течение адвента дети каждую субботу на ночь выставляли за дверь свои туфли, и если ребята хорошо вели себя всю неделю, то наутро в воскресенье находили там какой-нибудь подарочек, если же шкодили, туфли оставались пустые. Подарки эти якобы приносил святой Николай. Как правило, это были сладости:

Schokoladenherzen (пряники в виде сердца, облитые с обеих сторон шоколадом), *Marzipankartoffeln* и *Marzipanpfntoffeln* (марципановые картошки и шлепанцы), яблочки, мандарины или орешки. В те времена детей не баловали ежедневными сладостями, как сейчас, и радость найти такой гостинец в туфле была огромная. Практичный Харро всегда долго прикидывал, в какую обувь больше влезет, и выставлял широкие высокие ботинки, но это не имело смысла, потому что я в свои домашние тапочки получала столько же.

Как приносили елку, как ее наряжали, мы обычно не видели. 24 декабря наша гостиная была для меня заперта весь день, и впускали меня только вечером. Дед Мороз на Альбрехтштрассе уже не приходил ко мне, зато у нас была маска этого старика, которую для развлечения надевали дети. Канун Рождества — праздник сугубо семейный, тихий; к нам обычно приезжала бабушка, иногда и тетя Анни[13]; вообще все собирались только семьями. (Шумное веселье и приемы происходили во всех домах уже 25 и 26 декабря, часто устраивались и детские праздники.) Вечером 24-го распахивалась дверь, и меня наконец приглашали в комнату, где был погашен свет, только горели свечи на елке. Свечи были довольно толстые, крученые, было на елке много *Lametta* (серебряного дождя), были сосульки, блестящие звезды, восковые ангелочки и очень много пестрых конфет, орешки, облитые сахаром крендельки и специальные маленькие красные рождественские яблочки. А под елкой на белой салфетке были разложены подарки — все в красивых обертках, с ленточками; подарки не только мне, взрослые друг другу тоже готовили сюрпризы. После ажиотажа с подарками и всеобщей радости садились за стол; я не запомнила, что мы ели, интереснее была елка и подарки. Но самыми прекрасными в этот вечер были, конечно, песни. Их существует на немецком языке огромное множество, у каждого есть своя любимая; в этот вечер во всех семьях их поют хором; начиная с *Stille Nacht*, поют весь вечер — ну елки, и за столом, и после ужина, стараясь, чтобы во время пения горела елка. Мама своим красивым голосом пела больше всех, вспоминая новые и новые песни…

Новый год

Я не видела, как справляли Новый год — в этом празднике дети не участвовали, их укладывали спать. В новогодний вечер обязательно ели карпа. Конечно, взрослые собирались в эту ночь, веселились и пили шампанское, в отличие от Рождества это был

шумный праздник. В полночь на улицах устраивались небольшие фейерверки, стреляли хлопушки; один раз я слышала, как в 12 часов ночи вся улица кричала в открытые окна *Prost Neujahr* («С Новым годом!») — или просто орали что на ум придет: «Ура!», «Хо-хо-хо-хо-о!», «Кукареку!»

Пасха

Пасха была как бы совсем не религиозным, а чисто детским праздником. Продавалось множество самых разнообразных сладких яиц: шоколадные, сахарные, в свертках и без, были и яички металлические с сувенирчиками внутри. Приносили всю эту прелесть зайцы: они прятали яички, а дети должны были их искать, и это всегда было очень весело. Помню, когда я была совсем еще маленькой, мы в это воскресенье всегда выезжали за город, и яички для меня прятали где-нибудь под кусточками. «Ой, — говорила мама, — видела? Только что пробежал зайчик около вон того куста — ну-ка, поищи, не оставил он тебе там чего-нибудь?» И я находила в траве красивые пестрые яички и верила, что это чудо на самом деле для меня сделал зайчик. «Поблагодари же его!» И я кричала в лес: «Спасибо, Пасхальный Заяц! Пожалуйста, принеси и моей маме тоже чего-нибудь поесть!»

Когда мы жили на Альбрехтштрассе, мы в детском саду делали для родителей вазочки: содержимое яйца осторожно дома выливали через маленькую дырочку, а пустую скорлупку ставили на ножку из пластилина и красками рисовали на них цветы и узоры. А сладкие яйца родители прятали у нас в гостиной, и искали их сообща я, Харро и Йохен с Дитером, если они гостили у своей бабушки. Однажды Харро подарил фрау Оленбостель большое яйцо из шоколада, перевязанное голубой шелковой лентой. Она забыла забрать это яйцо из кухни к себе в комнату. Мы с Харро играли у него в комнате, и он каждые пять минут зачем-то отлучался на кухню; когда я его спросила, он сказал: «Я хожу посмотреть, лежит ли еще на месте мое яйцо». Когда старушка потом вошла на кухню, то от яйца уже осталась разве что половина. Она рассмеялась, позвала маму и показала ей: было видно, что он отламывал шоколад маленькими кусочками. «Знаешь, — сказала она мальчику, — твое яйцо, видно, подъели мыши: возьми уж, съешь то, что осталось». «Что вы, — благодарно запротестовал Харро, — как можно, ведь это я вам подарил! Вы попробуйте — какое вкусное!»

Помимо этих праздников, конечно, отмечались дни рождения

— и наши, и всех знакомых. Шустовы, у которых мы раньше бывали чаще всего, в 1927 году уехали в Москву, и мы в основном общались с семьей Майконов (так их по инерции называли, хотя красавица тетя Соня уже была замужем за А. Л. Злотниковым, и теперь у них были две девочки, Вика и Женя, дочка Злотникова от первого брака), с Вакуровыми, у которых была дочь Маша, и с тетей Евой. Помню, как маму всегда удивляли и даже возмущали богатые пиры у Вакуровых с множеством закусок, черной икрой и разными пирогами: «Как могут русские так много есть!» В гостях было весело, дети всегда у всех ели за отдельным столом и веселились тоже отдельно. Почему-то запомнилось, как мы бесились в огромном полутемном коридоре у Вакуровых и играли в жмурки. Я была младшей из всех девочек, и все они меня любили.

Я уже писала о том, что плохо спала, ела я тоже отвратительно. Но я так и не поняла, почему мама так настойчиво заставляла меня есть именно то, что мне не нравилось: ведь были же и блюда, которые я любила. Помню себя роняющей слезы в мамин любимый хлебный суп. Я сиживала над ним больше часа, чертила ложкой по дну тарелки, так что получались дорожки, которые потом быстро опять затягивались: я воображала, что это наводнение и ил затопляет дороги. Я мяла по тарелке картошку и кашу и тоже делала себе из них всякие пейзажи. Но мне не разрешалось вставать, пока я всего не съем. «Я бы убила того человека, который придумал, что надо есть!» — сказала я однажды.

Один раз я так долго сидела над макаронами, что мама отлучилась на кухню, — я тут же бросилась с тарелкой в спальню и высыпала все макароны в ящик комода, где лежали игрушки. Нашли их там очень нескоро.

Иногда меня сажали ужинать вместе с Харро, но это тоже не помогало. Мне для удобства мама нарезала хлеб тоненькими и мелкими кубиками, только клади в рот, но на хлебе часто была копченая колбаса (а я любила вареную), а пить приходилось какао с кусочками пенки, тогда как Харро пил йогурт и откусывал от толстой булки с ветчиной..

Когда я пошла в школу, мне давали с собой бутерброд, но булка всегда была несколько черствая — мама верила, что свежий хлеб очень вреден для желудка; мы гуляли по школьному двору, все ели свои завтраки, а я дожидалась звонка, когда перед входом в здание школы образовывалась толпа, и незаметно роняла свой бутерброд на землю…

В Торгпредстве

По-видимому, меня время от времени по каким-то праздникам водили и в Торгпредство. Я запомнила три таких случая. Первый — был детский утренник, где всем раздавали бумажные шапочки с красной звездой и мешочки с подарками. Нам показывали кукольное представление. «Сейчас будет одна русская сказка», — шепнул мне кто-то, и я с интересом приготовилась смотреть. Сказка оказалась «Репкой». Я была ужасно разочарована: и это все? Разве это сказка? Это же совсем неинтересно, это же могло быть и на самом деле! «Золушка», «Огниво», «Белоснежка» — вот это сказки! Я была в великом недоумении.

Второй — это когда мне было года четыре, и мы были в Торгпредстве вечером. Я сидела среди взрослых в зале на балконе, а внизу кто-то говорил длинную и непонятную речь. Мне было очень скучно, я зевала и готова была раскапризничаться, чтобы мы пошли скорее домой, как вдруг весь зал как один человек встал, и все запели. Мелодия эта хлынула на меня, подняла меня на ноги, у меня захватило дух и защипало в глазах. Это был «Интернационал». Мама знала только слова припева по-немецки: *Völker; hört die Signale*, она потом дома меня научила им, и мы часто пели, но я совершенно не старалась понять эти слова, я думала, что *Völkerhört* — это одно слово, а что оно означало, меня не интересовало. Тогда в Торгпредстве, когда я слушала эту мелодию, мне казалось, что я приобщаюсь к чему-то великому. Мелодия, которую пели все эти стоящие люди, была прекрасна, торжественна, возвышенна и совсем не нуждалась в словах.

Третья моя встреча с Торгпредством была, кажется, в 1928 году, 1 Мая. Была организована маевка — мы поехали в какой-то загородный лес на пароходе. Было очень весело, опять много пели, и мне особенно понравилась мелодия «Белая армия, черный барон», она мне запомнилась и долго потом не выходила из головы. Даже сейчас, когда я слышу ее, сразу вижу перед собой тот светлый майский день и пароход. В лесу мы смотрели, как играют в городки — мы с мамой впервые видели эту игру. Настроение у всех было прекрасное, майское, всем нам раздали по красному бумажному цветку; я с гордостью носила его на своем платье весь тот день.

Моя жизнь в искусстве…

Первым видом искусства, заинтересовавшим меня, было

рисование. Все считали, что я хорошо рисую — так думали и позже, в школе, однако это было вовсе не так, и художника бы из меня не вышло. Правда, я рисовала очень уверенно и быстро, неплохо передавала людей в движении, но все у меня вечно было, как говорится, «тяп-ляп» — мне скорее хотелось увидеть результат, а на тщательное вырисовывание деталей мне терпения не хватало. Я всегда наблюдала за Харро, который обстоятельно готовил карандаши и краски, а потом долго пыхтел над рисунками домов, пушек, автомобилей, и как у него при общей беспомощности рисунка и неподвижности каждая дощечка или колесико были тщательно вырисованы, все на месте. Мне нравились пестрые краски, запах фаберовских цветных карандашей, но, раскрашивая, я опять спешила — никак не получалось у меня так, как показывал папа: чтобы штрихи не заходили за линии и ложились ровно.

Вторым видом искусства был танец. Не было еще телевизоров, и я никогда не была в театре, но звуки музыки из приемничка, который построил папа, побуждали меня двигаться в такт; я делала какие-то, говорят, изящные движения телом и руками и даже придумала название одному из своих танцев — «Умирающая роза». Все это нравилось знакомым, и они посоветовали моим родителям отдать меня в какую-нибудь танцевальную школу. Помню, как мама повела меня куда-то, там был большой зал, посередине стоял рояль, на высоких окнах — серые шторы. Женщина, встретившая нас, села к инструменту и велела мне двигаться под музыку. Я сняла туфли и стала танцевать по всему паркету. Женщина заулыбалась и сказала, что это прекрасно, но после длительных переговоров с нею мама меня все-таки в эту школу не отдала. Позже я узнала, что запросили страшно высокую плату, и это было нам не по карману.

Третье искусство, в котором мне довелось испробовать свои силы, было театральное…

Однако прежде надо сказать несколько слов о детском саде. После нашего возвращения осенью 1927 года из Ризенгебирге меня решили определить в какой-нибудь *Kindergarten*, потому что дома я очень скучала (кажется, Харро на время куда-то увезли, а со следующей весны он должен был пойти в школу). Речь, конечно, шла только о каком-то из множества частных детских садов, разбросанных в округе, — такого прекрасного муниципального, как в Ланквице, в Штеглице не было. Недалеко от нас было два роскошных детсада, расположенных в особняках с садами, но то ли они были переполнены, то ли там было слишком дорого, не знаю. После долгих поисков меня наконец отдали к двум немолодым сестрам, занимавшим две комнаты в довольно

мрачном доме в одном из переулков Альбрехтштрассе. Всего нас там было около пятнадцати детей. Гулять рядом с тем домом было негде, и нас водили на пустырь неподалеку: помню, как один мальчик упал и порезал себе ногу о разбитую бутылку, был целый переполох. Но гуляли мы, насколько мне помнится, мало. Больше сидели за длинным столом и что-нибудь мастерили: вырезали, клеили, рисовали. Например, к елке делали из глянцевой пестрой гуммированной бумаги длинные цепочки. И очень часто мы играли во всевозможные хороводные игры. В одной из таких игр я очень нравилась всем взрослым, кто меня видел. Содержание было такое: я садилась (или вставала?) в середине круга и изображала гордую и капризную Лизхен. Ко мне по очереди подходили мальчики, протягивали руки и пели: «Девушка Лизхен, девушка-красавица, потанцуй со мной немножко». А я от них отмахивалась: «Не хочу я танцевать, благодарю, — я жду короля!» Так я отказывала с разной степенью спесивости герцогу, графу, купцу и портняжке, а в самом конце отчаявшейся разборчивой невесте уже ничего не оставалось, как принять приглашение нищего, с которым я и пускалась в пляс. Говорили, что никто в саду не умел изображать Лизхен так, как я: мимика, жесты — не знаю, откуда это у меня могло взяться, ведь мне было всего четыре года, и я ничего подобного нигде не видела. Такой мой «талант» подсказал нашим воспитательницам идею устроить концерт. Это было перед Рождеством 1927 года. Они договорились с владельцем маленького ресторанчика близ Альбрехштрассе, что тот предоставит свое помещение на один вечер детскому саду. Очевидно, ресторану это было выгодно, так как на детский концерт были приглашены родители и их знакомые, и все столики были в тот вечер заняты, что вряд ли случалось часто. В основном концерт держался на мне: я исполняла роль Красной Шапочки и сольную роль Песочного Человека. В «Красной Шапочке» у меня был партнер — мальчик-волк. Я его совершенно не помню, как вообще не запомнила никого из детей детского сада, они меня не интересовали. Не помню я и того, как репетировала, помню только, что мама сшила мне шапочку из красного сукна с блестками, помню корзиночку и белый фартучек. Для Песочного Человека мне смастерили длинный коричневых балахон — кажется, с капюшоном. И помню сам концерт. В ресторане была эстрада, перед ней расчистили большую площадку, где возвышалась елка, вокруг этой площадки стояли столики для публики.

Сначала меня привели на эстраду за занавесом, и там… Среди моих отрицательных качеств никогда не значилась зависть, я всю жизнь просто не знала, что это такое, но в тот момент я в

концентрированном виде сразу испытала зеленую, черную жгучую, злую зависть, отпущенную мне на всю жизнь! Там, на эстраде, за занавесом сидели в ряд на стульях семь или восемь девочек из нашего сада, все в розовых шелковых платьицах, с бумажными коронами или цветочками в волосах, все поразительно красивые (это был хор ангелочков), а я стояла, путаясь в своем грязного цвета рубище. Кажется, у меня даже слезы выступили на глазах. Но скрепя сердце надо было выходить на публику. Занавес открыли, розовых девочек ярко осветили, они стали что-то тихо петь, а я спустилась вниз, где под елкой стояло какое-то подобие яслей, в этих яслях будто бы лежал новорожденный Христос, которого мой Песочный Человек усыплял. Я делала успокаивающие жесты руками в широких свисающих рукавах и пела свою песню: *Still, Still, Still, — weil's Kindlein schlafen will. Nur die Englein musizieren, die Krippen jubilieren*[14]…

И этот номер, и отрывок из «Красной Шапочки», начавшийся моим длинным монологом, после которого выбегал на четвереньках волк и звучал наш с ним диалог, имели шумный успех, но сама я этого не помню, то есть не помню аплодисментов — видимо, не связала их с окончанием своего выступления. Помню только, что меня потом таскали от одного столика к другому, угощали сладостями и даже целовали, а мне хотелось одного — поскорее добраться до столика со своими родителями и их знакомыми.

Как и у моих родителей, у меня был очень хороший музыкальный слух, и я с раннего возраста с удовольствием пела и слушала музыку. Позже у меня появилось желание научиться играть на рояле, это мое желание никогда не осуществилось. Хватило бы мне терпения? Кто знает. Но музыка всю жизнь была для меня любимейшим из искусств.

Религия

Когда мне было лет пять, за мою душу начали сражаться католики.

Надо сказать, что, хотя папа мой был иудей, а мама крещеная лютеранка, их взгляды на религию были примерно одинаковые. Они оба верили в Бога, верили в Христа, но никогда не ходили в церковь. Папа считал, что Бог — это Природа (все было у него, конечно, сложнее: он считал себя последователем Спинозы, к тому же интересовался и мистикой), мама тоже считала, что Бог — не старик с бородой, сидящий на небе, для нее это было скорее

нечто вроде абстрактной Справедливости. До самой смерти она вечером перед сном складывала под одеялом руки и молча молила Бога, чтобы Он всем дал здоровье. Она люто ненавидела католиков: как и папа, она считала, что неприлично и грешно афишировать свои религиозные чувства, свою веру, и считала, что веру эту надо носить только глубоко внутри, поэтому католики с их святыми и всей обрядной «показухой» были ей глубоко противны. Меня после рождения не крестили, католики об этом каким-то образом узнали, и вот в один прекрасный день в нашу дверь позвонили. На пороге появилась незнакомая женщина в серой мантилье, заявившая, что ей необходимо поговорить с мамой. Целый час она тихим настойчивым голосом уговаривала ее, что меня надобно крестить. Мама не соглашалась, говорила, что, поскольку они с мужем разной веры, мне самой дадут позже возможность выбирать, куда себя причислить. Женщина ушла, но через пару дней появилась снова, уже в сопровождении еще двух дам. Мама отказывалась говорить с ними, но они были удивительно настырны. Я улавливала эти разговоры урывками. Я знала, что разговоры касались меня. «Ах, это всё католички противные, тебе не понять», — ответила на мои расспросы мама. Очень таинственно. И мне захотелось стать католиком, что бы это ни означало. В углу гостиной я шепнула своим любимым часам: «Я католичка». Это прозвучало гулко и торжественно… Как-то мы с мамой пошли погулять; только вышли из парадной двери, как к маме подбежала одна женщина и отвела ее в сторону, а ко мне подошла другая, схватила меня за руку, увела под дерево на обочине тротуара и стала что-то рассказывать. Мама не скоро и с трудом отделалась от своей мучительницы, та на нее прогневалась, стала трясти кулаком и кричать вслед страшные угрозы. «Совсем с ума сошла, что ли», — пробормотала мама, раскрасневшись от возмущения. О чем говорила моя собеседница, я не помню, но, очевидно, о Христе. Потому что в одну из ночей он мне явился. Надо сказать, что всю жизнь я плохо спала. Обычно в те времена я засыпала, потом среди ночи просыпалась и лежала, слушая, как в соседней комнате бьют часы: два — половина — три — половина. Часто, проснувшись, я обнаруживала, что родителей со мной в спальне нет. Это означало, что они или в кино, или, чаще всего, пошли к фрау Гензель и ее мужу играть в карты: была какая-то азартная игра под названием «маушель», играли на деньги, небольшие, конечно, — в сущности, на пфенниги, — но мама очень увлекалась игрой и засиживалась за полночь. А я лежала и не то что боялась, но все же чувствовала смутную тревогу: «Когда же придут?» Так вот, вскоре после беседы с женщиной на улице (а та

женщина была красивее и моложе другой) мне приснился, а скорее, привиделся Христос — по-моему, я уже не спала. Он стоял у входа в пещеру, весь в сиянии. У него были крылья, как у ангела, нимб над головой и длинное белое одеяние. Я была очень счастлива и решила, что, наверное, я очень хорошая девочка, раз именно мне он явился. Все это я восприняла как тайну и никому не рассказала.

Позже в школе на уроке религии учитель доступным языком рассказывал нам фабульную сторону Нового Завета; это было интересно, это слушалось как сказка, но это уже было не про того, моего Христа. Я даже опозорилась: «… они распяли Его, и вдруг все люди увидели, что стало совсем темно. Как вы думаете, дети, отчего небо сделалось темным?» Я оглянулась вокруг: почему-то никто не вызывался ответить — и тогда подняла палец: «Это приближалась гроза!» «Ответ неправильный, — крикнул учитель, — это Бог прогневался, вот что!» Я покраснела до ушей, мне было стыдно — и вместе с тем все во мне запротестовало. С этой минуты я совершенно разлюбила уроки религии.

Папа и мама

В те времена мама и папа мои иногда, очевидно, ссорились, но этого никогда не случалось в моем присутствии. У мамы, этой вечной певуньи со смеющимися глазами, был тяжелый характер. Когда она обижалась, она могла неделями не разговаривать с обидчиком. Она и со мной так поступала: бывало, иду с ней за руку, говорю ей что-то, спрашиваю, а она молчит! Я мучительно стараюсь вспомнить, за что она со мной не разговаривает, — напрасно. И сердце сковывала тоска. Папа был совсем другой: он мог очень рассердиться, иногда и ударить сгоряча, но если я долго ревела, он не выдерживал — подходил и целовал меня.

Если же я совершала проступок в присутствии и мамы, и папы, то они всегда были заодно, и я не могла искать у одного защиты от другого. Оба были в этих случаях тверды. Помню только одно исключение: как-то в воскресенье мы после обеда собрались куда-то в парк, и я вдруг раскапризничалась: не хочу надевать **это** платье, хочу — **то**. Мама хотела **это**. Я устроила истерику, и тогда родители сняли с меня платье и уложили меня в кровать. Сказали, что пойдут на прогулку одни, «а ты дома — спи!» И ушли, хлопнув дверью. Я тут же прекратила рев и вылезла из кровати. Я надела на себя то платье и уселась в кресло. Я никак не ожидала, что родители вернутся, но они пришли обратно минут через пятнадцать. «Кто позволил тебе встать?» —

спросила мама, но меня оставили в том платье, в котором я хотела быть, и уже через пять минут я бежала вприпрыжку рядом с ними по улице. «Мы тебя берем с собой только потому, — объяснили они, — что, может быть, приведут Иру, и ей будет скучно без тебя». Совершенно излишнее оправдание — они прекрасно сознавали, что речь-то шла о капризе и с моей, и с их стороны, доводов не было ни у них, ни у меня, и я победила.

Я уже упоминала о том, что родители при мне не ссорились, поэтому меня совершенно потряс один случай. В воскресенье, после довольно молчаливого завтрака, мама вдруг оделась и направилась к двери. Я побежала к ней: «Ты куда?» «Я ухожу, — сказала она, — потому что вы с папой плохо ко мне относитесь». «Ухожу» прозвучало как «насовсем». Я быстро стала вспоминать, чем могла рассердить ее в тот день. И при чем тут папа? Разве мог он тоже, как ребенок, плохо вести себя? Пока я размышляла над этим, дверь захлопнулась, и мама ушла. Папа сидел в гостиной на диване, я подбежала к нему и села рядом. Так мы очень долго сидели молча, не зная, что сказать друг другу. Потом папа сказал: «Где твои цветные карандаши? Давай нарисуем что-нибудь». И мы стали рисовать какие-то абстрактные неправильные фигуры и раскрашивать их в пестрые цвета. Потом папа долго точил карандаши. Все это время мы сидели с ним рядышком на стульях у письменного стола и почти не разговаривали. Часы шли, и меня стала грызть тревога. Папу, наверное, тоже. Он закурил и стал шагать взад и вперед по комнате. Наконец я решилась спросить: «А куда пошла мама?» «Не знаю, — с ложным спокойствием ответил папа, — наверное, пошла к тете Еве. Или к фрау Моленхауэр…» Но я знала, что он думает то же, что и я: не попала ли она под машину? К вечеру папа стал звонить по телефону. Он говорил по-русски, и я ничего не понимала. Ясно было только, что мамы ни у кого из знакомых нет. Потом он с кем-то говорил по-немецки, и тут я расслышала, что он собирается позвонить в полицию, чтобы ее разыскали. Мне стало совсем страшно. Но позже вечером позвонила тетя Ева и сказала, что мама нашлась и она ее привезет. Папа уложил меня спать, но я слышала кое-что из разговора в соседней комнате: тетя Ева собиралась вечером пойти куда-то и обнаружила на ступеньках лестницы своего дома тихо плачущую маму! «Я собиралась никогда больше не возвращаться сюда, — всхлипывала мама, — я только боялась полиции и хотела переночевать у Евы на лестнице». Она никак не хотела мириться с папой, и ее долго уговаривали, потом поили валерьянкой.

Я так никогда и не узнала причины размолвки. После этого случая я почувствовала еще большую близость к папе —

оказалось, что в чем-то мы с ним равны!

Как мне сейчас кажется, виновато было папино увлечение радио. Он проводил много вечеров в радиоклубе и смастерил настоящий большой приемник. Он даже на время забросил свое прежнее хобби — фотографию. Мама, очевидно, была недовольна тем, что папа стал уделять ей совсем мало времени. А приемник папин был очень красив: он состоял из двух ящиков, обитых пластиком, с разнообразными кнопками, а внутри был целый лабиринт разноцветных проводов, лампочек, катушек! Мы с папой любили слушать музыку, а вечером папа допоздна что-то ловил и дожидался потом конца передач. Он уверял, что слышал однажды, как берлинский диктор, закончив вещание привычными словами «дорогие слушатели, теперь мы желаем вам спокойной ночи, и не забудьте заземлить свои антенны», думая, что уже выключил микрофон, добавил: «А потом можете все отправиться ко мне в задницу».

Шалости

За эти 1926–1930 годы мне вспоминаются и некоторые мои шалости, но, увы, все они были не мной задуманы. Я была только всегда на все готовой участницей.

Например, собрались мы как-то у нас на балконе. Мы — это, как всегда, трое мальчишек и я. Прежние жильцы вырастили там какое-то вьющееся растение, которое сплошь заплело ветвями одну боковую сторону балкона. Ко времени нашего приезда растение уже совершенно засохло, вот мы и стали обламывать сухие ветки и сбрасывать их вниз на улицу. Никто из нас не дорос еще до верхнего края сплошной балконной стенки, поэтому нам не видно было, как под нами постепенно собралась довольно большая толпа, и только когда из гула голосов выделился громкий крик владельца табачной лавки с первого этажа, мы вдруг испугались и бросились в комнату Харро, которая была самой дальней, где и залегли под кроватью. Не замедлил раздаться нервный частый звонок в дверь, и наши ни о чем не подозревавшие мамы пошли открывать. Дальше мы услышали возмущенные голоса нескольких мужчин и спокойный ответ наших мам: «Вы ошибаетесь, это не у нас. У нас никто ничего…» Их прервали сердитые голоса. Мамы вышли на балкон, глянули вниз — и ахнули. Полицейский стал угрожать штрафом, поэтому вместо того, чтобы послать нас, наши мамы сами побежали вниз и стали охапками уносить с улицы ветки.

В другой раз мы поехали с нашими мамами на Шлахтензее,

где были лес, озеро и всегда не так много народу, как в других ближних пригородах, может быть, потому, что в озере не разрешалось купаться. Наши мамы расстелили одеяло и уселись на берегу в траве, мы съели яблоки и бутерброды, а потом женщины увлеклись беседой. Было очень жарко, и нас раздели догола, благо никого поблизости не было. Сначала мы прохаживались среди деревьев. Заметили за кустами другое семейство, которое кормило своих детей печеньем и бананами, и Харро сказал: «Окружим их и ограбим!» В эту минуту Йохен нашел на дороге воронье перо. Он воткнул его себе в волосы и издал воинственный клич: «Мы же индейцы! Окружай бледнолицых!» Но сначала надо было всем найти себе хотя бы по перу, и мы уже забыли о тех бледнолицых. Совершенно забыли мы и о том, что были абсолютно голые. Мы двигались вдоль дороги и отошли довольно далеко от мам, шаря глазами по траве в надежде найти еще перьев. Так мы незаметно дошли до огороженного забором участка, на котором стояли карусель и воздушные качели. Там было довольно много народу. Харро гордо толкнул калитку, сказал нам: «За мной, краснокожие братья», — и обратился к первому попавшемуся мужчине с вопросом, где можно найти директора карусели. Вокруг нас собралась любопытная толпа, появился и владелец карусели, который при виде нас громко расхохотался. Но мы вели себя гордо. Харро объяснил ему, что мы индейцы и пришли просить его, бледнолицего брата, покатать нас бесплатно на карусели. Примерно в это же время в отчасти смеющейся, отчасти недоумевающей и возмущенной толпе появились наши, гораздо больше нас похожие на краснокожих мамы. Они готовы были умереть от стыда за нас. Оказалось, что они давно нас ищут и уже стали бояться, не утонули ли мы, пока один старик не сказал, что видел четверых голых детей с перьями на голове около карусели. Мне в то время было четыре года, а может быть, и все пять.

Или вот еще. Харро как-то получил в подарок прекрасную парусную яхту. Можно было запустить ее в ванне, но это всем показалось недостаточно грандиозным, поэтому решили залить водой всю кухню, благо пол в ней был не деревянный. Родители сидели у нас в гостиной, там были еще гости, все обедали, разговаривали о чем-то, а мы меж тем без устали наполняли под краном ведра, кастрюли и кувшины водой и выливали все на пол. Работа оказалась тяжелой, так как мы уже начали уставать, а воды все не прибавлялось, и мы не могли понять, в чем дело. Через некоторое время кто-то из наших родителей или гостей обратил внимание на струйку воды, текущую из-под двери в гостиную. Мальчики не подумали о том, что наше

запроектированное озеро все уйдет в щель под кухонной дверью. Попало тогда только мне, меня отшлепали: во-первых, я испортила свои совершенно новые домашние туфли из верблюжьей шерсти, а во-вторых, нечего мне было помогать мальчишкам в их глупых выдумках.

В 1928 году мы должны были летом поехать куда-то, даже места в пансионе были заказаны, но я заболела коклюшем, и в результате мы с мамой уже в июле одни поехали в Гюстров к бабушке. Папа присоединился к нам только в августе. 1929 год мы тоже провели у бабушки, и кое в чем я, может быть, путаю события этих двух лет; однако постараюсь выбрать все, что помню.

1928 год

Гюстровский врач прописал мне от коклюша какое-то странное лекарство — почему-то мама с бабушкой смеялись и называли его «а́дэ — поза́дэ». У него был такой сильный аромат, что «аж дух захватывало»; помню, я глотала его три раза в день по ложке, крепко зажав нос.

От папы из Берлина мы получали письма через день. Я не знаю, о чем он писал маме, но две большие страницы мелким почерком зелеными чернилами неизменно были для меня. И обязательно с рисунками! Это был длинный рассказ в продолжениях о смешных приключениях моих игрушек — трех мишек и лисенка. Каждое такое письмо было, конечно же, большой радостью для меня и ожидалось с нетерпением.

Потом как-то мы несколько дней ничего не получали от папы и очень беспокоились. Оказалось, что ему пришло известие из Баку, что скончалась его мама. Он очень любил ее, но не видел целых шестнадцать лет; у нее была болезнь печени, и умерла она в Ессентуках, куда ездила лечиться. Я так и не видела этой своей бабушки, а она незадолго до смерти сделала для меня подарок: вышила шерстью крестом текинским узором скатерть. Папа страшно горевал — фрау Оленбостель потом рассказывала маме, что он три дня ничего не ел; он не отвечал на ее стук в дверь, а когда она сама приоткрыла ее, то увидела, что он сидит на полу и плачет…

Меня с моим коклюшем держали подальше от детей, и вот однажды утром меня отвели в тенистый сквер над крепостным рвом и оставили около песочницы с ведерком и новыми красивыми формочками. Мама с бабушкой пошли по магазинам,

какое-то время я лепила куличики в одиночестве, потом меня окружила толпа грязных и растрепанных ребятишек, они стали вместе со мной копаться в песке, а потом очень быстро один за другим исчезли. Когда мама вернулась, я сидела на краю песочницы одна, без ведерка и формочек, с несколько растерянным выражением на лице. Мама стала меня ругать, стала расспрашивать, что это были за дети, и кто-то, сидевший на одной из скамеек, сказал, что это были дети польских батраков-косарей, живущих неподалеку. Мама взяла меня за руку и сразу пошла в этот дом, где вскоре нашлись все до одной формочки. Почему-то мне было стыдно. Но не оттого, что мама меня называла растяпой и дурочкой, а оттого, что она отняла у бедных детей мои игрушки!

Однажды я страшно раскапризничалась во время еды: опять что-то не хотела есть и нагрубила старшим, и тогда мама с бабушкой взяли меня за руки и поволокли вниз по лестнице, в подвал. Там они спустили меня до самого низа по ступенькам и поставили в угол — было совсем темно и ничего не видно, но, наверное, это был угол — а сами поднялись обратно и заперли дверь подвала. Оставшись одна, я сразу перестала плакать и решила действовать. Ощупью вдоль стенки я долго шла, спотыкаясь о камни (или картофелины?), и наконец нащупала холодный камень ступенек. Я поднялась по ним на четвереньках до двери и уселась там — в том месте было не так холодно и сыро, как внизу, и меньше пахло картошкой и плесенью. Сначала я собиралась барабанить в дверь, но потом подумала, что с другой стороны, может быть, стоят мама с бабушкой и сразу отведут меня обратно вниз, и я решила вести себя очень тихо. Хотелось, чтобы они подумали, что я умерла. Что меня, может быть, съели крысы. Мама потом рассказывала, что они действительно беспокоились, потому что было так тихо, что минут через пятнадцать они отперли дверь и очень удивились, что я нашла дорогу наверх. «Ну, ты одумалась теперь и будешь наконец есть?» — спросили меня, но я молча с гордым видом прошла мимо и поднялась в бабушкину комнату.

Из окон был виден небольшой сад, принадлежавший старушкам с первого этажа. Там росли цветы (помню не сами цветы, а запах резеды и флокса), ягодные кусты и три-четыре яблоньки или груши. Слева были видны сарай и уборная да покрытая досками помойная яма. Как-то к бабушке зашла одна древняя старушка с мужем, этому старику понадобилось по нужде, и мне шепнули проводить его. За мной потом наблюдали в окно и очень смеялись: я не только довела его до самого заветного кирпичного домика, но и сама открыла ему дверь, а

потом уселась на край помойки и долго ждала, когда он выйдет, и уж тогда привела его обратно в дом к бабушке.

Оба папиных отпуска, 1928 и 1929 годов (когда я уже была школьницей!), у меня в голове перепутались — мы в основном жили в Гюстрове, и если я в последующей жизни никогда не скучала по Берлину, то вспоминать этот маленький городок мне всегда было приятно и немного грустно.

За два лета мы исходили его весь вдоль и поперек, гуляли и по окрестностям с лугами, лесами, невысокими холмами и рекой Небель, через Глевинские ворота ходили на Инзельзее, где был ресторанчик и можно было купаться в озере. Заросли малины, жужжание мух, где-то слышен плеск воды и смех — жаркое, жаркое лето… Солнечное воскресное утро, громко звучит орган, бабушкин дом в тени, но солнце, отраженное от церковных окон, играет на стенах и на булыжной мостовой, прохлада, синее небо, и на душе торжественно и так светло, что почти плачешь от радости, что живешь… Очень хороша и площадь, где здание суда (в нем же — тюрьма), а по другую сторону — замок XVI века, рядом — мостик через заполненный водой широкий ров, когда-то вырытый вдоль городской стены, уже снесенной. Дальше — луг, на нем всегда пегие коровы. Километрах в трех — деревенька Бадендик, там живет бабушкина сестра, тетя Генглер (мама всех своих теть называла только по фамилии). Они с мужем крестьяне, у них есть лошадь и корова. Мы были у них на сенокосе, все помогали сгребать и грузить на телеги сено, мне тоже дали грабли. Мы работали в поте лица, пока все не убрали, а папа даже сказал, что согласился бы все бросить и жить в деревне.

В другой раз мы хотели пойти в ту деревню, откуда была родом бабушка, но не дошли. На окраине Гюстрова с одного забора соскочил серый котеночек и побежал за нами следом. Мама очень боялась кошек и пошла быстрее — игривый котенок за ней, стараясь схватить ее за пятку; она побежала, и котенок бросился заячьими прыжками следом. Мы с папой смеялись, пытались поймать котенка, но он нам не давался. Вскоре мы потеряли из виду и маму, и котенка. Котенка мы так больше и не увидели, а маму нашли под одиноким деревом посреди поля. Она была очень обижена на нас, особенно за то, что папа сказал, что она бежала, будто за ней мчится тигр. Никуда мы уже не пошли дальше, а окольными путями вернулись в Гюстров.

Я любила, когда меня посылали за покупками. Я помнила, в какой булочной дают детям «придачу» вкуснее и больше и не ленилась бегать за ней в более дальние лавочки. Но особенно я любила одну совсем дальнюю лавчонку, где торговали практически всем. Как правило, дверь туда бывала заперта и надо

было звонить в звонок, после чего из своих комнат выходила хозяйка и открывала дверь, при этом звенел какой-то колокольчик. Любила я и дорогу туда — направо от бабушкиного дома, мимо желтого дома настоятеля собора — нарядного, с блестящими медными узорчатыми ручками на дверях; иногда дверь была открыта и виднелась широкая, покрытая ковром лестница. За домом настоятеля начинался совсем узкий переулочек, там и была та лавочка. Однажды меня послали туда с бутылью за спиртом для спиртовки, и в придачу мне дали целый кулек с кислыми леденцами. Узкий переулочек преградила лошадь с повозкой, я пролезла под этой лошадью, крепко сжимая горлышко бутылки, но потом из кулька выпала конфета, я нагнулась за ней, бутылка выскользнула у меня из рук и разбилась о булыжник вдребезги прямо перед домом настоятеля. Дома все очень удивились, что я вместо бутылки со спиртом несу конфеты, но меня не ругали. Бабушка с мамой тут же побежали с веником и совком собирать осколки.

С бабушкой на втором этаже дома жили еще старая и молодая фрау Хакерт. Старой было лет восемьдесят, молодой — около шестидесяти. Их окна выходили в сторону улицы, и собор загораживал им весь свет, так что в их двух больших комнатах всегда было красновато-сумрачно. Жили они очень бедно, у них почти не было мебели, мне вообще запомнился только их «умывальник» — металлический таз на изогнутой медной подставке. В один из летних дней обе старушки пришли в ужасное волнение. Оказалось, что у молодой фрау Хаверт был сын. Сын этот уже несколько лет как исчез, и они не знали, где он. И вдруг прибежали две их знакомые женщины: «Мы видели вашего сына, и другие его тоже признали! Сходите сами, посмотрите! Он приехал с балаганом и колдует». Побежали не только обе фрау Хакерт, отправились и мы всем семейством — на противоположный конец городка, где располагалась карусель и иногда останавливались бродячие цирковые труппы и цыгане. Сына молодой фрау Хакерт мы увидели перед большой брезентовой палаткой, он сидел там в позе лотоса, с чалмой на голове, в живописном халате. Афиши говорили, что он звездочет и маг, прибывший с Востока. Он показывал фокусы и предсказывал желающим судьбу. Мама, папа и бабушка очень смеялись, а обе фрау Хакерт готовы были умереть от стыда; они потом где-то встречались с ним и умоляли его уехать поскорее из города и не позорить их. Я никак не могла понять, почему считалось, что он навлекает позор на свою семью. Мне казалось, что я бы гордилась таким сыном.

Каждый август в Гюстрове проводился традиционный

праздник стрелков. Соревновались в стрельбе из лука, и победивший провозглашался королем. Его провожали домой торжественным шествием с музыкой, а потом устраивали банкет с пивом. В этом празднике с энтузиазмом участвовал весь город. Для детей же устраивались свои соревнования, и появлялись свои принц и принцесса, которых украшали розами и тоже пышно провожали через весь город. Дети стреляли не из луков или ружей: с железного столба на цепи свисал деревянный, с железным клювом орел (или сокол?), на некотором расстоянии оттуда были мишени, цепь надо было отвести назад и, прицелившись, отпустить птицу, стараясь, чтобы клювом она попала в центр мишени. Я была очень маленького роста, и надзиратель сам отвел птицу назад и дал мне ее в руки. Я что-то настреляла — помнится, 29 очков из не знаю скольких возможных. Мне дали карточку с этим числом, и мы с мамой вошли в павильон, где стояли длинные столы с призами. На 29 можно было выбрать какую-нибудь чашку с блюдцем. Я выбрала с кантом, по которому на черном фоне были розочки.

Во время праздника стрелков были и другие соревнования в небольшом парке. Я бежала наперегонки с несколькими девочками и пришла второй; в награду мне предложили на выбор красивую расчесочку или пару горячих сосисок. Мама пыталась уговорить меня взять расческу, чтобы осталась память, но я сказала, что расческа у меня уже есть, а сосисок нет, и выбрала их.

И конечно же, мы часто ходили с бабушкой в ее сад. Моими любимыми цветами в то время были анютины глазки, и бабушка специально для меня посадила клумбу из этих цветов; я сама их пропалывала и чистила дорожки сада своими грабельками — мне очень нравилась такая работа. Бабушка была тихой, скромной женщиной, она всегда ходила одетая только в черное с неизменными белыми кружевными воротничками. Ко мне она относилась очень хорошо, поэтому мне сейчас не понять, как я могла не любить ее! А не любила я ее за два ее недостатка: во-первых, у нее было на лице слишком много морщин, а во-вторых, она в разговоре путала верхненемецкий со своим родным платтдейтш. Платтдейтш отличается от верхненемецкого примерно как украинский от русского. Я, как, впрочем, и папа в свое время, сразу стала понимать этот диалект и даже говорить на нем, мне он нравился, но мешанины я не терпела. Говорят, я еще в возрасте трех лет, услыхав, как бабушка в разговоре сказала *Ach, das ist áliens nicht so*[15], прервала ее и сердито отчеканила: не *áliens*, Оки, а аллúс! Аллйс! *(alles)*. Я забыла сказать, что вместо *Oma, Omi* (немецкое «бабуля») я всегда называла ее *Oki.* Любила я

бабушку, только когда мы с ней играли в «Гальму». Это была наша с ней любимая игра. Бабушка всегда очень нервничала, даже делалась вся красная в лице — боялась проиграть; помню, как, прежде чем двинуть какую-нибудь фишку, она несколько раз делала в воздухе над доской указательным и средним пальцем шагающие движения. Как правило, она меня обыгрывала, но как раз это вызывало во мне не раздражение к ней, а уважение. Я до сих пор люблю эту игру.

Иногда мы ездили в Росток к тете Анни, а оттуда — в Варнемюнде, купаться в море. Там был такой же, как в Арендзее, белоснежный песок, те же пляжные корзины с пестрополосыми навесами. Не было только сосен. Вместо этого было гораздо больше особняков, гостиниц, пансионатов, широкая набережная. Излюбленным местом прогулок был мол с маяком, иногда мы ездили оттуда на небольшие пароходные прогулки. Мне нравился уже сам путь от вокзала к морю: мост через один из протоков Варнов, мачтовый лес рыбацких лодок — именно в этом месте доносился прекрасный запах морской тины. Потом тенистые улицы с магазинами, нарядные загорелые люди, и уже в конце — залитая солнцем набережная.

Иногда мы ездили просто в Росток. Тетя Анни снимала там комнатку, такую тесную, что в ней негде было повернуться. И мы целый день гуляли по берегу широкой Варнов, где рыбаки всегда продавали вкуснейшую свежую камбалу, ходили к другой бабушкиной сестре, тете Греве, которая жила высоко над крышами в мансарде и у которой в комоде было огромное множество красивых старинных открыток. У ее дочери Марты Рат были две девочки — некрасивая длинноносая, с толстыми косами Урзель и веселая озорная Ингрид. Но этих девочек я видела только мельком. В Ростоке был прекрасный ухоженный парк с прудами и беседками. Однажды я устроила там грандиозный скандал из-за камыша. Два часа я ревела в голос, чтобы родители сорвали мне хоть один рогоз. Мне говорили: он специально посажен в пруду для красоты, и вообще, ходить по газонам и что-то рвать строго воспрещается; если папа и не утонет в пруду, то уж наверняка придет полиция и надо будет заплатить большой штраф. «Ну и что же, — орала я, — вас же не убьют и не арестуют, что у вас, денег, что ли, нет? Заплатите этот штраф и сорвите мне камыш». Папа даже сфотографировал, как я реву по поводу этого камыша: я была безутешна. В этом же парке потом была выставка георгинов, и мы ходили смотреть цветы. Море цветов всех оттенков, вдали — освещенное кафе, где кто-то поет с ансамблем сладкие неаполитанские песни, по темным дорожкам медленно прохаживаются люди, чаще парами, любуются цветами и говорят

шепотом, как в музее. Меня охватили мечты я не знала о чем… Я прижималась щекой к папиной руке.

Однажды в поезде по дороге в Росток я влюбилась. В женщину. Она сидела напротив нас в купе, светловолосая, с голубыми глазами, очень красивая и грустная. Я не сводила с нее взгляда и потом несколько недель не могла ее забыть. Я назвала ее Жавалйси Молистйд, а сама себя стала считать принцем. Я залезала под бабушкин письменный стол и шептала ее имя, я придумывала целые истории, как я похитила ее из мрачного замка и как она меня потом тоже полюбила за храбрость и благородство. Вечерами я тихонько молила Бога превратить меня в мальчика.

Школа

Учебный год в Германии начинался с апреля. Хотя мне не хватало еще двух месяцев до шести лет, меня решили отдать учиться. Для этого необходима была медицинская справка и рекомендации врача. Я произвела на молодую врачиху самое выгодное впечатление, мама потом говорила, что она сказала: «Не видела еще такого развитого ребенка. Без всякого сомнения, я рекомендую ее, школьная жизнь должна прекрасно на ней отразиться, ведь ее нервам не хватает пищи», — и еще что-то в том же роде.

Меня записали в ближайшую к нам школу для девочек.

Купили мне красивый кожаный ранец, кожаный красный пенал. Полагалась еще маленькая кожаная сумочка через плечо для завтраков, но у меня осталась с детского сада — из плетеной соломы: мама считала, что в такой завтрак будет лучше «дышать». Купили мне, конечно, и неизменный атрибут первого школьного дня всех немецких детей — *Schultüte*, обклеенный красивой бумагой и сверху завязанный шелковой ленточкой большой картонный конус, полный всевозможных гостинцев, чтобы «подсластить» учебу в школе. С ранцами за спиной и этими подарками в обнимку дети и идут потом в первый раз в школу, но у входа отдают их мамам, которые их уносят домой — чтобы дети не отвлекались на уроках.

Помню большой зал в отдельном здании во дворе школы, толпу девочек, среди которых я узнала двух-трех из своего детского сада. Нас разбили на классы, наш — 8 «А» (почему-то нумерация шла от восьмого класса малышей до первого выпускного, а не наоборот). Учитель мне достался весьма внушительный — немолодой полный лысоватый господин с черной бородой. Он привел нас в класс, большой и светлый, рассадил, потом взобрался на возвышение перед доской, уселся за свой большой стол и стал рассказывать нам о школьных правилах. Если хочешь что-нибудь спросить или ответить, подними указательный палец. Когда слушаешь учителя, сиди выпрямившись и слегка откинувшись назад, а руки с переплетенными пальцами положи перед собой на стол. На большой перемене все выходят во двор, гуляют по кругу и едят завтраки. Самый большой грех — опоздать на урок. И ни в коем случае мы не имели права подниматься на возвышение и подходить к его столу.

Двух девочек, Карлу и Урзель, он сразу выделил — очевидно, это были дочки его знакомых или родственницы. Он сказал: «Вот

у меня здесь сбоку висит красивый календарь (нам этого календаря не было видно), и Карла с Урзель по очереди каждый день будут отрывать с него по листку».

Уроки чтения были мне бесконечно скучны, ведь я прекрасно читала и уже прочла к тому времени немало книг. Читала я быстро и всегда про себя; учитель это, несомненно, видел, но был недоволен. Например, когда мы читали в букваре по очереди каждый по слову, я высчитала, какое слово достанется мне, и, не глядя в книгу, радостно доложила: *ein Rad*! Совершенно неожиданно учитель, шагающий между рядами, ударил рукой по моей книге: «Это что еще за новость? Смотри в книгу и води пальцем!»

Я побаивалась этого герра Зиберта! Один раз на перемене он меня сильно стукнул по руке. Но то было за дело — я ковыряла в носу.

Вообще-то больше всех доставалось Эрике. Это была маленькая некрасивая девочка с красными сережками в ушах, дитя очень бедных родителей, что было особенно заметно, когда на большой перемене она получала бесплатное молоко. Она действительно плохо себя вела: вечно опаздывала с переменки или протаскивала в школу «лаковые картинки» (пестрые блестящие изображения цветочков и куколок). Вечно она стояла в углу. Один раз ее даже побили бамбуковой палкой — как мне показалось, несправедливо. После одного из уроков она подбежала к столу учителя, хотела взглянуть на какую-то книжку, лежавшую там, но дотянуться не смогла, ведь стол стоял на возвышении. Тогда она протянула вверх обе руки, думая ухватиться за край стола и подтянуться, но одной рукой угодила в карандашницу господина Зиберта, и на пол высыпались все его карандаши и ручки. Это страшно его прогневило.

Как-то он заявил нам: «Послезавтра, дети, у меня день рождения». Дети передали это родителям, и все принесли по букету цветов или горшочку — весь его стол и все возвышение буквально утопали в цветах. Он поблагодарил нас и сказал, что привел свою жену — та встала из-за стола и поклонилась нам, — чтобы она помогла ему донести все эти цветы домой.

Чтение мне было скучно, зато было интересно учиться писать — этого я еще не умела, и мне нравилась ручка, перо, темно-синие чернила. Придя из школы домой, я сразу бежала за свой столик в спальне и делала задание по письму. Писать нас учили готическим шрифтом — прямые, острые буковки. Я хорошо их выводила, но, как всегда, хотелось быстрее, не хватало терпения, и потому в тетрадках у меня было грязновато: то клякса, то между буквами неодинаковые расстояния, и я скоро поняла, что

мне никогда не достичь аккуратного красивого почерка, как, например, у Ильзы Флайшер, девочки необыкновенно чистенькой, у которой в тетрадях и книжках никогда не загибались уголки. Мне оставалось только вздыхать.

Арифметика мне тогда давалась довольно легко — это уже позже я охладела к ней. Кроме письма, чтения и арифметики у нас еще были уроки религии и рисования. Пения как такового не было, но иногда в конце занятий герр Зиберт доставал из своего стола скрипку и играл нам. Рисовали мы больше дома, а учитель потом проходил по рядам, смотрел наши тетради и ставил отметки. Помню его то и дело звучавший деловитый вопрос: «Кто помогал?» И обязательно правдивые ответы: «папа», «старший брат» и так далее. Он тогда делал только черту и отметку не ставил. Меня он никогда не спрашивал, зато всегда хвалил. И обязательно все наши рисунки потом вывешивались в классе для всеобщего обозрения.

Сначала я долго не могла найти себе подружку в классе: девочки, которые мне нравились, уже имели подруг по дошкольной жизни или по дому, и я их не интересовала. Минхен Линке из моего детсада, с которой меня сначала посадили, тут же стащила у меня карандаш и резинку, и вообще она была врушка и мне не очень нравилась. Наконец как-то на переменке ко мне подошла Элли Кузик, похлопала меня по плечу и сказала: «Ты можешь быть моей маленькой подружкой». Правда, сидела она далеко от меня, да и жила неблизко, но на переменках мы с той поры всегда гуляли с ней в паре, а потом даже обменялись визитками. Отец у нее был портным.

Болезнь

В декабре 1929 года я тяжело заболела. Сначала думали, что это ангина, потом оказалось — скарлатина. Сыпи у меня никакой так и не было, но много дней держалась высокая температура и очень болело горло. Меня положили на широкую тахту в гостиной, и ко мне ежедневно приходил наш домашний доктор, которого звали Альбрехт, как нашу улицу. Дети его очень любили, и он был, по-видимому, неплохой врач, но на этот раз он ничем не мог мне помочь, только удивлялся, что температура у меня не падает, и был очень озабочен.

Близилось Рождество, к нам, как всегда, приехала бабушка, но ее присутствие раздражало меня: она, когда ела, стучала вставными зубами, и я незаметно затыкала уши. Вообще же я лежала в какой-то полной апатии. Вот ко мне на тахту присела

мама, я смотрю на нее, мне трудно отвести взгляд, и вдруг кажется, что она растет, растет, вот уже ее рука и кофточка заняли все мое поле зрения, все расплывается, надвигается на меня, я сама куда-то уплываю, и все качается… Наконец я силой перевожу взгляд, и все принимает свои нормальные размеры.

Фрай Оленбостель принесла мне с рынка невиданных размеров красное яблоко. Целый день я рассматривала его, вертела перед собой в руках, оно было тяжелое, и приходилось класть его к себе на грудь, потом рядом на подушку. Мне даже не пришла в голову мысль откусить от него кусочек, не говоря уж о том, чтобы его съесть. Было тихое чувство благодарности к старой хозяйке за то, что она развлекла меня.

Елку поставили не у нас в комнате, а у фрау Оленбостель, и вечером 24-го меня, завернутую в одеяло, папа ненадолго отнес туда. Горели свечки, под елкой лежали подарки для меня, но было как-то грустно и тихо. Незадолго до моей болезни мы побывали на выставке детской книги, и там мне очень понравилась большая книга *Peterchens Mondfahrt* с прекрасными цветными иллюстрациями Г. Балушека. Книга была очень дорогая, и я даже мечтать о ней не смела, но вот папа подарил мне ее, а мне не хватало сил радоваться, по лицу потекли слезы. Все знали, что больше всего я бываю рада книгам, и фрау Оленбостель тоже подарила мне книгу — Альберта Сикстуса, о мухах.

Я сразу стала читать эти новые сказки, но температура у меня после Рождества начала подниматься еще выше. Доктор Альбрехт обнаружил у меня в горле абсцессы и пригласил своего знакомого хирурга разрезать их. Резали два раза: первый раз неожиданно для меня, а второй раз я уже боялась и ненавидела этого мужчину с блестящим ножичком. Но сил сопротивляться у меня не было. Мама оба раза выбегала из комнаты и запиралась в ванной, чтобы не видеть этого ужаса. Все были уверены, что я умру, мне же, хотя и было совсем плохо, вовсе не приходила в голову мысль о смерти. Это я хорошо помню. Наверное, я просто не сознавала еще, что такое бывает. Доктор Альбрехт сказал, что, если после второго прокола температура у меня не спадет, он бессилен что-либо сделать и меня придется везти в больницу. А у меня на следующий день к обеду уже был почти 41°. Через Торгпредство достали для меня место в «Шарите»[16], и вечером меня повезли. Мама и бабушка плакали, когда провожали меня до машины, со мной же вместе поехали папа и доктор Альбрехт. Когда мы доехали до «Шарите», у меня было уже только 37,8. Все стали говорить о том, что днем у меня был кризис, а теперь мне уже будет лучше. Но я все-таки пролежала в больнице больше трех

недель. Меня поместили в палату, где лежала еще молодая женщина, больная астмой; ее кровать стояла за моим изголовьем, и я так и не рассмотрела ее лица. Лечили меня всякими лекарствами, возили на какое-то облучение горла. Я долго была так слаба, что не могла ходить, не было даже сил присесть на кровати. Родителей ко мне не пускали, хотя я все смотрела на стеклянную дверь в надежде, что там появится знакомое лицо. Но врачи и сестры были ласковы со мной. Постепенно у меня стал появляться аппетит: особенно мне запомнились то ли завтраки, то ли полдники, когда приносили на подносе кофе и бисквиты с дырочками и рифлеными краями. Прежде чем съесть их, я с ними играла: ломала на части по дырочкам, потом опять складывала. Есть их тоже можно было по-разному: то жевать с хрустом, то, обмакнув быстро в кофе, сразу глотать как мягкие подушечки.

Наконец 23 января 1930 года меня привезли домой. Там меня ждал сюрприз: все мои прежние мишки и лисенок сидели в ряд на диване с плакатом: «Добро пожаловать домой, милая наша хозяйка!» А на полу перед ними сидел огромный новый мишка, желтый, урчащий, если его наклонить, — сущий красавец! Папа предложил назвать его Пец-Бурумбуц, и это имя так и осталось за ним. Я очень полюбила свою новую игрушку — наверное, и родителям моим приятно было видеть мою радость.

Кукол я вообще никогда не признавала. Зато радовалась мячам, но самому красивому мячу, который мне подарили в 1929 году на день рождения, сразу не повезло. Он был в пестрой сетке, большой, в желто-красно-зеленых сегментах, вся его поверхность была к тому же пупырчатой. Я тогда на следующий же день взяла его с собой на Шлахтензее, и там он с горки скатился в озеро. Другие гуляющие пытались достать его палками, но напрасно, тогда из-за деревьев вышел мужчина с большой собакой и сказал: «Не грусти, девочка, сейчас мы тебе вернем твой мяч». Он шепнул что-то своей собаке, и та стремительно бросилась в воду и поплыла, схватила мой мяч и вынесла его в зубах. Но, о ужас, она его, конечно, прокусила. Мужчина только руками развел и быстро исчез, а я осталась с пестрыми резиновыми лоскутками в руках, окруженная сочувствующими людьми.

Отъезд

Я стала снова ходить в школу, и жизнь потекла своим чередом. Только оказалось, что, пока я болела, Харро отправили к родственникам его отца в Голландию, а фрау Эггерс тоже выехала и сняла где-то меньшую комнату. Вместо них в тех комнатах поселилась тетя Ева. Но мои родители были за что-то на нее обижены и почти с ней не разговаривали. Мне она вдруг подарила маленькую железную дорогу — единственный подарок, который я от нее за все время получила, но этот ее жест тоже моих родителей чем-то раздосадовал.

А потом, в середине февраля, настал тот вечер, когда мы с мамой сидели и что-то вырезали из бумаги и вдруг вошел папа, дошел до середины комнаты, почти выронил свой тяжелый портфель, опустился на стул и сказал: «Меня посылают в Россию».

Мы были ошарашены этим сообщением, оно было совершенно неожиданным, хотя… Ведь уехали же еще в 1927 году Шустовы, отзывали папиного коллегу, Генодмана, и, когда тот вдруг решил остаться в Германии, все, и мама тоже, были шокированы. Должен же был и папа когда-нибудь вернуться! Но, конечно, папа боялся, что мама откажется с ним ехать, и он потеряет и ее, и меня. Однако мама, хотя и часто тайком плакала в последующие дни, сказала, что, конечно же, поедет. Ехать нам было предписано в середине марта, и у нас был месяц на сборы. Родители мои, у которых никогда еще в жизни не было своего уголка и мебели, были люди непрактичные и понятия не имели, что надо везти с собой. Тем более, было неясно, где мы будем жить. Папе дали письменное заверение от Металлоимпорта, что на вокзале нас будет ждать представитель «с ключом от нашей комнаты», но что это будет за комната, какого размера, было неизвестно. Наконец купили две огромные прямоугольные корзины с замками и большой сундук, куда уложили постельное белье, платье, посуду и книги. Кто-то сказал папе, что в Москве много клопов, поэтому купили три складные железные кровати и матрасики к ним — это и была вся наша мебель. Купили еще два новых одеяла, нам с папой по новому теплому зимнему пальто да две керосинки марки «Грец». Игрушки мои, все, кроме мишек, раздали бедным девочкам из моего класса: мама подходила на улице после школы к тем, кто был похуже одет, и спрашивала: «Хочешь трехкомнатную кукольную квартиру? Кукольный магазин? Кукольную школу (была у меня и такая; в партах даже были маленькие алюминиевые чернильницы)? Кукольную почту? Большую кукольную коляску? Пестрый обруч?»

Что чувствовала я во время этого лихорадочного месяца? Прежде всего любопытство: как там, в России? Совсем немножко жаль было бросать наши комнаты, школу, но несильное это было чувство, не знала я еще, что такое «навсегда». Во всяком случае, игрушек совсем не было жалко. А мишек мы брали с собой.

Я по-русски знала только «Раз-два-три», «Здравствуй» и «останься здесь» (это — папе, когда он утром уходил на работу). Мама знала побольше, так как изучала русский язык по «Письмам Туссен — Лангеншайдта»[17] для самостоятельного овладения языком. Что она могла усвоить, трудно представить себе, — каждая брошюрка содержала на первых двух страницах текст «Сон Обломова». Под каждой строчкой давалось произношение слов немецкими буквами и подстрочный перевод. После этого шли литературный перевод отрывка и масса упражнений с ответами в конце. Упражнения были очень трудными, но мама добросовестно, шевеля губами, старалась их проделывать. Кроме того, мама умела по-русски петь песню «Краснобай ты мой», которой в свое время ее научил еще Ваня Шустов, и они пели ее под гитару в два голоса. Что означали слова этой песни, мама точно не знала. Пела она еще лихой украинский припевчик «Гоп, мои гречаники, гоп, мои милы, шо же мои гречаники не рано поспiли» — этому в Ланквице ее научил Виктор.

О стране мы с мамой имели смутное представление, а папа рассказывал только о своем родном Туркестане. Мама думала, что в России вечный холод и снег и что все русские черноволосы, с черными бородами и немного дикие.

Когда в Германии были выборы, Йохен с Дитером отыскали в кладовой красно-бело-черный флаг. Отец их был офицером и принадлежал к какой-то политической партии (он был чуть ли не фашист), и вот мальчики, видимо, слышали дома какие-то разговоры, они таскали флаг взад-вперед по коридору и выкрикивали: «Нас предали! Нас предали! На выборах! На выборах!» Я, конечно, тоже орала вместе с ними. Но, когда это услышал папа, он выскочил из комнаты, оторвал меня от флагштока и втащил в комнату. Он был очень сердит на меня и попытался объяснить, что мы никакого отношения к этому флагу не имеем, что его родина, Россия, — это страна, где все люди равны, где нет бедных и богатых и нет партий. Я поняла его только наполовину, но мысль, что «все равны», мне понравилась. Теперь, перед отъездом, мне это вспомнилось.

Вообще же весь этот месяц прошел сумбурно, казалось, ничто уже не стоит на своем месте, куда-то делся стержень, на котором держалась наша жизнь. Люди тоже стали как тени и меньше меня интересовали — фрау Оленбостель, мальчики, одноклассники и

сама школа. Приехали бабушка, тетя Анни и даже мамин брат Карл, который где-то работал метрдотелем. Он мне очень понравился: был хорош собой, с красивым стеклянным глазом, водил всех нас в кафе и угощал пирожными. Я наконец полюбила бабушку! Вот как это получилось. Я уже лежала в кровати, взрослые все в гостиной о чем-то разговаривали, мне что-то понадобилось, и я стала звать папу и маму, они не слышали, а я звала все громче, и вдруг в спальню тихо вошла бабушка. «Ты что, голубушка моя *(mein Täubchen)?»* — спросила она. И это маленькое словцо «голубушка», совсем непривычное для немцев (мама вообще была против сюсюканья, даже уменьшительные суффиксы были у нее не в почете), страшно поразило меня. «Ведь бабушка любит меня», — вдруг поняла я, сглотнула слезу и даже забыла, зачем кого-то звала. «Что вы все там делаете?» — спросила я, чтобы что-то сказать, а бабушка встала в ногах моей кровати, оперлась на ее спинку и все приговаривала: «Моя голубка маленькая, Лорелей. Ведь ты у нас Лорелей? Знаешь эту песню?» «Конечно, знаю» — и я стала петь, но у меня опять застрял комок в горле. «Спокойной ночи, спи хорошо, уже поздно», — сказала бабушка и вышла. А мне не хотелось, чтобы она уходила, — господи, ну почему я всегда ее так обижала? Ведь она любит меня. Я опять в ту ночь долго не могла уснуть.

Наконец настал день, когда господин Зиберт вызвал меня на свою кафедру и объявил классу: «Сегодня у меня для вас грустная новость, дети. От нас уезжает Ганна-Лора Фаерман, она едет с родителями в Россию». Он выдал нам с мамой табель: я немножко не доучилась до конца первого года. По всем предметам у меня стояло 2. Учитель объяснил, что выше оценок он за первый год вообще никому не ставит. Еще он напыщенно заявил: «Ну что ж, может быть, мои научные поездки приведут меня когда-нибудь и в Россию, тогда мы еще увидимся!» Мама потом смеялась над этими словами.

Пришел день отъезда. На вокзале нас провожали бабушка, Анни, Карл, фрау Оленбостель, Ева, Соня Майкон, не помню кто еще. Надарили нам коробок с конфетами, фруктов…

В вагоне было очень интересно. Рядом в купе ехала маленькая кудрявая девочка — француженка. Я сидела в проходе с Пецем-Бурумбуцем на коленях и читала книжку, а она вошла с большой куклой и села напротив меня. Она сразу заговорила со мной, и папа взялся нам переводить. Она все рассказывала про свою куклу.

Вечером мы уснули на своих полках, а ночью поезд остановился: мы прибыли на пограничную станцию Негорелое, и надо было пересаживаться на другой поезд. В Негорелом

производился таможенный осмотр. Служащие таможни были очень грубы, они перерыли все наши вещи, разбили одну из маминых красивых сборных чашек, саму маму увели в отдельную комнату, где обыскали ее одежду, у меня вырвали из рук Пеца-Бурумбуца и в нескольких направлениях проткнули его длинной иглой. При этом они сломали его рычалку, и он с тех пор молчал. Только, если потрясти его, внутри что-то тарахтело.

Меня это очень огорчило, и я даже не запомнила, как мы потом ехали дальше.

Москва

Первые недели

Серым пасмурным утром 17 марта 1930 года мы прибыли на Белорусский вокзал. На перроне не было ни «нашего представителя с ключами», ни даже дяди Ильи! Мы вышли в просторный прокуренный вестибюль, папа посадил нас с мамой в углу на скамейку, а сам пошел к телефонам-автоматам. Вернулся он очень нескоро, растерянно разводя руками. Дядя Эля не смог нас встретить, потому что накануне заболела тифом его жена Любочка. А в Металлоимпорте никто ни о чем не знал. «Посылали меня от одного к другому, сказали, чтобы мы ехали на квартиру к одному сотруднику — немцу Ширмеру».

Мы поплелись на площадь. Шел мелкий мокрый снег. Папа в Москве был впервые, понятия не имел, где эта Большая Ордынка, на которой жили Ширмеры. Наконец наняли извозчика, и мы покатили по улице Горького. Снег в то время с улиц почти не убирали, с обеих сторон мостовой были рыхлые серые сугробы, слякоть была неимоверная, и брызги из-под колес летели нам в лицо.

Ширмеры жили в четырехэтажном доме в глубине одного из дворов. У них была одна большая квартира, из которой массивная белая дверь вела еще к одной квартирантке, симпатичной русской женщине, которая сразу угостила нас чаем с вареньем и стала сочувствовать: как мы будем жить в одной квартире с этими ужасными Ширмерами. У них действительно была страшная грязь и беспорядок, двое маленьких детей, из которых младшему не было и года. К вечеру привезли часть нашего багажа — обе большие корзины; мы вытащили оттуда постельное белье и посуду. Оказалось, что в дороге разбилось несколько тарелок и чашек.

Мы прожили у Ширмеров около недели; за это время младший ребенок насквозь прописал наши новые одеяла. Меня раза два выводили во двор, где меня сразу окружали дети, но я ни слова не понимала из того, что они говорили, только поиграла их мячом. Папа все эти дни, видимо, обивал пороги разных инстанций, но ничего не смог добиться. Выяснилось только, что поселить нас негде. Пообещали дать временно комнату, когда уедет в командировку одна сотрудница, а до того предложили нам жить в гостинице. Мама была готова куда угодно, только бы вырваться из тесноты и грязи и больше никого не стеснять.

И мы переехали в гостиницу «Фантазия». Она стояла в самой середине Земляного вала; вокруг нее со всех сторон грохотали до предела переполненные трамваи. Люди гроздьями висели на ступеньках, вцепившись в поручни, на буферах ехали беспризорные. Трамваи почти беспрерывно звенели: на линии Б звонки, глухие и нетерпеливые, извлекались частым нажатием ногой на металлический выступ перед сиденьем вожатого, у других, более коротких вагонов звоночки были выше тоном и заливистее. Место было бойкое, и на улицах вокруг всегда толпилось много народа. Гостиница была ужасна. Внизу, правда, стоял швейцар и с елейной улыбкой открывал дверь перед посетителями, но на этом весь комфорт и кончался. Номер у нас был мрачный и грязный. Мама убрала в шкаф хлеб, а за ночь его съели мыши. Потом мы видели мышей и днем. Я не помню, где и чем мы питались, помню только, что папа научил маму слову «кипяток» (почему не «кипятку, пожалуйста» — не знаю, но именно это слова мама выкрикивала, открыв нашу дверь коридорному); запомнила я это потому, что мама говорила «пиккиток», и папа смеялся, когда услышал. Я целыми днями сидела за столом и перечитывала свои старые немецкие книжки; мне было ужасно скучно!

Дядя Эля

В один из тех дней мы наконец поехали к дяде Илье, или Эле, как его называли все родные. Дом, в котором он жил, сразу произвел на меня сильное впечатление (как, впрочем, впечатлял он и всех, кому доводилось там бывать). Этого дома уже нет, как нет рядом с ним и старинного дома с колоннами, где потолки были расписаны крепостными художниками, как нет Собачьей площадки и вообще всего того уголка старинной Москвы. Дядя жил в Николопесковском переулке (позже — улица Вахтангова). С улицы была железная ограда, за оградой — старые липы и яблони и в глубине — двухэтажный деревянный дом, снаружи покрытый белой штукатуркой с желтыми переплетениями по фасаду Слева под балконом несколько ступенек вели в «черный ход». Парадный вход был с правой стороны, им пользовались редко, и он был закрыт тяжелыми засовами и цепями. Через сени черного хода посетитель попадал на кухню с большой дровяной плитой (правда, чаще пользовались керосинками). Кухня сразу окутывала своим постоянным приятным запахом чего-то вкусного и чеснока. Запах не пропадал никогда и даже немного чувствовался в передней. Справа из кухни маленькая дверца вела в крошечную

комнату для прислуги, там умещались только кровать и комодик, зато она была двухсветная. В полу кухни располагался люк, через который можно было спускаться в подпол, где в бочках хранилась вкуснейшая квашеная капуста. А дверь напротив сеней вела в переднюю: прямо — парадный вход, справа — в большую столовую, а слева — самое примечательное — лестница на второй этаж. Желтые ступеньки и широкие перила всегда до блеска натирали воском. Позже мне доводилось съезжать по этим перилам, это не поощрялось, конечно, но какое удовольствие! И вообще, у дяди была собственная лестница, уже одним этим эта квартира отличалась от всех других. Под лестницей еще была каморка, всегда запертая на замок. Там была кладовая, где хранились крупы и сервизы. На втором этаже было две комнаты. Дядин кабинет, где всегда пахло лекарствами и еще чем-то очень чистым, медицинским. Там стоял большой письменный стол, по стенам — книжные полки и стеклянный шкафчик, полный каких-то баночек и бутылочек. Вторая комната — спальня с балконом. Обе эти комнаты, как и столовая внизу, имели по два больших окна на две стороны, так что откуда-нибудь всегда заглядывало солнце, и на стенах и на полу плясали тени от листвы лип и яблонь. Между кабинетом и спальней была ванная, тоже с окном, с белоснежной ванной при дровяной печурке; еще там была раковина с синим луковичным рисунком, где кран был как маленький душик. Мебель у дяди была простая. В спальне, правда, стоял гарнитур цвета слоновой кости — две кровати рядом, два ночных столика и шкаф, но вещи эти были простые, без всяких претензий. Внизу стоял буфет темного дерева с синим стеклом, два огромных кресла и диван, обтянутые темным дерматином, — случайные предметы, просто служившие своим целям. Дом дядин привлекал не роскошной обстановкой, а особым уютом оштукатуренных, обтесанных бревенчатых стен, проложенных для тепла паклей, своих белоснежных кафельных печей (я любила подолгу стоять, приложив щеку к их гладкому нежному теплу). Дом привлекал спокойным, сдержанным укладом, который заставлял забывать на время все волнения, отключал от шумного тревожного мира вокруг.

В тот год, когда мы приехали, дядю временно «уплотнили»: в столовую внизу вселили какое-то семейство, но их вскоре выселили, во всяком случае, я совсем не помню этих людей.

Жену дяди Эли звали Любочкой (никогда — Любой. Моя мама была только Маргой), но между собой они звали друг друга только Лялик и Люлик. Мы сразу поняли, что говорить в этом доме было принято тихо, а двигаться — не спеша. В то время жива была еще мать тети Любы, грузная чернобровая усатая

старушка, которую я мысленно вижу сидящей за столом и перебирающей крупу — занятие, очень удивившее мою маму В этой семье любили каши, картошку почти никогда не ели. Вообще же готовили необыкновенно вкусно, особенно борщи, да и другие супы, даже я там ела, кажется, неплохо. Все там нравилось, может быть, не в последнюю очередь благодаря накрахмаленным белоснежным скатертям и тяжелым серебряным ложкам, а под вилки клались смешные подставочки. Больше же всего меня поразила серебряная сахарница с изображением «богатырской заставы». В наши первые посещения дяди меня именно поражали все эти вещи, бревенчатые стены, запахи. Мной там мало занимались, да и меня люди интересовали меньше. У дяди тогда была рябенькая шустрая домработница Саша. Тетя Люба вызывала ее к себе наверх стуком в пол каблуком. Эта Саша очень любила детей и вскоре перешла работать в детский сад. Меня она часто обнимала и называла «моя крошка». Хотя я была довольно ершистым ребенком, ласки Саши мне не были неприятны. Запомнилось, как она везет меня в трамвае в нашу «Фантазию». Крепко прижав меня к себе, она протискивается вперед, следя, как бы меня не раздавили: «Ах ты, моя крошечка», — и еще что-то, мне непонятное. Я спросила потом у папы, что такое «крошка», он сказал — *Krümelchen*[18], и я очень удивилась, что Саша меня сравнивает с хлебом.

Дядя Эля в то время уже имел степень доктора наук. Он работал в Яузской больнице, где у него была группа аспирантов, всю жизнь потом боготворивших его, все они были талантливы и стали известными хирургами и учеными. Мой папа был всего-навсего маленьким служащим в Металлоимпорте, зарабатывая гроши, но для дяди Ильи с детства папа был любимым и уважаемым старшим братом. Правда, встречать нас на вокзал дядя не поехал: боялся чего-то? И ни разу не предложил нам пожить у них, но мама, скорее всего, и сама бы не захотела. Тетя Люба держалась с нами довольно холодно и сдержанно. Мы все-таки были ниже ее по положению, да и мама показалась ей, наверное, слишком простой и наивной, к тому же была еще и необразованной. Сама тетя Люба окончила гимназию и два курса юридического факультета, занималась же она всю жизнь только чтением романов, позже — вязанием, а главным образом — обхаживанием своего Лялика. Детей она, по-моему, не любила. И была необыкновенно скупа. Родственники и знакомые всю жизнь над ней посмеивались, прислуга хваталась за голову, о ее скупости ходили легенды и анекдоты. Лишь много-много лет спустя, после ее смерти, я поняла, что это была не только скупость для других. Она и себе во всем отказывала. Никогда не

съедала больше двух-трех ягодок клубники, никогда не тратилась на наряды и дома ходила в большой рабочей телогрейке или перештопанной кофте, ей просто в голову не приходило, что другим, может быть, хочется большего. И, надо отдать ей должное, когда у них собиралось много народу, стол был обилен и разнообразен. Мама всю жизнь тетю Любу побаивалась (хотя иногда, за глаза, посмеивалась над ней); побаивалась, но ценила ее мнение, хотя у Любови Владимировны житейского опыта не было никакого, она жила «под стеклянным колпаком». Но и все знакомые и приезжавшие из Украины ее гимназические подруги никогда ни в чем ей не перечили, уважали ее — может быть, из-за имени и заслуг дяди?

Мы с мамой продолжали осваивать русский язык. Маме очень понравилось варенье из черной смородины в маленьких узких баночках. Тетя Люба объяснила ей, что надо спрашивать только баночки Моссельпрома. Мама не поняла, спросила у продавщицы: «Мосельпром есть?» (Потом в шутку всегда так называли эти ягоды.) «Мама, как правильно, «пажалуста» или «пужаласта»? — «Пужаласта». — «А тетя Люба по телефону кому-то сказала «пажалуста».

Почему-то мне запомнилась фраза «кондуктор по требованию», после чего трамвай всегда останавливался. Таких остановок было много, и слышать эти слова можно было очень часто.

Воронцовская улица (1930–1931)

В апреле 1930 года мы переехали на свою первую квартиру — в свою первую московскую комнату в коммунальной квартире: уехала наконец в Америку та сотрудница, и мы до ее возвращения заселили ее комнату на углу Воронцовской улицы и Глотова переулка, дом 24/6, квартира 89, на первом этаже. Въехали, расставили свои три белые железные кровати, поставили одну на другую большие плетеные корзины, рядом — сундук да еще мой маленький детский столик. Больше у нас ничего не было. Денег не было тоже. Наконец папе дали в рассрочку обеденный стол, простенький буфет, платяной шкаф и шесть венских стульев, на всех этих вещах были металлические бирочки «Металлоимпорт, НКВТ». Вынесли на кухню керосинки, но там оказался газ. Правда, соседки так привыкли к примусам и керосинкам, что чаще готовили на них. Где-то на рынке купили кустарный кухонный столик. Папа смастерил из ящика и фанерных дощечек маленький туалетный столик, обил его желтой клеенкой, мама надела на железную тарелку над лампой кружева, получилось что-то вроде абажурчика. Окна занавесили шторами из простыней — папа сделал так, что они задвигались и раздвигались на веревочном шнуре. На стену над моей кроватью повесили текинский коврик, вышитый когда-то бабушкой Верой. Мы были довольны, к большему уюту мои родители стремиться и не думали.

Соседи нас встретили очень дружелюбно. Позже выяснилось, что они не любили ту, прежнюю, которая уехала. Большую комнату рядом с нашей занимали Шибакины. Александра Григорьевна читала запоем всевозможные книги; она любила, громко шаркая, бегать взад-вперед из комнаты в кухню, при этом часто пугающе звонко икала. Ее муж дядя Федя, небольшого роста, нос пуговкой, работал на заводе «Динамо». И два их сына — Борис годом старше меня и Вова на год младше. Оба они были малоинтересны. Старший, худой и бледный, страдал гемофилией и всегда был весь в синяках, а младший был толстым, как отец, рыжеватым и глуповатым. Другая семья, Шубины, ютилась в крошечной, в одно окно, комнатушке; на пять человек у них было только две кровати, небольшой столик да два стула. Лизавета Ивановна была приветливая, совсем еще молодая, шустрая; муж ее Дмитрий Иванович, как и сосед Федя, не дурак выпить; это был здоровенный мужик, стриженный под скобу, с черной бородой,

работал он где-то грузчиком. Он был родом из-под Рязани, она — из окрестностей Тулы. Мать тети Лизы помнила Льва Толстого — тот однажды беседовал с ней. (Эта старушка приезжала как-то погостить и поразила меня широченной юбкой, сшитой из множества пестрых полосок). У Шубиных было трое детей — старший Ваня девяти лет, робкая скромница Нюша, немного моложе меня, и полуторагодовалый Толик. Толик почти всегда бегал босиком, в короткой рубашонке. Дети спали на полу и укрывались большим лоскутным одеялом. Питались они отвратительно, малыша кормили солеными огурцами, и у него был вечный понос и прыщики на мордашке. (Мама пробовала их подкармливать, но безуспешно — им не нравилась наша еда.) Нюша однажды выплюнула из куриного бульона клецку прямо на стол и зажала рот рукавом. А однажды Лизавета уехала на два дня, и мама обещала покормить Дмитрия обедами. Она хотела сделать все как можно вкуснее, приготовила азу с картофельным пюре и очень вкусной подливкой. Дмитрий молча взял обед в комнату, потому вынес миску и ничего не сказал. Мама ожидала, что он скажет спасибо и похвалит еду, не удержалась и спросила: «Ну что? Понравилось вам?» «Ды ничаво-о-о», — протянул он с интонацией «проглотил — не стошнило»).

Из такой бедности и нужды у неграмотных родителей выросли потом хорошие ребята. Ваня, который с утра до ночи подбирал что-то на балалаечке, окончил музыкальный техникум и стал гармонистом, Нюша окончила бухгалтерские курсы, а Толик стал портным. Толя был, между прочим, любимцем моего папы, тот его баловал, показывая, как надо стучать молотком, для чего гвозди, и малыш то и дело появлялся у нас на пороге: «А Боря где? А молоток где?»

Нюша стала товарищем всех моих игр, она была первым и последним человеком в моей жизни, который всецело подчинялся мне, у нее не было своих желаний или предложений, повелевала я. А ведь я по природе своей совсем не из тех, кто командует. Но тогда все было против меня — незнание языка, непривычное окружение, не очень-то веселый жизненный уклад, и эта маленькая преданная девочка была мне настоящим бальзамом! Ужасно было только то, что она не могла выговорить мое имя, которое папа передал по-русски как Ганна-Лора. Я стала Ганлюрой, и Ганлюрой я была потом для всего двора. (Лет пять спустя, когда я уже стала Лорой, в пригородном поезде женщина-австрийка, жившая в то время в одном из корпусов нашего дома, воскликнула по-немецки: «Ах, да это же ты, какое же у тебя было странное имя — кажется, Гандериуллой тебя звать, да?») Я ненавидела это свое имя, но вместе с тем и не пыталась

протестовать — думала, так оно и должно звучать по-русски. «Ганлюр-Ганлюра, пойдем гулять!»

Я не совсем хорошо помню, как мы провели лето 1930 года; кажется, Шубины уехали в деревню, и я играла во дворе с другими детьми. Лето было жаркое, и я бегала по двору в одних пестрых трусиках. Я начала усваивать русский язык. «Догания, догания» — слышалось мне. Это мы играли в салочки, и мне кричали: «Догоняй!»

Двор был большой с клумбой посередине, засаженный молодыми деревцами. На противоположной стороне Глотов переулок был застроен редкими одноэтажными деревянными строениями. Напротив нашего окна тупичок с колонкой посередине, где жители тех лачуг брали воду. Если спуститься по переулку, его пересекала улочка Большие Каменщики, там на углу располагался магазин, где были «прикреплены» наши продуктовые карточки. «Мука есть?» — «Муки нет». На следующий день мама: «Муки есть?» Продавщица: «Мука есть!» Дома мама говорит: «Мука, муки… Они сами не знают, как правильно!»

Недалеко от нас каланча, две церкви (одна из них, Новоспасская, цела и сейчас), на площади между церквями небольшой рыночек. И улицы, и переулок, и эта площадь мощены круглыми булыжниками. Напротив большой церкви — тенистый «скверик», как его называла Нюша, а справа от нее, за белой стеной бывшего монастыря, был огромный пустырь, обнесенный деревянным забором. На углу ворота, над ними надпись «Стадион», хотя название это оправдывали лишь две стойки для баскетбола. Еще там были несколько рядов скамеек и что-то вроде эстрады. Все остальное пространство поросло редким клевером и чертополохом. Еще там были две-три выровненные площадки, посыпанные песком, щебнем и кусочками битого стекла. Почему-то мы любили бегать туда и лазить по скамейкам, хотя место и было унылое.

Переулок выходил на Москву-реку. На другом берегу чернели заводы, слева Краснохолмский мост, по которому гремели трамваи. Вообще автомобилей в городе было очень мало, были только трамваи и лошади. Помню толпу на площади около маленькой церквушки, чьи-то причитания. Я пробралась вперед и увидела — лежит около подводы мертвая лошадь со вздутым животом, а причитает пожилой мужик — ему и лошадь жалко, и не знает, как мешки с подводы довезти. Сцена эта произвела на меня глубокое впечатление, то была моя первая встреча со смертью. Будто кто-то сжал сердце в кулак, я долго не могла ни о чем другом думать. Однако никому не рассказала о том, что

видела.

Вообще же меня все интересовало, и особо грустить было некогда. А мама грустила часто, иногда даже плакала. Правда, часто и смеялась, путая русские слова в беседах с соседками. Будучи очень общительным человеком, она каким-то образом все время говорила с ними. Но вот мы идем с ней вечером по темным переулкам среди сугробов, выходим к реке, бредем по пустынной набережной. Мама молчит, я вдруг вижу слезу у нее на глазах, мне жалко маму, я сжимаю ее руку и говорю: «Я буду называть тебя теперь Мумвуш — хочешь?» Мумвуш, казалось мне, звучит ласково и должно ей быть приятно.

Папа вечерами возится со своим самодельным радиоприемником, читает журнал «Радио», крутит и крутит кнопки, раздается писк, сначала высокий, потом ниже, ниже — поймана какая-то станция, незнакомый язык — какое-то чудо, думается мне; снова писк — высоко — низко — музыка. Ах, какая красивая… Мама скучала и, видимо, пожаловалась наконец папе. Он спохватился и накупил сразу массу билетов в разные театры, и родители стали по вечерам через день уходить. Мама наконец «вывела в свет» свое вишневое бархатное платье с кружевами. Редкие волосы она завивала горячими щипцами и чуть-чуть душилась своими любимыми духами «Шипр Коти». Ни губной помады, ни пудры, ни маникюра она не применяла. На шее она постоянно носила тонкую золотую цепочку. Не знаю, много ли понимала мама в этих пьесах; папа, разумеется, объяснял ей все и переводил. Через месяц походы в театр кончились, и они стали вечерами читать вслух друг другу книги.

Я в ту зиму часто болела. Это были бесконечные ангины — видимо, последствия тяжелой скарлатины. Звали ко мне дядю Элю, он сказал, что гланды вырезать не обязательно, а главное у меня в том, что я *unterernährt* — он сказал это по-немецки, не найдя русского слова (недокормленная, как теперь говорят, доходяга). Мне нужно было усиленное питание — молоко, масло, яйца. Все это я не Бог весть как любила. Как и раньше, я плохо ела и поэтому долго еще оставалась девочкой очень худой и бледной. Но я вовсе не была вялой, скорее, слишком подвижной, хотя и проводила много времени за своим столиком, перечитывая старые книги, рисуя и сочиняя роман.

Мои занятия

Я не оговорилась, я действительно писала роман (в своем понимании), и толчком к этому явились длинные серии в

продолжениях, которые я читала еще в Берлине в журнале *Berliner Illustrierte.* Меня там завораживали такие отрывки, как, например, «она с чарующей улыбкой взглянула на него сквозь свой бокал с вином» или «она понимала, что он бросил ее, душа ее разрывалась на части, и она бежала по улице, глотая слезы и не замечая дождя».

Мой роман назывался «Ильзе Роберт». Ильзе Роберт была дочерью капитана и всегда плавала на корабле своего отца. Однажды, когда небо уже покрылось розовыми тучками заката, она, спускаясь вниз по узкой лестнице, столкнулась с красивым молодым человеком — они столкнулись лбами. Взгляды встретились, Ильзе и красивый незнакомец влюбились друг в друга. Под влиянием Ильзе молодой человек возжелал стать капитаном, но пока они решили пожить год на суше, в красивой вилле. Я подробно описала эту виллу и сад и потом никак не могла придумать, какой же финал сочинить этому роману. Наконец, я завершила свое произведение так: «На следующее утро после свадьбы Ильзе открыла окно, высунулась и вдохнула свежий душистый воздух. В эту минуту с ее пальца вдруг соскользнуло обручальное кольцо. Она кинулась в сад его искать… Но так она и не нашла его больше». Эти слова *(doch nie fand sie ihn wieder)* очень насмешили моих родителей: «Прямо детектив какой-то!».

Позже, весной 1931 года, я решила, что мне пора написать мемуары. Больше всего процесс написания их тормозило отсутствие бумаги. Я тайком выдирала последние чистые листы книг. Листы я складывала пополам; писала я, как и «Ильзе Роберт», карандашом, корявыми от спешки печатными буквами. Получился довольно объемистый том страниц в 50. Папа вызвался эти мемуары переплести, и вот целый выходной день мы посветили этой работе; сшивали тетрадочки, потом поклеили на корешок марлю, из картона был сделан заправский переплет, обложки оклеили цветной бумагой, а корешок был матерчатый. Папа очень тщательно и долго все измерял, резал, склеивал, потом клал под пресс, а мне не терпелось скорее все увидеть в готовом виде. На обложку мы еще наклеили картинку: папа нарисовал меня сидящей с Пецем-Бурумбуцем, а мне поручил изобразить фон — наш вышитый коврик. Назвала я книгу незамысловато — *Mein Buch* («Моя книга»). Между прочим, к тексту я нарисовала иллюстрации, а в конце была попытка перемежать повествование русскими фразами.

Книжка это долго потом хранилась у мамы и потерялась, кажется, только во время переезда на другую квартиру в 1971 году.

Еще в эту зиму я начала собирать красивые открыточки, которые мне присылали бабушка и тетя Анни. И влюбилась в географию (пожалуй, именно влюбилась, а не увлеклась). Это произошло оттого, что, во-первых, я сама получила представление о расстояниях, о том, как велик мир; во-вторых, на одной из папиных коробочек из-под радиодеталей были написаны названия столиц, а рядом нарисованы смешные человечки в национальных костюмах, с музыкальными инструментами в руках: *Moskau* — русский Ванечка в косоворотке с балалаечкой, *Budapest* — черноволосый парень с гуселькими, *Madrid*… Я ошибочно полагала, что Европа — тоже страна, и даже напевала на мотив, «музыкального момента» Шуберта: *In de-em Land Europa*[19]… Видя мой интерес, папа купил мне атлас. «Составлен п/р Шокальского». Какой же должен быть счастливый этот Шокальский — он, наверное, везде побывал. А как много, оказывается, на свете воды! Моя любимая игра с Нюшей теперь — корабли: сдвигаем стулья, я — капитан, она — матрос; моя любимая песня: «По-о морям, морям, морям, морям, эх — нынче зде-есь, а завтра там…» Вот по Глотову переулку шагает с бескозыркой на голове настоящий матрос, я с завистью гляжу ему вслед; решено, я буду капитаном! Папа тоже не имел ничего против. Я узнаю, что бывают еще и глобусы: как мне хочется иметь глобус, хоть бы мне купили — но я, конечно, боюсь прямо попросить у папы, только намекаю и все время загадываю: вот я качусь по ледяной дорожке вниз с клумбы во дворе, если не упаду — значит, мне купят глобус. Я не падаю, удерживаюсь на ногах и с более крутых горок — ура! Значит, купят. Не помню точно, когда это было, но действительно купили, еще когда мы жили на Воронцовской. Я и позже любила узнавать о других странах; товарищ Машé (о ней — потом) дала мне почитать книгу об истории и природе Австралии, и мне страстно захотелось в Австралию, я подробно рассмотрела ее карту. Потом попалась русская книжка «В Стране роз», я в ней еще не все понимала, речь в ней шла о рабочих революционерах, но мне после этого захотелось в Болгарию — и хотелось еще долго.

Дед

Зимой или ранней весной 1931 года ненадолго из Баку приехал дед. Он остановился у дяди Эли, к нам приходил раза два. Чувствуя, что он вряд ли долго проживет, он захотел повидаться со своим старшим сыном. Он привез папе диковинные золотые карманные часы с боем, с луной и звездами (но об этом я

узнала позже). Почему-то мне дед не понравился. Он привез мешочек с грецкими орехами и играл со мной в какую-то старинную и скучную игру: поставили наклонно деревянный поднос и спускали по нему одновременно по ореху, чей орех откатится дальше, тот выигрывает и берет оба. Кроме того, он привез мне игру «Вниз по Волге-реке», игра эта меня устраивала, так как имела отношение к географии. Дед все время пел из «Руслана и Людмилы» на мотив лезгинки: «Я татарин, я татарин, я не русский человек, там-там-там, там-рам-та-та…» Ему захотелось со мной прогуляться, и я повела его по площади до маленькой церквушки, я еле отвечала на его вопросы, думала о чем-то своем и радовалась, что он не знает, о чем я думаю, что у меня есть свое, от него скрытое. То ли в ту же весну, то ли на следующий год дед умер в Баку; остановилось его сердце во сне, в ночь на еврейскую Пасху. Я искренне пожалела тогда, что была так неприветлива с ним, когда он приезжал.

Из детей нашего двора я никого не помню. Помню только, что хотелось поскорее стать такой же, как все. Я не знала тогда, что существует Москва ученых, художников, поэтов, я попала в рабочий район (он и назывался Пролетарский) и думала — эти бедные полуголодные дети с их пьющими и неграмотными родителями составляют главное население здесь, в СССР. Самым оскорбительным словом было «буржуй», и я страшно боялась сойти за буржуйку. Как-то летом я кирпичом начертила на плоском камне у нас под окном слово «ЖОПА»; я знала, что слово это нехорошее, но думала, что, если напишу такое, дети поймут, что я — своя в доску, не буржуйская. Конечно же, получилось совсем не так — одна девочка постарше отвела меня в сторонку и сказала: «Как тебе не стыдно, а еще иностранка!» Я была готова провалиться сквозь землю. (Позже, уже в школе, девочки: «Мой папка, когда пьет, всегда злющий, посуду бьет». — «А мой, как придет домой пьяный, маму бьет!» «А мой папка, когда пьяный, всегда смеется», — говорю я. И опять не то: «Ты зачем врешь, твой папа вообще не пьет!») «Буржуи» у нас во дворе, между прочим, имелись. Из одного окна часто слышались граммофонная музыка и смех, показывались красиво одетые женщины с папиросами в руках; они выкидывали из окон красивые бумажки от конфет, вожделенные для нас «фантики», которые мы собирали. Мы набрасывались на эти фантики как коршуны, но орали под окнами самым безобразным образом, скандируя: «Бур-жу-и! Ва-бра-жа-лы!»

Еще была хорошо одетая девушка Аня, которой мы во дворе проходу не давали: «Наша Анечка идет, губочки накрасила!

Анечка — буржуйка!» Однажды Анечка остановилась и сказала нам, что она совсем не буржуйка, а студентка и учится на учительницу Тогда мы отстали от нее.

Площадка

Летом 1931 года меня на месяц отдали в детплощадку. Она помещалась недалеко от нас, на Воронцовской, на первом этаже нового дома. В двух больших помещениях были расставлены столы, стулья, были и разные игры, из них запомнилось лото с изображением посуды, надо было называть эти предметы вместе с их цветом. Белая тарелка, красный чайник — это я уже знала. Но вот мне достался цвета морской волны (или старой бирюзы) кувшин. Как назвать этот цвет? «Голубой! Голубой кувшин! Голубое — небо, голубое — это платье. А кувшин немножко зеленый!» Но никто меня не понял.

Кормили нас в том же помещении; посуду — мисочки и кружки — все принесли из дома. За столом смотрели: кому чья досталась? Из еды запомнился суп с перловкой — очевидно, его давали чаще всего. Я, как всегда, плохо ела, и молодые комсомолец и комсомолка, наши руководители (наверное, студенты), уговаривали меня: «Кушай! Ну давай скажем ей по-немецки». — «Эс, эс…» — «Да не эс, а ис — правда, надо говорить «ис»?» «Да, ис, — говорила я. — Но я не хочу…» После обеда нас укладывали спать на раскладушках во дворе дома. Я, конечно, не спала и умирала от скуки.

Один раз нас всех построили парами и объявили, что сегодня День смычки. Я потом спрашивала у папы, что такое «смычка», но он тоже понятия не имел. Мы направились к Таганской площади. Вместе со всеми я с энтузиазмом пела: «Есть у нас красный флаг, он на палке белой» (только я пела «на полке» и представляла, как красный флаг лежит на полке — почему?) и дальше тоже непонятное: «панни соти во рука, тота самый смелый!» («Понесет его в руках тот, кто…») Еще мы пели «Взвейтесь кострами, синие ночи…». Но эта песня мне не нравилась. Я из нее понимала только «мы пионеры, дети рабочих» и «клич пионеров — всегда будь готов». С этим песнопением мы дошагали до парка им. Прямикова, где нас усадили на скамейки. В течение часа подходили еще и другие «площадки», детей собралось около двухсот. Никто не знал, зачем нас привели и что будет, но потом на сцену выходили какие-то люди, они начали говорить о том, что вот, в День смычки у нас, детей, тоже сегодня смычка, кто-то прочитал стихи. Говорили в рупор, но я так ничего и не поняла.

Вообще на площадке мне было довольно скучно и одиноко.

Надо сказать, что, хотя многих слов и целых предложений я иногда еще не понимала, читать по-русски я научилась очень скоро и читала бегло. Я часто читала нашим квартирным ребятам вслух, и они очень внимательно слушали. Ни разу ни один из них меня не прервал, не поправил, хотя я кое-какие слова неправильно произносила, например «мачёха» вместо «мачеха».

В моем постижении языка были и забавные заблуждения. Например, случай с лозунгом «Будь готов», который я впервые увидела написанным на транспаранте. Праздничные демонстрации в те времена были очень многолюдны. Кого только не несли в этих нескончаемых шеренгах: вместе с портретами вождей над головами демонстрантов подпрыгивали карикатурные изображения толстых капиталистов в цилиндрах с денежными мешками в руках, красноносых прогульщиков, жирных растрепанных попов; в связи с этими попами папа объяснил мне, что в СССР запрещена религия. Поэтому, когда я немного дальше прочитала «Будь готов», я произнесла это как «будь готов» и перевела себе как «бей богов» («будь» перепутала с «бить», а «готт» — по-немецки «Бог», и я думала, что это имя собственное, одинаковое на всех языках).

Ильинское

У нас в то время было мало знакомых, неоткуда им было сразу взяться. Кстати, Металлоимпорт вскоре после нашего приезда расформировали, и папа попал вв/о «Станкоимпорт», где проработал до самой войны.

Единственные, кого мы тут же разыскали, были Шустовы. Они занимали комнату на Шмидтовском проезде. Иван Семенович работал в бухгалтерии одной из внешторговских организаций (позже перешел в тот же Станкоимпорт), тетя Меля занимала какую-то должность в Наркомздраве, а Ире в то время было шесть. Они за три года совсем освоились в Москве, обросли знакомыми — было с кем посоветоваться, когда возникла идея вместе совершать загородные прогулки.

Первое место, куда мы отправились в один из выходных дней, был Серебряный бор. Чтобы попасть туда, надо было утром как можно раньше приехать на Театральную площадь и встать в хвост длиннейшей очереди на небольшой тупорылый автобусик № 4. Он ходил каждые минут двадцать и, страшно переполненный, ехал по улице Герцена, Краснопресненской, мимо Ваганьковского кладбища. За линией белорусского направления железной дороги

Москва, собственно, уже заканчивалась. Сначала еще были дома, но уже разрозненные, барачного типа, а дальше с обеих сторон шоссе простирались нескончаемые пустыри и картофельные поля. Автобусик останавливался у круглого сквера, за которым начинался сосновый бор, а в бору за деревянными заборами — дачи. У автобусной остановки была палаточка, где продавали морс. Мы с Ирой всегда брали с собой прыгалки или мячики и сразу же, выйдя из автобуса, начинали резвиться. Шли по центральной улице между дачами, выходили в небольшой лесок и спускались с крутого берега к Москве-реке. Река была настолько мелкой, что ее переходили вброд. Наши папы сажали нас к себе на плечи и поднимали вверх рюкзаки с подстилками и провиантом, а сзади шли, держась за руки, мама с тетей Мелей. Выбравшись на противоположный берег, совершенно пустынный — до горизонта луга и луга, на которых иногда паслись коровы, — мы поворачивали налево, где был прекрасный песчаный пляж. Чаще всего мы были единственными людьми на этом пляже. Мы купались, искали речные ракушки, рвали цветы на лугу. Где-то за лугами был полигон, и иногда слышалась пулеметная стрельба, порой там же где-то пролетал аэроплан, но это никому не мешало.

В Серебряный бор мы ездили изредка даже еще в 1933 году, в 1935-м, когда мы выбирались туда уже совсем редко, мы обнаружили там другие прекрасные места для прогулок: к прудам (о существовании которых мы и не подозревали раньше), через лес за прудами — к реке; там был очень красивый вид на лесистый противоположный берег.

Еще мы ездили тогда в Болшево. Туда уже ходила электричка — большая редкость для тех времен. Мы направлялись к Клязьме; я не помню, чтобы мы там купались, но иногда брали напрокат лодку. Обычно же мы уходили по высокому берегу реки подальше вправо и там где-нибудь располагались.

Один раз, кажется, в 1932 году, наши соседи Шибакины пригласили нас с собой к родным на Сходню. Это было малозаселенное в то время место; запомнилась березовая роща, редкие избушки, небольшой ручей. У хозяев, где мы были, нас очень поразил чайный гриб в банке; мы сначала боялись это пить.

Как-то, тоже в 1932 году, мы ездили с дядей Элей и тетей Любой в Останкино. Мы перешли через пруд в конце парка и на другом берегу очутились в совсем безлюдном лесу со светлыми полянками, там мы уселись под большим дубом и, как мне помнится, очень весело провели время.

Наконец, в то же лето 1932 года мы по чьему-то совету поехали в Ильинское. Каждые два часа с Белорусского вокзала

отходил паровичок по одноколейной усовской ветке, проходя 27 километров ровно за час. Но не потому, что он так уж медленно ехал, а потому, что минут двадцать стоял на станции Ромашково, ожидая встречного. Станция Ильинское представляла собой длинный деревянный навес со скамейками вдоль стены, там не было даже билетной кассы. Место было пустынное, по обе стороны железнодорожного полотна стоял густой лес, до ближайшей деревни километра три. На этой-то станции мы и высадились в один их жарких летних дней и пошли вслед за другими сошедшими с поезда людьми по утоптанной лесной дорожке. Все приехавшие шли быстро — это были жители села Ильинское, спешившие к себе, а мы поотстали и осматривались. Маме сразу понравилось, что в лесу много черники и земляники, даже у самой дороги. Лес кончился, и мы вышли на широкий луг. Люди все уже ушли далеко вперед по белой дороге с травой между колеями, потом вдруг все как сквозь землю провалились — это они спустились к реке и на пароме переехали в Ильинское. Мы тоже переправились на пароме и пошли берегом реки влево, где кое-где лежали и загорали люди. На наши расспросы они ответили, что наверху, за деревьями, есть дом отдыха и они все оттуда. Вдруг мы услышали громкий плач и увидели небольшую толпу и в ней врача в белом халате. Плакала женщина: утонул ее муж. Он был не совсем трезв и, несмотря на табличку «Купаться запрещено», полез в воду, попал в водоворот; ему делали искусственное дыхание, но уже не смогли спасти. Эта сцена произвела на нас тяжелое впечатление, мы решили больше сюда не ездить и вернулись на том же пароме на другой берег. Там не было ни души, далеко тянулся белоснежный пляж; где-то вдоль берега стояли старые ивы. Вода в реке была совершенно прозрачной, до самой середины было совсем мелко, кое-где из воды выступали большие округлые валуны. Мы недолго посидели на том берегу и уехали, все еще вспоминая утопленника. Но недели через две нам снова захотелось поехать туда, мы решили не переезжать больше на другой берег, а приземлиться под ивами. Купание было чудесно, и мы навещали Ильинское все чаще и чаще, уже не хотелось ездить в другие места. С той поры вплоть до 1940 года, а особенно летом с 1933-го по 1937-й мы ездили туда отдыхать каждый выходной, а в месяц папиного отпуска — через день. Позже мы варьировали пути к Москве-реке; иногда доезжали до Барвихи, а оттуда шли через тихую маленькую деревушку Жуковку все к тем же облюбованным ивам, пробовали ходить и от Раздор, но там было слишком много народу Чаще все-таки выходили в Ильинском; мама ставила себе задачу набрать в лесу полную корзину ягод, а нам с папой хотелось поскорее к

реке, поэтому мы часто оставляли маму добирать свою норму, а сами спешили на пляж. Мы почти всегда были одни под нашей ивой, весь пляж и река — наши. Мы с Ирой строили из сырого прибрежного песка замки, рыли каналы и устраивали парки с веточками, цветами и травой. Папа иногда ловил самодельной удочкой рыбу, хотя это громко сказано, потому что, насколько я помню, единственным его уловом был маленький пескарик, которого мы хорошенько рассмотрели, а потом выпустили обратно. Если с нами были дядя с тетей, то они всегда привозили какое-нибудь особо вкусное угощение, которое тетя Люба называла *Überraschung*[20], — это были или салаты, или что-нибудь испеченное. Обедали мы под ивами или в лесу. В 1938–1939 годах народу на берегу бывало уже больше, особенно по выходным, когда из Барвихи и Жуковки приезжали на пляжи дачники в машинах и привозили с собой ребятишек. Но эти люди больше часа не задерживались и, искупавшись, уезжали обратно. А мы отправлялись на станцию часам к пяти. И всякий раз волнение: бьется сердце, когда показывается из-за поворота вдали паровоз, он подъезжает ближе, и мы крепко зажимаем уши, чтобы он не оглушил нас свистом, потом — спешная посадка; откуда-то всегда набирался народ, и иногда мы, чтобы уж наверняка сидеть, ходили на конечную станцию Усово. В вагоне всегда после солнца горело лицо, в глаза летела копоть от паровоза, я вечно была растрепанная и вспотевшая, зато в носу надолго оставался запах реки, леса, солнца.

В паровозы я была тайно влюблена, хоть и боялась их. Я знала наизусть и умела изображать все оттенки их пыхтения. Пока стоит на вокзале, спокойно делает: «Пыф-ф-ф-пф, пыф-ф-ф-пф». Потом как выпустит снизу струи пара: «Пш-ш-ш-ш!» И сразу после этого часто, глухо, басом: «Пох-пох-пох-пох-пох!» А уж потом, сначала медленно, потом все чаще, начинает набирать темп: «Пых-п**ы**х-пых, пых; пых-п**ы**х-пых, пых…»

Я собирала картонные билетики. Когда мы попадали на первый поезд, в шесть утра, мы были единственными пассажирами в детском вагоне (вагон с занавесочками, на стенах — репродукции из Третьяковки и Русского музея), и я мечтала, как бы было чудесно всегда жить в таком вагоне и объездить в нем весь свет.

В окно я всегда смотрела с правой стороны. Мы с Ирой забирались ногами на выступ вдоль стены вагона, облокачивались на приспущенное окно и торчали там всю дорогу, меняя ноги. Дул ветер, летела копоть: вот линия сворачивает круто вправо, и видно наш паровоз… Только подъезжая к станции Ромашково, я всегда переходила ненадолго на левую сторону:

очень уж хорош там был вид на раскинувшуюся внизу деревню, на милую церквушку около станции. Мысленно я сочиняла всякие романтические истории, которые происходили в этом Ромашкове.

Каждую весну я еле дожидалась, когда мы снова выйдем на нашу лесную дорожку к милым соснам и орешникам, услышим песни зябликов и в конце леса — горлиц. Особенных красот вроде бы и не было в этом Ильинском, но оно почему-то стало родным. Как ни странно, другие люди, кто бывал там, тоже любили эти места, в частности, мне позже приходилось читать об этом и в письмах императрицы Александры, «Записках штурмана» Марины Расковой, одном из рассказов Пришвина и воспоминаниях Светланы Джугашвили.

До неузнаваемости изменилось все в послевоенное время: асфальтированные шоссе, заборы, заборы, дачи, большой мост. И все-таки я до сих пор храню верность тем краям. Но об этом — позже.

Поездка в Германию

Осень 1931 года

В начале сентября 1931 года мама получила разрешение поехать на месяц в Германию повидаться с родными. Меня она брала с собой. Мы уезжали с ней убежденными коммунистками: маме очень нравилось, что здесь можно бесплатно учиться (ах, если бы я была сейчас молодая, повторяла она), что бедных ставят выше богатых, что после четырех дней работы пятый — выходной и многое другое. Все трудности она готова была терпеть, потому что у нее, как и у папы, была вера, вера в грядущее всеобщее равенство, в преодоление препятствий, вера в то, что все, что делают здесь правители, разумно и необходимо для достижения высоких целей. А я радовалась красным флагам, песням (любимая оставалась «По морям», Нюша предпочитала «По долинам и по взгорьям», а общим фаворитом у нас с ней была «Мы красная кавалерия», хотя слова были мне малопонятны, и никто не мог объяснить, что значит «были́ ники́ри чистые»). Когда мы с мамой ездили в центр, я просила, чтобы мне надели мое красное вельветовое платьице. Помню, как скачу рядом с мамой вприпрыжку по Красной площади, пою: «Раз, два, левой, раз, два, левой», стараясь, чтобы все люди и особенно милиционер обратили на меня внимание и сразу оценили, что я — за красных.

Так вот, собрались мы в Гюстров, к бабушке; помню, как нас провожали: кто-то принес нам в дорогу купленных в магазине Инснаба жареных голубей и вафли в серебряной обертке. Дорогу я не помню совсем, помню уже наше прибытие в Берлин. На улицах — сплошные буржуи в шляпах. А в витринах магазинов такие роскошные вещи, и так вкусно пахнет, и все можно купить без карточек… Маме нужно было уладить какие-то формальности с визами, кто-то из Торгпредства должен был передать нам деньги, а уже вечерело, поэтому мы провели ночь в гостинице. Утром сфотографировались для каких-то документов, ходили в разные ведомства, потом ждали на одной шумной площади фрау Майкой (как ее по старой памяти все еще называла мама, хотя она давно уже была Злотникова). Она пришла и передала маме какие-то деньги, и мама была удивлена тем, что эта наша хорошая знакомая даже не поговорила с нами и сразу убежала обратно в Торгпредство[21]. Я заметила тележку с гроздьями бананов: «Мумвуш, ведь у нас теперь есть деньги». Кажется, я

впервые попросила маму купить мне что-то. Мама сказала, что денег у нас мало, а жить на них надо будет месяц, но несколько бананов все-таки купила. Уплетая сладкие плоды, следя за увешанными пестрой рекламой автобусами, слушая речь людей, читая надписи, где все было опять понятным, я допустила в свою душу червячка сомнения: «А может быть, здесь, у буржуев, все-таки лучше?»

Но размышлять над этим было некогда. Мы отправились прямо на *Stettiner Bahnhof* и сели на гюстровский поезд, который через три часа высадил нас прямо в объятия бабушки и тети Анни. Был темный осенний вечер, такой холодный, что зубы стучали. «Мы приехали прямо с экватора на Северный полюс», — сказала я. На меня повесили теплый бабушкин платок. Поминутно подбирая его, чтобы не волочился по земле, я гордо и смело шествовала впереди всех — я заявила, что хорошо помню дорогу от вокзала до бабушкиного дома. Мне не поверили, и я решила доказать — безошибочно провела всех по улицам и узким переулочкам на Домплац. Все были очень удивлены. А я, пока мы шли, поглядывала на звезды: как раз перед отъездом я начала ими интересоваться, у меня даже были дома две малопонятные книжки — одна про планетарий, другая из истории астрономии. Далекие эти миры завораживали меня: как это у вселенной нет конца? Неужели каждая звезда — солнце? А какие названия у звезд: Альтаир… Я даже решила назвать так своего сына. Планеты были понятнее и ближе — вон та, яркая, наверное, Юпитер? Может быть, в Москве папа сейчас тоже смотрит на эту звезду, ведь ее там тоже видно? От всего этого и от усталости кружилась голова.

Бабушкин дом встретил меня знакомыми запахами, только теперь я ко всему присматривалась гораздо внимательнее, ведь многое успело забыться и воспринималось острее в сравнении с новым. А на следующий день мы пошли на Рыночную площадь в большой магазин «Деликатессен», накупили всяких вкусных вещей, даже ананас — это нас угощала тетя Анни.

Бабушка сказала, что в городке стало очень неспокойно и вечером в одиночку лучше не выходить: кипели политические страсти, и часто по утрам находили на улице убитых. Город был небольшой, и могли узнать, что мы из коммунистической страны. Мы стали так бояться, что даже случился курьез. Мы с мамой и бабушкой шли по аллее к ее садовому участку, вдруг бабушка оглянулась — за нами на некотором расстоянии шли двое подозрительных мужчин и смотрели на нас. «Боже мой, что нам делать? — шепнула бабушка. — Давайте сделаем вид, что мы не одни». И мы стали громко звать несуществующего Карла, который

будто бы находился в одном из садов. Мне это понравилось, и я стала призывать еще и дядю Петера, и Фрица, а потом басом откликалась за них. Когда мы снова незаметно посмотрели назад, «преследователей» уже не было. Но был случай и более неприятный: меня послали за хлебом, и я вместо ближней отправилась в более крупную булочную, где детям всегда давали в придачу вкусный крендель. Я шла туда безлюдным переулочком — только перед одним домом играли дети. Когда я приблизилась к ним, один мальчишка вдруг закричал: «Еврейка! Еврейка!» — и все другие стали подпрыгивать и подхватили его крик, замахиваясь на меня руками. Я побежала вперед без оглядки и только в булочной перевела дух. Никому я об этом не рассказала, но больше той улочкой не ходила.

Несмотря на опасную обстановку, мы с мамой все-таки вели коммунистическую пропаганду. А что касается меня, то я устроила концерт.

Конечно, все старушки у бабушкиного дома встретили нас с большим любопытством, много расспрашивали. У одной из них как раз гостил сын, инвалид войны, с деревянной ногой; оказалось, что он был в плену в Сибири. «Все бы отдал, чтобы еще раз попасть в те края, — сказал он. — Я бы даже жить остался в Сибири навсегда. Какие там просторы, какая красота». Он очень удивился, узнав, что мы с мамой еще не были в Сибири.

Так вот, я написала объявление, что такого-то сентября в такой-то час внизу в общей прихожей состоится концерт русских песен и танцев. Пришли все старушки со своими стульями, расселись в ряд, и весь вымощенный красным кирпичом зал был предоставлен в мое распоряжение. Прежде всего я спела для публики на немецком языке припев «Интернационала». Затем пропела по куплету из всех советских песен, какие знала: и про Буденного, и про приамурских партизан, и «есть у нас красный флаг», причем я не просто пела, а одновременно маршировала по вестибюлю, энергично размахивая руками. Старушки слушали, разинув рты; они были потрясены тем, что я уже научилась говорить по-русски. Последний и главный номер моей программы — пляска. Отчасти под «По морям», отчасти под мотив «Николай, давай покурим, деньги есть, бумагу купим», я выдала публике импровизацию в народном стиле, завершив ее пляской вприсядку. Этот никогда не виданный старушками элемент привел их в совершенный восторг, они громко хлопали мне и утирали кончиками фартуков слезы умиления. Потом они в подолах тех же фартуков принесли мне целую кучу груш и яблок — это была их награда мне, и я была страшно довольна и горда!

Мама агитировала за коммунизм словесно. Помню, пошли мы

с какими-то знакомыми на пустырь у новостроек на окраине города. И там мама и один из мужчин до крика спорили о чем-то. Я тогда не очень слушала их, но позже мама рассказывала, что этот мужчина говорил: «Хорошо, вы за коммунистов, а я фашист, но вообще-то мне наплевать, что как называется. Мне жить хочется по-человечески. У коммунистов ваших все слова красивые, но пока остаются одни слова. А вот Гитлер — он нам, рабочим, обещает дать каждому по вилле. А позже и по машине. Я — рабочий, и меня это устраивает, поэтому я за Гитлера. Но одно я вам скажу: ежели не сдержит Гитлер своих обещаний, то я с завтрашнего же дня коммунист!» Помню, как он тряс в воздухе кулаком.

Что еще запомнилось мне из этой поездки? Веселая осенняя ярмарка, куда мы специально ходили послушать некоего *Spitzen-Fritz* (продавца кружев). У его лотка всегда собиралась толпа. Продавая кружева, торгуясь и отмеряя их, он громко сыпал шутками и прибаутками, импровизировал рифмованные куплеты, смеялся и над покупательницами, и над толпой. «Сюда, сюда, у кого уже есть, у кого еще нет, кому не хватает! Да нет, не ума — я про кружева. Ну что ты так мало берешь, ты вон какая толстая, тебя муж не обхватит, тебе три метра надо, чтобы пустить кружавчики вокруг талии. Что? Не носят вокруг талии? Ну, штанишки снизу обошьешь. Тоже не хочешь? Штанишек не носишь, что ли?» И дальше без конца в том же духе. Женщины помирали со смеху.

Еще был детский осенний праздник: ребятишки вечером ходили группами по улицам с разноцветными фонариками в руках и пели: *Laterne, Laterne, Laterne — die Sonne, der Mond und die Sterne*[22]… Мне тоже купили фонарик и разрешили пройти по одной улочке с детишками.

Нашла я у бабушки и чтиво: на полке над ее письменным столом я обнаружила две старые книжки — «52 воскресенья», дневник девушки лет двенадцати, и «Флекхен» — о девочке и ее собачке. Книжки были с цветными картинками, от страниц пахло клеем и немного плесенью. Я перечитала и ту и другую по два раза.

Помню еще, как ездили в Росток к тете Анни, как сидели втроем в сумерках в крошечной ее комнатушке и пели каноном:

I. *Oh, wie wohl ist mir am Abend, mir am Abend*[23] (до, ре, ми, до [фа, соль, соль, ми, ре — 2 р.])

II. *Wenn zur Ruh die Glocken läuten, Glocken läuten*[24] (до, ми, соль, до [ля, соль, соль, ми, ре — 2 р.])

III. *Bimm-hamm-humm* (3 р.) (до, соль, ниже до)

Мы пели так красиво, что хозяева, у которых тетя снимала

жилплощадь, тихо вошли и стали слушать, а потом и петь вместе с нами.

Мы переночевали у тети все в одной кровати, а наутро пошли в самый большой универмаг города, где как раз ввели самообслуживание; можно было сколько угодно рыться на полках, только у дверей отделов стояли продавцы и следили. Тетя Анни выбрала мне куклу-мальчика. Она не знала, что я совсем не любила играть в куклы!

К бабушке приходила тетя Эльза: от нее снова, в который уже раз, ушел Шольц, прихватив все ее деньги. Все давно уговаривали ее не пускать больше этого пьяницу и негодяя и теперь отказывались ее жалеть, поэтому она сидела у нас за печкой и дулась. Позже был целый переполох. К бабушке вдруг приехал на велосипеде парнишка лет четырнадцати; это был старший сын тети Эльзы, учившийся на кого-то в другом городе. «Боже мой, — воскликнула бабушка. — Откуда у тебя велосипед?» Оказалось, он взял его у кого-то без спросу. Бабушка вообразила, что за ним уже гонится полиция, она сказала, что это воровство и чтобы он немедленно велосипед вернул. А Эльзу, совершенно спокойно отнесшуюся к этому инциденту, обвинили в том, что она распустила сына и вот теперь он всех опозорил.

Папа писал нам письма через день, он опять присылал мне рисунки про моих «зверей», писал про Нюшу и Толика и как все скучают по мне. Мы тоже аккуратно отвечали ему (каким-то чудом сохранились мои ответы!). Позже мама рассказывала, что папа страшно боялся, как бы мы не остались навсегда в Германии. Он боялся еще потому, что получилась какая-то задержка с оформлением нашей поездки обратно — кажется, не обменивали деньги, а нам надо было вернуть долг и купить билеты на поезд, и мы задержались.

Обратную дорогу я помню не всю. Знаю, что плакала в вагоне ночью, и слезы мои тихо лились в казенную подушку, а из головы не выходил грустный мотив и слова, которые я сочинила: *Liehe Menschen — in weiter Ferne*[25]… На этот раз мне жаль было уезжать из дома бабушки, а вместе с тем хотелось скорее увидеть папу, вот меня и мучила эта *Ferne*; хотелось, чтобы все были вместе и Москва слилась с Гюстровом. В Негорелом таможенникам на этот раз досматривать было нечего. Мы ехали почти пустые и опять без денег. В Варшаве, где была пересадка, носильщик хотел понести наш чемодан, но мама вырвала ношу у него из рук и показала, что у нее в кошельке только одна маленькая монетка. Он сразу отошел и даже сплюнул с досады.

Школа

После нашего возвращения папа стал учить меня писать русские буквы, мне ведь уже было восемь лет и надо было отдать меня наконец в школу. Труднее других мне показалась буква Я — я все норовила делать у нее петельку с правой стороны. Наконец алфавит был усвоен, и меня повели в школу № 14 на Воронцовской улице. Я не очень отчетливо помню, чему нас там учили, даже не представляю себе сейчас нашу учительницу. Помню только, что она часто бросала класс посреди урока и прогуливалась по коридору с другой учительницей. В частности, они обсуждали вышивку на моем фартуке — я знаю это потому, что они меня вызвали из класса и перерисовали рисунок. Из детей запомнились две-три девочки, два хулигана и рыженький Сережа Младенский, в которого я влюбилась. Ему я тоже нравилась: однажды на перемене он подбежал ко мне в коридоре, быстро обнял и сказал: «Ах ты, моя милая». И еще, когда мы после уроков рисовали что-то для стенгазеты, он сел за одну парту со мной и потихоньку подвигался все ближе и ближе, пока, к моему восторгу, мы не стали касаться рукавами. Мама как раз вышивала букву М на носовом платочке, и я заявила ей, что моя фамилия после свадьбы тоже будет начинаться на М, так что она сможет мне его подарить. Нюше я вообще наврала, что мы уже договорились пожениться и будем жить в школе за дверью с цветными стеклами, в конце коридора. К сожалению, Сережа вскоре исчез из нашего класса: его родители переехали на другую квартиру. С нами учились два страшных хулигана: горбатый уродец Стрючьев и его друг Игнатьев. Говорили, что они даже пьют водку. У Игнатьева часто бывала рвота, а однажды на уроке, сидя на задней парте, они нарочно написали на пол. Как-то после уроков Стрючьев толкнул меня в сугроб и пытался поцеловать, я закричала, и меня спас какой-то прохожий. Вообще дисциплина в классе была отвратительной — по-моему, учителя побаивались мальчишек. Особенно бесились на перемене. Никто не смотрел за порядком; мальчишки брались за руки, делали «цепь» и загоняли девочек и младших ребят из «нулевки» в угол, все падали друг на друга, визг стоял страшный. Учились мы во вторую смену, и иногда отключался свет; тогда с верхних этажей мальчишки плевали нам на головы или брызгались чернилами. У меня от пальто в первые же дни оторвали вешалку-цепочку и все пуговицы. Но я не хотела, чтобы мама приходила за мной: боялась, что задразнят.

Весной нас однажды повели в большой класс и объявили, что теперь мы будем работать бригадами. Мы будем строить дом, и по письму и по арифметике все будет только про дом. Долго объясняли нам что-то про фундамент; я почти ничего не поняла.

Кажется, эти занятия вскоре прекратились.

Училась я хорошо, читала даже лучше других, арифметика тоже была простая — то, что мы уже проходили в Германии, и даже за диктанты я обычно получала «оч. хор.»: у меня была хорошая зрительная память, и я правильно писала даже многие слова, которые не понимала. За некоторыми исключениями, разумеется. Так, один раз я написала «сток сена», и учительница стала меня журить: как же так, мол, ты всегда так хорошо пишешь, а тут сделала глупую ошибку. «Как будет множественное число от слова «стог»?» Но я понятия не имела, что такое стог и даже — сено, не говоря уже о множественном числе.

Нашлась мне в школе и новая подружка — Нюша, ходившая в «нулевку», передала мне, что к ней обратилась некая Лена Колпакова из параллельного с моим первого класса и просила познакомить ее со мной. И вот в один из весенних дней мы пошли втроем домой. Мы о чем-то разговаривали, и Лена вдруг сказала Нюше: «Ты говорила, что Ганлюра хорошо говорит по-русски, а она сказала: «Упала на пóл». Я очень удивилась, что надо поставить ударение на предлоге, пробовала распространить это и на другие случаи, но уже, например, «нá стол», «нá стул» никуда не годились.

Лена Колпакова позвала меня к себе — оказалось, она с братишкой и бабушкой жила в отдельной квартире в другом корпусе нашего дома. Родители ее были биологами и почему-то находились в то время в Америке. Повсюду у них были развешаны открытки с разными морскими рыбами. Лена была очень говорлива и любила придумывать всякие глупые шутки. Купила, например, пустышку и на уроке труда, когда наши классы объединяли, послала ее в конверте одному мальчишке, который иногда сосал палец; она вообще любила на уроке писать всем непонятные записочки. Братишку своего она все время пугала, переодевшись то в бабушкино пальто, то в чью-то меховую куртку. Гулять во дворе ей почему-то не разрешали. Мне она не очень нравилась, но она ко мне относилась хорошо и ни с кем, кроме меня, не дружила, с ней было весело, поэтому я иногда ходила к ней.

Прогулки по Москве

Мы с папой много ходили и ездили по Москве — в дни моих каникул или, до моего поступления в школу, в папины выходные. Дело в том, что члены одной семьи редко имели общий выходной. У отца это могли быть 3–8–13–18-е и т. д., у матери —

4–9–14–19-е и т. д., у школьника — 1–6–11–16-е. В этом заключалось неудобство пятидневки. Позже (я не помню точно, но, кажется, в 1933 году) была введена шестидневка, и у всех рабочих, служащих и школьников выходные совпадали; отдыхали 6, 12, 18, 24, 30-го числа. На майские и октябрьские праздники получалось по три выходных, а расписание, например, в школах составлялось на 1, 2, 3-й и т. д. день шестидневки. Такой порядок продержался до лета 1940 года, когда вернулись к семидневной неделе.

Так вот, когда мы вместе были свободны, мы с папой много гуляли по московским улицам. Побывали мы, вместе с мамой, и в музеях. В Третьяковской галерее мне больше всего запомнились «Дождь в дубовом лесу» Шишкина и «Боярыня Морозова» Сурикова. До этого я не бывала на выставках картин, а тогда, после всего увиденного, я начала сомневаться в своих способностях к рисованию: никогда мне бы не хватило терпения нарисовать, например, такую дверь, как у Верещагина. Были мы и в Историческом музее — ничего не запомнилось мне оттуда, помню только, что я в окно выглядывала на Красную площадь и размечталась, что я — русская царевна и живу в этом доме лет триста назад. Еще мне нравилось, что в музеях люди говорят вполголоса и гулко слышатся иногда шаги.

Хорошо помню, как мы ходили в храм Христа Спасителя, даже запомнилось, как мы шли туда по бульвару. Мы забрались очень высоко, на башню храма, и оттуда с открытой галереи смотрели на Кремль. Мама сказала, что не может смотреть вниз, потому что у нее кружится голова; это меня удивило — у меня, наоборот, кружилась голова, когда я смотрела вверх на стены и купол здания. Несколько раз мы ездили на Воробьевы горы — туда долго-долго надо было ехать трамваем по пыльному шоссе, и казалось, что мы едем где-то в деревне. Зимой на Воробьевых горах был сооружен деревянный спуск, с которого смельчаки съезжали на санках. Позже, кажется, летом 1932 года, открылся ЦПКиО, мы сразу поехали туда посмотреть и были разочарованы. У входа стоял большой деревянный павильон, в котором было прохладно и пахло мокрыми опилками; здесь можно было поиграть в шахматы, шашки, бильярд. Сам парк, пустынный и знойный, ничем не привлекал взгляда. Были сделаны дорожки, несколько круглых клумб, расставлены скамейки, но трава росла редкая и до самого Нескучного сада не было тени — деревья, высаженные вдоль дорожек, были подобны палкам и не все принялись. Позже мы с мамой и одной ее знакомой с дочкой ездили в Нескучный сад: там нам понравилось, мы с этой девочкой лазили на горки, обследовали гроты, и все хорошо

отдохнули в тени старых деревьев. Однажды, когда мы возвращались от дяди Эли зимним вечером, папа взял извозчика и попросил ехать медленно, чтобы мы могли лучше посмотреть Москву. Помню, как мы ехали по Никольской, потом через ворота к Китайской стене выехали на Лубянскую площадь; папа рассказывал нам про Китай-город, показывал те здания, о которых он уже знал. А вообще-то ему самому было интересно: много ли увидишь днем из переполненного трамвая…

Мы с папой очень полюбили Москву и стали ее патриотами: помню, как позже папа гордился новым метро, как следил за постройкой новых зданий в центре. До самой войны мы по выходным, пока мама готовила обед, часто ходили гулять по городу, и нам очень нравились эти прогулки. Запомнилась, например, та, после которой мы навсегда перестали называть друг друга папой и Лорой. Был первый день папиного отпуска. Мы спустились по крутой улице к Яузе, прошли по Солянке и сели отдохнуть на бульваре за площадью Ногина. Папа развлекал меня всякими загадками: что такое четыре ноги, сверху перья; если отнимешь одну ногу — полетит? А в названии какой птицы сорок «а»? Ничего я не могла отгадать, вторую загадку — хотя бы потому, что не знала название птицы сороки. Потом мы пошли по Ильинке, и тут я начала ныть: «Хочу пить». Я прекрасно видела, что на этой улице с питьем безнадежно, но продолжала канючить и надоела папе так, что он начал меня дразнить: «Джим, хочешь соску?» Бог знает, откуда ему пришли в голову эти слова, этот Джим и почему я ответила: «Ну и ладно, я — Джим, а ты зато Билль!» После этого мы стали с ним изображать в беседе двух старых пиратов; я совершенно забыла, что хочу пить, а прозвища эти отчего-то сохранились на всю нашу совместную жизнь. Мы только так и называли друг друга, и уже через год у меня бы язык не повернулся сказать «папа». Биллычик и Джимчик. Видимо, мне это было по душе, потому что папа через этого Билля стал моим узаконенным товарищем (которого я и так в нем видела), а я стала как бы сыном, которого ему так хотелось иметь. Позже и Ира Шустова, и моя тетя Зина[26] тоже не называли папу иначе как Биллычиком.

Еще родственники

В 1932 году я познакомилась еще с некоторыми папиными родными. Летом, проездом в Ленинград из Баку (или Ташкента?), заезжали дочка и муж папиной сестры Зины. Не знаю, почему ее не было с ними — ее я увидела только на следующий год, но

Сергей Семенович был уже и сам по себе примечательной фигурой. Уже внешность у него была необычная: высокий, костлявый, с огромным горбатым носом и небольшими предобрыми глазками такого ярко-небесно-голубого цвета, какого я ни у кого больше не видела. Лысоватая голова его была всегда гладко выбритой и загорелой, он любил бывать на воздухе. Одет он всегда был необыкновенно чисто и опрятно. И он был ужасно рассеянным; он беспрестанно что-то нашептывал, иногда еще писал правым указательным пальцем на левой ладони, никогда сразу не откликался, когда его звали. Все движения его были суетливы, хоть и малоэффективны, он часто притоптывал или шаркал ногами и покашливал. Рассказывали, что однажды, когда они с Зиной возвращались из гостей домой и он нес на руках маленькую спящую дочку, он вдруг остановился и ахнул: «Зиночка, мы же забыли взять Юденьку!» Работал он инженером-сметчиком в Гипроалюминии. По-видимому, на работе он рассеянным не был, потому что его там очень ценили и уважали. Моя двоюродная сестра Юдя была на пять лет старше меня, тоже высокая, глазами и носом похожая на отца, но голова ее была вся в густых русых кудряшках. В тот свой приезд они оба носили на голове тюбетейки, привезли и мне одну, расшитую золотыми нитками, но она оказалась мне мала.

Потом приезжала тетя Матильда[27]. Мы встречали ее на вокзале, поезд опаздывал на несколько часов, и, пока мы ждали, на привокзальной площади беспризорный выхватил у мамы из рук одну кожаную перчатку. Тетя Матильда вышла из вагона с двумя чемоданами в залатанных чехлах и с чайником. Меня очень поразил этот чайник. Тетя была невысокого роста, полноватая, с громким писклявым голосом, она сразу на перроне стала рассказывать, как в пути приняла роды у одной пассажирки — она оказалась единственным врачом в поезде. Кричала она так громко, что все люди на нее смотрели, и я сразу решила, что она мне не нравится. Так я до конца и не любила ее. Хотя человек она была в общем-то веселый и добрый, всегда привозила и присылала мне подарки, притом не какие-нибудь, а самые мои любимые — книги. Она все время во все вмешивалась и теребила меня. «Ах ты, малышка», — сказала она при встрече, и в мои 8–9 лет мне это показалось обидным. Но дальше было еще хуже. Она стала называть меня то «обезьянкой», то «зеленой крысой», очевидно, за мою вертлявость и бледное лицо. Ладно бы она звала меня так дома, но и позже, когда мне было уже лет двенадцать, она могла спросить на улице: «Обезьянка, а ты вообще-то умеешь уже ходить с зонтиком?» Или, ехали мы с ней в переполненном трамвае, а она вдруг как запищит на весь вагон:

«Зеленая крыса, ты где?» Я, конечно, не откликнулась, но она меня нашла и опять закричала: «Зеленая крыска, так вот ты где, ах ты, обезьянка». И уж конечно, на нас глазел весь вагон.

Сразу, как она вошла к нам, она сказала: «Покажи-ка мне свои рисунки, твой папа говорит, что ты у нас художница! А что означает у тебя здесь в углу надпись «кор. с»?» Она ничего не означала, но я буркнула: «Картина». «Ах, ах ты, малышка, а я думала, ты грамотно пишешь! Надо «карр-карр-карр-тина»! Я вижу, что ты красками не умеешь рисовать. И почему у этой девочки пальцы — просто черточки? Попробуй-ка лучше рисовать карикатуры, нарисуй мне и пришли в письме, я там в Баку покажу художнику…» «А ты знаешь, что ты за мелодию поешь, зеленая крыса?» — «Это нам учительница играет, когда мы входим в зал». — «Смотри, смотри, совсем правильно ты поешь, ура-ура-ура! Ведь это Чайковский! Почему же ты не учишься играть на пианино? У нас в Баку Женечка уже три года занимается музыкой». Как будто от меня зависело, учусь я играть или нет. Мне, конечно, очень бы хотелось учиться музыке, но меня так злило, что тетя Матильда во все ввязывается, что я проворчала: «Женя играет, а я не хочу». «Вы послушайте, послушайте, обезьянка, что это за слово такое — «намедни́», где ты это могла услышать? И еще ты сказала «спи́рва», кто же так говорит? Это же «сперва́»!» Где я могла это слышать! Во дворе, конечно. И прежде всего у Нюши. Назло тете Матильде я продолжала произносить «спи́рва» — в ее присутствии только, конечно.

Мы с Нюшей Шубиной создали «Общество зеленых шапок», сокращенно «Зелшап». Под моим руководством мы играли в разные игры. Один раз нам довелось быть сыщиками: мы на самом деле чуть не поймали преступников. Однажды наш переулок огласился громкими воплями: кричала одна из жительниц тупичка напротив нашего дома. У нее кто-то украл двух кур — только что она этих птиц видела, а за кустами стояли какие-то парни. Собравшиеся вокруг люди сочувствовали ей, но только мы с Нюшей поняли, что надо же кому-то пойти и поискать похитителей. «Мы с тобой будем сыщики», — сказала я, это слово я как раз перед тем где-то вычитала. Мы стали ходить вдоль узкого прохода между дощатым забором и задней стороной нашего дома, туда выходили двери черного хода. «Мы сыщики! — кричала я. — Мы поймаем вас, воры, которые взяли кур! Лучше сдавайтесь сами, мы знаем, где вы!» И вот, когда мы двинулись обратно, мы заметили еще издали на ступеньках перед одним из выходов большую миску, которой раньше не было. Мы подбежали и не поверили своим глазам: она была доверху наполнена куриными перьями. Кто-то видел и слышал нас и решил

подразнить. Сначала я хотела отнести эти перья пострадавшей женщине, чтобы она посмотрела, ее ли кур эти перышки, и мы бы тогда показали ей, где нашли их. Но потом мы испугались: воры, наверное, откуда-нибудь с чердака следили за нами, и, если мы выдадим их, могли бы, чего доброго, убить нас. Нюша даже всплакнула, когда я ознакомила ее с такой перспективой, и мы больше не говорили никому, что мы сыщики.

Лето 1932 года я какое-то время опять ходила на площадку, но уже другую, при школе. Не помню никаких подробностей, знаю только, что после обеда нас там тоже укладывали спать (на матрацах, в физкультурном зале). И один раз приезжал мужчина и рассказывал всем собравшимся на школьном дворе про гражданскую войну. Мы потом все пели «По долинам и по взгорьям». Не только я, а все ребята неправильно пели: «Наливалися знамена — кумачем последний раз!» Лично я думала, что есть такой глагол, — «кумачить», что ли, — и он означает что-нибудь вроде «ударить, идти в наступление». Тогда же один комсомолец объяснил нам, что надо петь «последних ран, кумачом последних ран!» Но я уверена, что все равно мало кто знал, что такое «кумач».

Глупости и шалости

Если в Берлине глупости мои были чаще выдуманы не мной, а мальчишками-соседями, то на Воронцовской я уже действовала самостоятельно.

Перед отъездом в Москву бабушка подарила мне детское серебряное колечко с гранатиком. Оно мне нравилось, и я часто дома его надевала. Как-то я сильно ударила рукой по стулу во время какой-то игры, и колечко раскололось на две половинки. Я так испугалась, что меня будут ругать, что решила лучше спустить обе половинки в уборную. Надо сказать, что мама, вообще равнодушная к кольцам и украшениям, так и не вспомнила о моем колечке. А вот я потом жалела о своем поступке.

А во время моего увлечения географией я как-то сочинила небольшую пьеску из жизни албанского народа. Я понятия не имела, что за люди живут в Албании, но мне понравилось название этой страны, желтый цвет, в который она выкрашена в атласе, и ее расположение на карте. Пьеску эту я решила разыграть вместе с Нюшей, и мы разучили роли. Потом сделали билетики и пригласили на представление моих родителей и Нюшину маму. Я надела свое самое красивое и нарядное платье,

из нежно-розового шелка с нашитыми внизу розочками из кремовых кружев, оно было куплено еще у Вертхайма! Не то чтобы это платье очень подходило для моей роли, ибо я изображала борца за свободу Албании, но очень уж хотелось мне хоть раз нарядиться. Первое действие прошло благополучно, с аплодисментами. Во втором действии борцы за свободу должны были с огромной толпой последователей бежать через горы в Болгарию. Последователей играть было некому, поэтому в их роли выступали все мои мишки и куклы. Я связала их последовательно веревкой, конец которой английской булавкой приколола к спинке своего платья. Я думала, что если я побегу, то повлеку всю эту толпу за собой. Но получилось так, что я-то убежала, но последователи остались на месте с длинной полоской розового шелка, выдранного из моего платья. Пьесу приостановили. Не помню, насколько сильно меня ругали, но платьице пришлось выбросить.

А однажды родители с утра куда-то ушли, а я обнаружила в буфете вазу с ирисками. Конфетами я в те времена еще не очень интересовалась, но эти ириски я попробовала, и они мне понравились. Съев три штуки, я поняла, что делаю что-то не то, и для компенсации решила собрать со стола посуду после завтрака. Еще ириска. Вымыла посуду. Еще ириска. Вытерла посуду. Ириска. Вытерла пыль в комнате. Ириска. Подмела пол. Две ириски. К приходу родителей все вокруг было прибрано, а ваза с ирисками пуста. Почему-то это сразу бросилось им в глаза: *Lore*!!! Они изобразили такой ужас и негодование, что я не знала, куда деваться. «Это же настоящее воровство!» — кричали они. Потом мама сказала: «Боже мой, если об этом узнает дядя Эля…» Я еще больше испугалась. «Такой позор, вообще никому нельзя рассказывать!» Все эти слова я воспринимала совершенно серьезно. Я поверила, что я — преступница-воришка. В конце концов меня простили, но только лишь потому, что я вымыла посуду и прибрала комнату: это оценили, так как я делала такое чрезвычайно редко.

Во время чтения я как-то, послюнив палец, протерла на полях книги дырочку. Потом, как мне сейчас кажется, это стало каким-то нервным заболеванием, и при чтении я не могла отделаться от этой привычки. Мама обнаружила дырочки, всплеснула руками и страшно отругала меня: «Что еще скажет папа, когда увидит». От страха я в тот вечер пораньше попросилась лечь спать и к приходу папы притворилась спящей. Я думала при этом, что во сне люди совершенно не шевелятся. И лежала лицом к стене, чтобы не заметили, как я моргаю закрытыми веками, и все время следила, чтобы не двигалась моя рука поверх одеяла. Муки были

ужасны: как назло, у меня то чесался лоб, то ухо, мне мешала какая-то складка подушки под щекой, меня душило одеяло. Мама дала папе ужин, он поел, почитал газету, потом спросил, здорова ли я и почему так рано уснула. Тут мама вспомнила и все ему рассказала, показала испорченные книжки. Когда я услышала, как он громко втянул ртом воздух от удивления и возмущения, я не вытерпела и вскочила на кровати; я стала плакать и кричать папе, что больше так делать не буду, и папа, конечно, не понял, что я сильнее была наказана не его сердитыми словами, а пыткой, которой подвергла себя сама, пролежав на шевелясь и еле дыша почти час!

В ноябре 1932 года, к великому огорчению нашему и соседей, вернулась из командировки в Америку Андреева со своим сыном Гариком. Оба они были одеты как последние буржуи. Женщина много курила, была очень резка и негодовала, что ее комната занята. Надо было срочно выезжать, а деваться было некуда. Не помню, куда мы поставили свои корзины, сундук и мебель, а сами перебрались опять в гостиницу[28]. Станкоимпорт согласился оплачивать нам номер на седьмом этаже гостиницы «Ново-Московская» на углу Балчуга. Начался самый мрачный период моего детства.

«Ново-Московская» гостиница

Наш номер был довольно бедно обставлен. Комфортабельность уменьшалась по мере возрастания этажей — на третьем и четвертом этажах были роскошные уголки отдыха с коврами, мягкими креслами и торшерами. Там жили почти только иностранцы.

Как мы питались в гостинице, я не помню; обеды были дорогие, а самим нам готовить было негде, только утром и вечером нам приносили в номер чай. Наверное, мы по папиным выходным обедали у дяди Эли. Первое время в школу на Воронцовскую меня возила мама; мы все еще учились во вторую смену и возвращались, когда уже было совсем темно. Потом — то ли были каникулы, то ли меня совсем забрали из школы, — я стала целыми днями сидеть в нашем номере. Обычно я рисовала. У меня был альбом с очень плохой гладкой голубоватой бумагой и несколько цветных карандашей. Весь альбом содержал разнообразные рисунки двух сюжетов. Во-первых, там была семья испанских дворян в роскошных одеяниях на фоне дворцов и экзотической природы. Красивые юноши влюблялись в прекрасных юных графинь — я всех их знала по именам. И наряду со знатными испанцами в альбоме существовала деревня — были рисунки ее общего вида, отдельных улиц и домов. В деревне жили дети. Я знала, как кого из них зовут и где каждый живет, кто с кем дружит, хотя вообще-то они никогда не ссорились и все делали вместе. И помогали мне жить.

Еще я читала «Робинзона Крузо», которого папа купил на букинистическом базаре около Китайской стены. Книга эта ранее принадлежала некоему П. В. Петракову, который сплошь испещрил титульный лист своим необычайно витиеватым почерком с завитушками. Робинзон Крузо на острове был одинок, как я в гостинице, и тоже помогал мне жить.

Тяжело нам было в ту зиму еще потому, что мама все время хворала. Она вообще-то редко болела, но тогда ее мучил то ли геморрой, то фурункулез. Раза три к нам приезжала наша бывшая соседка с Воронцовской, Александра Григорьевна, и привозила маме в бидончике бульон; мы были очень тронуты. Потом у мамы в магазине вытащили кошелек со всеми продуктовыми карточками, а было только начало месяца. Мама была в отчаянии, плакала и говорила, что ей остается выброситься из окна. Я страшно испугалась и до папиного прихода не выходила из комнаты в страхе, как бы она не бросилась с седьмого этажа. Но папа ее успокоил и сказал, что все это мелочи и что как-нибудь

мы не помрем с голоду. И мы действительно не умерли: нам отдавала часть своего инснабовского пайка папина сослуживица Машё.

Позже в этой гостинице меня познакомили с белокурой и рослой восьмилетней девочкой Еердой, поселившейся со своим отцом и мачехой на нашем этаже. Отец и мачеха ее были немцы, а мать — эстонская актриса. Отец был в Москве в командировке, и Герду собирались отсюда отправить к матери. Девочка эта была коварным и лживым существом и мучила меня как только могла. Она знала по-русски только одну фразу, которой ее научил отец: «Говоришь ли ты по-немецки?» — и, так как ее интересовали все мужчины на нашем и других этажах, она ко всем обращалась с этим вопросом. При этом она всегда подталкивала вперед меня, и мне казалось, что все думают, что это **я** пристаю к ним. Ей взбредало в голову играть в лошадки по всем коридорам, и лошадью всегда была я, — она из шарфа делала вожжи и концом его пыталась пользоваться как кнутом. Когда я вырывалась от нее, она начинала обнимать меня и уверяла, что очень меня любит. Как-то одна молодая женщина, знакомая их семьи, жившая этажом ниже, попросила Герду посидеть часок с ее младенцем, пока она сама уйдет по делам. На стол она поставила вазу, полную конфет, и сказала, чтобы мы угощались. Не успела эта женщина уйти, как Герда начала рыться в ее тумбочке и в ящиках стола. Потом она стала поедать одну за другой все конфеты; я съела всего штуки три: они мне не очень понравились, да и неловко было брать у незнакомой женщины. В то же время Герда одну за другой ставила на патефон пластинки, хотя на это нам разрешения не давали. С ребеночком нам особо возиться не пришлось: он почти все время спал под музыку. Когда женщина вернулась, она, конечно, несколько удивилась исчезновению конфет, но Герда сказала, что она очень извиняется, что это не она, а я придумала сделать в комнате такой беспорядок и съесть конфеты. В коридоре я набросилась на нее: «Ты наврала!» «А если бы я сказала, что это я, то она бы пожаловалась моим родителям, а твоих-то она не знает, и тебе не попадет», — объяснила Герда. Про этот случай я, не вытерпев наконец, рассказала маме, и меня стали ограждать от этой наглой и назойливой девочки — придумывали предлоги, чтобы ее не пускать к нам, а меня удерживать в нашем номере. «Твоя мама как змея, — как-то шепнула мне Герда в дверях, — моя мачеха по сравнению с ней гораздо добрее». А сама она вечно говорила об этой мачехе всякие гадости, иногда совсем неприличные. К счастью, вскоре их семья уехала из гостиницы.

Папа все время сочинял бесконечные письма в разные

инстанции, просил, чтобы нам дали жилье, но ему вежливо отказывали. А того товарища, который когда-то подписал письменное обязательство, что нас сразу на вокзале встретит человек с ключами от нашей квартиры, уже не было. Я не знала, почему с нами так происходит, ведь получили же в 1927 году хорошую комнату Шустовы, а Злотниковы, переехавшие в Москву в 1933 году, даже прекрасную квартиру!

Папа был очень расстроен, не в силах чего-либо добиться и видя, как мучается мама. Запомнился один зимний вечер, мы с папой гуляли вдоль набережной Москвы-реки. Дул сильный сырой и холодный ветер, вода — как густое черное масло, в ней тревожно прыгали редкие разорванные отражения фонарей с другого берегу. И вдруг мне вспомнилась мелодия, очевидно, услышанная где-то в гостинице с патефона, — сладкий, теплый неаполитанский напев, кажется, серенада Арндта. Я стала напевать этот мотив, и папа тоже начал подпевать, и такой красивой показалась мне тогда эта мелодия, что сделалось совсем грустно. Я поверила, что никогда не будет уже у меня больше солнца, радостей и подруг. Я слизывала языком со щеки слезы.

Но в середине февраля снова временно освободилась комната. Мы покинули гостиницу и поселились на Арбатской площади, дом 1/3, квартира 29. В моей жизни снова выглянуло солнце.

Арбатская площадь (1933)

Дом и квартира

До сих пор мне нравится ходить вдоль Гоголевского бульвара, выходить на совсем не похожую на старую, тех времен площадь, под которой теперь прорыт тоннель. Дома, где мы жили, давно уже нет, жалеть о том, что его снесли, не приходится, он и тогда уже был в ужасном состоянии. И все-таки с ним связаны такие светлые воспоминания.

Он стоял непосредственно на площади, длинный, приземистый, в два с половиной этажа, с воротами, ведущими в небольшой узкий и темный двор. На первом этаже помещалась керосиновая лавка, рядом с ней — какая-то контора, на углу Арбатской улицы — магазин (какой был тогда — не помню, позже галантерейный). Вход на нашу лестницу был из подворотни, лестница совершенно темная, узкая и крутая. Над первым этажом — низенький промежуточный этаж с крохотными окошками; там тоже кто-то жил. Выше лестница выводила на крытую застекленную галерею, и там, справа, — наша квартира. Правда, чтобы попасть в нее, надо было сначала пройти через двойную, обитую черной клеенкой дверь в квартиру № 30, пересечь большое пустое помещение к еще одной двойной двери, и только тогда мы попадали к себе. При входе — снова большое пустое помещение с окном во двор, прямо — кухня, налево — дверь в еще одну прихожую, поменьше, сюда выходили ванная и уборная, а еще дальше влево застекленная дверь выходила в узенький коридорчик, и уж оттуда две двухстворчатые белые двери вели одна к соседям, другая к нам. Наша комната была большая и почти квадратная, с двумя окнами на Арбатскую площадь. К этой комнате за застекленной дверью примыкала еще небольшая каморка без окна, с фанерными стенами, не доходящими до потолка; за пределами этой каморки был чулан, где стояла мебель уехавших в командировку хозяев. Ночью и даже днем в этом чулане возились крысы. Крыс вообще было полно — ночью редко можно было пойти, например, в уборную, чтобы не встретить какую-нибудь из них. Сначала было жутковато слушать, как они бесчинствуют, потом мы привыкли. Папа несколько раз заколачивал жестью дыры в полу и в стенах, но это мало помогало, крысы делали себе новые ходы. В шутку мы называли

каморку, где стояли моя и папина кровати, Крысиным замком. Большая передняя была Мышиным дворцом, а узкий коридорчик — Крысиным залом (они там грызли наши корзины).

Но мы сразу полюбили большую и светлую комнату, в которой даже наша скудная мебель встала как-то уютно. Какое было удовольствие опереться на широкий подоконник и глядеть вниз, на площадь! Посередине площади стояла общественная уборная в стиле игривого павильончика — с изогнутой железной крышей, на шпиле которой красовался изящный флюгер. Тяжелые двери этого заведения визжали своей особой музыкой, а так как место было бойкое и посетителей всегда много, то скрип «Ти-и-и-и-уоу! Тиу-тиу-тиу-уоу!» слышался весь день. Около уборной была конечная остановка трамвая № 44. Если случался ливень, мы с мамой смотрели, как люди выскакивают из вагонов, прикрыв головы газетами или сумками, прыгают через лужи и спешат укрыться под навесом уборной.

Справа от уборной располагался небольшой квадратный скверик, а еще дальше направо начинался бульвар, там сидел, глубоко задумавшись, Гоголь, по углам площади — фонари с львами, у львов были большие лапы, а на лапах кое-где заплатки из металла более светлого оттенка, все эти заплатки я со временем выучила наизусть.

Напротив нашего дома стоял низкий белый домик, перед ним часто шагали солдаты. Они пели «Дальневосточная дает отпор» и еще что-то совсем монотонное. Левее находился кинотеатр «Художественный», за ним, немножко в глубине, — большой крытый Арбатский рынок. В начале Никитского бульвара стоял четырехэтажный дом с булочной, к которой были прикреплены наши хлебные карточки. В здании ресторана «Прага» в те времена на втором этаже был маленький кинотеатрик.

Любимыми местами моих прогулок помимо Гоголевского бульвара были Воздвиженка, улица Фрунзе и, конечно, Александровский сад, тогда малолюдный, неасфальтированный, очень тенистый, с песочницами для детей. Наш ЗРК[29] находился в Ветошном переулке (за зданием ГУМа). Когда мама ходила туда отоваривать карточки, она брала меня с собой и оставляла в Александровском саду. Я бродила там по аллеям, заглядывала в таинственный грот, где сразу придумывались всякие приключения, или же садилась на какую-нибудь безлюдную скамейку и читала.

Соседями нашими оказалась симпатичная молодая пара, инженеры, страшно близорукие, в очках с толстыми стеклами, худощавые, бледные, она — голубоглазая, с пышными пепельными волосами, собранными в пучок, он — с черными

кудрями и, кажется, бакенбардами. Оба они были простые, веселые, влюбленные друг в друга. Фамилия их была Векслер.

Школа

Как только мы перебрались в новую квартиру, папа стал ходить со мной по близлежащим школам: на Молчановку и еще куда-то. Все школы располагались в тесных старых зданиях и были настолько переполнены, что меня брать отказывались. Приняли меня наконец в школу № 9 (бывшую Медведниковскую гимназию) в Староконюшенном переулке. О том, как переполнена была и эта школа, можно судить по тому, что половина классов занималась во вторую смену, а класс, в который меня определили, был второй «Л», и в нем было больше сорока человек.

Мне школа сразу понравилась во всех отношениях, начиная со здания. В школе был просторный круглый вестибюль с колоннами. На лестничной площадке еще сохранилась большая доска, где на мраморных табличках золотыми буквами красовались фамилии выпускников, окончивших гимназию с медалями. Имелся там огромный, с высоченным потолком актовый зал, где мы прогуливались на переменах. Из этого зала маленькая дверь вела во флигель, а там, в одном из кабинетов, стоял человеческий скелет. Мальчишки иногда заталкивали нас туда, и уж было тогда визгу и смеху! Я быстро ознакомилась со всем зданием, потому что класс наш (а может быть, и еще многие другие) был «бродячим» — каждые сорок пять минут мы куда-нибудь перекочевывали; это было и неудобно, и романтично. Меня сразу дружески приняли девочки — Лариса Коккинаки, Лена Федорович, Вера Бибикова, Рая Раппопорт, Роза Черных; все они жили в переулках Остоженки, Кропоткинской (тогда, кажется, еще Пречистенки) и Арбата. Ближе всех ко мне жила Лариса, у них была квартира в подвальном этаже большого дома на Гоголевском бульваре, и я заходила за ней по дороге в школу.

Надо сказать, что с учебниками тогда дела обстояли очень неважно. Раздавали по одному пособию на два человека, и уроки учили по очереди. Я делила учебники с Леной Федорович, а Лена жила за городом, поэтому она ежедневно сидела у нас, обедала и ждала, пока я сделаю уроки. После этого она тоже не сразу уходила. Это возмутило тетю Мелю, несколько раз заставававшую Лену у нас. Она, как бы от имени моей мамы, написала письмо учительнице. Я долго стеснялась отдать это письмо. Но потом сразу нашли какой-то выход, и меня присоединили к Ларисе

Коккинаки. Тетрадей стандартных, школьных, тоже не существовало. Писали кто на чем, что удастся достать, — часто бумага промокала, и писали только на одной странице.

Учителя у нас были неплохие. Помню классную руководительницу, учительницу математики Марью Петровну, позже — учительницу русского языка, хорошенькую Музу Петровну, толстую немку, совсем плохо говорившую по-русски. Уроки пения вела страшно тучная женщина, всегда одетая в синее платье из блестящего шелка, ее называли тетя Пупа и пели про нее смешные песенки. Она разучила с нами «Сурка», «Варшавянку», «Маленького барабанщика» и часто заставляла нас маршировать под музыку и петь соло. Она решила, что у меня лучший слух в классе среди девочек, и очень удивилась, что я не учусь играть на каком-нибудь инструменте. По рисованию меня тоже хвалили, меня выделили для участия в конкурсе юных художников, я должна была рисовать «Утро пионерки» и «Старых красноармейцев». Сказали, что у меня хорошее чувство формы, я очень хорошо передаю движение, но мне нужно еще учиться, потому что красками я не владею и небрежна. По русскому языку я и тогда, и до окончания школы была лучшей в классе, но, по-моему, почерк у меня в то время был ужасный. Хуже было с арифметикой — вечно я спешила и делала ошибки в примерах, да и вообще я не любила решать примеры, разве что на деление. Забегая вперед, скажу, что истинные мои мучения с этой наукой начались немного позже, в четвертом классе, когда пошли задачки с поездами, путниками и бассейнами. Мое логическое мышление отключалось, и я видела перед собой только эти бассейны (в парке?), железную дорогу в лесу (Ильинское?) и путешественников. Зачем они вышли? Зачем им встречаться и почему заранее не сговорились, где будет эта встреча? Почему они не вышли в путь одновременно? Почему нужно так точно знать, через какой срок наполнится бассейн, если одна из труб заткнута? И вообще, почему бы их не открыть обе сразу и потом одновременно закрыть? Много вечеров папа просидел со мной, более или менее терпеливо стараясь все объяснить наглядно, заставляя меня мыслить. И почти без толку. Какой же он тупицей считал меня, должно быть. Правда, когда в шестом классе началась алгебра и для решения задач надо было составить одно уравнение, а не пять-шесть вопросов, дела у меня пошли лучше.

Иногда нас водили всем классом в кино (в «Художественном», помню, смотрели «Рваные башмаки», с Розой Черных после фильма сделалась истерика). Помню длительные ожидания в фойе, пока подойдут дети из других школ. Перед началом сеанса кто-нибудь поднимался на сцену, хлопал в ладоши и заставлял

весь зал кричать хором: «Тише, ребята, тише, ребята, тише, ребята — ша!» Считалось, что после этого все должны замолчать.

Помню утренник, когда нас принимали в пионеры. После торжественного обещания мы участвовали в концерте. Я и еще пять девочек были «единоличниками» — мы, держась за руки, топтались на месте и пели что-то вроде «У меня в руке соха, все соха, все соха», а с противоположного края сцены на нас, сжав кулаки, бурно надвигались «колхозники»: «А в колхозе трактора, трактора, трактора!»

Весной 1933 года меня впервые повели в Большой театр, на оперу «Евгений Онегин». Билеты папа купил заранее, и тетя Люба дала маме почитать пушкинскую поэму. Мама почти ничего в ней не поняла и не дочитала. Я ждала того вечера с трепетом, тем более что существовала угроза, что меня не пропустят: спектакль был вечерний. Меня потом действительно не хотели пустить, но папу уже научили сослуживцы пойти к администратору и притвориться иностранцем. Он так и сделал, и все было в порядке. Я не помню, какое впечатление на меня произвела музыка, но больше всего мне понравилась вторая картина (долго потом я рисовала спальню Татьяны: кровать за кисейной занавеской, высокие окна). Помимо декораций и освещения мне понравилась и сама Татьяна. Я очень сочувствовала ей и ее любви (мне как раз в то время очень понравился гостивший у тети Любы сын ее родственницы, мальчик пятнадцати лет, но он на меня не обратил ни малейшего внимания), мне захотелось так же, при свечах, гусиным пером и под ту музыку написать письмо возлюбленному. Ленского мне не было жаль, я вообще не поняла, из-за чего он с Онегиным стрелялся. После театра я тайком выискивала и прочитывала из поэмы все места, где говорилось о Татьяне. Я нашла, что очень похожа на нее.

Кармен

На ту же весну пришлось начало моей большой — страсти, увлечения? Не знаю, как назвать, — я влюбилась в Кармен. Причем в совершенно одинаковой степени и в музыку Бизе, и в саму женщину. Оперу эту наряду с «Аидой» и вагнеровскими операми, а возможно, даже сильнее, очень любил папа. Он всегда слушал «Кармен» по радио — я сначала просто, потом уже слушала сознательно и в результате была совершенно зачарована. Я даже стала вырезать из газеты название оперы (тогда в «Правде» ежедневно печатали репертуар театров) и наклеивать

крошечные полоски на кусок картона. Мериме я, конечно, тогда еще не читала, да и к словам оперы не очень прислушивалась, зато знала наизусть все мелодии и любила красивую и свободолюбивую Кармен. Она, как Татьяна, выбирала сама, при этом ее все сразу тоже любили. Я знала, что мне в жизни не быть такой красивой и смелой, и любила Кармен как несбыточную мечту. Однажды она даже приснилась мне ночью, будто мы с ней и другими людьми плывем в лодке по морю; на Кармен было голубое платье, и она улыбалась мне. Музыку же я иногда целыми днями мурлыкала себе под нос… Светлый майский день, вечереет, мы с мамой идем по Воздвиженке, но для меня это была Испания (кстати, и Кармен была для меня скорее не цыганкой, а испанкой), танцы из четвертого действия, и мне уже кажется, что все встречные пешеходы не идут, а приплясывают вместе со мной, а из Военторга сейчас появится тореадор Эскамильо. Вступление к последнему действию мы иногда исполняли вместе с папой, словно оркестр.

В театре я услышала эту оперу только в 1935 году. Зная, как мне хочется попасть в Большой театр на «Кармен», родители наконец обещали мне билет как награду, если я полгода буду ежедневно принимать по ложке рыбьего жира. И я покорно глотала эту гадость — жертва, приносимая ради Кармен!

Голод

1933-й был голодным. Продукты все еще продавались по карточкам. А в конце лета на Арбатской площади — перед рынком, перед булочной, у «Праги» — сидели исхудавшие женщины с голодными и оборванными детишками и просили «хоть корочку хлебушка». Некоторым удавалось наполнять горбушками мешок — очевидно, собирали для родных и соседей по деревне. Мама как-то привела двух таких женщин с детьми домой, накормила их супом и сказала, что они могут переночевать у нас в передней. Но, когда пришла с работы наша соседка Рита, она позвала маму к себе в комнату и попросила немедленно вывести этих людей. Она сказала, что они грязные, у них, видно, полно вшей, может быть, они еще и больны чем-нибудь заразным, да и вообще, всех голодающих не приютишь. Пришлось маме дать этим женщинам немного хлеба и отослать их обратно на улицу.

В школе нам давали завтраки: манную запеканку с киселем или кашу и обязательно к этому свежие круглые булочки. Все ученики знали, что булочки эти просит отдавать ей одна из

нянечек для ее родных в деревне, и все за столом эти булочки откладывали. Нам строго было наказано съедать их самим, поэтому филантропический акт наш приобретал особую прелесть: как только мы ни изощрялись незаметно прятать эти булочки под платьем, за пазухой, под мышкой и даже в чулках. А нянечка стояла в темном углу под лестницей с большим мешком, в который мы, шмыгая мимо и повернув головы в другую сторону, незаметно для дежурного педагога бросали свою «контрабанду».

Но сами мы тогда питались не так уж плохо. Папа к осени сдал все необходимые экзамены, стал «выдвиженцем» и числился инженером, поэтому ему помимо карточек полагались обеды в ресторане «Прага», там же выдавали какой-то сухой паек в виде масла и, кажется, яиц. А еще нам часто помогала Машё. Она начала появляться у нас еще на Воронцовской, но в наш «арбатский» год мы общались с ней особенно часто, поэтому, наверное, настало время написать подробнее обо всем, что я о ней знала.

Машé

Машé была австрийкой и коммунисткой, она приехала из Вены, очевидно, в 1931 или 1932 году и работала вместе с папой в Станкоимпорте. Машé — ее фамилия, как ее звали по имени, по-моему, никто не знал. Все ее называли Машé, сама она ко всем обращалась только «товарищ такой-то». Мама была для нее геноссин Фаерман.

Машé была высокой женщиной с довольно некрасивым лошадиным лицом, вечно растрепанными волосами, нескладная, небрежно одетая; все время у нее то был насморк, то болели зубы и распухала от флюса щека, на шее у нее всегда болтался кое-как намотанный длинный шарф. Она была добра и щедра до абсурда, рассеянна до смешного, она вечно что-нибудь теряла, вечно с кем-нибудь ссорилась (ибо была отчаянным борцом за справедливость и никому не давала спуска), вечно кому-то помогала. Она была очень несчастным человеком, потому что личная жизнь у нее сложилась неудачно.

По-русски она говорила плохо, с сильным акцентом. Рассказывали, как она на каком-то совещании, критикуя одну фирму, страстно прокричала с трибуны: «И еще, помните, мы тогда пи́сали, и пи́сали, и пи́сали — и никакой ответ!»

Я уже упомянула, что она была коммунистка, но я имела при этом в виду не только то, что она была членом партии, мало ли таких, но и то, что она была коммунисткой во всем. Как

«иностранный специалист» она могла пользоваться Инснабом с обилием прекрасных продуктов. Ее это злило, она никак не могла понять, как же так — в коммунистическом государстве одним дают больше, другим дают меньше, кто-то пользуется льготами, когда другие нуждаются. И она весь свой инснабский паек раздавала. Увы, большинство не испытывало к ней даже элементарной благодарности, считая это лишь чудачеством эксцентричной особы. Помню, как один ее молодой коллега рассказывал: «Она говорит — давайте я вам молока возьму, ведь у вас маленький ребенок. Ну, я принес ей бидон, и вечером она мне его отдает полным молока и плачет. Вот, говорит, я молока тебе взяла, а потеряла где-то в том магазине свои хорошие перчатки, искала везде — не нашла… На следующий день я принес ей ее перчатки: нате, говорю, Машё, мы их нашли под молоком на дне бидона».

Нас она особенно баловала, и мама была ей симпатична. Машё часами сидела у нас и без умолку говорила. «Нет, вы подумайте только, геноссин Фаерман, пришла я к ней, а она мне ставит на стол чай и кусок черного хлеба. Я вскочила, открыла ее буфет — там у нее и сметана, и сыр, и белый хлеб, и конфеты. Я и говорю ей: «Мне ничего не надо, но какая же ты, к черту, коммунистка, у тебя вон под кроватью еще и ящик, полный всякой крупы, — для кого же ты все это прячешь, когда тебе не надо, а кругом люди голодают?» Смотрит на меня, тупая корова, и говорит, что это не мое дело…» Все отрицательные женщины были у нее «тупые коровы» *(blöde Kuh)*. Машё сиживала у нас так долго, что папа, который часто брал работу на дом на выходные, терял терпение. «Машё, — спрашивал он, — а вы каким трамваем отсюда домой поедете?» Она на папу никогда не обижалась: «А я пешком пойду, геноссе Фаерман. Мне недалеко, я живу на Плющихе». Потом она одевалась, доходила с мамой до входной двери и болтала там еще час. Папа подмигивал мне и посылал к ним в Мышиный дворец: «Папа спрашивает, не вынести ли вам стул?» или «Папа просит вам передать, что магазин через полчаса закрывается, вы ведь хотели еще купить что-то?» Все это Маше́ воспринимала как шутку и через несколько дней появлялась снова с сумкой, полной вкусных вещей.

Помню теплый, как парное молоко, летний вечер. Маше́ зашла за мамой, и мы отправились гулять. Дошли до Смоленской, потом пошли по Плющихе, попили у Маше́ чаю — и дальше по Пироговской. За монастырем и Окружной дорогой уже не было домов, а были сплошные пустыри за решетчатыми оградами. Мы дошли по довольно сырой после дождя дороге до самой реки, ни один человек нам не встретился по пути, а обе женщины

говорили без умолку. Я глядела по сторонам и одним ухом подслушивала их разговор. Машé рассказывала маме историю своей жизни. Оказалось, что она у себя в Австрии вышла замуж за русского, родила сына, а через несколько лет ее муж уехал в СССР, сказав, что подготовит там жилье, а потом выпишет к себе ее с сыном. Писал он ей все реже и реже, потом велел отправить сына к нему. Она это сделала, но почувствовала недоброе. Она то ли уже работала в Торгпредстве в Вене, то ли устраивалась туда и, в общем, попросила перевести ее в Москву. Приехав сюда, она узнала, что муж ее уже давно завел себе новую семью, с Машé он даже не захотел встречаться, а предложил развестись. Сына он ей вернул с условием, что она будет свободно разрешать ему видеться с отцом и жить у него. Этот ее сын, Лео, был на два года старше меня, умный, начитанный и воспитанный мальчик, учился в какой-то особой школе. Машé очень ревновала его к отцу. Она вообще не знала, как ей быть. В Австрии у нее оставалась мать, но, если бы она вернулась туда, потеряла бы сына, а сына она безумно любила… Позже, конечно, вопрос о ее возвращении на родину совсем отпал, ведь она была там известна как активная коммунистка, а там поднимали голову фашисты.

Если она помогала нашей семье продуктами, я имела от Машé и еще одну огромную выгоду: у ее сына была богатая библиотека на немецком языке, и Машé охотно снабжала меня чтивом. Когда я начала собирать марки, она и конверты иностранные никогда не забывала принести мне с работы. Для нее действовал кавказский закон «тебе понравилась вещь — возьми», и стоило мне сказать ей, что мне очень понравились сказки и рассказы Оскара Уайльда и я бы хотела их еще раз почитать, как она придвигала ко мне книжку: «Ну раз тебе так понравилось, возьми, она будет твоя!»

Позже, в 1935 году, у меня еще раз был повод почувствовать к ней глубокую, не выразимую словами благодарность. Как-то мы с мамой ездили в Серебряный бор, и у меня был с собой детский рюкзачок, в котором лежали подушечка, плюшевый мопс, книга «Легенды и мифы Древней Греции» и другие мелочи. Перед возвращением мы сели с мамой отдохнуть на скамеечку недалеко от автобусной остановки, рюкзак я поставила рядом с собой на землю и спохватилась только в автобусе: «Мама, а где мой рюкзак?» Мы вылезли и поехали обратно, ездили и на следующий день, заходили в милицию, не сдал ли кто найденный рюкзачок, — все напрасно. Меня страшно ругали. Возмущенная мама рассказала об этом случае Машё, та выслушала, взглянула на меня и пожала плечами. «Я только не понимаю, — сказала она, — зачем вы ее-то ругаете? Ведь пропали же все ее вещи, она

и без вас себя ругает и расстраивается, правда?» Я была так тронута ее словами, что у меня на глаза навернулись слезы, и я отвернулась.

Я продолжала писать. Это были теперь уже не романы, как «Ильзе Роберт», а рассказики, и один из них, про мальчика и его собачку, я дала почитать родителям. Им понравилось, они прочли его Машё. Машё тогда сказала: «Да, это точно — она будет писательницей. Послушай, у меня к тебе просьба — если ты когда-нибудь, когда вырастешь, напишешь мемуары, пожалуйста, вспомни там и про тетю Машё, ладно?» Это было сказано серьезным тоном и очень мне тогда польстило.

После того как мы переехали на другую квартиру, мы стали реже видеться с Машё. К тому времени она на работе с кем-то крупно разругалась (ее бурные выступления против несправедливостей наживали ей немало врагов!), и ее под каким-то предлогом уволили из Станкоимпорта. Она устроилась на конторскую работу на завод «Каучук» поближе к своему дому. Последний раз мама ездила к ней, кажется, в 1936 году; ждали, что она, как бывало, вскоре заглянет к нам, но она куда-то пропала, и никто ничего не слышал о ней. Прошло больше года, прежде чем мама снова собралась к ней на Плющиху; она долго звонила в дверь, но никто не открыл. Тогда мама спустилась к дворнику — она помнила, что Машё рассказывала ей о большой семье этого дворника, что она подкармливает его детей и отдала им много своих вещей из одежды. Да, сказала маме дворничиха, вроде бы хорошая и добрая была женщина, но кто бы мог подумать — оказалась шпионкой, врагом народа, забрали ее. «А вы сюда к нам лучше не приезжайте больше».

В 1958 году к нам вдруг зашла одна немка, вдова дипломата Соловьева. До войны она работала в Станкоимпорте, раза два бывала у нас. Когда началась война, ее выслали на Алтай, а теперь она вернулась и хлопотала об издании воспоминаний своего мужа о Майском[30]. Мы удивились ее неожиданному визиту, но под конец цель ее посещения стала ясна: она хотела выяснить, не знаем ли мы что-нибудь о Машé. «Ведь у нее же было столько хороших знакомых, куда они все девались, когда ее посадили? Она ведь лично знала Вильгельма Пика[31] и многих других, часто хлопотала через них за знакомых людей…»

Куда они все подевались?[32]

Лето 1933 года. Мой дневник

Лето 1933 года было в общем-то довольно скучным. В июне

мы редко ездили за город; может быть, оттого что было много дождей? Мне даже кажется, что у папы был в этом месяце отпуск, но он целыми днями не вставал из-за стола, все что-то писал и чертил. Он готовился сдавать техминимум и участвовал в каком-то конкурсе (в котором получил потом премию — велосипед; вернее, он им был награжден, но так никогда и не получил — велосипед заменили деньгами). Я в то время крутилась около стола и играла со своими любимыми игрушками — Пецем-Бурумбуцем и лисичкой Джончиком, и вот папа в виде отдыха стал сочинять для меня «Медвежью газету», которая меня очень смешила. Каким-то чудом «газеты» эти, писанные на обороте листков календаря, сохранились до сих пор. Ближе к вечеру папа с мамой садились за шахматы. Папа, очевидно, играл неплохо: у него даже было несколько книг по шахматам, а маму он учил, сначала дав ей вперед ферзя, потом, после первой маминой победы, — туру и т. д. (в конце — пешку), пока они не стали играть на равных. Папа завел «турнирную таблицу» и аккуратно отмечал в ней результаты партий. Конечно, побеждал гораздо чаще он, но мама эту игру полюбила, и после хороших ходов папа всегда хвалил ее. Я тоже в то время научилась играть в шахматы, но эта игра была не для меня. Я не могла думать над ходом больше минуты, мне хотелось играть быстро, тяп-ляп. Мне интереснее было заниматься своим мячом и прыгалками.

Запомнились два дня — сначала я гостила с ночевкой у Иры Шустовой, а потом она у нас. Когда мы были у нее, мы сначала долго играли в Станкоимпорт: мы звонили металлическими рюмочками на длинных ножках — это были телефоны, и деловые разговоры по ним велись почти беспрерывно. «Алло, вы уже выслали нам дело номер шестнадцать?» — «Будьте любезны передать вашему представителю, чтобы он срочно приехал сюда». Конечно, мы что-то подписывали и таскали взад-вперед какие-то фолианты. После обеда мы спустились к другим девочкам на два этажа ниже и играли в папы-мамы с переодеванием. У Шустовых гостила бабушка, Марья Дементьевна. Дядя Ваня называл свою мать так же, как тетя Люба свою, на «вы», мне это было очень странно слышать. Еще меня удивило, что Ира получила от своего папы оплеуху, когда она, увидев на картинке в журнале малыша, воскликнула: «Какой халёсенький!» — «Не сюсюкай!»

А из того дня, когда Ира гостила у нас, запомнилось, как мы в Крысином замке (папа в ту ночь спал в большой комнате) и долго не можем заснуть. Мы сидим в постелях и мечтаем о том, как бы полететь на Луну или на другие планеты. Днем мы гуляли в Александровском саду. Оказалось, что Ира выведала у своей бабушки, как рождаются дети: именно — «как», а не «от чего», и

она подробно мне все пересказала. («От чего» я приблизительно слышала еще раньше, от Нюши, но мы думали, что это просто хулиганское действие, никак не связанное с появлением детей.)

Сохранились две тетрадочки (из трех) моего дневника. Дневник написан по-немецки (как и папина *Bären-Zeitung*[33]) — это, очевидно, говорит о том, что я в то время все-таки еще думала на немецком языке. Дневник этот писался, видимо, от скуки, очень уж незначительны события, описанные в нем. Язык его местами несколько неестествен — наверное, под влиянием каких-то старинных немецких книжек, подаренных тетей Матильдой. Вот, например, запись, которая правдиво отражает мои чувства: *«Как приятно сидеть рано утром у прохладного окна, когда на улице еще все тихо. Я уже радуюсь, что сегодня увижу лес. Я люблю природу больше всего на свете. Я думаю о том, как хорошо бы поставить в лесу палатку и жить в ней, а питаться только ягодами и орехами…»* Но есть и такие строки — бессовестное, смешное вранье, явно рассчитанное на то, что дневник прочитает мама: *«Мне сегодня мама велела почистить картошку. Это была совершенно непривычная для меня работа. Я нехотя начала соскребывать кожуру с этих одиннадцати картофелин. Я чуть не отрезала себе половину пальца. Ужас! После этого я едва могла двигать правой рукой. Я и сейчас не могу крепко держать перо. Я убежала в комнату и стала просить Господа Бога дать мне больше сил, чтобы я лучше могла помогать маме…» (запись 20.VIII).*

Примерно с того момента, как я начала вести дневник (11.VII), мы почти регулярно ездили в Ильинское, и каждые 2–3 дня после работы к нам забегала тетя Меля, чтобы договориться на очередную поездку. Ведь телефонов не было ни у нас, ни у Шустовых. Я переведу несколько эпизодов. Отмечу, что писалось все на отвратительной бумаге.

> 20. VII
>
> *Сегодня утром у меня случилась неприятность. Папа принес мне марки. Я быстро налила клею на блюдечко и начала их расклеивать. Клей очень быстро засыхал, поэтому я торопилась. Как раз в этот момент папа крикнул мне из кровати, чтобы я подошла к нему, потому что он хочет мне что-то сказать. Я уже собралась пойти, но вспомнила, шо это время может засохнуть клей. Поэтому я несколько нетерпеливо воскликнула: «Не могу я сейчас, у меня клей засохнет». «Иди сюда, потом нальешь новый», — крикнул он. Тут я потеряла всякое терпение: «Не буду я без конца наливать клей!» Я продолжала*

приклеивать, а когда закончила и собиралась было подойти к отцу, он стоял посреди комнаты и кричал: «Хорошо, посмотришь теперь, не подошла ко мне и еще грубишь с утра». И вдруг голос его стал таким громким, что я буквально вздрогнула: «Марок ты у меня больше не получишь! Сегодня как раз принесут почту из Англии, и марок у нас будет много!» А за завтраком он сказал маме: «С сегодняшнего дня я все марки буду отдавать Ире, пусть она тоже заводит себе альбом!» «Но, может быть, ее марки не заинтересуют, — сказала мама, — отдавай их лучше мне».

Перед уходом папа сказал мне строгим тоном: «Я теперь всегда буду приносить марки, а тебе их отдавать не буду. И если ты до 24 числа не извинишься передо мной, я в твоем присутствии все до единой марки отдам Ире».

Таким образом моя маленькая нетерпеливость выросла в очень неприятную ссору. Мама, правда, сказала, чтобы я лучше сразу попросила прощения и обняла папу, чтобы я сказала: «Я же просто пошутила!» Но для этого у папы было слишком сердитое лицо. После обеда мама тоже сказала: «Папа совершенно прав, такая большая девочка, десять лет уже, и такая грубиянка».

Когда папа зашел домой после обеда (в «Праге»), он, казалось, все забыл. Он даже пошутил со мной, когда увидел, как я быстро подметаю большим веником комнату. Вечером приходила Машё и принесла трюфели и песочное пирожное. Папа вечером был в хорошем настроении, но про марки даже не упомянул.

21. VII

Когда я утром встала, я нашла на своем столе огромную кучу марок — ура! Он, очевидно, забыл про вчерашнюю угрозу. Я быстро все расклеила и убрала альбом, чтобы он, чего доброго, не вспомнил. Маме я марки потом показала, но и она ни одним словом не обмолвилась о вчерашнем…

Я люблю папу, но меня абсолютно не интересует техника, хотя папа хочет, чтобы я стала инженером. Даже слово «техника» мне не нравится. Я всегда вижу перед собой огромную отвратительную машину. Зато, как только я посмотрю на наш дикий виноград в горшке, мне приятно, и я думаю о лесе, лугах и реках… Это все куда лучше той технической машины.

Вечером заходила тетя Меля, мы решили поехать

завтра в Ильинское…

27. VII

описывается, как я «отметила» день рождения своей любимой игрушки — лисички Джона. Упоминается о том, что Матильда прислала мне новую книгу, «Безымянное семейство» Жюля Верна, как я тайком плакала над судьбой ее героев. Я очень сожалела, что я не потомок канадских французов.

12. VIII

мы с папой ходили покупать книги.

Он купил две книги себе и три мне. Во-первых, «2000 лье под водой» Ж. Верна, во-вторых, «Марс», о планетах. И еще «Рассказы» Марка Твена. Я была очень рада. Вечером мы ходили к дядюшке Эле. Они рассказали, что у них скоро будет щенок. Немецкая охотничья собака…

15. VIII

Говорят, что сегодня приезжает Лео Машé из лагеря — какое мне, собственно, дело? Пусть приезжает. Он мне нравится, но я его не люблю…

17. VIII

Сегодня в 4 часа весь Станкоимпорт едет в колхоз, чтобы там работать. Они там переночуют.

18-го

Папа тоже должен ехать. Мы с мамой тоже хотели поехать с ним, но ночевать, наверное, будут на сеновале или на открытом воздухе, и я могу замерзнуть. Поэтому мы только сходили днем в Станкоимпорт и отдали Биллю[34] *рюкзак с едой и вещами и попрощались с ним…*

18. VIII

Сегодня все так странно без папы… Например, утром чуть не подошла к его кровати по привычке, чтобы его разбудить. А во время умывания я крикнула, как всегда: «Мама, а Билластик дразнится!» Я даже сначала не поняла, почему мама так смеется… (По утрам мы всегда с папой наперегонки бежали в ванную и шутя дрались из-за мыла — кому первому умываться…) Великое дело привычка! Вечером папа вернулся часам к восьми. Оказалось, он молотил. Мама смеялась. Он весь искололся соломой. «А женщины тоже ездили? А Шустов?» — спросила мама. «Женщины? Они сразу устали. А Шустов

все песни пел». В ту ночь мы снова вместе спали в Крысином замке.

21. VIII

Сегодня в четверть девятого будет затмение солнца. Сейчас десять минут девятого. Я с половины восьмого сижу у окна. Минуты становятся часами. Осталось еще три минуты. Первое солнечное затмение в моей жизни!

Вот уже четверть. Ах, эти глупые облака, уходите прочь! Но они меня не слушаются.

Наконец-то появляется солнце. Оно уже немного затмилось. «Скорее давай стекло!» — кричу я папе, который держит над свечкой круглое стеклышко. Я несусь с закопченным стеклом к окну. Опять облака… Но вот и солнце. Как красиво! Оно почти наполовину темное. Еще два раза мне удалось посмотреть на солнце, потом облака окончательно закрыли его. Но папа сказал, что это и не должно было быть полным затмением. Все равно это было для меня большим счастьем…

Эта запись сопровождалась рисунком, как луна загораживает солнце.

Тетя Зина

В один из осенних дней — я уже сделала уроки и была одна дома — к нам позвонили, и я открыла дверь незнакомой худой кареглазой женщине. «Лорочка? — спросила она и, когда я недоуменно кивнула, подхватила меня и закружила. — Ки́цынька моя! Я тетя Зина из Ленинграда — слыхала про такую? А Боренька — мой самый, самый любимый брат». «Не Боренька, а Билльчик!» — засмеялась я, и ей сразу понравилось это имя. Мы пошли с ней к нам в комнату, и я, с незнакомыми обычно застенчивая и бука, разговорилась с ней. Она рассказала про свою дочку, Юденьку, про красивый Ленинград, про то, какой мой папа хороший — самый прекрасный человек из всей семьи. «Но, — добавила она, — в честь моего приезда давай сегодня вечером привяжем твоему Билльчику хвост». Мы нашли длинный пояс от какого-то платья и на конце приделали из бумаги кисточку — получился отличный хвост, как у льва. Потом она попросила меня отвести ее на кухню. Там оказалась грязная посуда: мама сразу после обеда побежала в ЗРК, и тетя Зина принялась эту посуду мыть. «Мама будет ругаться», — предупредила я ее. «Ругаться?

Какая же хозяйка будет недовольна, если ей немножко помогут?» В это время открылась дверь, на пороге кухни появилась мама, в пальто, с сумками. Она открыла рот от удивления, но лицо ее выражало скорее протест и возмущение. «Это что…» — пробормотала она. «Маргочка! — тетя Зина обняла ее и поцеловала. — Не сердись! Я Зина, твоя новая сестричка!» Мама терпеть не могла поцелуев и преувеличенных проявлений чувств, но тут она рассмеялась: «Зина… А я подумала, какая-то там чужая женщина мой посуда трогает, сейчас я ей покажу!» А тетя Зина очень настороженно присматривалась к маме, старалась выбрать созвучную маме тональность разговора. Позже она вспоминала, что боялась не понравиться маме, а ей так хотелось подружиться с женой любимого брата. Она слышала, что мама хорошая хозяйка, поэтому стала мыть посуду, чтобы угодить ей.

Вечером, когда пришел Билльчик (она сразу, обнимая, так его назвала), у меня было еще несколько веселых минут. После ужина трое взрослых сидели за столом и беседовали, я незаметно, со свернутым хвостом в кармане, подкралась сзади к стулу папы и осторожно английской булавкой приколола хвост к его полосатому пижамному жакету. Потом мы с тетей Зиной, перемигиваясь, ждали, когда Билль наконец встанет. А уж когда он встал и начал ходить по комнате, ничего не подозревая, мы покатывались со смеху.

Так за один тот вечер тетя Зина завоевала мое сердце на всю жизнь. Я всегда любила ее больше всех других моих теть и дядей.

Остановилась она тогда у дяди Эли, а приехала по не очень приятному делу: у нее было что-то не в порядке с сердцем и болел желудок — думали, что это язва, и надо было исследоваться у врачей. Кроме того, она рассказывала маме, что ей очень тяжело жить у свекрови, которая ее ненавидит и всячески издевается над ней. Она даже «вызывала скорую помощь», чтобы тетю Зину забрали в сумасшедший дом. Но приехавшие врачи сказали, что, им кажется, есть основания забрать туда не ее, а свекровь… Тетя Зина даже плакала, когда рассказывала про все эти обиды.

После этого приезда мы стали с тетей Зиной переписываться (родители вообще постепенно всю переписку с родственниками переложили на меня, но писать тете Зине никогда не было для меня бременем). Я очень любила ее письма, которые нередко были сочинены в стихах.

Девочки

Я уже писала о девочках, которые окружили меня в новой школе. Лена Федорович мне скоро надоела, Таня Москалевич училась французскому, английскому и музыке и была такой интеллигентной и воспитанной, такой начитанной, что я не знала, о чем с ней и говорить. Рая Раппопорт и Вера Бибикова жили далеко от меня и в гостях у нас совсем не бывали. Ближе всех была Лариса Коккинаки. Однажды она меня очень по-дружески выручила: я легла грудью на парту сзади нашей, да прямо на полную чернильницу, и на моем белом вышитом фартучке появилось круглое фиолетовое пятно диаметром с небольшое блюдце. По дороге домой мы говорили с Ларисой о том, как мне попадет от мамы. «Я приду к тебе, — сказала Лариса, — и заступлюсь». Придя домой, я сразу запрятала фартук под матрац. Вскоре явилась Лариса: «Ну как?» Она велела мне немедленно вытащить фартук и надеть его, потом пошла со мной к маме на кухню. «Вы видите, какой ужас случился, — сказала она маме, — это один мальчик облил Лору чернилами». «Да, облил, — повторила и я, — такой у нас есть хулиган!» Мама всплеснула руками и спросила, что это за мальчишка. Она сказала, что пойдет к учительнице и пожалуется на него. «Нет, не ходи, он больше не будет», — в ужасе закричала я, а Лариса, толкнув меня незаметно ногой, сказала: «Нет, вы не ходите, он же не нарочно это сделал. Он хороший мальчик…» — «Но как же это могло случиться?» — «А он шел между рядами и нес в руке чернильницу. Кто-то вытянул ноги в проход, он споткнулся — и вот, прямо на Лорин фартук. Он и себя немножко облил, — добавила она на всякий случай. — Наверное, попадет ему от мамы. А Лора совсем не виновата, я пришла к вам все рассказать, а то вдруг вы Лоре не поверите…»

Училась Лариса плохо, она никак не могла научиться писать грамотно, и в диктантах у нее бывало по тридцать ошибок, да и читала она неважно.

Я запомнила ее веселый день рождения в конце апреля. Было много детей, и под руководством ее родителей мы играли в разные интересные игры, очень много смеялись и потом пили чай с вкусными сладостями. В конце вечера Ларисина тетя погасила свет, зажгла свечи на пианино и стала играть для нас, а еще Лариса в красивом костюме танцевала.

Но все-таки — это и в дневничке моем написано — мне в ту пору очень не хватало близкого друга, «которому все можно рассказать». Ира была мне скорее родственницей, Харро и Нюша — милые соседи, Рая и Лариса скорее нашли меня, а мне хотелось выбрать самой. И такой случай представился после лета. Дружба эта была временами трудной и небезоблачной. Скорее,

это была любовь с первого взгляда, но счастья она мне тоже принесла много, и я часто думаю: не было бы папы, тети Зины да ее — насколько скучнее и беднее была бы моя жизнь…

Лёля

Лёля Б. появилась в нашем классе в сентябре 1933 года. До этого она занималась с учителем дома и в школу не ходила (кажется, болела скарлатиной с осложнениями). Среднего роста, худощавая девочка — ничего особенно красивого в ней не было: треугольной формы лицо, широкий лоб, тонкий узкий нос, как рисуют на иконах, карие глаза, светло-русые стриженые прямые волосы. Но, не прилагая никаких усилий, она каким-то образом сразу всех заворожила, притянула к себе — так было потом всю жизнь. Чем-то непонятным она привлекала к себе людей.

Отец ее был профессор, крупный ученый в области геологии: красивый крупный мужчина с большой черной курчавой бородой и голубыми глазами. У него в квартире был кабинет, куда детям не разрешалось заходить, стены этого кабинета до потолка были заняты стеллажами с книгами, еще там стоял большой письменный стол, за которым профессор, одетый в пестрый туркестанский халат (подаренный ему в какой-то экспедиции), сидел, глубоко задумавшись, оперев подбородок на карандаш или делая какие-то наброски. Все это я видела в замочную скважину. Мать Лёли была шустрая, деловитая, разговорчивая женщина, она работала медицинской сестрой в поликлинике ЦКБУ, в пяти минутах ходьбы от их дома в Гагаринском переулке. Еще у Лёли были братишка лет двух и сестра Ирина, на год моложе ее, красивая девочка, цветом волос и глаз в отца. В доме хозяйничала и опекала детей молодая домработница Уля. Квартира помещалась на первом этаже двухэтажного желтого домика среди кленов и тополей в глубине двора, там было три комнаты — большая спальня, кабинет и маленькая столовая. У них был телефон, и на этом удобства заканчивались. Мебель была старая и скромная, одевалась семья тоже просто. Так и запомнилась мне Лёля тех времен — в неизменной розовато-пестрой трикотажной фуфайке поверх белой блузочки.

С первого взгляда я влюбилась в Лёлин почерк. Я старалась подражать ему, но у меня не получалось. Все буквы были ровные, простые, прямые (без наклона), без каких-либо круглых петелек, ясные. Писала она очень чисто, без помарок и клякс; вообще аккуратность была ей присуща во всем. Училась она хорошо, но без блеска (блеск был у ее сестры, председателя учкома, к тому

же она прекрасно рисовала). Лёлиным даром была ее незаурядная память. По дороге из школы мы долго провожали друг друга — сначала доходили до Гагаринского, потом сворачивали влево, шли по Гоголевскому бульвару до Сивцева Вражка, где я провожала ее еще чуть-чуть — по пути она иногда читала мне наизусть никогда ранее не слыханные мной поэмы Лермонтова. Лёля казалась мне необыкновенным человеком, я обожала ее. Мы с ней сидели на одной парте, сзади сидели Лариса и Нонна Бронштейн, и мы целыми днями и на переменках, и на уроках играли: Лариса — папа, Нонна — мама, а мы с Лёлей — их дети. Особенно увлекались мы этой игрой, когда шли домой по бульвару. «Сейчас мы поедем на пароходе по морю, дочки», — басом объявляла Лариса. И мы с Лёлей мчались к ближайшей скамье, вскакивали на нее: «Скорее, папочка, пароход уже отходит, а ты еще билеты не купил!» Потом кто-нибудь из нас сваливался «в море», другие спасали «тонувшего», волокли в «больницу», на другую скамейку, и так далее. Позже Лёля придумала нам новые имена: я — сестричка Мимимака, она — сестричка Лизизака. Она выдумала нам братца, почему-то китайчонка, Мими, и еще была злая цыганка Кока, «которая все время пробовала выкрасть нашего братца». Как-то (кажется, это было весной 1934 года, когда мы уже жили не на Арбате) я сама сочинила новое приключение этого Мими и злой Коки и записала в маленькой тетрадочке. Я принесла ее Лёле почитать, а она забрала мой рассказик домой «еще раз перечитать». На следующий день она вернула мне эти листочки: «Я давала их маме почитать». Я набросилась на нее: «Как ты могла! Это же наша тайна, я же только тебе…» «И что сказала твоя мама?» — поинтересовалась Лариса. «Она сказала: очень хорошо, — и тут я краешком глаза увидела, как Лёля обернулась назад к Ларисе и, прикрыв рот рукой, сказала: — И очень даже плохо!»

Меня это так взбесило, что я поклялась отомстить Лёле. Такой случай представился мне чуть ли не на следующий день, и я совершила позорнейший поступок своего детства. Был урок труда, на котором мы занимались тем, что вырезали на чернильных ластиках буквы, которые смазывали краской, вставляли в какой-то агрегат, и потом буквы отпечатывались. Учитель труда дал нам задание, а сам на время должен был отлучиться. Бригадирам, в том числе и мне, велено было следить, чтобы все члены бригад работали, и отмечать результаты в особой тетрадке. Никто, конечно, ничего не делал, все бригады баловались, а бригадиры всем ставили плюсики. Лёля все время шепталась о чем-то с Ларисой и другими девочками. Я стала ревновать, припомнила и ее недавнюю ложь и вот, сама себе не

отдавая отчета в том, что делаю, со злости поставила всем вместо плюсов черные точки. Когда вернулся учитель, я сказала ему, что моя бригада меня не слушалась и ничего не делала. После урока девочки собрались в углу класса и долго шептались, глядя в мою сторону. Я шла домой одна и глотала слезы стыда и обиды, причем больше стыда. Что я наделала! Я же самая настоящая ябеда. Как идти завтра в школу, как смотреть в глаза всем!

На следующий день стало ясно, что Лёля, Лариса, Нонна и еще две-три девочки со мной не разговаривают. На переменке они гуляли отдельной группой, по-прежнему играли в папы-мамы и еще завели себе няню, Нину Королеву Я тут же собрала вокруг себя других и тоже распределила роли: в няньки взяла вечно сопливую Катю Праслову. Мы держались особой группой и будто бы играли и веселились, но я даже не помню сейчас, кто был тогда со мной, ведь следила я только за Лелей и ее окружением, и меня больше никто не интересовал. Они о чем-то секретничали. Я старалась подслушать их разговоры, когда мы топтались на лестнице в длинных долгих очередях в столовую или раздевалку, где еле поворачивались усталые нянечки-гардеробщицы, а мы играли с номерками «на бóльшего», «на меньшего» или просто посасывали веревочки от номерков. Эти веревочки были солоноватые на вкус.

Наверное, с месяц мы провели в размолвке, ни разу не заговорив друг с другом. А потом — уж и не помню как — вдруг разговорились, и все было забыто. Мы снова стали дружить с Лёлей, даже выяснили случайно, что нам нравится один и тот же мальчик, Костя Ваньков. Мы собирались драться на дуэли, но дружбе нашей это не помешало.

В начале февраля 1934 года в Гюстрове умерла бабушка. Мы получили от тети Анни короткую, прерванную телеграмму: *Mama tingezhlaven (=eingeschlafen)*[35]. На следующий день нам доставили еще одну, уже напечатанную правильно. Мама очень горевала, она плакала и ходила взад и вперед по Гоголевскому бульвару, папа еле успокоил ее и привел домой.

А через несколько дней после этого печального известия вернулись из командировки владельцы комнат, семейство Хитруков. У них было два сына, которые называли друг друга Коля и Миша. Они бегали по комнатам, пинали ногами наш шкаф и кровати и говорили: «А вот тут у нас стоял буфет, а здесь — кушетка». Круглый лысый отец их был настолько глуп, что даже проиграл мне в шахматы. Вообще они сидели у нас целыми днями, требуя, чтобы мы скорее выезжали. Я ненавидела их. Мне так не хотелось уезжать с Арбатской площади. А папа снова сочинял прошения о жилье, снова тетя Люба редактировала и

перепечатывала эти заявления, и снова мы всюду получали отказ. Нам предлагали поселиться в комнате у Мясницких ворот вместе с еще одной женщиной, но от этого мы отказались. Наконец, когда Хитруки уже начали вдвигать в комнату свою мебель, мы погрузились в машину и уехали в свободную комнату на Сретенке, не успев даже предварительно ее посмотреть.

Сретенка (Панкратьевский переулок)

1934 год

Новое жилье находилось на первом этаже, пол вровень с землей, на всю квартиру два окна. Будто бы нас с солнечных высот бросили в сырой подвал.

Во времена нэпа здесь была парикмахерская, потом сделали перегородку, и получилась двухкомнатная квартира, а огромная черная обитая железом печь отапливала сразу три помещения: нашу и соседнюю комнаты и большую темную переднюю. Помимо комнат там была еще кухня с окном за железной решеткой, довольно просторный туалет и холодные сени. В небольшом помещении перед комнатой соседей стояла ванна, но не был проведен водопровод. Единственный кран находился на кухне над железной раковиной. Потолки везде были очень высокие. Наша комната была длинная и узкая, стены оклеены выцветшими синими обоями, высоко под потолком — лампа с металлической тарелкой. Пахло сыростью, на наружной стене выступили пятна плесени. Левая стена упиралась в окно, поэтому только вдоль правой стены можно было поставить наши кровати, а слева — шкаф, сундук, этажерку и мой столик у окна. Обеденный стол и буфет в комнате не умещались, их поставили в передней, где мы потом и обедали.

Первую нашу соседку я не помню — не успели мы прожить на этой квартире месяца, как она умерла в больнице от гнойного аппендицита. Соседняя комната была шире нашей, и в ней стояла роскошная мебель в стиле позднего ампира: диван с резным зеркалом сверху и застеленными этажерочками по бокам, все было украшено позолотой. Еще были кресла, письменный стол и мраморный столик, все из красного дерева. Эту мебель оставила в квартире женщина, за полгода до того уехавшая в Швейцарию.

Окно наше выходило на Сретенку. В то время там еще ходили трамваи, 2-й и 17-й, на последнем можно было через центр попасть на Арбат. Остановка была прямо напротив нашего окна, поэтому здесь всегда толпился народ. К тому же перед самым нашим окном всегда стояли маляры, предлагавшие прохожим свои услуги; в холодную погоду они приплясывали и стучали об землю своими кистями. На другой стороне улицы был Торгсин (магазин, где продавались товары за золото или валюту, в Москве таких было несколько). Из-за этой сутолоки, пыли и шума открыть окно было невозможно, и мы проветривали квартиру, раскрыв настежь входную дверь. (Правда, через нее к нам влетали полчища мух.)

Вход в квартиру был со двора, с Панкратьевского переулка. К

нам вела двойная двустворчатая дверь. Звонка не было, и те, кто приходил к нам, стучали или в окно со Сретенки, или, обязательно ногами, чтобы услышали, в дверь. Двор был мрачный, в нем не бывало солнца. Рядом с нашей дверью справа — ход на лестницу в некоторые другие квартиры. Слева от двери, над маленькими окошками, висела надпись: «Склад посуды и ламп П. Зимина».

Напротив нашей двери, в углу, — помойка, в которой копошились большие рыжие крысы. В подворотне, как во всех домах в те времена, доска, на ней белым по черному — номера квартир и фамилии жильцов. Напротив доски — низенькая дверца в квартиру дворника Филиппа, красивого, вечно подвыпившего мужчины. Он всегда ходил с метлой — гонял ею крыс, немножко подметал и, главное, опирался на нее, чтобы не упасть. Его мать, тетя Маша, всегда сидела перед окошком, открытым или закрытым, смотря по сезону, и следила за двором. Она знала всех, знала сложные взаимоотношения между соседями, но не сплетничала, и ее уважали.

После того как мы переехали, папа продолжил писать заявления с просьбой дать нам постоянное нормальное жилье. И вдруг — мы, кажется, прожили на Сретенке месяца два — он прибежал с работы радостный и взволнованный: на Каляевской улице закончилось строительство кооперативного дома НКВТ (Народный комиссариат внешней торговли). Там одну или две квартиры выделили особо нуждающимся, папе предложили комнату размером 20 кв. м, и туда срочно надо было въезжать. Всю ночь мы не спали, снова упаковывали и увязывали вещи, и на следующий день после работы папа увез на грузовике часть вещей, чтобы потом заехать за остальными и забрать нас. Помню, как мы с мамой, дрожа от волнения, сидели в прихожей на тюках, ожидая его возвращения.

Папа вернулся лишь часа через два. Вернулся… и привез назад вещи. Он был совершенно расстроен. Когда он приехал на Каляевскую, то обнаружил, что другой мужчина, у которого был ордер на и-метровую комнату в той же квартире, занял накануне нашу комнату, перевез туда все вещи, уже переночевал там, а теперь заявил, что никуда не уйдет, предложив папе занять свою. Папа бросился выяснять, и оказалось, что юридически ничего нельзя предпринять. Все это было так неожиданно и нелепо, что мы с мамой даже поплакали, пока развязывали вещи. Я представляю, каково было на душе у папы…

Позже рядом с тем домом начали строить еще одно кооперативное здание, папа вступил в этот кооператив и ежемесячно вносил туда какую-то сумму. Но года через два

строительные работы почему-то были прекращены, и внесенные деньги отдали обратно. И, хотя пошли слухи, что хозяйка квартиры навсегда осталась в Швейцарии, мы не предполагали, что нам суждено прожить в этой «темной дыре», как мы ее сначала называли, целых 37 лет!

Правда, выяснилось, что в нашу длинную комнату-кишку даже заглядывает солнце: окно выходило на юго-запад, и лишь в три зимних месяца солнце не поднималось выше крыши Торгсина. На широком низком подоконнике могли прекрасно цвести растения в горшках. Но все равно квартира была очень темной, сырой и неуютной.

Постепенно менялась и Москва. Когда мы переехали, посередине Сухаревской площади еще стояла башня — мрачное закопченное здание из красного кирпича. Оно имело большую историческую ценность, но оказалось в наше время в нелепом месте и очень мешало транспорту. Под ее аркой помещались две пары рельсов, там грохотали трамваи, идущие со Сретенки на Первую Мещанскую, а трамвай Б и другие, ходившие по Садовому кольцу, объезжали ее дугой. Башню начали сносить в 1934 году, и никто об этом особо не жалел. Вообще Москва в те годы менялась на глазах. Уже в 1935 году со Сретенки убрали трамваи, брусчатку залили асфальтом и проложили один из первых троллейбусных маршрутов — № 2, от Ржевского вокзала да Кутузовской заставы. Под нашим окном сразу стало тише. Стала меняться и Садовая — постепенно исчезали деревья и садики, вырастали новые дома, но этот процесс был более длительным. В центре снесли почти всю Китайскую стену, и вместе с ней исчез и базар букинистов, где папа, бывало, всегда подыскивал мне книги.

Жизненный уклад (1934–1937)

Поскольку мы потом прожили на одном месте много лет и кое-что слилось в моей памяти, то напишу несколько слов об общем укладе нашей жизни в 1934–1937 годы.

Выходные обычно начинались с того, что мы с Билльчиком, едва проснувшись, устраивали соревнования по борьбе. Сначала надо было встать на расстоянии нескольких шагов друг от друга, скрестив руки на груди. Потом мы протягивали друг другу правые руки и, как бы перекидываясь, менялись местами, после чего уже начиналась сама борьба. Побеждал тот, кто клал противника на обе лопатки. Топот и возня начинались невообразимые, прибегала из кухни мама и, стоя в двери, качала головой и всегда говорила одно и то же: «Перестаньте, прекратите эти глупости, я же знаю, это добром не кончится!» И действительно, поскольку на обеих лопатках (на полу или на кровати) оказывалась брыкающая и визжащая я, то в результате я иногда со злости немножко ревела настоящими слезами: «Билластина противный, ты нечестными приемами» и т. д. Но я тут же начинала смеяться при виде папы, напевающего «В пещере горного короля» Грига и под эту музыку шагающего взад и вперед по комнате, подражая походке орангутана. После этого мы с папой часто исполняли всякие придуманные нами танцы: медленный восточный под «Танец Анитры», причудливо-страшный под «Пляску Смерти» Сен-Санса или танец в египетском стиле на музыку из «Аиды». После завтрака мы всегда отправлялись гулять, а мама в это время готовила обед. Маршруты у нас были разные: через Кузнецкий мост на улицу Горького, обратно бульварами или по Садовому кольцу. По дороге покупали горячие пирожки, которые везде в центре, особенно около Мосторга, продавались с лотков. «С рисом, с рисом!» — кричали торговки, а папа хулиганил: «Джим, прислушайся: как им не стыдно, что они хотят от бедной рыбы?» Папа обязательно заходил во все букинистические магазины, искал что-то для себя, иногда и для меня выбирал какие-нибудь книжки о дальних странах на немецком языке или Жюля Верна.

Папа очень полюбил Москву, и его интересовало все новое, все перемены. Помню, мы наблюдали, как передвигают на улице Горького дом вглубь двора. Еще помню, с каким энтузиазмом и гордостью он встретил открывшееся в мае 1935 года метро. В каждой станции он находил какие-то особые прелести. На работу папа почти всегда ходил пешком, стараясь идти разными путями.

Станкоимпорт ютился сначала в тесном помещении на Кузнецком мосту (дом 22), а потом переехал в новое белое здание с большими окнами и просторными залами, проезд Художественного театра, 2.

Праздники

Я бывала в Станкоимпорте всякий раз перед майскими и ноябрьскими праздниками, когда там устраивались торжественные собрания с концертами самодеятельности и «товарищескими ужинами», бесплатными в первые годы. До середины 1937 года я встречалась на этих вечерах с Ирой. Торжественная часть длилась всегда часа два: выбирался президиум, потом кто-нибудь произносил страшно длинную и нудную речь. Мы с Ирой садились в первый ряд и всегда находили повод похихикать: то оратор без конца пил воду, то в президиуме кто-нибудь начинал клевать носом или чесал ногу; иногда мы безмолвно смеялись так, что трясся весь ряд кресел. А однажды, к ужасу наших родителей, нас даже выгнали из зала. В художественной части всегда выступал дядя Ваня Шустов: он пел, играл в пьесах и скетчах и выглядел очень красивым в гриме.

На демонстрации мы тоже ходили с сотрудниками Станкоимпорта (кажется, только в девятом классе я ходила со школой). Демонстрации в те времена были очень многолюдными, все ходили на них с удовольствием, потому что было весело. И почему-то 1 мая всегда была хорошая погода. Собирались всегда где-нибудь довольно далеко от центра и долго топтались на одном месте. Кто-нибудь плясал русского, играли во всякие незамысловатые игры. Например, ведущий левой рукой загораживает сбоку глаз, правую ладонь засовывает под мышку левой руки, кто-нибудь из окружающий ударяет его по ладони, все быстро поднимают кверху большой палец, а ведущий оборачивается и должен угадать, кто его стукнул. Или один кричит: «Птица летает! Кто еще летает?» Потом, полусогнувшись, бьет себя спереди по бедрам и кричит: «Поехали, поехали, поехали, поехали, сорока!» При слове «сорока» он поднимает вверх руку, все окружающие — тоже. «Поехали, поехали, дирижабль! Поехали, поехали, муха! Поехали, поехали, стул!» Кто-то, зазевавшись, и тут поднимает вместе с ним руку, но стул-то не летает, и все хохочут.

В воздухе пестро от воздушных шаров. Около одиннадцати часов колонны приходят в движение, идут то медленно, то вдруг какой-то кусок пути приходится бежать, все кричат, смеются,

потому что в таком темпе песни уже не поются. Потом, ближе к Красной площади, колонны выстраивались по шесть человек в ряду, папы сажали нас на плечи, и мы, размахивая флагами или бумажными цветами, проплывали мимо Мавзолея: «А я Сталина видела!» Потом домой надо было идти вверх по Яузскому бульвару, Чистым прудам, добирались усталые и пыльные, но настроение у всех было веселое. По дороге, в конце Сретенского бульвара, непременно покупали у китайцев трещотки, шарики «уйди-уйди», пестрые бумажные игрушки с двумя палочками на концах: сложишь палочки — получается веер, а сложишь другой стороной — разноцветный шар, еще как-то вывернешь — подобие цветка или гармошка. Очень любили мы и набитые опилками бумажные «мячики» на резинках, они иногда продаются и сейчас. Кстати, о китайцах: в те годы в Москве еще существовало несколько китайских прачечных (одна из них — на Самотеке), где отлично стирали белье. Иногда и на улице можно было встретить китайцев в серовато-голубых кителях и узких штанах такого же цвета. Вот китайцы и делали те красивые праздничные игрушки.

Мама и ее хор

Несколько слов надо сказать о маме и о том, что помогло ей вынести всю нашу бытовую неустроенность и неприятности. Кажется, еще со времени нашей жизни на Арбате у мамы появилось занятие, которому она посвящала несколько вечерних часов почти каждый выходной вплоть до середины 1937 года. В Москве на улице Герцена в то время существовал Клуб иностранных рабочих, где было много всяких кружков. Не знаю, кто первый привел маму туда, но она сразу записалась в хор, и пение в этом хоре доставляло ей большую радость. Руководил хором некто Хаускат; мама рассказывала, что он страшно заикается, но прекрасно поет. Маму сразу приняли, у нее было меццо-сопрано и хороший слух, правда, Хауската очень удивило, что она совсем не умеет петь по нотам. Мама общалась в клубе с немками, австрийками, венгерками, все говорили по-немецки, и уже одно это было для нее, наверное, какой-то разрядкой. Пел же хор песни и на немецком, и на русском, и даже на испанском языке, когда начались события в Испании: *Las companies d'assero contando a la muerte van…* Участникам хора сшили одинаковые желтые блузы с красными пуговицами. Выступал хор на вечерах в самом клубе, а один раз я была на концерте в мюзик-холле (в те времена зал был отдан под выступления самодеятельности). Публики было маловато, но мне было приятно, что мама

выступает уже для широкой аудитории, и я радовалась за нее. После этого они еще как-то пели по радио вместе с Эрнстом Бушем[36]. «Некрасивый, рыжий, грубо выражается, — рассказывала мама. — Но наш Хаускат сказал — вот у кого вам всем надо учиться рот раскрывать!» Мама старалась не пропускать ни одного занятия, она могла помчаться в клуб после поездки в Ильинское, могла дома бросить все, лишь бы попеть в своем хоре, — такое это доставляло ей удовольствие. Особенно любила она петь *Moorsoldaten* («Болотные солдаты» — песня узников концлагерей). А в один из выходных летом 1937 года явившимся на хор объявили сначала, что Хаускат болен, а потом — что он арестован. Мама была очень огорчена и недоумевала, как этот скромный заика мог быть врагом народа.

Папа

В отличие от мамы папе пришлось забросить все свои хобби. Фотоаппарат его устарел, все уже пользовались «Лейками» и ФЭД, а у нас на покупку таких аппаратов не было денег. «Трехъярусный» наш самодельный радиоприемник тоже часто выходил из строя, запасных деталей не было, к нему был присоединен аккумулятор, который мы время от времени таскали куда-то на Каретный ряд на перезарядку. Уже появились неплохие приемники — дядя Эля завел себе ЭЧС-2, потом купил ЭЧС-3, а сломанный ЭЧС-2 отдал нам, папа его разобрал и вместе с одним знакомым они целый выходной возились и чинили. И как же я была счастлива, вновь услышав: «Говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна». Это было на длинных волнах, а на средних работала радиостанция ВЦСПС и еще, по вечерам, РЦЗ. Я очень любила слушать по радио музыкальные передачи и включала приемник, когда только была возможность.

Папа приходил домой, как правило, довольно поздно: рабочий день тогда был ненормированный. Часто он задерживался до десяти часов, и ему удавалось только послушать «Последние известия» (с 23:00 до 23:30), которые он никогда не пропускал: времена были полны событиями, и папа с тревогой за ними следил. После «Последних известий» папа еще долго сидел на кровати и читал: художественную литературу (обычно — журнал «Иностранная литература»), технические статьи по специальности, разные публикации в «Науке и жизни», а ближе к 1940-м он по вечерам взялся изучать по вузовским учебникам физическую географию, геологию и астрономию. А на творческую работу ему, видимо, не хватало тогда ни времени, ни сил, ни

настроения.

1934 год

(продолжение)

Поскольку первые месяцы жизни на новой квартире мы все еще ждали каких-то перемен в наших жилищных делах, меня не переводили в более близкую школу. Две последние четверти третьего и один месяц четвертого класса я ездила в свою старую любимую школу на Староконюшенном. Каждый день в переполненном до отказа трамвае А («Аннушке») от Сретенских ворот до Сивцева Вражка. Выбиралась из вагона с трудом, вечно отрывались пуговицы от пальто и ручка от портфеля. Как-то я потеряла гривенник на обратную дорогу и отправилась домой пешком, но на Арбатской площади меня застал дождь, и я, преодолев ужасный стыд, попросила деньги на трамвай у одной тетеньки. Четвертый класс занимался во вторую смену, и, наверное, чтобы мне не приходилось возвращаться поздно вечером в темноте, меня забрали и перевели в школу на улице Мархлевского, недалеко от телефонной станции. Но это было в конце сентября, а до этого еще было лето, запомнившееся двумя событиями.

Но еще до лета произошло одно странное явление, усугубившее мрачное настроение наших первых месяцев на новой квартире. Однажды вечером мы с мамой сидели вдвоем в комнате: я у окна за своим столиком, кажется, делала уроки, а мама — на своей кровати у двери. Она перечитывала бабушкины письма, и я заметила, что она то и дело вытирает слезы. Вдруг мы обе одновременно подняли головы и вопросительно посмотрели друг на друга: у нашей двери послышался какой-то странный звук, будто кто-то часто-часто дергает не совсем плотно привинченную дверную ручку. Звук этот был такой странный, что мы боялись даже взглянуть на дверь. Мы к тому времени уже привыкли к стуку в наружную дверь или окно, усвоили все звуки этой квартиры, но такое было впервые. «Что это?» — шепотом спросила меня мама. Я в ответ только помотала головой. Но потом я первая нашла в себе смелость громко спросить: «Кто там? Войдите!» Звук прекратился минуты на две, потом снова тихо застучало. Нас охватил ужас, мы боялись пошевельнуться. Рядом, за окном, была шумная, людная Сретенка, а мы сидели, объятые странным страхом, и продолжали сидеть, даже когда звуки прекратились. Как радостно мне было, когда наконец

послышалось хлопанье входной двери, в передней зажегся свет, и мы узнали папины шаги. Я сорвалась с места и выбежала ему навстречу: «Как хорошо, что ты пришел!» Мама спросила, не он ли нас пытался напугать, но он был в полном недоумении. Мы рассказали папе о странных звуках и весь вечер пытались как-нибудь воспроизвести их, но напрасно. Ручки дверей и нашей, и соседей были крепко привинчены и не шатались, печная дверца в прихожей издавала звук совсем иной, крысы тоже возились разве что на кухне. Мы пробовали греметь посудой и ложками в буфете, пробовали постукивать даже за окном — не послышится ли эхо: все напрасно. Мы так никогда и не выяснили, что это было, и никогда больше не слышали подобных звуков. Одной из нас могло бы почудиться, но сразу обеим? Я потом про себя решила, что, раз мама читала бабушкины письма, то к нам, наверное, приходил бабушкин дух. Или дух совсем недавно умершей соседки. Но вслух высказать такие предположения я боялась.

Лето 1934 года

Из двух запомнившихся мне событий того лета первым была поездка в Звенигород на Иванову ночь с маминым клубом. Я в то время от скуки снова начала вести дневник — вела я его, однако, всего дней десять. От дневника 1933 года он отличался тем, что его я уже писала по-русски. Довольно нескладно, но — без орфографических ошибок.

Вот записи из этого дневника.

22. VI.1934

Я не понимаю, как мы завтра поедем с немецким клубом в Звенигород. Город, который звенит. Сегодня, во всяком случае, от дождя. Если поедем, я возьму листок и карандаш и запишу, а после перепишу сюда.

23. VI.1934

Дождь льет сегодня утром как из ведра. Сейчас 10 часов утра, а на улице и в комнате темно. Сверкают молнии, и гром не перестает. Но, наверное, мы все-таки едем!

Дневник Звенигорода. В Москве у вокзала было очень жарко. Все собрались и сели в поезд. В нашем вагоне едет оркестр, $^1/_2$ 7-го вечера. Туда два часа езды. Я стою у открытого окна, мимо пролетают красивые ландшафты: леса, луга, деревушки. Но солнце спряталось, и дождь

забарабанил по окну. Мы закрыли окно — перестало. Я опять наслаждаюсь лесами из различных цветов зелени. За 10 минут до Звенигорода пошел опять сильный дождь. Поезд остановился, и, боже мой, кругом дождь и грязь ужасная. Все собрались с флагами и портретами Тельмана, и мы пошли по дороге, где грязь доходила до костей ног. Наконец мы пришли в самый Звенигород, и, пока говорили речь, я смотрела в небо. Небо было какого-то серого голубого цвета, и были там и облачка, светло-и темно-фиолетовые. Долго смотря в небо, мне показалась там целая картина. Вот будто бежит собака и 20 овечек преследуют ее, а вот даже как будто лицо и тележка какая-то. Мне показалось, что это должно что-то означать, и, взглянув на деревья, кусты и близкий лес, на это небо, я почувствовала, будто есть огромный Защищатель природы. Не людей и зверей, а лесов, деревьев, полян и лугов — особенно деревьев; и мне стало странно и жутко.

Мы пошли дальше, и нас и еще человек 50 повели в белый Дом крестьянина. В зале молочным светом горела лишь одна лампа, и было темно. Мы поужинали в столовой, которая была в минуте ходьбы от нас. Было $^1/_2$ 12-го. Пока мы устраивали на полу лежанки, все ушли смотреть костры. Я уже легла, как вдруг мой Билль решил смотреть этот огонь. Я заплакала, и наконец мне позволили тоже пойти. На пижаму мне накинули пальто, и мы пошли. Главная группа недалеко еще ушла, и мы их догнали. Мы долго шли по направлению к тому месту, где будут костры, мы ходили по ужасной грязи и по лужам, которые в темноте не были видны. Гак мы тащились километра три, и папа решил пойти обратно. Я подняла крик, что хочу идти дальше, я думала, что до цели уже недалеко. Но пришлось идти назад, было уже 2 часа утра, на востоке появлялась заря. Я все время плакала от досады, но вскоре я уснула. Ведь я в жизни еще не видела этого праздника, когда ночью разжигают костры, и прыгают, и пляшут вокруг огня. Очень мне было досадно.

24. VI.1934

Я проснулась. $^1/_4$ 8-го. Кое-где уже шепчутся и двигаются, но мой Билль еще храпит. Наконец мы все встали, умылись, и я пошла на улицу. Как красив Звенигород! Вчера было темно, и я ничего не видела. Домики за деревьями, сады, а сзади, если посмотреть по

дорожке, темные зеленые деревья и светлый солнечный луг. Я молча приветствовала природу и вспоминала ее Защищателя. Но теперь мне не было страшно, было светло, голубое небо и светлые облачка — такие как всегда. Я встала на пень. На меня светило солнце. Может быть, меня вчера выбрала Природа и я теперь знаю ее тайны? Скоро мы пошли завтракать, ели какую-то противную кашу, кисель и кофе с хлебом. Потом мы пошли в дом отдыха им. Рыкова. Там я прогулялась немного, и мы пошли в музей, где смотрели старые, старые вещи из 13, 14 и 18 века. Какие тогда были вещи! Мне всегда очень интересно рассматривать старое. Но я не могу представить себе, какие тогда были люди. О чем они думали и как? Очень хотелось бы немножко пожить тогда.

Мы пошли обедать. Обед был вкусный, было даже мороженое. К нам подошел, наверное, заведующий. Он потирал руки и спросил: «Ну что — вкусно?» «Очень вкусно и много!» — ответил Билль. Тот самодовольно улыбнулся: «Сумели-таки подготовиться! А то говорили, что у нас плохо кормят».

Потом мы, то есть Билль, мама, я, тов. Хрипченко и еще какая-то женщина, одни, раньше компании, поехали домой. Я печально посмотрела на весь чудесный старый Звенигород, посмотрела и на небо; было пять часов, облачка были белые, и теперь там было наоборот: уже волк или собака преследовали овец. Я вспомнила опять Покровителя природы, и у меня потекли слезы. Почему? Наверное, от счастья. В Москве мы сели в пустой трамвай, 14-й, и скоро очутились дома, а в голове у меня еще раз ожил красивый городок, леса, монастырь и Москва-река. Я легла спать в и часов и вскоре уснула…

Так возникла моя собственная религия, которую я держала в тайне. Позже я придумала мелодии двух хвалебных гимнов Защитителю природы, которого я почему-то назвала Бастилио. Эти гимны надо было обязательно напевать, когда поезд проезжал мимо рва между Ромашковым и Раздорами, а также в дни двух великих праздников, которые я учредила, — 12 мая и 4 августа. Появились и другие ритуалы — например, незаметно обнимать и целовать две сосны у лесной дороги в Ильинском. Но моя религия занимала меня исключительно за городом, в городе никакого божества не было, и я ничего не чувствовала. В городе были другие дела. От скуки я опять писала — сразу две повести, одну

на русском, другую на немецком. В обеих описывалась жизнь дружных детей одной деревни и, соответственно, детей одной большой семьи, все эти дети были для меня как живые, и я себя отождествляла с ними.

А вообще-то лето прошло под знаком «Таинственного острова» Жюля Верна. Когда папа купил мне эту книгу, мы начали вместе ее читать: я днем, а папа догонял меня вечером. Часто я вкладывала ему записочки: «Когда Билль закончит эту главу, он от удивления подпрыгнет до потолка и сразу захочет читать дальше!» Книга совершенно заворожила меня, мне нравились дружные колонисты, у меня мороз пробегал по коже от всех таинственных явлений на этом острове, совершенно необъяснимых… пока не обнаружился капитан Немо. Папа тоже увлекся, он наизусть мог нарисовать карту острова со всеми подробностями. Все то лето во время поездок в Ильинское с дядей и тетей мы играли в колонистов: папа был Сайрус Смит, я — Герберт. Тетя Люба была Гедеон Спилет, дядя Эля сказал, что он будет Наб или, если угодно, даже Юп. Мама была у нас Пенкроф (хотя она, в общем-то, не играла с нами особенно активно). На пляжи мы придумывали новые приключения, обнаруживали всякие загадочные вещи и так далее.

Школьные годы

У Лёли

Десятидневный дневник мой заканчивался 27.VI словами «Да, вчера я получила еще одно письмо от Лёли…» и с этим связано второе четко запомнившееся событие того лета. Дело в том, что мы с Лёлей часто писали друг другу, обязательно по два письма в шестидневку. Содержание этой переписки я сейчас уже не могу себе представить, но помню большую радость находить в почтовом ящике сероватые конверты с ее аккуратным почерком. Семья Б. в то время получила дачу в Софрино, в поселке научных работников, и вот Лёля стала настойчиво меня туда приглашать. Когда пришло письмо на восьми страницах с очень подробным описанием пути от станции, я показала его папе, и мы вместе с дядей решили в следующий выходной поехать туда: я поиграю с подружкой, а взрослые погуляют в лесу. Но поездка эта от начала до конца вышла неудачной. Сначала мы сели не на тот поезд, и в Пушкино надо было пересаживаться на паровик. Около часа мы просидели на станции, а когда приехали в Софрино, сразу свернули не на ту тропинку и уж дальше не могли найти ни одной из описанный в Лёлином письме вех, таких как: «А потом справа ты увидишь вот такую раскаряку: «А», там ты свернешь налево, и немножко подальше будут у забора лежать три бревна…» Только через час мы вышли к поселку: новые чистые домики в самом сосновом лесу. Нашли мы там и Лёлину дачу, но к нам вышла только седая кудрявая старушка, соседка (представилась — профессор такая-то, на что дядя ответил поклоном: «Профессор Фаерман!» — это выглядело смешно со стороны). Оказалось, что все семейство Б. уехало на два дня в Москву купать детей. Мы отказались от предложенного нам чая и вернулись на станцию. Вечером в первый же день шестидневки пришло письмо, адрес написан Лёлей, а внутри — записка незнакомым почерком, вся в мокрых разводах. Писала Лёлина мама, а разводы были от Лёлиных слез. Зинаида Ивановна просила моих родителей отпустить меня к ним на следующий выходной, так как с Лёлей, когда она узнала о моем неудачном приезде, сделалась истерика. Сбоку была приписка Лёли дрожащей рукой: «Милая Мимимакочка, приезжай! А то я помру». И вот за мной заехала Лёлина мама. Моя мама спросила, что мне дать с собой из еды. «А что у вас есть?» Услышав ответ, Зинаида Ивановна поморщилась: «Это у нас самих есть. У нас — литер А.

Я думала, у вас Инснаб». По дороге на вокзал она заехала со мной в Кривоколенный переулок к какой-то старушке, видимо, Лёлиной бабушке. Дом был одноэтажный, сзади сад, в который спускалась лестница от застекленной двери. Старушка вышла к нам навстречу; она совсем плохо видела и слышала, и, когда Зинаида Ивановна сказала ей, что она не одна, она положила мне руку на голову и назвала Ирочкой. Пока Лёлина мама беседовала с двумя другими женщинами, старушка заговорила со мной, задавала вопросы, на которые я не знала что ответить, потому что я ведь была вовсе не Лёлина сестра, а сказать ей об этом я стеснялась. Наконец неловкое интервью закончилось, но, когда мы сели в трамвай, вышла новая неприятность: Зинаида Ивановна рассердилась на меня, что я не заняла ей места: «Тебе все равно, стоять или сидеть, но я же с сумками!» Она, конечно, была права, но такая уж я была несообразительная. В Софрине Лёля с Ирой встречали нас у самой станции, и, когда мы увидели друг друга, радость была неописуема.

Ужинали мы на открытой веранде. Лёлин папа — который, как я потом узнала, болел малярией и целые дни лежал на чердаке, где писал какой-то научный труд, — тоже спустился к нам по стремянке. Он молчал, и мы сразу притихли; я впервые увидела его так близко и рассмотрела, что у него не только густая курчавая черная борода, но очень красивые большие синие глаза. Тогда же я впервые увидела сгущенное молоко, положила себе ложечку в чай и стала его помешивать, а Лёлька толкнула меня локтем и шепнула: «Сейчас ты помешаешь-помешаешь и плюнешь туда!» Я прыснула и разбрызгала чай по всему столу. Иван Яковлевич насупился и от возмущения даже приподнялся со стула, но ничего не сказал. Зато Зинаида Ивановна строго крикнула: «Лора! Помнишь, что тебе мама сказала? Зай артиг!» Я еле дождалась, когда ужин кончился и нас с Лёлей оставили вдвоем в большой комнате. Родители Лёли с Ирой и маленьким Володей все спали в другой, меньшей комнатушке. А здесь, в большой, стояли только стол и две раскладушки для нас. Мы легли, но долго разговаривали и получили замечание. Тогда мы сдвинули раскладушки поближе и уже дальше говорили шепотом. Но через некоторое время мы услышали: «Ну-ка, раздвиньте сейчас же кровати! Спать!» Я уснула с ощущением счастья: я впервые спала на даче, в лесу.

Утром нас шумно разбудила Ира: она прыгнула на середину комнаты от двери, на которой раскачивалась. И сразу они с Лёлей начали из-за чего-то ссориться и драться. Но после завтрака сестрички снова объединились и стали разговаривать на языке зи, чтобы мама не понимала. «Зи-ма зи-ма зи-не зи-пу зи-стит зи-нас

зи-на зи-ре-зи-чку…» Они решили сказать, что мы пойдем к подруге Лиле. А сами удерем на речку километрах в двух от дачи. Ира осторожно вынесла под платьем махровое полотенце, калитка захлопнулась — и мы вольны бежать куда захочется. Сначала мы действительно зашли к этой Лиле, но их домработница, немка, сказала: «К Лиле есть пришел старый учитель и она делает музи́к». «Музи́к так музи́к», — засмеялась Ира, быстро спустилась по гладкому стволу сосны, на которую забралась для лучшего обозрения соседского участка, и мы пошли на речку. Искупаться в ней было довольно трудно, такая она была мелкая, но мы хорошо побрызгались, благо день был жаркий, потом отправились домой. Чтобы успели высохнуть волосы и мама ничего не заметила, мы пошли в обход морковного поля, и тогда сестричкам пришло в голову надергать этой моркови. «Вообще-то нам влетит, если поймают, — это поле колхозное, но ты, Лор, стой на шухере». — «Это как?» — «Ну, как увидишь вдали человека, кричи: «Шухер!» Людей появлялось немного, но мы на всякий случай прятались в кустах. Морковь мы завернули в полотенце. Когда подъехал какой-то старичок на подводе, Лёля остановила его, сказала, что мы заблудились и очень устали, и, так как никто не умел отказывать Лёле, мы еще и прокатились до дома на подводе. Награбленную морковку девочки высыпали деду на подводу, а дома сказали маме, что полотенце они захватили нечаянно, и оно упало в грязь. После обеда мы еще ходили втроем за малиной и долго следили за проезжающими поездами. К вечеру за мной приехал Билльчик. «Кто эта необыкновенно красивая девочка?» — спросил он меня по дороге к станции. И очень удивился, что она родная сестра Лёли.

Все это запомнилось мне так ясно, потому что совсем мало у меня было в жизни событий в то время, очень я была одинока.

Но осенью того же года у меня было настоящее приключение. Его мне тоже устроила Лёля.

Под диваном

Я уже начала ходить в другую школу, а Лёля училась во вторую смену и иногда приезжала ко мне по выходным. Однажды она появилась у нас в будний день, сразу, как я пришла из школы. «Пойдем ко мне, Киса», — попросила она. «Но ведь тебе же в школу!» «Это ничего не значит, мы что-нибудь придумаем», — заявила Лёля, и мы поехали к ней на Гагаринский.

Была, наверное, середина октября, и двор вокруг Лёлиного дома был весь усыпан шуршащими желтыми листьями.

Дома оказалась только молоденькая домработница Уля. Лёля поделилась с ней своим планом: «Мне нужно немножко теплой воды, Улечка, принеси мне в блюдечке. Срочно надо заболеть, а то мама будет меня ругать». Уля, очень любившая Лёлю с Ирой, улыбнулась и поставила на стол мисочку с водой, Лёля опустила туда градусник, и, когда он показал 37,8, вынула и положила на стол на самое видное место. Потом она попробовала говорить хриплым голосом и в нос.

— А меня-то ты куда денешь? — поинтересовалась я, — Как же я-то попала к тебе, если ты от меня поехала в школу? Я же не могла знать, что ты заболеешь…

— Очень просто. Мама придет с работы в три, через полчаса. Мы пока поиграем, а как увидим ее из окна, ты полезешь под диван. Дальше я все устрою.

На всякий случай мы придвинули стоявшие под диваном коробки к самой стене, чтобы я могла уместиться, вытянувшись во всю длину.

Игра наша не клеилась: все время надо было глядеть в окно, поэтому я на всякий случай уже села на пол около дивана в полной готовности скрыться, а Лёля стояла на коленях на кресле у окошка. Вскоре она испуганно посмотрела на меня и шепнула: «Тревога! Там идет тетя Лида. Лезь на всякий случай под диван!»

Вползая в узкое пространство между передними ножками дивана и коробками, я зацепилась волосами за какую-то пружину и не успела высвободиться, потому что в эту минуту та самая тетя Лида уже входила в комнату. Так я и застыла со свернутой набок головой, не в состоянии повернуть ее.

— Лялечка, — пропела тетя Лида сочным контральто, — ты дома, деточка… А где же мама? Мне срочно нужна мама, надо спросить у нее одну важную вещь. А скоро она придет?

— Минут через двадцать. Тетя Лида, а я заболела…

— Ах, сейчас у всех грипп, конечно. Так минут через двадцать, говоришь?

— Может, и через двадцать пять… Или через полчаса.

— Ну, словом, я ее подожду.

Пружины надо мной скрипнули, что-то ухнуло, и на мою спину словно мешок опустился. А перед самым моим носом встал высокий желтый каблук. Пока тетя Лида усаживалась поудобнее, я придержала рукой застрявшую прядь волос и дернула головой. Часть волос осталась в пружине, но голова моя освободилась, и я положила ее на руки, не спуская глаз с желтого каблука.

Бедная Лёля была в отчаянии. Тетя Лида не обратила никакого внимания на градусник, а когда Лёля заикнулась, что у нее сильно болит голова и она хотела бы лечь, тетка заметила: «А

вид у тебя совсем не больной. Ах, скорее бы пришла твоя мама, она так мне нужна!»

— Господи, — сказала вдруг Лёля, будто спохватившись, — милая тётечка Лида, извините вы меня, я же все забыла. Не дождаться вам маму сегодня! У нее же сегодня собрание, и она задержится. Как это я забыла…

— Ну уж все равно я дождусь.

— Но она, знаете, придет не раньше пяти часов!

— Как в пять? Не могут быть такие долгие собрания. Ну ладно, я почитаю пока. Что это за книга лежит на подоконнике?

— Это телефонная книга.

Диван скрипнул, и каблук придвинулся к самому моему носу. Я к тому времени уже люто возненавидела эту тетю Лиду, которая — кто знает? — могла просидеть над моей спиной весь вечер. Не соображая, как это рискованно, я провела ногтем по ее пятке над каблуком. Нога сразу дернулась, и я застыла от страху. Но она только слегка почесала свою пятку. Лёля между тем придумала еще что-то.

— Тетя Лида, — спросила она озабоченно, — а сегодня не десятое число? Десятое? Ну тогда мама с работы пойдет не домой. Даже если у них отменят собрание, она пойдет к Нине Георгиевне на Сивцев. Вы лучше всего пойдите туда сейчас, чтобы вам не разминуться.

Тетя Лида помолчала с минуту, потом пошевелила ногами. «Пожалуй, ты права, Лёля, — сказала она, — я так и сделаю». Я была готова расцеловать ее пятку.

Через две минуты мы были снова одни. Оказалось, что Лёля все это время не была даже уверена, что я еще жива. «Она так плюхнулась на диван — я подумала, она тебя придушила…»

— Ну, ты пока не вылезай все-таки, — сказала она. — Сейчас мама уже должна прийти. Господи, не встретилась бы она с тетей Лидой, а то они будут сидеть тут до полуночи. И тогда тебе вообще не вылезти.

Этой прекрасной перспективе, однако, не суждено было осуществиться. Минут через пять пришла домой Зинаида Ивановна, без сопровождения.

— Лёлечка, ты почему дома? Да подними же голову со стола, что с тобой?

— Голова ужасно болит, вот я и не пошла в школу…

— Температуру мерила?

— Мерила, но я что-то не пойму, сколько на градуснике. Посмотри сама, мамочка. Голова у меня болит, и Уля сказала — оставайся дома…

— Хм. 37,8. Это нехорошо. Когда же ты почувствовала себя

плохо? Ты ведь ездила к Лоре?

— Была я у нее, а когда ехала домой, еще в дороге, мне стало плохо.

— Значит, надо лечь. Сейчас поедим, и ты ляжешь. Я дам тебе таблетку.

— Но я не хочу есть…

— Это уже совсем плохо. Я лучше вызову сейчас врача.

— Нет, мамочка, не надо. Я просто обедала уже у Лорика.

— Опять у них? Что же ты там ела?

— Суп… потом рис.

— Рис, рис, — раздраженно сказала Зинаида Ивановна. — Съела у них какую-нибудь гадость, вот и заболела.

— Нет, не гадость, Лорина мама очень вкусно готовит.

Мне было жаль Лёлю, и я даже, кажется, покраснела за нее. Дальше было еще неприятнее.

— Вкусно готовит? — сказала Лёлина мама. — В прошлый раз ты сама говорила, что у них были какие-то отвратительные картофельные оладьи с сахаром и что у тебя от них живот болит!

Лёля испустила тяжелый стон: «Это же вовсе не у Лоры было! Это я ела у Нонночки».

Когда Зинаида Ивановна вышла в переднюю снять пальто, Лёля осторожно присела на диван, постучала мне сверху кулаком и шепнула: «Жива?» В ответ я поскребла пол у ее ног, Лёля хихикнула было, но в этот момент снова вошла ее мама, и она ловко превратила смешок в подобие стона. Во время обеда она продолжала сидеть на диване и, чтобы подбодрить меня и показать мне, что я не забыта, шаркала по полу ногой, а пока ее мама рассказывала про какую-то свою сослуживицу, у которой украли в трамвае сумку, вдруг опустила ко мне свою руку с кусочком хлеба. Я взяла кусок и в ответ немножко ущипнула Лёльку за палец. Мне все-таки было очень неуютно в моем убежище. Я ведь не могла даже повернуться на бок, к тому же я начала зябнуть. От скуки я стала чертить пальцем на пыльном полу чертиков. И тут вдруг случилось ужасное. Пыль мне попала в нос или это было от сквозняка, но я внезапно чихнула. Чихнула громко, со вздохом даже — не успела ничего приглушить. Я затаила дыхание от страху.

— Что это? — испуганно вскрикнула Зинаида Ивановна. Мне уже почудилось, что меня выволакивают за ноги из-под дивана.

— Что? — переспросила Лёля совершенно спокойно.

— Там какой-то звук странный.

— Это же я чихнула, мамуся.

— Ты? Чихнула?

— Я уже третий раз сегодня чихаю. И у меня насморк.

Загремели посудой, и Зинаида Ивановна сказала:

— Вот что, Лёля, я сейчас сяду здесь и буду штопать, а ты поди в спальню, ложись.

У меня волосы встали дыбом.

— А у тебя много чулок, мамуся?

— Много. На весь вечер хватит.

Я закрыла глаза.

— Мамуся, знаешь, у тебя сегодня очень усталый вид, ты лучше сама приляг и отдохни… в спальне. А я лягу здесь. Ну пойди полежи часок, тебе же надо отдохнуть. Я, честное слово, тоже лягу тут, на диване, я уж тут пригрелась.

Зинаида Ивановна не устояла и действительно вышла.

Лёлька от радости бешено заколотила кулаками по дивану и стала напевать: «Мы спасены — прошла уже опасность, сейчас ты выползешь, мой друг».

— Лёля! Ты не пой, а ложись. А то еще и горло разболится.

— Мамуся, я тебя одеялом прикрою сначала!

Через пять минут заботливая дочка вернулась из спальни: «Засыпает!»

Потом, после новой разведки: «Спит! Вылезай!»

Не успела я отряхнуть с себя пыль, как Лёля уже набросила мне на голову пальто, предусмотрительно спрятанное за портьерой, и вытолкнула меня за дверь на лестницу.

Я выпуталась из пальто, надела его как следует, потом громко потопала за дверью и дважды позвонила. Из спальни послышался сонный голос: «Открой, Лёлечка, звонят».

Лёлька открыла дверь и издала крик радости. Я же стала шумно вытирать о половики ноги и громко произнесла следующий монолог: «Фу, как стало холодно на улице! А я была сейчас в твоих краях, у своего дяди, шла мимо и подумала: дай зайду к тебе, может быть, ты уже пришла из школы. Как это чудесно, что ты дома; у вас что, четыре урока только было?»

Лёля продолжала выражать свою радость всякими междометиями, пока не появилась в дверях Зинаида Ивановна и попросила нас не шуметь так, потому что она хочет поспать часок. А мы и рады. Сначала мы насмеялись вдоволь, вспоминая мою «жизнь под диваном», потом стали играть во что-то. Немного позже к нам присоединились Зинаида Ивановна и Ира, которая пришла из школы. Лёля совсем забыла, что она больна.

За ужином Зинаида Ивановна сказала мне: «Ты у нас, наверное, и есть не захочешь. Лёля говорит, что твоя мама так замечательно готовит, то оладьи необыкновенные, то рис…» Перед моим уходом Лёля, однако, все испортила. Ей, видимо, было обидно, что так блестяще разыгранная нами комедия не

имела зрителей, способных все оценить, и она спросила вдруг: «Мамочка, а тебе ничего не показалось странным?» А дальше подробно описала все, что было. К моему удивлению, Зинаида Ивановна вовсе не рассердилась. Она села и написала в школу записку: «Уважаемая Мария Петровна, Леля не могла вчера присутствовать на занятиях в школе, так как у нее был острый приступ колита. С приветом, З. Б.».

Школа

В новой школе я чувствовала себя плохо. Ребята в классе не обращали на меня особого внимания, я скучала по старым своим подружкам. К тому же в один из дней девочки вокруг меня на уроках всё шушукались о чем-то, а во время пионерского сбора одна из одноклассниц вызвала меня в коридор и повела в кабинет врача. «Вот та самая новенькая, у которой мы видели вшей», — отрекомендовала она меня. Я думала, что умру со стыда. Врач посмотрела мои волосы (я как раз начала отращивать косички) и покачала головой: «Как же так, откуда они у тебя взялись? У тебя мама-то есть?» Я сказала, что, наверное, я подобрала этих паразитов во время поездок в трамваях; так оно, скорее всего, и было. То, что у меня почесывалась голова, меня особо не беспокоило, а родителям просто в голову не приходило, что такое может быть. Когда я шла из школы домой как в воду опущенная, меня обогнали две девочки и крикнули: «Ты скажи матери, чтоб голову тебе вымыла!» — «С керосином!» Мама была ошеломлена. «Какой-то позор, — сказала она, — в Германии все пальцем бы на тебя показывали, да там такого вообще не бывает!» Как будто я была виновата. После этого мне ужасно стыдно было ходить в класс! Насекомых мама стала выводить у меня очень активно, купила густой гребешок и ежедневно два раза меня причесывала, а по выходным я ходила с керосиновым компрессом на голове. Но я продолжала чувствовать себя несчастной и держалась в школе обособленно. Правда, позже я поняла, что про мой позор знали-то всего три-четыре девочки, да и те поступили корректно — никто меня не дразнил и учителя ни о чем не узнали.

Кстати, учителей той школы я почти не помню. Разве что зрительно помню директрису — толстую даму в темном платье с белым воротником. Вот она стоит перед классом и упрекает нас, глядя куда-то поверх наших голов: «Четвертый — второй! Какой стыд! Какой позор!» Слова ее, как острые иголочки, покалывали и пролетали мимо ушей. Или наша классная руководительница, Анна Ивановна Демулиц, с измученным лицом и зачесанными за

уши седеющими черными волосами. Она очень хвалила меня на родительских собраниях, и в конце года мои родители зашли к ней домой с цветами и коробочкой конфет. В школе были немыслимы любые подарки учителям[37], а она и дома не взяла даже цветов и сказала, что все это ее только оскорбляет. Хвалила же меня Демулиц потому, что педологи признали меня самой способной среди девочек класса. Педологи эти явились в один прекрасный день в школу и всех переполошили: вместо уроков мы должны были пройти разные тесты. Я не помню, в чем они заключались. Их было очень много, некоторые на скорость, другие на сообразительность и т. д. Мне очень понравилось их выполнять: это было словно игра, и мне хотелось быть первой. Я вообще всегда все делала быстро — первой сдавала изложения, быстро делала домашние задания. Вот и решили педологи, что у меня «высший класс по способностям». Но, видимо, целью этих тестов было не установления типа самих способностей, иначе они бы увидели, что я совсем тупа в математике. Нам, детям, результаты опытов не объявляли, а многие родители, видимо, были не согласны с низкими оценками своих чад, и вскоре педологов заклеймили чуть ли не как мошенников.

Чему нас учили в четвертом классе, я не помню, помню только, что учительница географии требовала бесконечное количество картинок с изображениями различных климатических поясов. Мы кромсали всевозможные журналы вплоть до старинной «Нивы», шли в ход открытки с репродукциями из Третьяковки и так далее. У нас дома ничего такого не было, и я вечно размышляла, откуда бы выдрать изображение тропического леса или тундры. В конце года у нас были первые за годы нашей учебы экзамены, но подробностей я не помню.

1935 год. Приезд тети Анни

В конце мая 1935 года к нам гости приехала тетя Анни из Ростока. Мама была счастлива, она испекла к приезду любимой сестры особенно вкусный кекс и вообще наготовила много вкусных вещей. К тому времени были уже отменены наконец карточки на продукты, и можно было покупать сколько нужно.

Мы с мамой встретили тетю Анни на вокзале. Целыми днями потом ей показывали Москву, возили в метро, водили в музеи, два раза — в Большой театр на балеты. В Торгсине она недорого купила мех цигейки, и родители отдали скорняку шить полупальто. Тете Анни все нравилось, она была счастлива побыть вместе с мамой и увидеть чужую страну. Мне в подарок она

привезла ею связанный голубой шерстяной свитер, кроме того, она сразу, как приехала, села шить мне платье из белого маркизета и сама вышила на нем пестрым шелком веночки из цветов.

Мы, конечно, расспрашивали ее, как там, в Германии, но, живя в Ростоке, она многого не знала. Гитлеру она не придавала серьезного значения, только пожимала плечами: «Но народ-то почти весь против него, над ним смеются. Чего только не придумают: вот выпустили значок с изображением свастики, вокруг — колосья, а фон значка красный, и у лотков, где эти значки продавались, парни нарочно громко выкрикивали: «Покупайте значок *Rot Front in Ehren»* («Честь Рот-фронту» — к этому нельзя было придраться, потому что значок можно было описать как *Rot, Front in Ähren*, то есть красный, на переднем плане — колосья; это произносится совершенно одинаково); все понимали, что имеется в виду, и покупатели тоже громко кричали то, что звучало как «Привет Рот-фронту». «Потом, — рассказывала тетя Анни, — фашисты стали запрещать людям покупать в магазинах у евреев. Перед входом в такие магазины прятались фотокорреспонденты, и как-то они сняли хорошенькую молодую женщину, как она выходит с покупками. Она отказалась назвать себя и только сказала: «Я немка, но против евреев ничего не имею. Это прекрасный магазин, я всегда покупала здесь и буду покупать». На следующий день в газете появилась крупным планом ее фотография с подписью: «Подружка евреев». И тут выяснилось, что это была дочь одного графа, члена нацистской партии. Граф устроил в редакции газеты скандал, об этом случае узнал весь город, и все стали бегать в магазин к тому еврею, а если их останавливали, говорили: «А что такое? Сама дочь графа такого-то здесь постоянная клиентка». Словом, тетя Анни, как и большинство других обывателей, особенно в провинции, еще не принимала фашизм всерьез, считала эту перемену временной: «Посмотрим, что нового придумают эти нацисты!..»

Уже когда поезд с тетей Анни отъехал, мы долго стояли на перроне и смотрели вслед, пока хвостовые огоньки не превратились в две красные точки. Мне было грустно, и долго не давало уснуть чувство безвозвратности.

Соседи

После смерти нашей первой соседки мы месяца три были одни, а потом у нас некоторое время жил пожилой генерал со своей молодой сожительницей, толстой, круглощекой, курносой,

с губками бантиком и желтыми волосами. У генерала где-то были жена и дети, но он их бросил. Сожительница усиленно душилась духами (после их выезда остался большой ящик пустых флаконов) и целыми днями заводила патефон. Стена между нашей и соседней комнатами была тонкая, да еще имелась дверь, хоть и навсегда запертая, так что слышимость была прекрасная, и нам вскоре страшно надоели ее любимые «Вэрынись, я все прощу» и «Василечки, любимые цветочки». Через полгода генерал с этой женщиной перебрались в другое место. (Мама потом, года через три, встретила генеральскую сожительницу на улице, та расплакалась и рассказала маме, что у нее был от генерала сыночек. Но, когда ему было три годика, он заболел дифтеритом и умер, хотя она давала нищим много денег, чтобы молились за него. И теперь генерал уходит от нее, и она поняла, что ее несчастье было наказанием за то, что она отбила его у жены и детей.)

Вскоре после генерала к нам вселилась Мария Васильевна Романова, довольно угрюмая, с вагнеровским профилем служащая Технопромэкспорта, со своим сыном Гением Кореньковым. Ей было немного за тридцать, а Гений был на три года младше меня. Он иногда воровал у матери из кошелька деньги и покупал себе конфеты и мороженое. За это его сильно били по ногам ремнем. «Черт! Иди к чертовой матери!» — кричала Мария Васильевна. Мама смеялась: «Гели она считает, что он — черт, то она же сама и есть мать черта…» Гений неважно учился, и Билльчик вечерами помогал ему по математике. Генька называл папу Борис Илливович. В конце учебного года он принес папе большой торт.

Чтобы мальчик совсем не отбился от рук, Мария Васильевна поселяла у себя разных людей, которые должны были присматривать за ним. Сначала это была одна малоэффективная старушка, потом появилась некая Анна Абрамовна Иванова — высокая худощавая женщина с огромным крючкообразным носом, у основания которого красовалась бородавка величиной с большую горошину. Разговаривала она игриво и жеманно, будто ей не под пятьдесят лет, а двадцать. Звук «р» она произносила так раскатисто-картаво, будто полощет горло. Она не упускала случая напомнить нам, что она очень интеллигентна, часто вспоминала свои гимназические годы, как была самая красивая в своем белом фартучке на праздниках и ее все приглашали на танец. Это было очень трудно себе представить. Мои родители сначала прозвали ее за глаза «Читракарна, благородная верблюдица», а позже это превратилось просто в Читру. В глаза папа называл ее, как и Генька, Анна Бранна. У нее был сын Жоржик, инженер лет

тридцати, живший где-то в общежитии. Когда он заходил к ней, она неизменно устраивала ему истерики: требовала денег, не разрешала жениться и т. д. Нам было очень жалко Жоржика. В 1937 году он перестал приходить к матери — его посадили. Товарищ его сказал Анне Абрамовне, что его посадили за анекдот, рассказанный в компании, кто-то из присутствовавших на него донес. После этого Читра стала усиленно искать для себя мужа и вскоре нашла железнодорожного служащего. Это был тихий голубоглазый мужчина со светлыми усами и вечно небритыми щеками. «Маррьга Юльевна, — говаривала Анна Абрамовна, прикрывая губы согнутым указательным пальцем и жеманно смеясь ртом, — он как гимназист!»

Когда Гений учился во вторую смену, она обычно уходила сразу после него и возвращалась к вечеру. Она рассказывала маме, что у нее есть четыре знакомые семьи; одни были ученые, другие якобы музыканты, навещала она их строго по очереди, и они всякий раз «заставляли ее пообедать у них». Так она экономила деньги и вовсе не готовила обедов. Когда она почему-либо оставалась дома, она заходила к нам: «Марьга Юрьевна, золотце, нет ли у вас корочки черного хлеба? Я что-то проголодалась, а у меня ничего нет поесть». Мама, конечно, давала ей не корочку, а суп и все прочее. А та всегда уверяла, что никогда в жизни этого не ела и хотела бы попробовать. Позже она каким-то образом выхлопотала себе комнату и уехала. Но время от времени навещала нас: «Корочку хлеба, Марьга Юрьевна, золотце, я с утра ничего не ела». Иногда нам удавалось, увидев ее через занавеску на окне, прятаться и не открывать ей дверь: «Читра идет!» Но она была настойчива и через полчаса появлялась снова, будто не понимая, что мы ее не любим.

После Читры у Марьи Васильевны до самой войны с нами жила ее двоюродная сестра Лида, тихая симпатичная девушка лет двадцати пяти. Обе женщины нередко водили к себе мужчин в надежде, что какой-нибудь на них женится. Старшая кузина возлагала особые надежды на некоего Николая Николаича Могильникова. Пили вино, играли на гитаре. Лида пела слабым, но приятным голоском, и мы сквозь стену были невольными слушателями их бесед. «Ах, — говорила Лидочка кому-то из кавалеров, — все-таки никакого сравнения не может быть между песней и романсом. В романсе — вся душа и страдающее сердце». — «Несомненно, Лидия Федоровна, в романсах — все любящее сердце». Слушать все это было смешно (специально никто не подслушивал, но мы обычно в это время уже лежали в кроватях) — смешно, потому что мы не видели людей, и можно было себе представить любые картины. Патефон у них тоже был,

и иногда они танцевали: шарк-шарк-шарк. Осенью, кажется, 1937 года Лида родила девочку, тщедушную болезненную Валечку. Когда ребеночку было около двух месяцев, его ночью укусила крыса. Лида с ребеночком спали в маленьком предбаннике соседней комнаты, там папа не смог заколотить жестью крысиные ходы, они были за ванной. Мы услышали душераздирающий крик Лиды, которая проснулась от внезапного крика девочки. Вскоре после этого Валечка умерла.

Гений как-то завел у себя рыбок — маленьких карасиков или пескариков, но он их мучил: то нальет в воду фиолетовых чернил, то вытащит из воды и положит на стол, а одной рыбке он ножницами отрезал хвост. Билльчик забрал у него этих рыбок, некоторое время они жили у нас в эмалированной гусятнице, и мы регулярно покупали им на Кузнецком мотыль, а потом мы повезли их в Серебряный бор и выпустили там в пруд. У меня — чувство пустоты и разочарованности: махнули хвостиками и тут же нырнули в темноту, а так хотелось, чтобы они хоть немного порезвились на виду, чтобы мы знали, как они радуются свободе.

Еще одна школа

(1935–1936 годы)

Осенью я снова попала в другую школу. Все школы были переполнены, а здесь, видимо, появилось место для еще одного класса, вот и собрали этот 5-й «Б» из разных других школ. Эта школа тоже находилась на улице Мархлевского, но поближе к нам, во дворе за костелом, среди желтых кленов. Само здание тоже было желтого цвета, и вообще, если прежняя школа осталось у меня в памяти серым пасмурным пятном, теперь наступила солнечная полоса. Ребята в классе подобрались симпатичные (все со мной наравне новенькие). Сам класс был довольно странным и не очень удачным. Чтобы попасть к нам, надо было на третьем этаже пройти через большой зал со сценой, потом через другой класс и через маленькую темную площадку закрытой черной лестницы. Помещение нашего класса было небольшое и как бы вытянуто в ширину. Слева — большое окно на солнечный двор, справа — высокое, узкое на серые стены соседних домов. Наш класс был тоже проходной: за ним помещался еще один из пятых классов. Такое странное расположение давало нам возможность поиздеваться над толстой учительницей обществоведения, злой Амалией. Перед ее уроком парты передвигались еще чуть поближе к доске, и ей приходилось протискиваться к

учительскому столу боком, что выглядело, конечно, смешно; гордость не позволяла ей попросить отодвинуть парты, а мы все затаив дыхание следили за ее телодвижениями.

По литературе и русскому языку у нас учителем был Андрей Николаевич, он носил пенсне и шепелявил, но предмету своему учил хорошо, к тому же называл всех учеников на «вы». Это нам льстило. Классной руководительницей была учительница математики, но ее я помню лишь смутно. Географию вела пожилая армянка с седыми кудрями, она довольно интересно объясняла, но неприятно спрашивала: вызовет какую-нибудь девочку, оглядит ее с головы до ног и с некоторым презрением говорит: «А знаешь, Развязкина, мне кажется, что ты не знаешь географию. Ну-ка, попробуй показать нам…» Девочка сразу терялась от таких слов, и дрожащая указка прыгала по карте невпопад. Однако учительница быстро поняла, что я знаю географию отлично, и почти не спрашивала меня. Ботаничка была малоинтересной, хотя предмет ее мне нравился. Больше всех мы любили молодую учительницу истории Изиду. Как ее звали на самом деле, я не помню, но начинали мы год с истории Египта, и мы представляли себе богиню похожей на нее. Или наоборот. Учебников по истории не было, поэтому она много и интересно рассказывала, а спрашивала редко. Прекрасны были учитель рисования и учительница пения. Он — высокий, молодой, красивый, любил свой предмет и хорошо учил нас (я у него за некоторые рисунки получала даже отлично с плюсом); она — тоже молодая и красивая, и мы в два голоса пели много хороших песен, нам было приятно сидеть в большом зале и слушать ее и себя; в зале всегда было солнце, и на паркете плясали тени от кленов. Учитель рисования и учительница пения были влюблены друг в друга, и нам это тоже нравилось.

Любовь…

Вообще мне казалось, что любовь так и летает по залу, по всей школе и окрашивает все в яркие цвета, придает всему особый, новый интерес. Я без ума влюбилась в смуглого, темноволосого и голубоглазого Леню Маслова. Он в самом деле был очень красив. Войдя в класс, я сразу отыскивала его и только его, и радостно начинало колотиться сердце. Я сидела во втором от окна ряду, он тоже за второй партой, но у самого окна, и я на уроках всегда сидела вполоборота к окну и любовалась его красивым профилем (нос с небольшой горбинкой). Как ему были к лицу две его рубашки — салатового цвета и светло-оранжевая…

Он не обращал на меня ни малейшего внимания, а для меня была счастьем каждая, даже самая малозначительная беседа с ним. Я старалась еще лучше учиться, чтобы он чаще замечал меня. Безответная моя любовь очень меня вдохновляла. По литературе мы проходили «Дубровского», там тоже было про любовь, и это нам нравилось. Весной нас водили в кино фильм по этому произведению, и Пашка Дюжев мне потом сказал: «У тебя платье как у Маши. И сама ты похожа на Машу. А я похож на Дубровского?» Я только и подумала: «Если бы мне такое сказал Леня!»

Уроки труда у нас были один раз в неделю, зато по три часа. Проходили они в подвальном помещении, и вел их симпатичный пожилой мужчина, речь его была проста и неправильна, он был требователен, но и добр, и мы его уважали. Первые две четверти мы работали по металлу, закругляли напильником какие-то детали с дырками, у меня получалось неважно, и я больше «уд.» не получала. Зато во втором полугодии у нас было столярное дело, и мне очень понравилось стругать, понравились кудрявые стружки, запах дерева, проводить пальцем по обструганным палкам (мы делали ножки для табуреток). Ближе к концу года учитель тайком от начальства отпускал со своих уроков всех девочек — видно, толку от нас было мало. Мы прятались в дальнем углу двора за деревьями, болтали и дышали весенним воздухом. Болтали тихо, чтобы нас не услышали, иначе мы бы подвели учителя. Однажды такой урок труда совпал с Пасхой, в костеле было богослужение, и мы долго стояли с толпой у входа, слушали орган и смотрели, как движется процессия детей в длинных белых одеяниях, со свечами в руках.

Немецкому нас учила отвратительная женщина, почти не знавшая языка: она не умела даже произносить слова правильно (например, «лашта́ута» вместо «ла́ст-ауто» — грузовик); 5-й «З» класс, с которым мы дружили (идти к нам было через них), сообщил нам, что ее прозвище во всей школе — Бостон-дерюга. Она ставила неуды направо и налево, все ее ненавидели, и однажды наш класс устроил забастовку. Мы решили не пойти на ее урок и спрятались внизу на лестнице, около мастерских для труда. Не ходить, так всем, решили мы. Кто-то сказал, что если я не пойду (мне немецкого было бояться нечего), то уж остальным сам Бог велел. Испугалась только наша староста, Вера Зутта: она всех стыдила и уговаривала подняться в класс. У нас было приподнятое настроение, и мы стали громко разговаривать и смеяться. Сверху раздался звонкий голос завучихи: «Вы почему там стоите и шумите?» «А у нас урок труда, нам сейчас откроют!» — нашелся кто-то из ребят. После этого мы сказали: «Кошка

сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот ее съест», — и никто ничего больше не говорил, но не из-за дохлой кошки, а потому что боялись, что Бостон-дерюга найдет нас. Минут через двадцать Вера Зутта сказала, что мы поступаем нечестно и подводим ее, и пошла в класс. И вскоре после этого наверху появились Бостон-дерюга, завуч и Вера и стали жестами звать нас к себе. Мы медленно двинулись наверх и в ответ на вопросы и упреки молчали. Наконец кто-то сообразил: «А мы думали, у нас урок труда, и ждали, когда откроют мастерскую» — и все подхватили эту версию. Бостон-дерюга, конечно, все поняла и стала ставить еще больше неудов. На родительском собрании матери ребят упросили мою маму помочь отстающим. Раза три мама ходила в школу, потом все распалось. Леня же после первого занятия сказал мне: «Какая у тебя мама хорошая!», а его друг Борька Белых засмеялся: «Он влюбился в нее!» Я покраснела до ушей. Дома я стала допытываться у мамы, кто из мальчишек ей больше всех понравился. Но она сказала, что никого не запомнила.

Я помню даже нашу пионерскую работу в той школе, наше четвертое звено; мы все время делали что-то интересное, соревновались с другими звеньями, кто лучше скетч поставит, кто лучше сделает альбом о Тургеневе и т. п.

В марте из всех классов отобрали лучших певцов, и начались репетиции. 1 Мая мы должны были пройти по Красной площади и спеть в два голоса «Смело, товарищи, в ногу». Репетиций было много, и у нас получалось очень красиво. В соседнем с нами 5-м «З» классе было несколько очень хороших, умных девочек, среди которых красотой выделялась Лиля Матерова, блондинка с блестящими серо-голубыми глазами и красивым цветом лица. В нее были влюблены все мальчишки, и я скоро заметила, что Леня Маслов тоже только на нее и глядит. На репетициях он при всякой возможности заговаривал с ней, и я ужасно ревновала. Показывать это я не могла, оставалось только садиться поближе к Лиле и самой тоже почаще разговаривать с ней: она была очень дружелюбна ко мне и, казалось, сама и не кокетничала с Леней. Мне хотелось, чтобы Леня думал, что мы с Лилей дружим. Зачем? На что я надеялась?

Наконец состоялась сводная репетиция нашего района. С Первой Мещанской сняли на час движение транспорта, и улица заполнилась школьниками. На крыше одного из зданий кто-то — говорили, сам Свешников[38] — кричал в рупор, как нам шагать. Но, когда стали петь пионеры всех школ вместе, получалось далеко не так красиво, как у нас в школьном зале.

Перед самым Первомаем нам вдруг объявили, что наш район не будет петь «Смело, товарищи, в ногу». Эту песню нашли более

подходящей для Краснопресненского района, а нам предложили разучить «Легко на сердце от песни веселой». Времени оставалось всего на одну репетицию, которая прошла сумбурно и почему-то в физкультурном зале. Первого мая всем певцам выдали по голубому берету (краснопресненцы были в красных); пение же наше на Красной площади прозвучало не очень громко и не очень складно, потому что часть площади мы прошли почти бегом.

В начале мая я как ударница класса приняла участие в ужине в честь приглашенных в школу шутцбундовцев[39]. Я даже переводила небольшую речь одного из них, и все были мной очень довольны. Только Леня Маслов этого, увы, не видел и не слышал.

К осени 1935 года у меня совершенно прекратилась переписка с Лёлей Б. Это получилось как-то незаметно и безболезненно. Правда, у меня особо близких подружек в то время не было, но наш 5-й «Б» был дружный, всегда было с кем поболтать и поиграть, а с Кланей Развязкиной, Раей Хромовой и Люсей Фивейской я могла даже делиться своими мечтами. Меня же больше всех любила Роза Юдковская. У этой Розы было прозвище Коза, потому что, когда она говорила, она всегда делала бодающие движения головой. Худая, бледная, с вечно растрепанными черными вьющимися волосами, она была очень плохой ученицей и вдобавок еще «гуляла с мальчиками». Я знала ее по прошлой школе, где она училась в параллельном классе, и она еще тогда делилась со мною своими «секретами». С мальчишками она отчаянно кокетничала, звонко хохотала, мальчики тоже заигрывали с ней, но больше посмеивались, все только Козой ее и звали. Она была влюблена в некрасивого рыжего мальчишку из соседнего класса, они писали друг другу записочки, и однажды пионервожатая перехватила у него Розин альбом для стихов. По этому поводу был созван сбор отряда, и больше часа Розу «прорабатывали». Читали вслух этот альбом и записочку, которая была в него вложена. Альбомчики были тогда у многих, девочки писали туда обычные пошленькие стихи вроде: «Маша — ангел, Маша — цвет, Маша — розовый букет, Маша — лента голубая, Маша — девочка большая», «Ангел летел над сугробом, Маша в то время спала, ангел сказал ей три слова: «Маша, голубка моя», а внизу на последней странице неизменное: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Мы все смеялись, когда нам все это читали вслух, и я думала, что Роза заплачет, но она только покраснела и бодалась: «Ну и что ж такого! А если я его люблю?» Как ни странно, дразнить после этого разоблачения никто не стал ни ее, ни рыжего Зубкевича. Так вот, эта Роза меня одну из всех девочек любила и уважала,

часто гуляла со мной под руку на переменке и говорила мальчишкам: «Я никого из вас теперь не люблю, а люблю только Лорочку». Через год мы с ней случайно встретились в кино, и она вдруг закричала на весь зал: «Да здравствует Лора Фаерман!» Но позже я ее больше не видела и не знаю, что сталось с этой странной, дикой Козой. У нее, между прочим, не было мамы — наполовину сирота, она жила в крохотной комнатке вдвоем со своим папой, военным командиром, у которого совсем не было времени для дочки.

Жизнь страны

Что касается событий внешнего мира, то волны их, конечно, докатывались и до мелководья моего окружения. В 1934 году папа вместе со всеми искренне волновался за челюскинцев, мы каждый вечер бегали с ним в очередь за «Вечеркой» с последними новостями об этой эпопее; у людей было какое-то чувство единой семьи (метро тоже было наше, будто мы с папой сами помогали его строить).

1 декабря 1934 года нас построили на улице — мы должны были пойти в кино. Долго, как всегда, ждали чего-то, шел мокрый снег, вдруг кто-то из мальчишек крикнул: «Слышали? Кирова убили!» «Какую Киру?» — не расслышали остальные, кто-то хихикнул. Поход в кино перенесли на другое время. Потом начался судебный процесс над Николаевым[40]: читая газеты, все всему верили, и было жутковато. Вообще, казалось, что-то зловещее нависло над нами, людей охватил страх перед живущими где-то среди нас злодеями-диверсантами. Вспыхнула паника из-за зажимов для пионерских галстуков — на них был изображен костер и слова «Будь готов!», и в поленьях кто-то разглядел… свастику! «Ну-ка, покажи: у тебя какой? Нет, у тебя нормальный. А вот Женьке достался с фашистским знаком!» — «Это все вредители наделали!» Через некоторое время значки были отменены, и ребята их выбросили. Пионерские галстуки вместо ситцевых стали вискозными, и их опять начали завязывать узлом.

С осени 1935 года все лучшие работники стали называться уже не ударниками, а стахановцами. Папа тоже стал стахановцем, хотя угля он не добывал, а занимался бумажками по внешней торговле.

Я уже упоминала, что в 1935 году появились метро и троллейбусы и ушли наконец в прошлое переполненные до отказа трамваи с гроздьями висящих на поручнях пассажиров. А на

троллейбусных остановках обязательно становились в очередь. Закрылись Торгсины (вместо этого напротив нашего окна открылась бакалея), на улице Горького появился гастроном № 1 и на Кузнецком мосту — гастроном № 2, знаменитые на весь город. В «Пионерской правде» печатались сериалами «Гиперболоид инженера Гарина», «Старик Хоттабыч», «Приключения Буратино» — все мы читали это с большим интересом. Летом 1935 года в газете была опубликована фотография «Товарищ Сталин с сыном Васей и дочерью Светланой на даче». Кажется, это был единственный случай появления подобного семейного портрета. Я его вырезала и долго хранила у себя в столе.

Появились первые фильмы с Любовью Орловой, все знали эти комедии наизусть и говорили цитатами оттуда, началось триумфальное шествие музыки Дунаевского. После каждого фильма люди выходили, напевая новые мелодии. В легкой музыке рядом с неаполитанскими песнями все более прочное место завоевывал джаз, дотоле скрываемый от широкой публики, путь ему расчистил Утесов.

В конце 1935 года пришла радость и к детям. Некто Павел Петрович Постышев[41] разрешил устраивать елки, лет десять запрещенные как атрибут Рождества (мама до этого к немецкому Рождеству тайком всегда приносила еловые ветки, к которым прикрепляла несколько свечек, все это тщательно скрывалось от посторонних — как бы не было неприятностей). В ЦПКиО посередине катка была поставлена огромная украшенная елка, а на льду катка вывели буквы П. П. П.

1936 год. Жулики

В начале февраля 1936 года к нам ночью залезли взломщики. Это было около полуночи, папа как раз выключил свет. Вдруг из кухни послышался звон стекла и какая-то возня. Потом папа, лежавший лицом к двери, верх которой был застеклен, увидел, что в передней кто-то три раза чиркнул спичкой. До этого он думал, что это возится на кухне старушка, жившая у соседей (до появления Анны Бранны), но та знала, где выключатель, и не стала бы жечь спички. Затем послышалось шарканье и неуверенные шаги. «Ты слышишь?» — шепотом спросил у меня папа, знавший, что я еще не сплю. Он вскочил и бросился к двери; в это время мама в ужасе шептала: «Не открывай дверь, они могут убить тебя!» (Она всегда спала очень чутким сном и тоже проснулась.) Тогда папа дверь не открыл, но громко крикнул: «Стой! Я стрелять буду!» Послышался грохот падающего стула,

испуганный голос пробормотал: «Вы что! Арестовать вы меня можете, а стрелять вы не имеете права», потом шаги удалились в сторону кухни. Папа громко постучал в дверь к Марии Васильевне: «Вы слышите? Здесь у нас бандиты, заприте скорее свою дверь и не выходите!» На кухне тем временем снова поднялся шум, загремела посуда, но потом сразу все стихло. Тогда папа через форточку подозвал милиционера, объяснил ему, как пройти к нам со двора. Вместе с этим милиционером они затем прошли на кухню, где оказалась сломанной решетка и выбито окно; на полу валялись кастрюли и сковородки, стоявшие перед окном на столе. Ничего не украли, и никого не было видно, только много следов на снегу. Наутро милиционер снова зашел к нам и сказал, что в ту ночь взломщики также сорвали замок со склада магазина «Молоко» рядом с нами: видимо, полагали, что наше кухонное окно с решеткой тоже имеет отношение к магазину Приводили собак, но никого не нашли, и милиционер сказал, чтобы мы не волновались, так как вряд ли воры вернутся.

Другим событием февраля 1936 года было то, что папа уехал на месяц в санаторий на станции Клязьма. Ему предложили бесплатно путевку и уговорили взять отпуск. Мама тоже очень уговаривала его ехать, но на самом деле немножко обиделась — мне это было заметно. К тому же в день отъезда папы она вдруг заболела сильной простудой или гриппом, и папа уехал совсем расстроенным, строго наказав мне каждый вечер от соседей звонить ему в санаторий и сообщать о состоянии мамы. Но мама через четыре дня уже была здорова, и в выходной мы поехали навестить папу, хорошо провели время и даже катались на санках с очень высокой горы. А когда мы приехали во второй раз, папа с мамой страшно поссорились. Мы даже уехали засветло. В чем было дело, я тогда не знала, но, разумеется, страдала от этой размолвки, потому что и после возвращения папы в Москву мама долго не разговаривала с ним, а мне говорила, что уйдет из дома. Совсем недавно только я случайно обнаружила среди маминых вещей пачку писем: папа ежедневно писал из санатория и маме, и мне, и вот из этих писем я поняла, что мама намеревалась поехать погостить в Германию к Анни и просила папу узнать, какие нужно бумаги, чтобы получить визу, а папа сказал ей, что якобы узнал, что подобные визиты запрещены. Мама через одну знакомую папину сослуживицу узнала, что кто-то другой совсем недавно гостил у родных за границей. Словом, открылось, что папа никуда не ходил, ничего не узнавал и заявлений мамы никому не передавал. После этого, конечно, мама была вправе обидеться на Билльчика, но и его можно понять. Он хорошо представлял себе обстановку, да к тому же, может быть, еще

боялся: вдруг мама не вернется? Письма его полны любви, нежности, сознания своей вины и терпеливых попыток все маме объяснить…

Мамина группа

Летом мама приняла решение начать работать с группой маленьких детей. На Сретенском бульваре гуляло несколько пожилых немок с такими языково-прогулочными группами, с одной из этих женщин, Ириной Адольфовной, мама была знакома, и та ее уговорила и потом порекомендовала.

С тех пор и до лета 1940 года наша комната всегда была полна детворы. Приводили ребятишек к десяти часам утра, и мама отправлялась с ними гулять. Примерно в час они возвращались, мама разогревала им на трех керосинках принесенные из дома в кастрюльках обеды, потом укладывала детей спать. Спали они впятером поперек моей кровати, превращавшейся днем в диван; когда детей бывало больше, двоих укладывали на диване в прихожей. После этого мама играла с ними в немецкое лото, разучивала стишки и пела детские песни. Особого таланта воспитательницы у мамы не было, как и изобретательности, каждый день делали одно и то же. Нескольких детей забрали после первого же дня — их родителям не понравилось, что мама не занималась ритмикой, что у нас нет пианино и вообще что у нас убогая темная квартира. Но встречались и такие, которые водили к маме детей по два-три года и были ей очень благодарны.

В январе 1938 года, пока дети спали, а мама на кухне мыла посуду, через дверь, которую забыли запереть, проникли воры и унесли все детские пальтишки, висевшие в прихожей. Мама была в отчаянье и предлагала бесплатно отработать месяц, потому что денег на возвращение пальто у нас, конечно, не было. Но никто из родителей на это не согласился, такие попались хорошие люди.

В общем, мама была довольна, что сама зарабатывает деньги, папа тоже особенно не возражал, чувствуя себя все еще виноватым перед мамой. В какой-то мере страдала от этой затеи только я. После возвращения из школы мне до ухода детей некуда было приткнуться, так как для их игр к сундуку придвигался мой рабочий столик. До пяти часов я не могла ни уроками заняться, ни радио послушать. Заткнув уши, я сидела в передней и что-нибудь читала. Перед десятым классом папа убедил маму бросить занятия, чтобы у меня были лучшие условия для учебы.

Последняя школа

В 1936 году по всей Москве усиленно строились новые школы. И с 1 сентября многих моих одноклассников и знакомых, как и меня, перевели в одно из таких, еще пахнувших свежей краской, чистеньких новых зданий с нормальными большими классами и широкими коридорами. Там я и осталась до самого окончания десятого класса. Номер школы был 282, а находилась она в Скорняжном переулке, за Спасскими казармами. Ученики школы жили в переулках Сретенки, в Костянском и Уланском переулках, даже на улице Кирова: всем надо было переходить через широкую Садово-Спасскую. Но, пока я училась, никого не задавило в этом, таком опасном сейчас для пешеходов месте.

Школы продолжали строиться и позже, в 1938-м открылась одна, гораздо ближе к нам, посередине Сретенки, но из наших классов никого никуда уже не переводили. Я сразу обрадовалась, увидев в толпе своих новых одноклассников Леню Маслова. Но, увы, Лиля Матерова со своими подружками тоже попала к нам, и я очень расстроилась.

Выдающимся был директор, Николай Семенович Лукин. Молодой, высокий, полный, с густыми волосами и громовым басом, он поразительно был похож на льва. Стоило ему только появиться на площадке второго этажа и зычно крикнуть: «Это что еще такое?!» — и вся толкучка в раздевалке мгновенно превращалась в тонкую линеечку, лезших в окно без очереди как ветром сдувало. Но Николай Семенович действовал не только криком. У него, несомненно, был врожденный педагогический талант. Его не только боялись, но и уважали, особенно мальчишки. Если в младших классах самое страшное было «директор идет!» или «вызывают к директору», то старшие ребята сами приходили к нему в кабинет — поделиться чем-нибудь важным, посоветоваться.

Однажды, мы тогда учились в девятом классе, в одном из пятых учился мальчишка, который воровал деньги и у одноклассников, и у своей матери, работавшей уборщицей. Отца у него не было. Ничего не могли с этим парнем поделать, считали отпетым хулиганом, тем более что и учился он плохо. И вот наш директор догадался задать ему вопрос, почему-то никому до этого не приходивший в голову: на что он тратит эти ворованные деньги? «Папиросы, что ли, покупаешь?» — «Не, не курю я». — «Конфеты?» — «Ну их». Врать Николаю Семеновичу, наверное, никто бы не смог, и мальчишка, опустив голову, сознался, что… покупает на них билеты в театр на галерку и смотрит балет! «А сам бы хотел поучиться танцевать?» — спросил Николай

Семенович после некоторого раздумья. И он устроил мальчика в хореографический кружок Дома пионеров, причем втайне от одноклассников, чтобы парень не застеснялся. Об этом знали только мы, старшие (не помню, кто нам рассказал), и бегали на переменке взглянуть на этого хулиганистого поклонника Терпсихоры. После этого мальчишка совершенно преобразился, стал хорошо учиться, а в конце года пригласил директора на выступление своего ансамбля.

Только позже я узнала, что директор наш в то время был аспирантом пединститута и писал диссертацию в области математики. Нас он учил только две первые четверти, когда мы начали изучать алгебру. Объяснял он очень просто, ясно, толково, выделяя главное и заставляя всех чувствовать себя соучастниками новых открытий.

Вот кто-то робко топчется за дверью. Николай Семенович с улыбкой и интересом смотрит на дверь и говорит: «Ну что же, смелее, заходите, молодой человек». Дверь открывается, и входит Эля Ремишевская (она жила за городом и опоздала из-за электрички). В классе смешок: «А это вовсе не молодой человек! Вы ошиблись, Николай Семенович». «Как — ошибся? Почему — ошибся? — удивляется тот. — Что ж, по-вашему, женщина уж и не человек? Это только Петр I говорил, что женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер».

Мы очень жалели, что директор нас не учил дальше и всю математику вела Анна Ивановна, импозантная, немолодая уже дама, объяснения которой было трудно и неинтересно слушать. Ее никто не ненавидел, но никто и не уважал. В самых хулиганистых классах, шестых и седьмых, на ее уроках разговаривали и баловались. «Постукиваете! — вдруг оборачивалась она от доски, прерывая свое объяснение и указывая пальцем на стучавшего по парте номерком. — У меня музыкальный слух, я все слышу». Если кто-то тихонько спрашивал соседа, сколько времени, она тотчас же громко говорила: «Столько же, сколько вчера в это время!» — и сама этому неизменно смеялась. Она считала такое замечание верхом остроумия. Рядом со мной в седьмом классе сидел смешной озорник Петя Тужиков (я называла его Тетя Пужиков). Он привязывал к крышке парты толстый резиновый шнур, натягивал его на спинку сиденья и дергал: «Аннываннa, вы все говорите, что у вас музыкальный слух, а вот какой это сейчас инструмент звучал?» Отрезал у меня хвостик косички и волосы рассыпал на математической страничке классного журнала; учительница недоумевает, дует на журнал. «Вы там волосы, что ли, нашли, Аннываннa? Это вам от Фаерман на память, вы их не

выбрасывайте». «Тужиков, а вы не тужите», — часто только и придумывала она сказать. После седьмого класса Тужиков, как и многие другие, ушел в техникум, но Анна Ивановна до десятого класса не могла забыть его и часто спрашивала меня: «А вы помните соседа вашего, Тужикова?» С того времени, как мы начали учиться в новой школе, изменили названия некоторых оценок. Теперь было «отлично» вместо «оч. хорошо», «хорошо», «посредственно» («пос» или «пёсик») и «плохо» («плюмбум», как говорил наш химик). «Посредственно» звучало хуже, чем прежнее «удовлетворительно», и, конечно, больше соответствовало своему значению. С другой стороны, было очень удобно переделывать в дневниках (дневники — тоже нововведение тех времен!) «пос» на «хор». Я этим воспользовалась, правда, только один раз, кажется, в седьмом классе. Не хотелось расстраивать папу низкой оценкой по алгебре в третьей четверти.

Учебники в то время были уже не «стабильные», передававшиеся из класса в класс, а продавались в магазинах. Но учебников по истории еще не было, а на первых порах не существовало и хрестоматий по литературе. Я даже получила по этой причине «плохо», когда нам задали выучить наизусть «Песнь о вещем Олеге». У всех учеников стихи Пушкина дома оказались, а я постеснялась сказать, что у меня нет, наврала: «Я не успела выучить». Потом переписала у кого-то и выучила так крепко, что до сих пор помню!

Зимний лагерь

Новый год начался с того, что меня отправили в зимний пионерский лагерь. Он находился в помещении дома отдыха НКВТ, в нескольких километрах от станции Пушкино. Попав в новую обстановку, я очень хорошо отдохнула, хотя девочки в моей спальне мне не понравились, вернее, я чувствовала себя с ними неловко. Я сразу поняла, что они все гораздо больше меня прочитали, больше бывали в театрах, все были спортсменками и привезли с собой лыжные костюмы, не говоря уже о том, что были раньше знакомы друг с другом. Но мне скучно не было. Я, пусть в пальто, научилась кататься на лыжах, даже съезжала с горок. Это, да и все вокруг — чудесный зимний лес, белые березы, нетронутый зернистый снег, синие тени, следы каких-то зверюшек, в тишине солнечного дня стук клестов, — доставляло огромное удовольствие, все было впервые. По вечерам в гостиной играли на пианино, читали стихи или просто заводили патефон; кто-то привез веселый польский фокстрот «Семечки», и все только

и мурлыкали эту мелодию. На прощание, в последний день каникул, 11 января, была елка с маскарадом, и всем раздали подарки. Мне — о радость! — достался большой толстый однотомник Пушкина. Дома в Москве я сразу засела за чтение. В тот год как раз отмечалось, причем очень широко, столетие со дня гибели поэта, всюду мелькали слова: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». Мы с папой побывали на пушкинском концерте в консерватории, потом в здании Исторического музея была большая выставка, посвященная Пушкину, туда было трудно попасть, на улице всегда стояла длинная очередь. Кажется, здесь впервые в одном месте собрали все материалы о поэте. Помню, все жалели, что выставка не постоянная, а экспонаты потом опять развезли по разным музеям.

«Колбасники»

Из школьной жизни в третьей четверти мне запомнился позорный для нашего класса период «травли колбасников». Я точно не знаю, с чего все началось. По-моему, после одного урока, когда кто-то из учителей заболел и к нам прислали щупленького дяденьку, который так тихо что-то мямлил, что его не было слышно. Мальчишки, конечно, начали безобразничать, и дяденька наконец стал к ним по очереди подходить и записывать их фамилии и список пригрозил передать завучу. Первым был Коля Яблоков: «Меня зовут Грушкин Александр». Леня Маслов сказал, что он Бутеров Дмитрий, Боря Белых окрестил себя Чернявским Михаилом и так далее. После каждой перевранной фамилии в классе, естественно, раздавался взрыв хохота. На переменке Нина Голышева сказала, что это было нечестно и что ребята должны пойти в учительскую и во всем сознаться. Кто-то поддержал ее, и тогда возмущенная Лиля Матерова крикнула: «Ах вы, колбасники несчастные! Мы вам отныне объявляем войну».

И «война» началась и длилась не один месяц. Весь класс разделился на два лагеря. Наша сторона с колбасниками не здоровалась, не давала списывать и не подсказывала, и, хотя до настоящей драки не доходило, мы всячески выказывали им свое презрение и даже ненависть. В партию наших помимо Лили, ее лучшей подруги и соседки по дому Эди Марчик входили я, отличница Зоя Рубаненко, Оля Стадник, Леня Маслов, Боря Белых, Миша Бондарь, Юра Кузин, Яблоков и не помню кто еще. Среди нас были лучшие ученики, председатель совета отряда, редактор стенгазеты, знаменосец и держатели прочих высоких

постов и званий. Мы даже гордились таким расслоением общества; правда, удовольствие в этом находили скорее девочки. Мальчишки не всегда помнили, кто есть кто, и колбасники из их среды иногда заговаривали с нами. Один из них, Витька Иванов, даже положил Лиле в тетрадь любовную записку, которую она нам всем прочитала вслух и на глазах у влюбленного Иванова разорвала. Записки она, впрочем, получала и от других. Колька Яблоков написал ей: «Лиля, я тебя люблю. Пойдем с тобой вечером на Ч. П.» Лиля рассмеялась: «Никуда я с тобой не собираюсь идти, но скажи, ради Бога, что такое «Ч. П.»?» Оказалось, что это Чистые пруды. Лиля любила только Леню Маслова, а он ее. Когда она болела, он вместе с Эдей даже ходил навещать ее.

Как мы помирились с колбасниками, я не помню — кажется, положение в классе стало известно нашей Елене (Григорьевне), и нас заставили прекратить вражду.

Лиля и я обычно приходили в школу раньше всех, когда дверь была еще заперта, тогда мы стояли и разговаривали. Чаще всего Лиля рассказывала про своего папу, которого очень любила. Он был командиром Красной армии, героем Гражданской войны; Лиля с гордостью носила вместо портфеля его планшетку, показывала, какую он ей подарил красивую ручку-самописку. Как-то она пригласила меня пойти в Сандуновские бани. Я никогда еще не бывала в бане, поэтому с удовольствием пошла. Я старалась делать все как она; помывшись, тоже завязала волосы полотенцем, и она повела меня в бассейн. Она прекрасно плавала и стала учить меня, умевшую только барахтаться по-собачьи. Потом она, к моему ужасу, нырнула на самое дно: «Встань на меня, — сказала она, — и не бойся. Посмотришь, как я долго умею не дышать». Встать на нее как следует я не смогла, вода все время подбрасывала меня кверху, а больше всего я боялась, как бы Лиля не утонула. Я совсем забыла, что она моя соперница. По дороге домой она сказала: «Эх, жаль все-таки, что мы помирились с колбасниками, как нам хорошо было без них». Тогда я впервые поинтересовалась у нее, почему, собственно, наши противники назывались колбасниками. Оказалось, что давно, еще в третьем классе, Нина Голышева, которую все недолюбливали как зубрилу и подлизу, сказала учителю, что не была накануне в школе, потому что отравилась колбасой. Вот тогда ее и дразнили какое-то время колбасницей.

Крыса

В один прекрасный день Леня Маслов, сидевший на третьей парте у окна, как раз позади меня, притащил в школу белую крысу Все только и косились, привставали и заглядывали в его парту, где крыса суетилась рядом с Лениным портфелем. На переменках все предлагали зверьку разный корм. А в конце был урок географии, на котором Леня должен был делать доклад. Оставлять крысу одну в парте было нельзя, поэтому Леня, когда его вызвали, быстро засунул ее за пазуху. Он взял в одну руку указку, а другой туго придерживал ремень, и, пока он делал доклад, крыса бегала вокруг него внутри рубашки. Учительница ничего не замечала и не понимала, почему в классе все время раздаются смешки.

После уроков Леня сказал, что вообще-то был бы рад отдать кому-нибудь эту крысу: она родила трех крысят и дома всем очень надоела. «Подари ее мне!» — немедленно вырвалось у меня. «Сделай одолжение, возьми», — сказал Леня. Я была наверху блаженства, оттого что крыса, которую, может быть, целовал Леня и которую он носил за пазухой, теперь моя, прижата к моему сердцу. Кто-то из девочек нес за мной портфель, а я только и следила, как бы крыса не выскочила из моего пальто. Дома от нее никто не был в восторге. Я посадила ее в ящик своего стола, но дети маминой группы стали бояться ее. К тому же у меня к вечеру поднялась температура.

Я заболела свинкой и долго не ходила в школу. Крысу у нас взяла Олечка Пастухова, она посадили ее в птичью клетку, но через несколько дней крыса попала в лапы кошки, и та ее с аппетитом сожрала.

А когда я наконец выздоровела, мне сказали, что Леня Маслов после этого подарил Лиле Матеровой целых трех крысят! Я была очень огорчена.

К 1937 году Москва стала краше. Еще в 1936 году на Охотном Ряду рядом с Домом Союзов и напротив, рядом с «Восток-кино», выросли здания Совнаркома и гостиницы «Москва», а мрачное черное здание Экспортхлеба (напротив улицы Горького) снесли. На улице Горького тоже выросли большие красивые дома, на площади Пушкина снесли Страстной монастырь. Были сняты трамваи с Арбата и улицы Кирова, и в 1937 году появились еще две, более длинные, чем первая, линии метро: от Измайлово до Киевского вокзала и от Сокола до Автозаводской (еще раньше появился маленький отрезочек от Калининской до Киевского вокзала).

Только площадь у Кропоткинских ворот оставалась обнесенной забором. Там еще до 1933 года, когда мы приехали на Арбат, снесли храм Христа Спасителя, и на его месте должны

были построить Дворец Советов. Дело, однако, не двигалось. Была — не помню, в каком году — выставка проектов этого дворца; она была в Доме Союзов, и мы с папой ходили ее смотреть. Позже на конкурсе был принят один из тех проектов: ступенчатый низ, а посередине — высокая круглая башня, увенчанная огромной фигурой Ленина. Но до самой войны строительство так и не начали: пробовали только вырыть котлован для фундамента, но натолкнулись на непреодолимые трудности, и все пришлось забросить.

Все остальное, что делалось в Москве, людям нравилось, в том числе и нам с папой. Во время прогулок мы все внимательно обследовали и оценивали.

Из внешних событий меня очень занимала война в Испании (моей Испании, стране Кармен). Я даже начала читать газету. Папа купил большую подробную карту Пиренейского полуострова и повесил ее над моим столом. Из булавок и кусочков черного и зеленого целлофана он сделал флажки, натянул на них шнур и ежедневно передвигал их по линии фронта.

В жизни наших знакомых Шустовых тоже кое-что произошло: они разделили свою большую комнату стеной на гостиную, маленькую комнату для Иры и еще крошечную прихожую с зеркалом и вешалкой. Они купили пианино «Красный Октябрь», и одна приятельница тети Мели, вместе с ней работавшая в Наркомздраве, стала учить Иру музыке. Конечно, за пределами их красивого жилья по-прежнему шумели и чадили примусы и галдела толпа квартирных соседок.

Дядя Эля и тетя Люба почти совсем перестали ездить с нами в Ильинское; они отдыхали теперь в санаториях в Сочи. Росла слава дяди как хирурга и профессора в институте.

Аресты

А год между тем шел 1937-й — тот самый, когда так много ни в чем не повинных людей были арестованы и расстреляны или сосланы в лагеря. Мы были уверены, что все эти люди на самом деле шпионы, вредители и диверсанты. У папы в Станкоимпорте тоже были схвачены двое; папа очень нервничал и стал бояться ходить к кому-либо или звать людей к нам. Посадили и мужа Ирины Адольфовны, с которой мама встречалась во время прогулок на бульваре. Папа снова стал курить (он курил папиросы «Бокс», самые дешевые — коричневая с белым простая пачка за 60 копеек). Однажды папа пришел с работы совсем растерянный и долго рассказывал что-то маме за столом в

прихожей. В выходной после этого у дяди Эли он тоже долго о чем-то говорил с ним по секрету в кабинете наверху. Только много лет спустя мама рассказала мне, в чем тогда было дело.

У папы был начальник, некто Гальперштейн. Этого Гальперштейна никто в Станкоимпорте не любил, а сам он недолюбливал папу (сослуживцы говорили — завидует, потому что Борис Львович гораздо умнее его). Два раза он вычеркивал папину фамилию, когда того выдвигали на премию, были и другие проявления немилости. И вот в один прекрасный день этот Гальперштейн не пришел на работу. Не пришел он и на следующий день, и не было звонка, что он заболел. Всех это несколько удивляло. А на третий день у папы на столе зазвонил телефон, и он услышал голос Гальперштейна: мол, дорогой товарищ Фаерман, я тут занят одной срочной работой, пойдите выньте из сейфа бумаги относительно фирмы такой-то и передайте их мне, я вас жду на углу в черной машине.

Бумаги же были совершенно секретными, и их нельзя было никому показывать, тем более выносить из здания. Но, с другой стороны, это был приказ шефа! Думал папа, думал, как ему поступить, и наконец придумал: пойти в партком и сообщить об этом странном звонке: «Неужели я должен вынести ему эту папку? И почему он сам не идет сюда и не берет ее?» Секретарь парткома улыбнулся и сказал: «Вы совершенно правильно сделали, что пришли к нам. Ничего не надо выносить, идите и работайте дальше». А на следующий день в Станкоимпорте стало известно, что Гальперштейн арестован. Папа был потрясен подлостью этого человека: будучи пойманным, этот, по-видимому, шпион пытался и его оклеветать, скомпрометировать!

Но, когда несколько позже арестовали руководителя одного из отделов, Райхмана, симпатичного, доброго, тихого мужчину, больного язвой желудка, только что ставшего наконец (в немолодом уже возрасте) отцом, все были совершенно озадачены. Папа руками разводил: «Не мог он быть врагом народа!»

Это было летом — мы шли по лесу, возвращаясь с реки на станцию, с нами были Шустовы, кто-то еще и, кажется, дядя Эля с тетей Любой. Ира была в лагере, я шла рядом со старшими одна и невольно слышала их разговор. Папа выразил свое огорчение и недоумение по поводу ареста Райхмана. Кто-то сказал: «Кто знает, может быть, он действительно невиновен. Знаете, как говорится: лес рубят — щепки летят!» «Ну уж нет, — возмутилась тетя Меля, — вы напрасно за них заступаетесь. Почему меня не сажают, почему вас не арестуют? Не станут у нас никогда сажать невиновных! Я вам отвечу другой поговоркой: не бывает дыма без огня!» После этого все замолчали. Но потом разговор этот

вспоминали не раз: через несколько дней после этого была арестована тетя Меля.

К нам вечером ввалился бледный, с трясущимися руками дядя Ваня. «Утром забрали Мелю. Посоветуйте, что мне теперь делать…» Он рассказал, что рано утром к ним явились трое из НКВД и начали обыскивать комнату. Вывалили все из шкафов на пол, перелистали книги и наконец в фотоальбоме наткнулись на фотографию брата тети Мели. Этот брат еще до Первой мировой войны женился на француженке и переехал во Францию. На карточке он был снят в форме солдата французской армии. Тетя Меля с ним даже не переписывалась и не знала точно, жив ли он. Те из НКВД ткнули в него пальцем: «Вот он, ваш немецкий шпион!» И увели тетю Мелю — и фотографию тоже забрали.

После этого потрясения мои родители больше стали склоняться к другой версии, которая в то время тоже была в ходу: «Какой-то вредитель сажает всех наугад, а Сталин об этом даже не знает». Но все-таки почему тетя Меля?

1938 год, зимний лагерь

На зимние каникулы я поехала в зимний лагерь. На этот раз меня поселили не в главном корпусе, а в небольшом белом домике. Там было еще лучше — светлее, солнечнее, окна выходили на юго-восток, под окном росли березки. «Мороз и солнце, день чудесный», — говорила я про себя каждое утро. Девочки в спальне мне на этот раз попались совсем не такие, как в прошлую зиму: простые болтушки-хохотушки, до полуночи — анекдоты, совсем несмешные, но неприличные до предела. Я гуляла, каталась на лыжах и вообще проводила дни не с ними, а с Алей Шиловой и Люсей Веселовской. Я еще по дороге в лагерь попала в одну машину с ними; они друг друга знали, потому что их мамы работали в Технопромимпорте. Этих девочек тоже поселили в белом домике, правда, в другом отсеке. Когда мы шли со своими чемоданчиками по скрипящему снегу, Люся сказала: «Как хорошо, что нас трое. Будем всегда вместе, будем мушкетерами. Я буду Атос, ты, Аля, — Портос, а Лора — Арамис». Я еще не читала «Трех мушкетеров», но не подала виду. Потом, бегая на лыжах, мы все время изображали приключения этих мушкетеров, сражались лыжными палками с березами-кардинальцами, и Люся все время следила, чтобы мы вели себя соответственно своим прообразам. Але для Портоса не хватало только объема, зато она очень любила поесть и поспать. С Люсей было очень интересно. Я узнала, что раннее детство свое она провела во Франции, «даже была на Пиренеях!». Она бегло говорила по-французски и очень много читала. Внешне она показалась мне непривлекательной: как Аля, высокая и костлявая, пепельные волосы, довольно длинный нос, большой рот с крупными зубами и большие светлые водянистые глаза. Несмотря на свой несколько хилый вид, она была очень сильной и на лыжах ходила гораздо лучше нас. За столом мы сидели далеко друг от друга, а на тихий час обе девочки всегда звали меня к себе в спальню, благо были они там только вдвоем и в нашем домике никто особенно за дисциплиной не следил.

В один из дней нас снимали в кино для киножурнала «Пионерия». Киношники провели у нас целый день. Снимали, как мы катаемся с горки на лыжах и санках, снимали в спальнях малышей в обнимку с куклами, снимали уголок столовой, где поставили на стол большую вазу с фруктами, и один мальчик должен был сказать: «Можно взять еще апельсин?» Меня совсем замучили, посадив в гостиной с какими-то ребятами играть в

домино. Наверное, минут двадцать мы должны были делать одни и те же движения, улыбаясь и говоря одни и те же слова; что-то не клеилось у операторов, а от юпитеров было так жарко и так болели глаза, что я рада была удрать на улицу и совсем не сниматься. Потом приехал пожилой уже командир в форме летчика. Сначала он по-настоящему рассказал нам про Испанию, где провел два года, а потом нас живописно расположили вокруг него — кто стоял сзади, кто сидел у его ног на ковре, чтобы не загораживать его, и все должны были смотреть только на него, а он как бы снова заканчивал свой рассказ. А потом хорошенькая девчушка Адочка Рапкина должна была раз пять повторить: «Расскажите нам, пожалуйста, об испанских детях!»

Позже в клубе Наркомвнешторга показывали этот киножурнал: весь тот день стал лишь совсем небольшим эпизодом «Зимние каникулы пионеров». Я даже не успела рассмотреть себя за домино, а звук вообще не получился.

Кроме этого, я влюбилась в некоего Макса. Макс обращал на меня еще меньше внимания, чем в школе Леня Маслов, и я решила за два дня до окончания каникул написать ему письмо. Как Татьяна Ларина. Пришлось все рассказать девочкам из моей спальни: во-первых, они сразу заинтересовались, что это я пишу, а во-вторых, я собиралась одну из них просить передать послание, не самой же его вручать! Что я могла там написать, я сейчас не представляю, помню только, что письмо начиналось со слов: «Если бы ты знал…» Макс жил в нашем же домике на первом этаже, и я с трепетом уселась у окна в ожидании ответа. К моему сожалению, ответ пришел не в письменной форме. К нам постучался высокий парень в лыжном костюме из их спальни и сказал, что Макс готов познакомиться с писавшей, если она к восьми часам придет к воротам парка. Я боялась, что Макс просто хочет разыграть меня, поэтому я назначенный час взяла с собой всех трех моих соседок. Вскоре мы услышали скрип лыж и увидели Макса, тоже в сопровождении трех ребят. Мы сразу двинулись обратно, будто их не ждали, а они молча двинулись за нами. Вернувшись в домик, раздевшись и посмеявшись, мы вышли на лестницу и увидели, что мальчики уже внизу. «Ну что же вы, — сказал все тот же парень в лыжной куртке. — Макс вас ждет, разрешите проводить вас. Только одну, без телохранительниц». Но я сказала, что никуда не пойду: мне к тому времени уже стало страшно стыдно от всего, что я затеяла. Все равно Макс продолжал мне нравиться, и я была счастлива, когда в сутолоке он подошел ко мне и сказал: «Мой телефон К13556, а твой?» Я ничего не ответила, но номер его запомнила. И потом в Москве позвонила ему из автомата. Услышав мужской

голос, я повесила трубку. Больше я Макса не встречала.

Я упомянула об этом глупом эпизоде только потому, что в то время вообще влюблялась очень легко и часто, всегда, как мне казалось, с «огромной силой». Сама я между тем никому, кажется, не нравилась.

Следующим предметом моего обожания сделался сам лорд Байрон. В том январе я наткнулась в газете на большую статью о нем с его портретом. Портрет был не из лучших, и в статье тоже не говорилось, что он был красив. Но я портрет вырезала, раскрасила и наклеила на внутреннюю сторону своего чемоданчика и с тех пор стала вырезать, если попадались, разные статьи о нем и везде, где говорилось о тех временах, искала глазами его имя. Я узнала, что в издательстве АССР немцев Поволжья вышло в немецком переводе «Паломничество Чайльд-Гарольда», и выписала его себе наложенным платежом, чтобы мама потом подарила мне эту книгу. Поэма на время стала моим любимым чтивом. И у меня впервые зародилось желание выучить английский язык и прочитать все, что написал этот красивый Байрон.

Кстати, о чтении. Общение с Люсей показало, как много я еще не знала, но дома у нас книг почти не было. Папа был записан в Библиотеке иностранной литературы на Петровских линиях и каждые две недели ходил туда обменивать английские и французские книжки, а теперь стал брать одну книгу себе, а другую мне, на немецком. Прежде всего я попросила его взять «Три мушкетера», а потом постепенно из этой библиотеки перечитала Шекспира, Вальтера Скотта, Бальзака… Но это было уже позже. Я совсем не знала русских классиков. Большой радостью были для меня «Мертвые души», которые папа случайно достал в магазине и подарил мне, Бэголь совершенно очаровал меня. Потом я стала брать у Оли Пастуховой Льва Толстого, все романы в прекрасном сытинском издании, с цветными иллюстрациями. В девятом-десятом классах папа из библиотеки Станкоимпрота стал приносить мне подряд Горького, Джека Лондона, Александра Грина. В школе я в то время очень подружилась с Тамарой Львовой, она тоже мне давала читать книги.

Химик

У нас появился новый предмет — химия, а вместе с ней и замечательный учитель Владимир Григорьевич Немцов. Он был

еще студентом, но мы тогда этого не знали. Он был влюблен в свой предмет и горел желанием всех нас приобщить к нему — чего еще можно желать от учителя?

От него всегда немного пахло пивом (на углу Большой Спасской был пивной ларек, где он, видимо, останавливался по дороге в школу), он был страшно, свирепо строг, но никто на него не обижался. Контрольные работы всегда случались без предупреждения: раскрасневшийся (от пива?), он влетал в класс, швырял на стол связку ключей от кабинета химии и говорил: «К контрольной подготовиться». Так как мы могли узнать о контрольной у соседнего класса и написать на парте карандашом формулы реакций, он прежде всего большими шагами пробегал по рядам, низко наклоняя в сторону окна голову — смотрел, не отсвечивают ли на партах такие карандашные «шпаргалки». Потом диктовал или писал на доске текст контрольной и молча валился на стул. Весь урок он сидел, закрыв лицо руками, на пальцы падали его прямые желтые волосы, но мы прекрасно знали, что он не спит, а сквозь пальцы следит за всем классом. Горе, если он заметит, что кто-то подглядывает в учебник, к соседу или в шпаргалку: такой немедленно молча вышвыривался за дверь. Но, если несколько человек на уроке неважно отвечали и он видел — тему не все усвоили, он говорил: «Такие-то (пофамильно) сегодня после уроков ко мне в кабинет». И там он занимался с ними, если было надо, часами, пока не убедится, что всем все стало ясно. А те, кому стало ясно, были счастливы и начинали любить химию. В результате две трети нашего класса после окончания школы поступили (или собирались поступить) в химические вузы. Объяснял Владимир Григорьевич тоже интересно, многое рассказывал помимо учебника; я полагаю, что он, наверное, частенько пересказывал услышанную им самим перед этим в институте лекцию. А на экзамене в конце девятого класса он совершил благородный поступок и спас меня, об этом — в свое время.

Из школьной жизни запомнился такой эпизод: после уроков в ожидании сбора все разбрелись, и вдруг со стуком открылась дверь в класс и вбежала Лиля Матерова. Она опрокинула ногой стул, подошла к окну, встала ко всем спиной, закрыла лицо руками — мы увидели, что плечи ее вздрагивают и она плачет. Это было так странно и необычно, что всем стало не по себе. Вслед за ней вошла ее подруга Эдя и обняла ее. Подошли и мы, но Лиля ни на кого не хотела смотреть и только всхлипывала: «Елена… сволочь…» «Чего она?» — спросили мы у Эди, но Эдя сделала нам знак отойти: «Это все из-за Елены». Мы все равно ничего не поняли. Елена (Григорьевна) могла, конечно, накричать

(например, Борьку Белых назвала фашистом, и тот привел своего папашу, военного моряка, — было целое разбирательство при всем классе, и она отказалась от своих слов), но чтобы такая девочка, как Лиля, зарыдала… Лиля никак не могла успокоиться и долго стояла лицом к окну. Потом Эдя увела ее домой. Больше мы Лилю не видели, она перешла в другую школу, в Уланском переулке. После весенних каникул даже химик спросил: «А куда делась такая очень красивая девочка? И училась хорошо… Забыл ее фамилию». «Лиля Матерова, — ответил класс. — Она в другой школе». Вскоре, после седьмого класса, в другую школу ушли и Эдя, и Леня Маслов с Борей. Я Лилю больше никогда не видела. Позже я узнала, в чем тогда было дело. Арестовали ее отца. И Елена, видимо браня Лилю за что-то или просто так, сказала ей что-то вроде «ты — дочь врага народа».

Позже я от кого-то слышала, что перед самой войной Лиля и Леня Маслов поженились. У Лили родилась дочка. А Леня погиб.

Тамара

Я уже упоминала, что подружилась с Тамарой Львовой. Она была одной из самых плохих учениц в классе, ее не любили ни учителя, ни ребята. Мальчишки дразнили ее «Львова — корова». В ней и в самом деле было что-то коровье. Она была большая, бесформенная, неряшливо одетая. Не было дня, чтобы какая-нибудь пуговица из ее блузки не была расстегнута. Иногда расстегивалась и юбка, и тогда она стояла, придерживая ее, навалившись животом на учительский стол. Правда, она редко стояла у этого стола долго, обычно она смотрела на учителя туповатым коровьим взглядом и равнодушно садилась на место с жирным «плохо» в дневнике. Учителей бесили ее флегматичность и равнодушие. «Как из школы выйдет — все хихихачки да хахахачки, танцулечки да фокстротики, — орал на нее молодой учитель физики, — а как в классе у доски, так она в рот воды набрала!» Первая часть его заявления совершенно не соответствовала истине, но ему-то неоткуда было это знать.

Никто не обращал внимания на лицо Тамары, а его можно было, пожалуй, назвать красивым. Точеные черты его совсем не подходили к ее грузной, аморфной фигуре. У нее были серые глаза с черными ресницами, тонкий нос с горбинкой, красиво очерченные губы… Я очень полюбила Тамару. С ней можно было делиться всеми секретами, говорить обо всем на свете — давно у меня не было такой подруги. Вскоре я знала все о ее жизни. Она жила в маленькой комнатушке на улице Кирова, родители ее

были инженерами и работали с утра до вечера, а Тамара была предоставлена сама себе. У девочки было два увлечения. Первое, самое большое, — собаки. В единственный тогда в Москве Дом пионеров на улице Стопани принимались только хорошие ученики по рекомендации школы. Тамаре никогда бы не дали такой рекомендации, но каким-то образом она проникла в кружок собаководов и теперь жила только этим кружком. Дома у нее тоже была собака — огромный сенбернар Гроль. (Как же я гордо шагала по Сретенке с этим псом на поводке! Он был очень покладистый и добрый, как, наверное, все собаки этой породы, но в Москве тогда сенбернаров было мало, и прохожие сторонились его и, как мне казалось, с уважением и завистью смотрели на меня.) Вот чем была занята Тамара, а вовсе не «фокстротиками». Второе ее увлечение — чтение. Она «глотала» все подряд без разбора. Все переменки, гуляя со мной под руку по коридору, она пересказывала прочитанное, и, если я сегодня слушала про приключения Рокамболя, завтра это мог быть подробнейший пересказ «Гамлета». Читала она в основном ночью, родители ей запрещали, но она дожидалась, когда они заснут, ставила себе в кровать маленькую настольную лампочку и загораживала ее одеялом. Конечно, при такой жизни уроки учить было некогда.

Елену Григорьевну почему-то страшно злило, что я дружу с Львовой; она считала, что Тамара меня портит. Но я сама первая на уроках начинала посылать ей записочки. Тамара иногда писала мне в стихах или рисовала что-нибудь: пальмы, верблюдов, пирамиды.

Однажды над нашими головами разразилась настоящая гроза. После уроков была огромная очередь в раздевалку, и мы с Тамарой решили не толкаться со всеми на лестнице, а где-нибудь переждать. Послонялись по коридору и зашли в пустой буфет. Помещение буфета использовалось еще и как зал, но в обычные дни ряды стульев были нагромождены один на другой и сдвинуты к сцене, а перед ними стояла перегородка в виде стендов с плакатами. Вот мы и забрались с Тамарой на эти стулья за стендами и стали болтать. Нам обеим нравилось по мальчику из девятого класса, мы узнали их фамилии и рассказывали друг другу, где кто из нас их видел. Потом Тамара стала делиться своими «собачьими новостями», и в этот время в зал вошла Елена Григорьевна с двумя другими учительницами. Они купили себе чаю с булочками и уселись за один из столиков. Нас они, конечно, не видели, а мы, как только они вошли, умолкли и не знали, что нам делать: вроде бы пора идти в раздевалку, но, если бы мы вдруг вылезли из-за стендов, это выглядело бы очень глупо. Поэтому мы по молчаливому согласию решили тихонько

переждать, пока учительницы поедят и уйдут. Но те не спешили. Выпив чай, они стали говорить о своих заботах, потом начали обсуждать одного из учеников нашего класса — слушать это было довольно интересно и забавно. И вдруг ряд стульев, на который мы взгромоздились, качнулся. Чтобы не упасть, мы соскочили, а когда подняли глаза, над нами уже стояла Елена Григорьевна. «Говорите сейчас же, что вы здесь делали! — закричала она. — Вы сидели и подслушивали?!» Мы стали оправдываться, то есть честно рассказывать, как все получилось, но вид у нас был перепуганный, и она нам не поверила.

Вскоре после этого было родительское собрание. Папа с мамой всегда вместе ходили на такие собрания и обычно возвращались с них довольные и гордые, но на этот раз они пришли огорченные. «Твоя учительница говорит, что ты дружишь с очень нехорошей девочкой и стала плохо себя вести», — сказала мама. Но потом добавила, что к ним после собрания подошла мама этой «нехорошей девочки» и просила, чтобы я и дальше дружила с ее дочерью, вовсе не такой уж хулиганкой, говорила, что я хорошо на нее влияю и т. п.

Действительно, родители не запретили мне дружить с Тамарой. Я сама с ней поссорилась.

Поссорилась из-за глупой ревности, из-за дурацкого самолюбия, но я ничего не могла с собой поделать. Я действительно очень любила Тамару, и она меня тоже, и у нас с ней было принято через день друг друга провожать: она меня до перехода через Садовую у Большой Спасской, потом я ее до перехода через Садовую у Домниковки. Один раз Тамара сказала, что не может меня проводить, так как (не помню почему) она очень торопится домой. А на следующий день она стала мне рассказывать, что накануне шла домой с Таней из класса «В» и та ей сообщила столько интересного, что они даже вместе дошли до Таниного дома в конце Домниковки. Тамара передала мне все подробности этого разговора, а я внутренне дрожала от возмущения и не могла дождаться момента, чтобы крикнуть: «А мне ты сказала, что торопишься! Ну и катись к своей Таньке, а я с тобой больше не дружу!» По лицу Тамары было видно, что она сначала удивилась моей неожиданной вспышке, даже испугалась, но потом она спокойно сказала: «Господи, ну и не надо…»

И мы больше друг с дружкой не разговаривали. Помню, мы были в театре Ленинского комсомола, но что смотрели — не помню, наверное, потому что больше смотрела не на сцену, а на Тамару. Мы с ней сидели рядом, так как билеты были взяты, когда мы еще дружили. Мы молчали, но мне мучительно хотелось, чтобы она заговорила со мной: я бы ей ответила.

Тамара, очевидно, ждала того же от меня. В антрактах мы расходились в разные стороны; я делала вид, что весело болтаю с другими девочками. После спектакля мы шли домой по разные стороны улицы.

Мы так и не помирились. После седьмого класса Тамара ушла из школы: говорили, в педагогический техникум. Позже услышать о ней мне довелось еще дважды: в 1946 году ко мне зашла Нина Голышева, чтобы я проверила орфографию в ее дипломном проекте. «Знаешь, кого я встретила вчера в детской поликлинике? — спросила она. — Помнишь Львицу? Такая стала интересная, прямо королева! У нее тоже сыночек маленький…» А потом, уже году в 1973-м, одна из телепередач «В мире животных» была посвящена собакам и собаководству, и вдруг я услыхала: «Руководитель секции сенбернаров Тамара Николаевна Львова…» Телевизор у нас был старенький, изображение неважное, и рассмотреть хорошенько Тамару мне не удалось, но я услышала ее голос… И с гордостью за нее подумала: хоть бы увидел и узнал бы ее хоть кто-нибудь из наших тогдашних учителей, так превратно судивших об этой по-настоящему увлеченной девочке!

А Елена Григорьевна потом еще отомстила мне за тот эпизод с «подслушиванием». Летом меня опять отправили в лагерь, и нужна была характеристика из школы. К возмущению моих родителей, Елена написала обо мне: «Довольно дисциплинированная девочка».

Весной на письменном экзамене по алгебре в тот год меня спас Юра Кузин. У меня никак не получалась задачка. Я несколько раз обращалась за помощью к Мане Мажоровой, писавшей сзади меня тот же вариант, но эта вредная зубрила только шипела: «Отвернись!» или «Ты что, Лоренция, оборачиваешься?» На записку мою она вовсе не ответила, пошла и сдала свою работу. Я готова была ее убить. Не я ли всякий раз переводила ей немецкий, не я ли ногой отстукивала запятые в диктантах, которые она писала неважно? Я нервничала еще и оттого, что любила сдавать работы среди первых, а тут уже больше чем половина класса ушла, и я не могла собраться и еще раз обдумать решение. Глаза у меня наполнились слезами. И вдруг на мою парту легла чья-то рука, а под ней оказался клочок бумажки с решением задачки! Это Юра Кузин по дороге к учительскому столу осчастливил меня, да так незаметно это сделал, так быстро! Видно, заметил сзади, из своего ряда, как я в тревоге оборачивалась… Спасибо тебе, Юрочка, светлая тебе память (он погиб в первые дни войны). Кажется, никому до этого я не была так благодарна.

Летний лагерь

Летом я снова была в лагере. И этот год было еще лучше, чем предыдущий. Я попала в старший отряд, и жили мы в другом корпусе, в центре лагеря. В спальне, рассчитанной на двадцатерых, было всего девять девочек, так что было очень просторно. Рядом со мной спали Аля и Люся, а двумя днями позже приехала еще одна маленькая белокурая девочка, Валя Смирнова, с которой мы очень сдружились. Вожатым у нас был Саша Островский, студент Института внешней торговли; он нас никак не притеснял, и мы большую часть дня были предоставлены сами себе. Зато поздно вечером он иногда приносил стул, ставил его в центре спальни и тихим приятным голосом читал нам в ночной темноте стихи. Начинал он всегда (по нашей просьбе) с «Песни о ветре», которую декламировал особенно выразительно. Вообще же он знал наизусть очень много стихов. Электричества в лагере по-прежнему не было, только луна светила в окна сквозь листву, и это было очень романтично…

Люся Веселовская оказалось очень музыкальной, она прекрасно играла на рояле, сама сочиняла музыку и стихи. Она была то шумна и весела, то задумчива, то молчалива, то болтлива, и все это без рисовки и расчета на внешний эффект. Но я все-таки мысленно вижу ее больше бледной и задумчивой. Она говорила, что у нее слабое здоровье и ее в школе даже всегда освобождают от экзаменов. Но у нас в отряде она занимала первое место и по бегу, и по прыжкам. Она казалось немножко не такой, как все, и всегда с ней было интересно. Аля во время тихого часа всегда умудрялась заснуть, несмотря на болтовню кругом, а Люся читала «Ярмарку тщеславия» и писала стихи или письма. В одном доме отдыха она встретила некоего Алешу Преображенского, который влюбился в нее и довольно часто писал ей, подписываясь для конспирации Алей Преображенской. Люся же писала на конверте, что она Юра Веселовский.

«Лор, у меня рифмоплетское настроение, давай я сочиню про тебя стихи. Как звать того мальчишку, который, ты говорила, нравится тебе? Маленький такой, черный». — «Фима Воловић». На самом деле он мне нравился не очень сильно, но в Вильку Дивида я влюбилась попозже. И минут через десять Люся под всеобщий смех читала (согнув в коленях длинные костлявые ноги и подложив одну руку под голову):

«Наша Лора днем и ночью/О воле мечтает вслух,/А тем временем наш Фима/На окошке давит мух./Лора хочет утопиться:/Прыгнуть в лужу из окна/Или, чтобы удавиться,/ Съесть огромного ежа…» Поэма была длинная и заканчивалась

словами: «У волихи нашей, Лоры,/Скоро будет шесть волят,/И веселые волята/В животе уже пищат… то есть мычат, наверное. Конечно, мычат» — вносилась карандашом правка. Но у нее были и красивые лирические стихи. Как-то мы вместе с вожатым пошли гулять в парк санатория, прошли довольно далеко и уселись на полянке играть во всякие игры: например, по кругу каждый шепчет на ухо первому соседу, что он ему дарит, а левому — что с подарком сделать. «Что за глупая игра», — возмущался Виля Дивид, — мне подарили еловую шишку и посоветовали ее съесть. Ну и что?» Все-таки чаще получалось смешно, мы вообще были готовы смеяться чему угодно. На обратном пути мы вдруг обнаружили, что Люси с нами на полянке не было: она сидела над глубокой лощиной на пне, обхватив колени руками, и о чем-то думала. «А что, нельзя уж и посидеть одной? Мне здесь было интересней. Вертелись в голове стихи о природе; этот обрыв такой величественный. Но чувства мои оказались такими глубокими и широкими, что не вместились в узкое русло рифм. И ритмов». В другой раз она могла ошарашить спальню каким-нибудь сногсшибательным анекдотом. И очень украшала нашу жизнь мелодиями вальса № 7 или Фантазии-экспромта Шопена.

Люсю я очень уважала, но лучшей моей подружкой была Валя Смирнова. Стоило ей впервые появиться в столовой, как все мальчишки, даже ворчливый Вилен Дивид, влюбились в нее. Она в самом деле была очень мила. «Нам гадала сербиянка, — рассказывала она, — сестре моей предсказала всякое, и хорошее и плохое, а как посмотрела на меня, только и сказала: а у этой глазенки счастливые!» Помимо этих смеющихся голубых глаз у нее был еще хорошенький носик и чуть припухшие губки. Она была очень веселой, к тому же почти все время пела — и просто песни, и старинные романсы. И плясать-танцевать она тоже любила, даже выступала на вечерах у нас в столовой, где исполняла вальс и гопак. Валя сразу влюбилась в капитана нашей футбольной команды Витю Ганыкина, и конечно, любовь эта была хоть и молчалива, но взаимна. Витя только краснел в присутствии Вали. Но весь лагерь почему-то знал об их любви. Всех других мальчишек, увивающихся вокруг нее, Валя отваживала, но не обидно для них, а с веселым смехом. Я Вале сначала не понравилась, она говорила потом, что я показалась ей угрюмой, но через два-три дня мы уже были неразлучны. Мы были с ней одинакового роста и даже одеваться старались по возможности похоже: платья с красными цветочками, платья голубые… Девочки иногда называли нас сестричками.

Из лагерной жизни запомнились еще баянист Вася, игравший все модные песни и вальс из «Ивана Сусанина». И запомнилась

военная игра двух старших отрядов: каждая армия прятала в лесу знамя и старалась не дать противнику найти и захватить его. Убитым считался тот, у кого сорвут с плеча бумажный флажок (красный и синий). Потасовка в лесу была отличная, и малины мы тоже наелись (знамя было замаскировано в малиннике). Многие жульничали — сняв с себя флажок, притворялись убитыми и выбывали из игры и вдруг снова прицепляли свой флажок и бросались на противника, заставая его врасплох. И костры тоже бывали грандиозные, обычно сжигалась целая сухая ель.

Но больше всего запомнился наш поход в Бородино. В ту же осень, вернувшись в Москву, я записала в тетрадку все подробности этой экскурсии.

Записи из дневника. Поход в Бородино

Когда на линейке утром объявили, что будет трехдневный поход в Бородино, мы с Валей тут же решили, что пойдем, и первыми побежали в изолятор к врачу. Когда она нашла нас «годными к походу», мы расцеловали друг друга от счастья.

Вечером того же дня мы с Люсей и Алей пошли прогуляться в лес, причем я пошла босиком, «закалиться к походу». На обратно пути нас напугали какие-то маленькие мальчишки, притаившиеся в кустах. Люся побежала их догонять, а мы с Алей помчались в лагерь, и при этом я как-то неосторожно наступила на шишку и больно уколола ногу.

Ночью мы с Валей долго обсуждали, какие мы возьмем с собой платья и куда все уложим. Решили взять мой чемоданчик и Валин рюкзак.

Когда я проснулись на следующее утро и мы с Валей собрались в душевую умыться, я вдруг почувствовала сильную боль в ступне и вспомнила вчерашнюю шишку. К тихому часу я уже едва могла ступить на эту ногу. К врачу было идти рискованно — она бы запретила мне идти в поход. Поэтому надо было лечить ногу своими силами. Все девочки в нашей спальне осмотрели ранку и пришли к выводу, что «будет нарыв». Кое-какие медицинские познания оказались только у Зины: она предложила сделать мне компресс. Достали где-то бинт, плотную бумагу и крепко перевязали ступню. Я была расстроена почти до слез. Вообще в тот день перед походом все разнервничались. Ребята вместе с вожатыми весь день суетились в столовой и на кухне, потом распределяли обязанности. Прибежала перед ужином Нина Ефремова и сказала, что я буду членом

редколлегии походной газеты (редактор — Вилен Давид), многие были в хозяйственной роте. С нами отправляли вожатого седьмого отряда Федю — толстого, краснощекого, с вечно желтой тюбетейкой на бритой голове, и Тамару — женщину лет тридцати, которая считалась при лагере педагогом. Мы с Валей видели ее впервые. Среди ребят старшим назначили высокого богатыря Сашу Садофеева, его помощниками — Леву Неживенко и Андрюшу Бодэ. Кроме того, группа ребят отправилась еще утром — разведчиками, среди них и Витя Ганыкин. Валя очень расстроилась, что придется идти до Бородино без него: «Может, не идти совсем?» «Эй ты, — сказала я, — у меня вон нога болит страшно, а все равно я в поход пойду». «Это потому, что твой-то распрекрасный Дивид идет», — усмехнулась Нина. Вилен Дивид (или Шиворот-Навыворот, как его дразнили младшие мальчишки) был умный и внешне довольно красивый мальчик, известный во всем лагере своим резким нравом и несносной страстью к спорам. Все разговоры он сводил к спору, начинал сердиться, становился груб и не стеснялся в выражениях. Я побаивалась его, но он мне очень нравился, и девочки знали об этом, причем никто не одобрял моих чувств. Кроме колючего пререкания со всеми Вилен еще умел петь, у него был приятный низкий голос и великолепный слух.

Заснули мы в тот вечер с Валей с несколько испорченным настроением.

Наутро нога у меня разболелась еще сильнее, Зина наложила новый компресс. Но я твердо решила идти. Самое неприятное, что нельзя было даже прихрамывать — сразу бы отослали обратно.

Мы скрутили одеяла «драндулетом», как это называли ребята, и повесили их через плечо. Мы с Валей раздобыли у кого-то из младших отрядов флягу, наполнили ее водой и решили по очереди нести чемодан и рюкзак.

Все были приятно взволнованы. Младшие, которых не брали в поход, глядели на нас с завистью.

Дорога до станции была для меня пыткой. Да тут еще Федя, когда осталось идти с километр, взглянул на часы и заявил, что до отхода поезда осталось всего десять минут, и пришлось почти бежать. Я все-таки не могла не прихрамывать немножко, под «драндулетом» я была вся мокрая, и на поясе звякали наши кружки. Наконец Коля Воробьев взял у меня из рук чемодан, и мне стало немного легче. На станции оказалось, что до поезда еще минуты три, и мы с Валей, несмотря на запрет много пить в походе, опустошили всю нашу флягу. Нас наскоро выстроили, пересчитали, и Саша сдал Феде рапорт.

В вагоне всем стало весело. Мы с Валей присели на край

одной из лавок, и я вскоре позабыла о своей ноге. Кто-то еще в лагере дал Вале нести Витины бутсы — вдруг в Бородине с нами захотят играть в футбол, — и теперь Саша дразнил ее: «А чьи ты, Валюша, бутсы несешь?» А она краснела и опускала глаза.

— Вы, это самое, куда же едете, ребятки? — осведомился у Саши пожилой колхозник с черной бородой.

— Мы, дядя, в Можайск, а оттуда на Бородино пойдем…

— Да что вы, пешком, — вмешалась в разговор сидящая рядом со мной женщина с мешком и бидоном. — далеко будет-то. — Она с улыбкой посмотрела на Валю и меня.

— А Бородино — это ведь, знаете, где наши с Наполеоном бились, — сообщил нам тот же бородач. — Были такие времена!

В вагоне было прохладно из-за сквозняка, и мы скоро стали чувствовать себя совсем остывшими после нашего спешного перехода по жаре.

— К пяти надо быть на месте, — сказал Федя. — От Можайска туда четырнадцать километров.

В Можайске пришлось прыгать с высоких подножек на острые камни. Я вскрикнула от боли, но тут же оглянулась, не слышал ли Федя. Нас всех выстроили в шеренгу, и Федя сказал: «Бойцы, если кто устал или у кого что болит, можете поехать обратно вместе с Васей. Есть такие?»

Все с презрением молчали, будто он не к нам обращался.

Мы отошли в тенек и присели на пыльную траву под деревьями. Я заметила у двух младших девочек санитарные сумочки, и они ужасно обрадовались, когда я попросила их меня тайком под деревом «полечить». Они обильно смазали мне ступню йодом, но уверяли, что, кроме красного пятнышка, на ней ничего страшного не видно. А Федя в это время как раз говорил группе ребят: «Бойцы! Главное в походе — ноги! Берегите их, а на привалах обязательно разувайтесь!»

Потом наши хозяйственники притащили ведро воды, мы снова заполнили свои фляги и бутылки и после этого отправились. Перешли через полотно железной дороги и вступили в Можайск. Теперь мы уже не спешили и внимательно все осматривали. Избы и двухэтажные, наполовину каменные дома, выкрашенные в белый или розовый цвет, утопали в зелени. Выбегали ребятишки и смотрели нам вслед, кто-то спрашивал, куда мы идем, кто-то шутки отпускал (мне: «А эта-то! Три шага прошла и уже захромала!»).

Пройдя через город, мы вышли на Смоленскую дорогу. Спустились с одного холма, поднялись на другой и сделали небольшой привал. Солнце жгло невыносимо, и мы снова тайком напились воды. С холма был виден весь Можайск, изрезанный

глубоким оврагом. Ярко белела на возвышении среди густой листвы церковь. Полюбовавшись видом, мы отправились дальше, прошли поле и небольшую деревеньку. Мы с Валей остановились, так как немного обогнали всех, но Федя и Тамара, помогавшие хозяйственникам нести провизию и чайники, подвешенные на шестах, когда поравнялись с нами, отругали почему-то за остановку К счастью, путь дальше лежал лесом, и мы пошли рядом с дорогой по тропинке, растянувшись на добрых полкилометра. Я перестала чувствовать боль и уже ступала на обе ноги. Через некоторое время всем захотелось есть. Ведь после завтрака прошло уже более пяти часов. Но никто не знал, когда будет большой привал, и все группы постепенно умолкли: с голоду не хотелось тратить силы на разговор, мы только и способны были теперь изредка шептать никому не интересное «есть хочу!». Окутанные байковыми «драндулетами», мы с Валей изнывали от жары. Наконец сзади прокричали, чтобы мы остановились. Подоспели хозяйственники, и мы полукругом расселись вокруг них, с жадностью следя, как они режут хлеб и намазывают масло. После бутербродов нам еще раздали печенье, и всем захотелось пить. Но воды уже ни у кого не было, а до ближайшего колодца оставалось километра два. Все равно с сытыми желудками было легче, да и солнце было теперь за высокими березами. Мы снова распелись. Впереди показалась одинокая избушка с колодцем. Но не успели мы приблизиться к этому месту, как из дома вышел старик, встал спиной к колодцу и, ограждая его широко расставленными руками, заявил, что нас «тут много ходит» и он не даст никому ни глотка, если ему не заплатят три рубля. Федя дал ему деньги, и мы все напились и умыли пыльные руки и лица. «Отсталый старик, — заметил кто-то, когда мы тронулись дальше, — это ж надо, воду жалеть!»

Лес кончился, и мы вышли в поле. Нам сказали, что это уже начинается знаменитое Бородинское поле. Оно было большое, холмистое, с разбросанными там и сям пятнами рощ и селений. Вскоре мы подошли к первому памятнику, а пройдя еще немного, увидели, что их вокруг очень, очень много. К половине пятого мы подошли к Масловке, где присели на скамеечке у одной из изб, и хозяйка вынесла нам ведро воды. Но пить уже особенно никому не хотелось. На пригорке за деревней осмотрели памятник в том месте, где Наполеон руководил сражением. Памятник был поставлен французами. Но я больше смотрела на землю — сколько здесь крови пролилось когда-то, а никаких следов не осталось…

До Бородина оставалось еще километра два, но идти было легко, так как солнце уже не припекало. Вскоре мы издали

заметили идущих нам навстречу наших «разведчиков». Валя, всю дорогу мечтавшая о Вите, теперь почему-то молча бросила бутсы ему под ноги. Витя шел рядом с дорогой, внизу, по тропинке. Он густо покраснел, поднял на Валю глаза, еле слышно пробормотал: «Спасибо» — и побежал вперед к другим мальчишкам.

Оказалось, что в Бородино нам переночевать будет негде. Это было непредвиденно, но разведчики говорили с председателем колхоза, и он сказал, что, хоть у него и есть свободный сеновал, он его не даст, потому что накануне там уже ночевали какие-то пионеры и разворошили сено.

— Где-нибудь переночуем, — махнул рукой Федя, который поначалу, казалось, испугался.

Мы перешли через речку Колочу и вошли в Бородино. Оно оказалось обыкновенной деревушкой, не больше и не лучше других таких же вокруг.

«Чайная-закусочная» — прочел кто-то вывеску на одном из домов, и мы свернули налево, перешли по мостику через ручей и расположились на травянистом берегу у кустов. Здесь было хорошо! Солнце уже низко, высоко в небе неподвижно застыли золотистые облачка. Было тихо, безветренно, и от земли тянуло тяжелым медовым запахом. Над ручейком толкались рои крошечных мошек. Где-то в деревне скрипнула калитка, кто-то крикнул что-то звонким голосом — все это доносилось к нам необыкновенно отчетливо в прозрачном воздухе над ручейком. Мы с Валей поднялись, взяли чемоданчик и пошли за кусты переодеться — надели свои цветастые с красным платьица. Федя, прихватив трех ребят, пошел в чайную договориться об ужине.

Кто-то предложил поиграть в волейбол, и вот уже мяч под веселый смех подлетал все выше и один раз чуть не уплыл в ручейке. Его выловила Зоря, полоскавшая там свои носки. Мы разбились на две партии и усиленно «вышибали» друг друга. Потом на мостике появился Андрюша и позвал первый взвод ужинать. Захватив немного хлеба, сыра и масла, мы отправились в «Чайную-закусочную». Там стоял полумрак, и после свежего воздуха показалось невыносимо душно. Пахло водкой и махорочным дымом. Валя, Федя и я уселись за столик посередине. У окна сидели несколько мужчин, один из которых все время орал, что хочет еще вина, но на него никто не обращал внимания. Рядом с нами сидели еще три парня, почти не видные за клубами дыма, и спорили о какой-то молотилке, стуча по столу руками. В самом углу сидел мужчина в синей рубахе с мокрым от пота морщинистым лбом. Он отщипывал кусочки от ломтя черного хлеба, клал их себе в рот и потом долго и тщательно разжевывал, мутными глазами глядя в окно, за которым уже

ничего не было видно. Нам принесли чаю. Он был слишком сладок и отдавал веником, но Феде он понравился, и он выпил не один стакан. А мы с Валей поспешили доесть свои бутерброды и вздохнули свободно, только когда выбрались снова на свежий воздух.

Начинало темнеть. Под мостиком квакала одинокая лягушка, и было слышно, как на другом берегу бьют по мячу и пронзительно что-то кричит толстушка Иза из седьмого отряда.

— Кто еще не ел, идите! — крикнули мы.

Развели маленький костер, весело затрещали веточки. Мы снова взялись за мяч, а несколько человек вместе с Тамарой пошли искать нам ночлег в Семеновское. Спать пока никому не хотелось, но идти еще куда-то тоже, однако вскоре Федя наконец появился из чайной и велел всем построиться. Мы снова двинулись в путь.

Стало почти совсем темно. Настроение у всех было бодрое, даже озорное какое-то. Мы начали громко петь и, не закончив одну песню, начинали другую. За краями дороги не было видно ничего, мы даже не знали, идем ли мы лесом или деревней. Но вот впереди на перекрестке мы увидели свет фонаря на столбе, под ним играли на гармошке, и девушки в светлых платьях лихо отплясывали русского. Федя не разрешил нам задержаться и посмотреть на них.

Когда мы прошли еще немного, мы вдруг заметили справа на темном небе красное зарево, а пониже — ярко-красное пятно. Все заспорили: одни считали, что это садится солнце, другие — что восходит луна, третьи — что это пожар. Какое же это могло быть солнце, когда на небе уже давно не было ни одной светлой полоски.

— Пожар! — громко закричала я, стараясь перекричать Стеллу, которая доказывала, что это солнце, потому что светится на западе.

— Эй! Кто там с ума сходит? Сообразили тоже орать «пожар»! Идиоты, тут же деревня рядом, услышат, тревогу поднимут, — набросился на нас Саша.

— Ты сам-то кричишь громче всех, — спокойно заметила Валя.

Федя согласился с нами, что это, видимо, где-то далеко горит дом. Всем стало жутко. Потом красный цветок стал быстро тускнеть и угас.

Нас выстроили прямо на дороге, и мы стали ждать Тамару с ребятами. Вскоре они появились и сказали, что в Семеновском сеновал нашли, только просили сено не разбрасывать и идти совсем тихо, потому что в селе все уже спят.

Куда-то нас вели — мы только и разобрали, что входили в какие-то громадные черные ворота.

— Это уже Семеновское, — пояснил Андрюша.

Когда мы вышли на ровное открытое место, низко на небе вдруг появилась луна! Таинственно и тихо она словно выкатилась откуда-то, большая и круглая, и все сразу осветила голубоватым светом, полегли длинные тени, и все вокруг показалось причудливым и непонятным.

Мы шли, спотыкаясь о какие-то доски, и наконец расселись на площадке перед большим сеновалом. Зажгли два фонаря, неизвестно откуда появившиеся, и пошли за молоком. Стало прохладно, мы позевывали и были бы рады улечься прямо на земле, закутавшись в одеяла. Стали смотреть на звезды, нашли ковш Большой Медведицы…

Вдруг невдалеке что-то загремело, и мы заметили приближающиеся фонари. Это тащили два бидона с молоком. Мы выстроились в очередь со своими кружками, а Тамара раздавала еще и печенье. Молоко было прекрасное, все выпили по две кружки, и все-таки еще остался целый бидон. Федя напрасно упрашивал всех выпить еще, у всех было только одно желание — поспать. Нам объявили, что мальчики будут спать на большом сеновале, а девочки рядом, на маленьком. «А старшие будут дежурить», — добавил Федя. Нам с Валей досталось дежурить с 12 до 2 часов. Мы пошли на наш сеновал, но оказалось, что там лишь кое-где на дощатом полу разбросано сено. «Конюшня какая-то, — сказала Иза, — а мальчишки спят в хорошем, там сена до потолка!» Мы сгребли все сено в один угол и расположились там со своими одеялами и пальто. Когда Федя уносил фонарь, мы спросили его, который час. «Уже первый! Айда на дежурство! Будете ходить вокруг сеновалов и стеречь своих бойцов».

Мы с Валей выбрались из «конюшни». Невдалеке, перед большим сеновалом, сидели на досках у фонаря Саша, Нина, Зоря и Лева и болтали о чем-то.

— Я никуда не пойду, страшно, — сказала Валя. — Тут темно, и мы не знаем, где что. Хорошо им там с фонарем. И что не ложатся спать? Им же с двух дежурить…

Я предложила все-таки для приличия обойти разок хоть нашу «конюшню». Мы сунулись было в тень за сараем, но попали в крапиву, да еще чуть не упали: там оказался крутой обрыв. Еще нам показалось, что там что-то фыркнуло и зашевелилось. Мы, держась за руки, попятились назад и направились к фонарю.

— Вы что, девочки, не спите? — спросила Зоря.

— А мы дежурим.

— Вот еще, — сказал Лева, — идите-ка спать.

— А вы подежурите за нас? — лукаво спросила Валя.

— Ну, ясно!

Мы от радости захлопали в ладоши и вприпрыжку побежали к своему сараю. «Валюта! Привет тебе от Вити!» — крикнул нам вслед Саша, и все засмеялись. Валя сделала вид, что не слышит. Вскоре мы обе крепко заснули.

На следующее утро через открытую дверь сарая солнце легло большим прямоугольником на доски пола. Было слышно, как перед сараем бьют по мячу и смеются. Я присела и оглянулась вокруг. Рядом со мной сладко спала Валя, в углу еще несколько бугорков под одеялами. С потолка сарая свешивались какие-то балки, их нижний конец приходился как раз над головой, если стать во весь рост. Вот обо что я вчера ночью ударилась в темноте.

Я разбудила Валю. Мы причесались, стряхнули с себя пыль и сено и вышли, щурясь от солнца. Только теперь мы разглядели, где мы, собственно, находимся: вечером в темноте и лунном свете все казалось непонятным и представлялось в искаженных очертаниях. Мы подошли к играющим и узнали, что еще только половина восьмого. Федя, который с Тамарой и Зорей ходил договариваться в столовую, принес ведро воды, и мы, поливая друг друга, умылись. Потом разбудили остальных, и все стали перед сараем парами вытряхивать свои одеяла, морщась от пыли. Растолкали наконец и сонную Веру: оказалось, что она дежурила и легла только в пять часов.

И тут случилось несчастье.

Вера наконец вскочила и хотела перепрыгнуть через бревно в середине сарая, но не увидела свешивающуюся балку и со всей силы ударилась об нее головой. Мы вскрикнули от ужаса, а Вера повалилась на землю, обхватив голову руками; она стала кататься взад-вперед, громко стеная. Мы оцепенели от страха и, только когда она осталась лежать неподвижно, бросились к ней. Кто-то догадался побежать за Федей. Тот, конечно, тоже не на шутку перепугался. Вере обмыли голову, бережно уложили на одеяла, но она не приходила в себя. Пришлось бежать в больницу за врачом. Пока ребята сходили в Бородино и вернулись с телегой, прошел еще час. Потом два санитара увезли Веру в больницу.

Когда мы шли обратно к сараям, я вдруг вспомнила о своей ноге. Она совсем не болела.

Снова начали играть в мяч. А Вилен уселся на бревно, подозвал к себе Валю и стал ее спрашивать, где Витя, почему он не играет. Конечно, ему просто хотелось узнать, действительно ли Валя любит Витю. То, что ему самому очень нравится Валюша, было всем известно. Я тоже села на бревно — подслушивать. Иза

тоже вышла из игры и села поблизости. Она так же безнадежно, как и я, была влюблена в Вилена. Вообще все вскоре бросили играть, и завязался общий разговор. Виля, конечно, начал спорить. Говорили о музыке Дунаевского. Вилька утверждал, что вся эта музыка списана у других. «Взять хотя бы «Искателей счастья», — кипятился он, — дай-дарам да-да-да-дай-да, мне это моя бабушка еще у колыбели пела!» «А что же, — сказала я, — разве другие композиторы не использовали народную музыку?» «Композиторы, — передразнил он меня. — А идите вы все к чертям!» И он повернулся ко всем спиной и обратился к Вале. Но та быстро вывернулась: «Не знаю, не спорю. Не имею такой привычки», — и блеснула в улыбке белыми зубами. «А ты бы лучше не имела привычки говорить «не имею привычки», — едко заметил Вилька и направился к сеновалу.

Наконец снова появился Федя: «Кто идет с нами? Уходим осматривать Бородинский музей!»

Пошли почти все, остались лишь два-три хозяйственника да те, кто уже побывал в музее раньше…

По дороге мы подошли к еще одному памятнику Накануне в темноте мы его не видели. Коля зачем-то отколол от цоколя памятника маленький кусочек, завернул его в носовой платок и бережно уложил в карман. Напрасно мы старались ему растолковать, что никакой исторической ценности в этом осколке нет.

Вскоре мы увидели слева от дороги музей — желтый одноэтажный домик с высокими окнами и колоннами перед входом. К нему вела аллейка стройных тополей. За зеленым забором рядом с музеем стояло огромное старое дерево, которое сразу привлекло всеобщее внимание. Справа в палаточке продавались конфетки, но мы с Валей оставили свои деньги в сарае. Пока Федя ходил в музей договариваться, мы расселись у заборчика и выпили всю воду из фляг. Жара и духота становились нестерпимыми, а из-за музея надвигалась громадная сизая туча. Федя все не шел, и мы разбрелись кто куда. За музеем сидели наши мальчишки и жевали конфетки. Напрасно мы просили Вилена дать нам хоть половиночку, он в ответ только отломил полконфетки и забросил в крапиву. Зато достать нам воды из колодца он согласился. Трое ребят перелезли через забор и, взявшись за руки, пытались обхватить то старое дерево. Им немножко не хватило. «Вот это дерево! Ему, наверное, лет сто пятьдесят! Представляете — оно видело Кутузова, видело Наполеона! Счастливое…»

Наконец Федя вернулся и купил всем в палатке морса.

Из музея вышел экскурсовод — высокий молодой человек, все

время вскидывавший голову, потому что волосы падали ему на глаза. Он пошел вперед семимильными шагами, и мы вприпрыжку побежали вслед за ним. Когда мы пересекали дорогу, солнце вдруг скрылось, и ударил гром. Мы вбежали по желтой дорожке на холмик, а на наши головы упали первые крупные редкие капли дождя. На холмике была квадратная площадка, обсаженная низкими стрижеными кустиками. Там стояли белые лавочки, а по углам пирамидками были уложены пушечные ядра. С двух сторон стояли старые пушки. Проводник взобрался на одну из них и начал свой рассказ. Подул сильный ветер, поднялась столбом пыль, дождь закапал чаще, но мы стояли и слушали, что нам рассказывают. С этого холма как на ладони было видно почти все поле и игрушечные избушки Шевардина, Масловки и других деревень. Экскурсовод сказал, что мы стоим на месте батареи Раевского, и начал описывать нам весь ход боя; при этом он, словно на карте, показывал указкой все рощи, деревни и овраги, о которых шла речь.

Однако на самом интересном месте дождь вдруг хлынул, как из ушата, и нам пришлось позорно бежать с батареи. Прикрывая руками головы, мы сбежали с холма и укрылись в музее, успев-таки сильно промокнуть. Внутри в музее было прохладно и чисто, от белых дверей и подоконников пахло свежей краской. Мы осмотрели макет битвы, коляску Кутузова, французские знамена, военные мундиры солдат и офицеров, старые ядра и картины на стенах с изображением боя. От саней, в которых бежал потом из России Наполеон, Коля, когда экскурсовод отвернулся, отщипнул немного войлоку. «Ты у себя дома филиал музея собираешься открыть?» — шепнул ему Лева. Мы с Валей последовали примеру Коли и тоже отодрали себе по волосинке (я ее потом долго хранила в коробочке).

Когда мы вышли, туча уже ушла за поля и снова светило жаркое солнце. Обратно мы шли не по дороге, а вдоль Семеновского оврага по тропинке.

Нас не ожидали с этой стороны, и мы застали оставшихся врасплох. Вместо того чтобы стеречь наши вещи, ребята — с ними, конечно, и Витя Ганыкин — ушли играть в футбол с семеновскими. Им всем досталось от Феди.

В половине пятого нас наконец позвали обедать, мы уже были очень голодны. Когда раздавали суп с лапшой, мы спросили что-то у Тамары, но та только сердито огрызнулась, и мы заметили, что лицо у нее красное и заплаканное. За ней из кухни вышла Зоря, тоже красная и сердитая. На наши расспросы она ответила только, что повар пьян. Не видя в этом особой причины для огорчения, мы спокойно продолжали есть. Саша, Андрей, Вилен и

Коля, видно сговорившись, не сводили за столом глаз с Вали, пока та не смутилась так сильно, что выбежала из столовой, не доев компоту. Я вышла вслед за ней: она ждала меня под большим кленом. Мы походили по двору, заглянули внутрь часовенки. Под ногами у нас уже шуршали листья, как осенью: видно, их сорвал грозовой ветер. Потом мы вместе с другими девочками пошли посмотреть сеновал ребят. Там были горы душистого сена, и мы начали в нем кувыркаться. От пыли все расчихались и скатились наконец вниз.

Не успели мы отряхнуть с себя сена, как в сеновал вбежала, вся в слезах, Тамара и завопила своим и без того истеричным голосом:

— Саша Садофеев! Боже мой, о боже мой, где Саша? Скорее ко мне!

И она схватила за руку недоумевающего Сашу и увлекла его за собой в направлении столовой. Мы спросили у Зори, которая тоже появилась у сеновала, что стряслось. Но она только пожала плечами: «Ничего особенного не случилось, что вы все засуетились?»

Вскоре до нас дошел слух, что «в Семеновском дерутся».

А потом, когда мы с Валей подсели на доски к Зоре и Леве, они сами нам рассказали, в чем дело. Как сказал Лева, повар был «вдрызг пьян» и «наблевал прямо в кастрюлю с компотом». Зоря сказала, что ее и Тамару, помогавших чистить картошку и все нарезать, он весь день обзывал «проклятыми жидовками». Потом он потребовал с них сто рублей за продукты, хотя с ним уже рассчитались за работу, а продукты были наши. Когда Федя и Тамара отказались ему заплатить еще, он собрал несколько таких же пьяниц и погрозился всех избить. Вот Тамара и прибежала за богатырем Сашей, чтобы они испугались.

Так как новых сообщений о хулиганстве повара или какой-либо драке в монастыре не поступало, мы скоро успокоились и даже стали петь.

Вилену и мне велели оформить походную газету, в которую уже поступили заметки. Достали большой лист бумаги, закрепили его на одной из досок, принесли краски. Виля хорошо рисовал и стал делать заголовок, а я переписывала печатными буковками заметки. Мы растянулись рядом в траве и усердно заработали. Иногда Вилен случайно касался моей руки рукавом своей рубахи. Вдруг он посмотрел на меня своими жгучими черными глазами. «Молчишь?» — зачем-то спросил он. Я не могла придумать, что на это ответить, и только хмыкнула. Так мы писали с ним, пока не стало совсем темно: сумерки вплотную легли на бумагу. Вилька помянул черта и сказал Леве, что больше

мы ничего не видим и не будем дальше писать.

Вечером ожидали начальника лагеря и вожатого Сашу. Они обещали приехать на машине, но только в одиннадцать часов, когда мы все уже выстроились для рапорта, показались два быстро приближающихся огонька. Первой нашей мыслью было, что это идет с фонарями нас бить пьяный повар с компанией. Но потом стало ясно, что это фары автомобиля.

— Ребята! Начальник едет! — закричал кто-то, и мы все, словно сговорившись, дружно грянули: «Ура-а!» Из машины вышли начальник и наш любимый Саша. Наспех отдав им салют, мы побежали выгружать из машины мешки с провизией. Начальник подошел почему-то ко мне и спросил, как мы все себя чувствуем. Я сказала, что нам всем очень весело. А Саша в это время, смеясь, говорил Вале: «Смотри, хорошенько присматривай за Витей. Я отдаю его тебе на воспитание!»

Минут через десять машина уехала, им надо было еще заехать в больницу за Верой.

— Ну, бойцы, — сказал Федя — айда спать. Уже скоро двенадцать, а поезд отходит в два двадцать. Не успеете выспаться.

В «конюшне» долго никто не засыпал. Вспоминали Веру, жалели ее. Вдруг появился Саша с фонарем: «А ну, вставайте. Забирайте ваши вещи и идите спать на наш сеновал, а то у вас тут жестко, холодно, балки всякие висят». Мы было как раз задремали. Но делать было нечего. Ворча и спотыкаясь, мы побрели к большому сеновалу. Но лечь нам предложили не наверху, на сене, а в проходе, прямо на земле. С одной стороны в этом проходе уже лежали в ряд ребята, положив под головы свернутые одеяла. Мы легли напротив них и были как сельди в бочке. Справа на меня наваливалась Иза, слева я была прижата к Вале, а ноги вытянуть мешали ноги посапывавшего Вальки Грызлова. К тому же я никак не могла удобно уложить голову на рюкзак. У входа сидели у фонарей Федя и Саша и рассказывали тем, кто не хотел спать, анекдоты. Взрывы смеха будили меня всякий раз, как я начинала засыпать. Я наконец лягнула ноги своего визави и вытянулась.

Так, в полудремоте, то проваливаясь куда-то в бархатную темноту, то опять прислушиваясь к непонятным почему-то словам Саши, то видя перед закрытыми глазами какие-то фантастические пестрые чудовища, я пролежала примерно полчаса. Вдруг над самым моим ухом затрубили в горн. Мы все в испуге вскочили, не понимая сразу, где находимся.

— Бойцы, подъем! — кричал Федя бодрым голосом. — А то опоздаем на поезд.

Но все улеглись снова и уткнулись в мешки и одеяла.

— Ну, встаете или нет? — снова услышали мы. — Половина второго, и вам тут еще молока принесли.

Спать хотелось мучительно. Мы с Валей молча собрали свои вещи и вышли. Было холодно. Глаза сами закрывались, хотелось хоть на минутку куда-нибудь прислониться и вздремнуть. Стучали мелкой дрожью зубы, все без конца зевали. Никому не захотелось пить холодное молоко.

Небо было все в тучах, было темно, как в прошлую ночь, до луны. Пришел председатель колхоза, ему заплатили и поблагодарили за гостеприимство. Во время этой церемонии мы с Валей положили головы друг к дружке на «драндулеты» и минуты две подремали.

Потом мы тронулись в путь. Сначала все молчали, только позвякивали котелки и кружки да скрипел песок под ногами. Но, когда мы вышли на большую дорогу к станции, сон наконец отлетел, и мы немного повеселели, разогрелись от ходьбы. Изредка мимо нас мчались грузовики, ослепляя нас снопами фар. Мы с Валей так распелись, что не заметили, как все другие замолчали и стали слушать нас. Потом нам захлопали, и мы очень удивились: в темноте нельзя было даже смутиться, и мы рассмеялись. Дорога казалась бесконечной, наверное, потому, что в кромешной тьме нам не видно было, куда мы идем.

Наконец завиднелись огни станции. Начал моросить дождь. И мы встали под навес. Там на лавке дремали три колхозника с мешками. Неужели по своей воли они сидели тут в ночи? Нам опять захотелось спать; злые, мы ворчали друг на друга. В четверть третьего послышался шум приближающегося поезда. Мы думали, что это наш, и, шлепая по лужам, перебежали к среднему пути, но оказалось, что это шел поезд из Москвы. А когда он со скрипом и лязгом начал трогаться, подошел с противоположной стороны наш. Было страшно стоять в темноте, в узком проходе между двумя грохочущими чудовищами. Нас обдало паром с паровоза; его колеса были намного выше нас.

— Вспомните Анну Каренину, — дрожащим голосом сказала над моим ухом Нина Ефремова, и сделалось еще страшнее.

Когда наш поезд наконец остановился, оказалось, что мы стоим слишком далеко впереди: наш вагон был предпоследний. Мы бросились в конец состава и с трудом вскарабкались со своими вещами в вагон. После этого поезд сразу тронулся. Вагон был почти пустой. Мы с Валей сели на скамейку напротив Изы и Стеллы. Федя посоветовал всем лечь на скамейки; некоторые так и сделали и вскоре уснули. Я долго пыталась разглядеть что-нибудь через окно, но, кроме дождевых капель и своего собственного тусклого отражения, ничего не увидела. Я положила

голову на столик, подложив под щеку сырой «драндулет», а Валя вытянулась на лавке и положила голову мне на колени. Тряска вагона вскоре убаюкала нас. Я услышала, как кто-то сказал, что этот поезд идет из Смоленска, кто-то, тяжело топая, пробежал по вагону, загудел паровоз…

Когда я проснулась от резкого толчка, поезд стоял в Можайске. Я оглянулась и увидела, что все спят. Кто-то в углу даже храпел. Я снова заснула, а когда опять открыла глаза, мы все еще стояли. Начинало светать, и за окном на сером небе выделялась черная колонка. В углу потягивался Коля. Сзади меня кто-то зевнул и загремел посудой. «Что это мы стоим так долго?» «А мы больше часа должны стоять в Можайске, — отозвался Федя. — Нам сзади еще вагоны прицепляют».

— А который час? — спросила Иза, не шевелясь и не открывая глаз. Ее голова лежала напротив меня на том же столике.

— Спите! Чего сразу все проснулись. Еще четыре часа только.

Вскоре поезд тронулся. Несколько капелек на оконном стекле дрогнули и потекли вниз, сливаясь в ручейки. Никто уже не спал, все кряхтели и потягивались. Мы узнали, что выходить будем на станции Дорохов, а оттуда пойдем 16 километров до лагеря.

Ежась от холода, мы выползли в Дорохове из вагона и пошли в здание станции, где расселись по скамейкам. Часть разместилась в большом круглом вестибюле, а мы сели в небольшом проходе у окна. Почему-то мы просидели на этой станции целый час. Сидели и зевали, опираясь на свои мокрые вещи, безучастно уставившись на каменные плитки пола. Не хотелось разговаривать, уснуть тоже нельзя было. Прошел какой-то сторож в синем кителе, неся в одной руке совок с веничком, а в другой — огромную бутыль из-под смазочного масла. Когда он проходил мимо нас, бутыль вдруг выскользнула у него из руки и с великим звоном разбилась вдребезги. Как будто он этого ожидал, мужичок тут же смел все осколки в свой совок и пошел дальше. Это происшествие нас немножко оживило, почему-то сделалось смешно.

В половине шестого нам велели собраться, и мы вышли из станции. Мы пошли по мокрому шоссе, которое, как указывала желтая дощечка у станции, вело в Рузу. Мы были бледные, жалкие, как общипанные куры. Все еще моросил дождь, и было очень прохладно. Федя не знал точно, где надо сворачивать вправо, знатоки же дороги стали спорить — одни говорили, что нам сворачивать здесь, по тропинке, другие — что надо дойти до какой-то поляны. Решили пойти посередине, прямо по мокрой траве, но нас это не смущало, потому что Саша обещал нам, что

мы еще поспим.

Пройдя через рощицу, мы попали в маленькую деревеньку, где Федя снял у одной старушки ветхий с виду дощатый сеновал с соломенной крышей.

Мы взобрались на сложенное под потолком душистое сено. Девочки на этот раз разместились наверху, а ребята внизу, в проходе между сеном и стеной. Я оказалась с самого краю и не сразу уснула, потому что боялась скатиться вниз на Вальку Грызлова, который еще и пугал меня, что сделает в сене подкоп. Валюша лежала рядом со мной и сразу уснула, как и большинство остальных. Даже когда она спала, на ее лице было выражение безмятежного и уверенного счастья и губы чуть-чуть улыбались.

Наконец и меня одолел сон.

Часа через два я проснулась и увидела, что лежу в довольно странном положении: я почти стояла в сене, и ноги мои свешивались почти на голову Грызлику. Я ухватилась за косяк двери, подтянулась и уселась поудобнее. На дворе светило солнце, но во все щели сеновала задувал холодный ветер. Я заткнула щели у Валиной головы ее кофтой. Хотелось есть. Федя тоже лежал наверху, у моих ног; одна нога его свесилась вниз, и он сладко похрапывал, выпуская воздух струйкой из своих толстых выпяченных губ. Посмотрели на меня прищуренные незабудочные глаза Стеллы, и снова сомкнулись веки. Недалеко от меня поднялась черная голова Зори. Она тихо спросила: «Кто хочет выйти со мной?» — и я отозвалась.

Мы подползли по сену к двери, приоткрыли ее и спрыгнули на мягкую, еще влажную траву. Перед сеновалом уже сидели на своих одеялах Лева и Андрюша; Зоря подсела к ним, а я обошла сеновал и села на другой стороне на бревно погреться на солнышке. Было очень ветрено, небо было ярко голубое, и по нему быстро летели облака, как белые клочки ваты. Передо мной за плетнем была маленькая березовая рощица. Началась перекличка петухов, и на душе от нее сделалось легко и весело. Бревно мое нагрелось от солнца, а ветер был свежий и бодрящий, его хотелось пить, и хотелось долго-долго оставаться тут и слушать петухов и веселый шелест листьев тонкой бледно-зеленой осинки.

Понемногу один за другим из сеновала появлялись наши походники, все в сене и растрепанные. «Невозможно там спать, дует очень, — говорили они. — И есть хочется ужасно!»

Вышли Федя с Тамарой, достали мешки с провизией, хозяйственники пошли в рощу разводить костер, а мы умылись, почистили зубы, ребята достали хозяйке из колодца-журавля целых три ведра воды. Журавль этот очень смешно и мелодично

скрипел.

Пока все вытряхнули одеяла, пока хозяйственники прибегали от костра то за одним, то за другим, прошел еще час. Мы ловили солнце, которое то и дело скрывалось ненадолго за облачками, и успели даже подзагореть. Наконец прибежала Иза и позвала всех завтракать. Федя расплатился с хозяйкой, мы собрали свои вещи — кофточки пришлось надеть на себя — и пошли. Неподалеку на полянке трещал костер и уже кипело душистое какао. Все выпили по две чашки и съели по несколько бутербродов. Поев, сидеть долго не стали: земля была еще сырая, и мы отправились дальше, лесом.

Лес тот был чудесный! Вилен насвистывал марш из «Аиды», другие молчали и вдыхали ароматы леса. Валя нашла подберезовик, потом Витя нашел целых три — краснея, он отдал их Валюше и тотчас убежал вперед.

Нам пришлось вскарабкаться на очень высокий и крутой склон, ребята сбросили нам сверху канат, и мы все держались за него. Наверху мы быстро зашагали по сухому сосновому лесу, полному теплого аромата. Дорога была усеяна желтыми иглами. Наконец лес кончился, и мы вышли к железной дороге. Перед нами была станция Тучково. Среди низких закоптелых деревянных бараков торчала высокая желтая труба кирпичного завода — зрелище не очень приятное после красоты леса.

Мы присели на выгоревшую пыльную траву у дороги, но Федя сказал, что если мы будем садиться каждые полчаса, то не успеем к вечеру дойти до лагеря. Пахло пылью и дегтем; пути железной дороги были заставлены красными товарными вагонами. Из одного выгружали уголь. Было очень жарко. Над рельсами дрожал горячий воздух, с дороги поднималась серая пыль. Пройдя Тучково, мы пошли вдоль самого полотна железной дороги; под ногами скрипели острые серые камни, по которым трудно было идти. Тамара отстала шагов на сто, она всхлипывала, говорила, что ее колют камни, что она сожгла себе в сарафане спину и дальше не пойдет и что это свинство, что Федя повел нас по такому пути. Нам и всем стало тяжело. Мимо помчался товарный поезд, и мы уселись вдоль канавки и стали считать вагоны. Кто насчитал 61, кто 59, кто 58…

Федя был в отчаянии: «Да идите вы вперед! Что за бойцы такие? Это во-е-ни-зированный поход! А они вагоны считают».

Проехал голубой экспресс — так быстро, что никто не успел прочитать надпись на табличках.

Еще через полчаса мы наконец завернули за подстриженные елочки и снова вошли в лес, по ровной дороге сразу все пошли быстрее. Эта дорога вывела нас на поляну, на которой стояла

большая дача с верандой. Из дома вышла улыбающаяся краснощекая хозяйка. Федя, Тамара и несколько старших ребят подошли к ней — они, очевидно, были с ней знакомы, а пока они разговаривали, мы пошли дальше и расселись невдалеке на другой, тенистой полянке. У меня вдруг, что очень редко со мной бывает, сильно разболелась голова, я растянулась на чьем-то одеяле и уткнулась лицом в рюкзак.

Саша предложил устроить концерт самодеятельности. Лева прочитал юмористический рассказ «Поэт», и у меня от смеха как молотками застучало в висках. Иза прочла «Стихи о советском паспорте», один мальчик сплясал босиком лезгинку. Валя плясать отказалась и сказала, что у нее тоже болит голова. Вдруг маленький Павлик крикнул: «Эх, что же мы — в Бородино ходили, а забыли «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» — и все хором повторяли за ним: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» После этого все вместе спели «Вьется дымка золотая, придорожная».

Наконец появились Федя, Тамара с мешками и хозяйка дачи с двумя большими чайниками. Нам выдали на двоих по банке сгущенного молока, по три куска черного хлеба и консервы «Почки». Кто-то подстроил так, что Вале пришлось делиться с Витей, но Витя съел только две ложки молока и отошел в сторону. Я свои «почки» отдала Изе. Мы прекрасно наелись, макая хлеб в сгущенку и запивая горячим чаем, после такого пира у меня даже перестала болеть голова. Всем сделалось весело, даже Вильке, он стал смешить Валю, Изу и меня; мы так хохотали, что повалились за кустами на землю.

Федя объявил нам, что до лагеря осталось всего километров пять, которые пройдем берегом Москвы-реки. Надо было успеть в лагерь к вечерней линейке, а был уже восьмой час. «Пойдем сейчас не спеша, но ровным шагом. Подойдем к лагерю тихо, незаметно, спрячемся, а когда начнут спускать флаг, все хором что-нибудь запоем и Саша затрубит в горн». Таков был план Феди. Нам эта идея понравилась, мы быстро выстроились, отдали рапорты и двинулись в путь.

Мы вышли на очень высокий берег реки. Внизу вилась ее узкая голубая лента, слева среди живописных лесистых холмов белело красивое здание (детский санаторий, как нам сказали), направо перед нами тянулся песчаный обрыв, над которым стояла деревня Григорьевское. Идти дальше было довольно трудно: где мы шли, когда-то была каменоломня и валялись большие и маленькие обломки камней, ступать приходилось осторожно, чтобы не скатиться в воду. Мы шли гуськом, растянувшись на много метров. Передо мной шагах в десяти шел Виля Дивид, где-

то сзади — Валя, Зоря, Тамара и Лева. Остальные ушли далеко вперед. Вилька напевал что-то по-английски (он с родителями несколько лет прожил в Америке), потом вдруг прервал себя и, не оборачиваясь, спросил:

— Кто это там идет сзади?

— Я, а что?

— Кто «я»? Что это за ответ? Лора, что ли? — Он оглянулся, хотел сказать что-то, потом махнул рукой, улыбнулся: — Ну ладно, и иди.

А еще через несколько шагов добавил, не оглядываясь, суровым голосом: «В общем, ты хорошая девчонка. Вот что я хотел сказать». И прибавил шагу. Я была счастлива.

Кто-то придумал свистеть. Меня еще раньше мальчишки научили свистеть в четыре пальца и в два «колечком». Вилен очень удивился, что я тоже свищу, и попросил меня научить его этому «искусству». Сначала у него не получалось, и он страшно злился, а когда наконец вышло, он поблагодарил меня, даже за руку. Я опять была счастлива.

Федя между тем все поглядывал на часы и поторапливал нас.

Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, лагерь уже близко!» Действительно, впереди над лесом возвышалась зубчатая башня санатория. Идти оставалось всего километр-полтора. Мы решили при входе в лагерь спеть «Песню о Волге». Запевать поручили Зоре и Вилену; у них красиво получалось в два голоса. Все остальные хором подхватывали: «Красавица народная, как море, полноводная…» Все это звучало очень красиво.

В воздухе почувствовалась сырость, с реки поднимался легкий туман, начинали спускаться сумерки.

Мы попали в топкое грязное место, и пришлось перебираться через лужи по узкой дощечке. Шли очень осторожно друг за другом, дощечка покачивалась и хлюпала по грязи. Федя, который хотел обойти меня, на мгновение меня обхватил, я потеряла равновесие и попала одной ногой в грязную жижу Инстинктивно я ухватилась за Валю и чуть не стащила и ее. Выкарабкаться помог Коля. Но на ногах у меня были уже не белые тапочки, а словно черные сапожки. Особого внимания на меня никто не обратил, все спешили, потому что было уже десять минут десятого. Только Валя на меня обиделась: «Сама упала, так и меня тоже чуть не утопила…» — Живо постройтесь парами и идите стройно, — распорядился Федя. От волнения с него пот лился градом.

Было довольно трудно карабкаться к лагерю в полутьме по корням через кустарники и при этом сохранять «строй парами», но мы старались. И все равно все получилось не совсем так, как

было задумано. Никто на линейке нас бы, конечно, не заметил в темноте, но мы сами не смогли удержаться и как-то все сразу, без всякой песни, но с криками выскочили из лесу. Саша хрипло и отрывисто загорнил, и на линейке поднялся страшный шум. Оказалось, что нас ждали, но не с той стороны. Мы подошли к своему отряду, и тут начались объятия и поцелуи. Все говорили, что без нас в лагере было очень скучно. Потом всех походников выстроили отдельно у флага; хозяйственникам тут же немного попало, потому что они на радостях побросали в лесу все мешки и чайники. Саша сдал рапорт, весь лагерь прогорланил: «Слава участникам военизированного похода!» После этого спустили флаг.

Мы разошлись по своим спальням, я переодела туфли, и мы с Валей побежали в душевую мыть ноги. В душевой нас встретил такой знакомый запах мокрого дерева и земляничного мыла. Даже на зубах у нас скрипела пыль, и мы еле смыли с себя всю грязь.

Нас позвали в столовую выпить горячего молока с печеньем, но мы так устали, что есть не хотелось. На крылечке нашего корпуса собрались все девочки нашего и седьмого отрядов. Все нашли, что мы очень похудели, что у Вали даже впали глаза: «Что вас, не кормили, что ли?»

Но мы были довольны походом и счастливы. «Дайте же им отдохнуть, наговоритесь завтра», — сказал проходивший мимо наш вожатый Саша.

Как сильно мы устали, мы почувствовали, только когда растянулись на мягкой чистой постели…

Рядом — моя белая тумбочка с салфеткой, которую вышила Аля, за ней окно, темные ветки деревьев. Звезды.

Люся и Аля сказали, что в мое отсутствие мне пришло два письма. Завтра… завтра… Валюша уже спит. Пахнет от пола и стен сухим деревом, пахнет чистым бельем, вот откуда-то принесло немного душистого табака. Как хорошо… Засыпаю…

Вскоре после этого мы разъехались по домам. Мы с Валей, расставаясь, плакали.

Из всех, с кем я была в лагере в тот август, мне позже довелось увидеть еще раз только Вилена. Это было в 1959 или 1960 году.

Мама моей приятельницы по институту много лет проработала заведующей одной из библиотек. Она прекрасно знала французский, ей было под семьдесят, и вот я с некоторого времени стала слышать от нее, что скоро она с нами и по-английски заговорит. «Я на старости лет записалась в кружок, —

рассказывала она, — никогда не думала, что мне так понравится. Но это неудивительно — какой у нас учитель!» Ее старенькая приятельница тоже часто говорила: «Ах, девочки, если бы вы видели нашего учителя, нашего Вилена Ефимовича!»

И вот у Антонины Николаевны был назначен званый ужин — то ли было ее семидесятилетие, то ли она уходила на пенсию (может быть, и то и другое вместе). «Знаете, наш американец тоже хочет обязательно прийти, мы ведь с ним очень дружим. Вот и посмотрите на него». — «А он молодой?» — «Трудно сказать. У него две дочки… Такой интересный, такой умница». — «А почему американец?» — «Ну, это я просто так сказала. Он жил когда-то в Америке». Вилен… я в жизни встречала Владлена, Владилена, а Вилена — пожалуй, только одного. «А как его фамилия?» — «Фамилия тоже необыкновенная — Дивид!» «Антонина Николаевна, скажите, он злючка? Спорщик?» — спросила я еще для пущей уверенности. «Да что вы, — засмеялись обе старушки, — какой злой! Это наш добрый рыцарь! Его что не попроси — всегда поможет…»

И вот он вошел. Как и был, худощавый, среднего роста. Чуть вьющиеся черные волосы уже начали седеть на висках. У рта — жесткие, суровые складки, их раньше не было. Глаза — черные… Они изменились больше всего. Ничего злого и колючего в них уже не было. Они стали тихие — грустные. Да, пожалуй, именно грустные. Конечно, в них не мелькнуло и тени узнавания; я этого и не ждала: он в то лето на меня почти и не глядел. Мне хотелось совсем другого. За столом я набралась храбрости и сказала: «Вилен Ефимович, знаете, а я ведь вас помню. Мы были вместе в лагере. Кажется, в 1938 году. В пионерлагере Внешторга, в Полушкине, — добавила я, видя, что он глядит на меня с вежливым недоумением. — Помните, мы еще ходили в поход в Бородино». Он пожал плечами: «Может быть. В лагере я был, но — нет, я ничего и никого не помню. Это же было так давно! После этого было так много всего. Война. Я ее всю прошел. На фронтах передовой. Я столько всего пережил, что не помню подробностей детства». Все это он говорил тихо, серьезно и грустно.

И мне тоже сделалось грустно. Но не оттого, что он забыл свое детство, а оттого, что ему даже не хотелось его вспомнить… Потерянное поколение? Бог знает, что ему пришлось пережить за эти годы.

После лагеря я написала Вале два письма (она жила в Лосиноостровской). Но она мне не ответила. И я больше о ней никогда не слышала.

Осень

Осенью в школе появились новые учителя. Пришел прекрасный учитель биологии, белорус Ян Кузьмич Петрович, очень знающий и любивший свою науку; помимо школы он работал в ВИЖе (кажется, какой-то исследовательский институт животноводства). Он вел у нас анатомию и потом дарвинизм, попутно приобщая немного и к философии. Все его очень уважали[42]. По физике вместо молодого Василия Никитича, вечно отвлекавшегося на посторонние темы и в результате ничему нас не научившего, появился высокий седой мужчина, ходивший на костылях (ноги у него были, но не двигались). Он носил форму железнодорожника, так как преподавал еще и в МИИТе. У нас он вел свой предмет тоже в виде лекций — несколько уроков объясняет, потом предупреждает: «Завтра будет ве-е-ли-и-икий спрос!» И на этом «великом спросе» заставлял всех дрожать, медленно водя карандашом вверх-вниз по списку в журнале и приговаривая: «пой-дё-от сюда-а… пойдет сейчас отвеча-ать… предполо-о-ожим… встанет и пойдет к доске-е… такой-то!» — и нараспев отчетливо произносил фамилию. Я плохо понимала физику, хоть и выкарабкивалась на «хорошо», но мальчишки принимали его лекции с энтузиазмом и говорили, что он читает предмет очень хорошо.

Дали нам новую учительницу и по литературе, Серафиму (отчество и фамилию не помню). Она была слегка косноязычна, не выговаривала звук «л», поэтому, поскольку мы начали год с былин, ее сначала прозвали Мику́-уа. Учительницей она была средней — серьезная, без чувства юмора, довольно далекая от нас.

Из учеников после седьмого класса многие ушли в техникумы; вместо трех параллельных классов осталось два. Появились и новые ученики — дочка нашего завхоза Зина Макарова (Макаронка, как называл ее за высокий рост наш химик, знакомый с ее отцом), хорошая ученица, веселая, с хорошеньким веснушчатым курносым личиком; Тата Богданова, оставшаяся на второй год, но не из-за плохой успеваемости, а по болезни, год назад она попала в уличную катастрофу — сорвалась штанга троллейбуса и ударила ее в грудь, после чего она долго пробыла в больнице. Из класса «В» к нам перешли Наташа (Нотка) Швецова, Инна Панченко, из мальчиков — Боря Бондарь, Гоша Кольцов, Миша Воинов, Хаим Милитицкий, а в десятом классе еще Валя Степанов, Витя Червяков и другие. Постепенно у нас с этого года начало складываться ядро — человек пятнадцать, которые стали одной семьей; часть класса

всегда (сама) держалась от нас в стороне, но мы и к ним были дружелюбны. Мы становились взрослее.

1939 год. Зимой в Ленинграде

За последние годы к нам раза два приезжала тетя Зина (приезжали и другие папины родные, но они меня интересовали меньше). Приезжала и ее дочка Юдя, на пять лет старше меня, она останавливалась у дяди Эли, но мы с ней ходили гулять в парки. В 1938 году Юдя вышла замуж, ушла со второго курса института и уехала с мужем, военным моряком, на Дальний Восток. После этого тетя Зина стала в своих письмах усиленно приглашать меня к себе в гости, в Ленинград. Наконец было решено, что я поеду к ней на зимние каникулы. Я ликовала. Достали билет на 31 декабря в плацкартный вагон. То, что Новый год я встречу в вагоне, меня совершенно не огорчало, скорее наоборот, казалось интересным. Перед моим отъездом папа отправил тете Зине телеграмму с номером поезда и вагона, меня проводили на вокзал, и вот около одиннадцати часов началось мое долгожданное путешествие. Мне неинтересно было разговаривать с двумя пожилыми женщинами в моем купе, которые начали задавать всякие вопросы, и поэтому я сразу легла и сделала вид, что сплю. На самом же деле я слушала.

В вагоне очень долго не засыпали. Рядом в купе громко разговаривали и смеялись, а на верхней полке бокового места, напротив меня, лежал толстый лысый мужчина — его дружки из соседнего купе называли его Пельцман, — который без конца то присаживался, то спрыгивал вниз и встревал в разговор своих, видимо, коллег по работе. Говорили они о каких-то служебных делах, и эти дела вызывали у них бурное веселье. Потом Пельцман угомонился, и его друзья стали, наоборот, подходить к нему и опять шептаться-смеяться. Ровно в двенадцать коллеги подали ему рюмку водки, они все выпили; послышались поздравления и выкрики и из многих других отсеков вагона. После двенадцати я начала дремать, просыпаясь на каждой остановке. Сквозь синий папиросный дымок я различала около тусклой лампы круглое лицо все того же Пельцмана. Одной рукой он опирался на подушку, другой придерживал матрас и все еще с интересом глядел в сторону соседнего купе. Вообще же в вагоне стало тише, а разговоров меньше. На каждой станции — беготня за окном, потом звонок, лязг, мимо окна несколько раз яркие огни — и опять мерный стук колес…

Под утро я заснула крепко, а когда открыла глаза, одна из

пожилых дам уже стояла у столика с умытым лицом и полотенцем через плечо. Пельцман храпел. За окном узкой полоской намечалась заря. Когда до цели оставалось около получаса, меня охватило волнение, и я даже сама заговорила со своими спутницами и сказала, что еду в Ленинград впервые.

— А где живет ваша тетя?

— На Съездовской.

— Что-то я не слышала такой улицы. А я город хорошо знаю…

— Может быть, не Съездовская, а Съезжинская, — сказала другая. — Такая улица есть. Это на Петроградской, поедешь со мной вместе.

— Нет, мне нужно на Съездовскую, и вообще меня встретят, так что благодарю вас, — гордо сказала я. Не я ли Бог знает сколько раз надписывала конверты: «Ленинград 53, Съездовская, 31, кв. 25».

Когда поезд остановился, я немедля схватила свой чемодан и бросилась было к выходу, но одна из моих спутниц сказала: «Подожди, пока твои найдут вагон и сами тебя заберут, а то еще разминетесь». Все-таки мне не терпелось выйти, и я протиснулась к выходу. Ко мне сразу подбежал носильщик, больше мое прибытие пока никого не заинтересовало, но я поставила чемодан около ног и стала высматривать тетю Зину и хлопотливого, вечно рассеянного дядю Сережу. Никто не шел. Последней из вагона вышла одна из дам моего купе: «Что такое? Не встретили тебя? А номер вагона знают? Стой тогда тут, а то в толпе не увидят тебя». Но толпа уже рассеивалась, а я все еще ждала. Медленно я двинулась со своим чемоданом к концу перрона, ежесекундно оглядываясь и впиваясь глазами во все встречные лица. Наконец перрон совсем опустел. Я увидела вывеску «Камера хранения» и пошла туда сдать чемодан. После этого я направилась в здание вокзала. В вестибюле было справочное бюро, я протянула в окошко 20 копеек и спросила, как проехать на Съездовскую улицу. В ответ мне буркнули, что бюро дает справки только по вокзалу. Какая-то женщина, слышавшая мой вопрос, сказала:

— Детка, такой улицы в Ленинграде нет. Но на всякий случай спроси вон у милиционера на площади.

Чуть не плача, я вышла из вокзала. Мне так хотелось рассмотреть каждую улицу, каждый дом, а получилось так, что мне было теперь совсем не до того. У милиционера, стоявшего недалеко от вокзала, был строгий вид, но я объяснила ему, что я из Москвы, никто меня не встретил и я не знаю, как добраться до Съездовской улицы.

— Говорите, не встретили? — улыбнулся он. Мне польстило,

что он заговорил на «вы», потому что я была для своих пятнадцати лет очень небольшого роста, и меня вечно принимали за девочку лет двенадцати. — Да, дело не из приятных. Не встретили, значит. Съездовская? Не слыхал я что-то про такую. Но я в Ленинграде недавно. Вы спросите у людей на трамвайной остановке, может, они скажут.

На остановке оказалась старушка, которая сказала, что знает Съездовскую улицу: «Только это не тут надо садиться, а вон там, через площадь. Не помню, какой номер, но там точно идет какой-то на Петроградскую сторону».

Окрыленная надеждой, я начала пересекать площадь. И вдруг приостановилась. При чем здесь опять Петроградская сторона? Тетя Зина же всегда говорила, что живет на острове — да, на Васильевском острове.

На другой остановке стояла только одна девушка, она тоже не знала про Съездовскую. Тогда я догадалась спросить: «А может быть, вы знаете, как проехать на Васильевский остров?» «Васильевский — это другое дело. Тогда тебе нужно перейти на ту остановку (от которой я и пришла!) и сесть на трамвай № 4.

У меня уже кружилась голова, но я поплелась обратно. На всякий случай спросила у людей, идет ли трамвай № 4 на Васильевский остров. Это все дружно подтвердили, и мне стало повеселее. Я даже заметила теперь, что трамваи в Ленинграде смешные — как желтые коробочки.

В трамвае было довольно много народу, я взяла билет и протиснулась вперед до площадки — я хотела быть ближе к выходу, потому что не знала, далеко ли ехать до острова, а спрашивать мне уже надоело. На передней площадке оказалась свободная скамеечка на два места; я уселась на нее и решила слушать, какие остановки будут спрашивать пассажиры, как скажут: «Вы выходите на Васильевском?» или «на Съездовской», так я и выйду за ними. Но тут поднялся мужчина в форме, сидевший до этого рядом с водителем, и закричал:

— Ты что, девочка, первый раз в трамвае едешь? Освободи служебное место!

Я вскочила, пробормотала что-то о том, что не знала… «Не знала ты, — сказала какая-то старушка, — я вот старенькая, а на ногах стою. А вам, школьникам, и закон не писан».

Я совсем смутилась. Вплотную подошла к окну и проглотила слезу. Вот как меня встречал город, где, по рассказам тети Зины, все были такие вежливые и любезные! За слегка замерзшими стеклами проносились стройные, красивые здания и мосты. Хотелось рассмотреть получше, но я побоялась продуть дырку в инее — может быть, это здесь тоже было запрещено?

Когда мы переехали через совсем длинный мост, я сообразила, что мы теперь, наверное, уже на острове. Я спросила у молодой симпатичной женщины, где мы едем.

— Васильевский остров уже! Вон университет.

— А на Съездовскую вы не знаете, где лучше сойти?

Она поморщила лоб: «Не знаю. Тут линии с номерами да проспекты — Большой, Средний… спроси у кондуктора».

Трамвай к тому времени уже почти опустел, и я подошла к кондукторше. Ни о какой Съездовской она тоже не слышала и посоветовала мне «сойти на следующей» и лучше спросить у людей, «если ты уверена, что это на Васильевском».

На остановке, где я вышла, никого не было. Я увидела вывеску на противоположной стороне улицы и прочла на ней: 1-я линия.

Улица называлась Первой линией. По ней брел старичок, и я обратилась теперь к нему со своим вечным вопросом.

«Тут Первая линия, — услышала я от него. — Пойдите вон дальше по Среднему, там будет Вторая линия, и Третья, и много еще. А такой улицы, как вы говорите, не слыхал».

Я двинулась дальше, как он посоветовал, по Среднему проспекту. Прошла несколько кварталов и читала вывески: Третья линия, Пятая, Седьмая, Девятая. Народу в это морозное новогоднее утро на улицах почти не было. Наугад я свернула по одной из этих бесконечных линий вправо и вскоре попала в какое-то совсем пустынное место, где даже снег не был счищен. Мороз крепчал и въедался в лицо сероватой голубой дымкой. Я прикрыла нос меховым обшлагом рукава и шла все дальше и дальше, уже в каком-то отчаянии. Немногие дворничихи, которых я спрашивала, смотрели на меня как на дурочку: «Нет тут такой улицы».

Совершенно замерзшая, я повернула обратно уже почти бегом и оказалась наконец на той улице, где вышла из трамвая. Без всякой надежды на ответ я машинально спросила у одного дяденьки, где Съездовская улица.

— Да вы на ней же и стоите, — весело сказал он и стал хлопать своими кожаными рукавицами — наверное, тоже замерз.

— Нет, это же Первая линия, — сказала я обиженно. Я думала, он разыгрывает меня.

— Это на той стороне Первая. А на этой — Съездовская. Бывшая Кадетская.

Я поблагодарила его, но все еще сомневалась, не шутит ли он: как это, у каждой стороны улицы свое название? Но действительно прочла чуть подальше на одном из домов: «Съездовская линия». Я даже вслух засмеялась: подумать только,

ведь я на этой самой улице и сошла с трамвая! А название прочла на противоположной стороне.

Дом № 31 тоже оказался совсем близко! Я вошла в парадное и стала подниматься по лестнице, но там было так темно, что невозможно было разобрать ни одного номера квартиры, сколько я ни водила носом по дверям и как широко ни открывала глаза в надежде привыкнуть к темноте. Осторожно ступая, я спустилась обратно вниз и вышла на улицу. И тут впервые меня охватила тревога: почему, собственно, меня никто не встретил, не случилось ли чего?

Я дошла до конца дома. Другой фасад его выходил на набережную широкой реки. Невы? Но вроде бы Нева должна быть с другой стороны, через нее же переехал мой трамвай? Там были чугунные ворота, и я вышла во двор дома. Я сразу увидела женщину с помойным ведром, и, когда спросила, где 25-я квартира, она внимательно посмотрела на меня: «Вы не к Леви ли идете?» — «Да, к Леви». — «Из Москвы! Племянница! Да? Господи, идите же скорее со мной, вот у меня и ключ от их комнаты, Зинаида Львовна оставила, если вдруг вы придете. Они ведь так беспокоились, пошли искать вас…»

Мы поднялись по узкой черной лестнице на третий этаж.

Как я была счастлива, что я наконец «нашлась». И все-таки, почему тетя с дядей искали меня сейчас? Значит, утром не встречали? Почему?

Соседка дала мне ключ, показала дверь, и вот я вошла в большую, незнакомую мне комнату — одна. Странное было чувство.

В комнате стоял полумрак, несмотря на то что в ней было два больших окна. Вся середина этой большой комнаты, почти залы, была свободна, и серые прямоугольники окон отражались в гладко натертом паркете. Я сняла боты и сразу чуть не поскользнулась. В углу у окна на странном старинном письменном столе с гнутыми высокими ножками стояла большая елка. Она была совсем щуплая, но настолько обильно обвешана мишурой, золотым дождем и пестрыми игрушками, что веток не было видно. Я выглянула в окно: оно выходило на Съездовскую (то бишь, точнее, наверное, сказать — на Первую линию), перед ним стояло покрытое инеем большое дерево, внизу прогрохотал трамвай.

Я нашла, где розетка репродуктора, и включила его. Зажечь свет я почему-то постеснялась. Усевшись в громадное кресло с высокой спинкой, я закрыла глаза и стала слушать. Незнакомый голос диктора сказал: «Передаем концерт детской самодеятельности. Пионеры Тосненской неполной средней школы

исполняют… Пионеры школы № 1 города Ораниенбаума поют…» Ораниенбаум. Тосненская. Какие новые слова. Будто я приехала в другую страну. Хорошо… Я подошла к часам на комоде. Они показывали пять минут четвертого. Неужели я так долго проблуждала? А с другой стороны, почему так рано сгущаются сумерки?

Меня снова охватила тревога за тетю Зину. Где они пропадают?

Я опять села в кресло и еще, наверное, больше получаса слушала радио, но уже невнимательно. Может быть, мне лучше съездить на вокзал и поискать там своих тетю с дядей? Может быть, они ждут другой поезд?

В комнате было уже совсем темно, и я сидела в каком-то оцепенении.

Вдруг щелкнул замок в коридоре, дверь в комнату отворилась настежь, влетел дядя Сережа, зажег свет и, увидев меня, так же стремглав выбежал обратно, даже не поздоровавшись со мной. Я ничего не поняла и выбежала за ним. Он стоял на площадке лестницы, махал руками, как мельница, и, задыхаясь, кричал вниз:

— Зиночка! Она здесь! Зиночка, Зиночка, поднимайся — она здесь, пришла!

Меня чуть не раздавили в объятиях. Тетя Зина так расплакалась, что никак не могла успокоиться. У нее было больное сердце, дядя Сережа усадил ее в кресло и бросился к шкапчику за лекарством, но не успел он ей накапать его в стаканчик, как тетя Зина вскочила и, смешно приподняв юбку, стала плясать по комнате в одних чулках и петь: «Лорочка наша нашлась, нашлось наше золотце, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Потом ей опять стало плохо, потом она вспомнила, что я голодная, и умчалась на кухню. Пока там что-то разогревалось, она то и дело снова заглядывала в комнату, чтобы убедиться, что я в самом деле сижу там.

После обеда я уже знала обо всем, что произошло. Оказалось, что телеграмму они получили еще днем 31-го и собирались оба пойти меня встречать. Но ночью у тети Зины сделался сердечный приступ, и пришлось вызвать дежурного врача, который велел ей хотя бы день полежать, поэтому наутро дядя Сережа отправился встречать меня один. Тетя Зина сказала, что отправила его на вокзал за час до поезда. Позже я еще много раз убеждалась в его несобранности и рассеянности, поэтому он мог, например, купить в киоске газету и полчаса простоять, читая ее, забыв обо всем вокруг; а может быть, в то утро такого и не случилось, может быть, он просто совсем забыл, как я выгляжу. По его словам, он

прошелся по перрону, когда пришел поезд, а потом, не найдя меня, долго стоял и ждал у турникета. Тетя Зина сказала ему, что я маленькая, в синем пальто, с косами. А у меня пальто было серое, косички запрятаны, а на носу были очки. Как бы то ни было, уж я-то узнала бы дядю Сережу, если бы увидела. Его ни с кем нельзя было спутать, он не изменился, все такой же худющий, с огромным носом и кроткими небесно-голубыми глазками. Не обнаружив меня, он вернулся домой и развел руками: «Зиночка, она не приехала…» Тетя Зина, больная, вскочила с кровати, наспех оделась, отдала соседке ключ и повлекла дядю Сережу обратно на улицу — они оба помчались на Московский вокзал. Я воображаю, как досталось бедному дяде. «Я ему говорю — болван ты рассеянный, что ты наделал, да как я перед любимым своим братом отвечать буду за девоньку нашу любимую, а он только и бормочет мне — я же не мог, Зиночка, я же не знал, Зиночка». Увидев малолюдный вокзал, тетя Зина заплакала, и они стали расспрашивать людей, не видел ли кто «девочку в синем пальто, с косичками». Они пошли к начальнику вокзала и потом несколько раз по радио объявили мои приметы, имя и фамилию, что меня ждут в кабинете у начальника. (Я в то время, наверное, уже блуждала по пустынным линиям Васильевского острова.) Потом на площади судьба столкнула дядю и тетю с тем милиционером, к которому я первому обратилась. Да, сказал он, была девочка, которую не встретили, только без кос и не в синем пальто. Тетя Зина не поверила, что это была я, и милиционер тогда посоветовал им обратиться в главное управление милиции и объявить о моем розыске. Вот из этого управления милиции они и приехали наконец полчаса тому назад и, не увидев в своих окнах света, уже ни на что не надеялись.

Дальше все пошло гладко. Правда, тетя Зина продолжала плохо себя чувствовать, и мы с ней только два раза гуляли по Невскому (который тогда назывался «проспект 25 Октября»). В музеи она не отваживалась ходить, а одну меня тоже не отпускала — как бы я опять не потерялась.

На второй день после моего приезда мы пошли в гости к сестре дяди Сережи Ларисе Семеновне. Она преподавала литературу в школе для взрослых и жила со своими двумя взрослыми сыновьями (они были где-то в отъезде, и я их не видела), мужем Александром Григорьевичем и его дальней родственницей лет тридцати, Сонечкой, в том же доме, только со стороны набережной. Я была ошеломлена: меня встретили в этой семье так, как нигде раньше не принимали. Я имею в виду не обильное угощение, а то, что меня восприняли как совершенно взрослого человека, как равную. «А вот и наш гость из Москвы! —

воскликнули они, как только мы вошли. — Рассказывайте, что там нового в столице!» Напрасно я ловила слухом, нет ли оттенка иронии в их словах, — это была сплошная благожелательность. Сначала я должна была рассказать, как искала Съездовскую, и все очень смеялись, потом дядя Саша стал за столом задавать мне вопросы вроде «а что в Москве говорят по поводу такой-то статьи в «Правде»?». И я, обычно такая робкая с незнакомыми взрослыми, чувствовала себя как дома, как рыба в воде, словом, легко и непринужденно. Лариса Семеновна была более сдержанна, чем ее муж, но и она мне польстила: за чаем достала из буфета невскрытую коробку конфет и стала угощать меня: «Это у нас было припасено специально для московского гостя. Пожалуйста, не стесняйтесь». Тихая родственница Соня вообще почти все время молчала, только слушала меня и улыбалась. По дороге домой тетя Зина шепнула мне, что уж если скуповатая тетя Леся достала коробку конфет — это верный признак, что я ей понравилась. Ах, если бы дядя Эля и тетя Люба все это видели! Для них я всегда оставалась маленькой девочкой где-то на заднем плане, ко мне почти вовсе не обращались, и у них в гостях я только молчала.

Помимо этой семьи мы с тетей Зиной были еще в гостях у ее любимой подруги Анеточки на Литейном (тогда — проспекте Володарского). Эта красивая, молодая еще женщина (на семь лет моложе тети Зины) начинала слепнуть. Застав незадолго до этого по возвращении с курорта своего мужа у себя дома в объятиях своей близкой приятельницы, она перенесла нервное потрясение, которое сказалось на ее глазах — начал атрофироваться глазной нерв. И пышные волосы ее стали совершенно седыми. Но лицо у нее было молодое и красивое, фигура высокая и статная и голос приятного грудного тембра. С мужем она развелась и жила со своей дочкой Майей, на три года моложе меня. Эта дочка, которой позже чуть вздернутый тонкий нос и прекрасные восточные глаза придавали такую прелесть (люди на улице оглядывались на нее), тогда мне не показалась красивой. Худенькая большеглазая обезьянка, она была очень подвижна: то играла мне на пианино вальс Шуберта, то заводила патефон, то хотела со мной играть, кто больше запомнит подряд имен (Ленин, Пушкин, тетя Зина, Ворошилов, Лемешев, наша кошка… Каждый должен был повторять весь ряд и добавлять еще по одному имени). Я так растерялась в новой обстановке, что все время отвлекалась и кого-нибудь забывала. У Майи была своеобразная манера говорить: быстро-быстро, немного хрипловатым голосом, потом вдруг пауза, и дальше опять быстрые слова, и все время в этом голосе слышалась улыбка. Я

потом поймала себя на том, что подражаю ее манере. (Это повторялось всякий раз после общения с ней. У меня вообще долго не было своего стиля, я вечно кому-то подражала, даже в почерке и в движениях, никак не могла найти себя внешне.)

Еще мы были два раза в опере. На «Травиату» ходили с дядей Сережей; обратно шли пешком, и ночной зимний Ленинград показался мне сказочно прекрасным. Дядя Сережа все шутил: «Ну что, скажи ты мне, богатые это были люди, ну что они могли есть? То же, что и мы с тобой, разве что с золотых тарелок…» С дядей Сережей было очень удобно, можно было идти рядом с ним и думать о своем. Он бормотал что-то и совсем не ждал ответов. Он немножко «придуривался», как мне казалось, потому что вообще-то был умница. Другая опера — «Русалка», дневной спектакль, и я не помню, с кем ходила.

С большим трудом достали мы билеты на мою обратную дорогу. Помогла нам Анеточка, у которой был в квартире телефон, но и ей удалось заказать билеты на поздний вечер 12-го, то есть я на день опаздывала в школу.

В Москве я вышла из поезда, держа в одной руке чемодан, а в другой сеточку с довольно странным набором вещей (подарками от тети Зины). Там лежали мандолина (ею премировали в школе Юдю), большой ананас, бананы и старый, без обложки, толстый растрепанный однотомник Лермонтова.

Перед отъездом меня опять пригласили в Ленинград — летом, смотреть белые ночи.

Горе-актеры

В школе жизнь шла своим чередом. Той весной было еще одно мое выступление «на театральных подмостках». Значительно менее успешное, чем двенадцать лет назад в Берлине: нас освистали и закидали, правда, не гнилыми помидорами, а вареной картошкой.

Вот как это было: несколько человек из нашего класса — я, Зина Макарова, Рудик Русавский, Сережа Голицын и не помню кто еще — решили (или, скорее, нам поручили) подготовить для вечера учащихся пятых — шестых классов маленькую двухактную пьеску. Действие происходило летом 1917 года в подвале, где жила семья бедной прачки. К ее детям приходит толстый, хорошо одетый сын хозяина дома. Ему у себя наверху страшно: на улице стреляют. Мы играем с ним в лото, потом приходит с баррикад наш старший брат и так далее, точно я не помню. Мы очень хорошо выучили роли, несколько раз отрепетировали —

получалось совсем неплохо. Реквизит мы притащили из дома: корыто, белье, лото, столик и скатерть (которая должна была скрывать суфлера, на всякий случай посаженного под стол), кастрюли, кружки и даже вареную картошку в мундире, которая фигурировала во втором действии.

Началось все вполне нормально. Мы с Рудиком были бедными братом и сестрой, детьми прачки (мама дома нашила мне на платье со всех сторон заплатки); Зина, наша мать, стояла у корыта и стирала. Поперек сцены была протянута веревка с бельем. Мы отговорили с Рудиком свой диалог, а потом шли мои слова «наша бедная мама, кажется, плачет», и Зина над своим корытом должна была, прежде чем что-то сказать, немножко повыть. Но уже слово «плачет» прозвучало у меня сквозь смех: я увидела, что Зина, опираясь руками на белье в корыте, вся трясется от беззвучного смеха и не может остановиться. «Наша мама…» — повторила я, а Рудик дернул за белье на веревке, чтобы загородить им наши смеющиеся лица (у него и самого уже была в глазах слеза от едва сдерживаемого смеха), но при этом веревка оборвалась, и какая-то рубаха вообще накрыла Рудика с головой. Увидев это, я бросилась к Зине, спрятала лицо у нее на плече и сквозь дикий смех сказала: «Бедная, бедная мама!» Хотя этих слов в пьесе не было. «Бедные мои дети, у-у-у!» — понесла отсебятину Зина и вся согнулась над корытом от душившего ее смеха. В зале послышались первые свистки. Потом мы взяли себя в руки, сделали серьезные лица и сыграли сцену с лото: «Двадцать два, долой царя; сорок пять, кадеты стреляют опять; тридцать четыре, картошка в мундире». Здесь вступила Зина: «Ах, у нас сегодня на обед картошка в мундире», — и шепотом: «Ребята, где кастрюля с картошкой, ее нет за занавесом». Потом вваливался как бы пришедший с улицы наш брат Сережа Голицын в больших сапогах, говорил, что он сражался вместе с рабочими на баррикадах, а Рудик и я должны были вскочить из-за стола и броситься его обнимать. Но, вскакивая со стульев, мы нечаянно сдернули скатерть, и из-под стола выполз с журналом «Затейник» наш суфлер Шурик Трошин. Среди публики в зале поднялся невообразимый шум, и тогда-то в нас и полетела наша вареная картошка в мундире, которую зрители заблаговременно выкрали из-за занавеса.

Не помню, чем все закончилось, помню только, что, даже таща домой на голове корыто, Сережка все еще смеялся, смеялись по дороге домой и мы с Рудиком. Почему-то никому не было стыдно!

Это было весной 1939 года. В то время, кажется, успокоилась уже совсем волна арестов. Во всяком случае, мы об этом больше

ничего не слышали. Ване Шустову, конечно, пришлось после ареста тети Мели уйти из Станкоимпорта. Он устроился счетоводом на сахарный завод недалеко от дома. У Иры был тяжелый момент, когда их всех в школе построили и спрашивали у каждого данные о родителях. «А моя мама — арестантка», — громко сказала она, когда очередь дошла до нее. После этого некоторые девочки стали сторониться ее. Ваня Шустов долго обивал пороги разных инстанций НКВД, писал бесконечные заявления. Как мы потом узнали, тетю Мелю под угрозой пыток заставили подписать бумагу о том, что она общалась со своим братом-шпионом, после чего ее отправили в лагерь под Карагандой. Кажется, в конце 1939 года ее выпустили и отправили на поселение в город Чкалов (так тогда назывался Оренбург) и Ваня сразу поехал туда повидаться с ней.

Никто из наших родных и знакомых не связывал те несправедливые аресты со Сталиным, в школе тоже никогда таких разговоров не было; считали, что это бесчинствовал Ежов, а теперь поди разберись, кто из сосланных виноват, кто нет. Мои родители по-прежнему оставались патриотами. На первые выборы в 1937 году ходили как на праздник. Папа, и я вместе с ним, с восторгом воспринимал перелеты наших летчиков: полет Чкалова на остров Удд, потом с Байдуковым и Беляковым через Северный полюс, полеты наших летчиц Гризодубовой, Осипенко и Расковой, которым пришлось приземлиться в дальневосточной тайге. Помню, как папа волновался и огорчился, когда пропал Леваневский. Все эти полеты были в 1936, 1937 и 1938 годах; не помню точных дат, но то, что запомнились все фамилии и места, куда летали эти люди, говорит о том, как внимательно за ними следили, так же как и за первой станцией «Северный полюс» (Папанин, радист Кренкель, гидролог Ширшов и Федоров). Чкалов погиб в конце 1938 года; много москвичей, и я в их числе, ходили в Колонный зал прощаться с ним.

Весной 1939 года был XVIII Съезд ВКП (б), и мы после уроков должны были слушать, как Наум Вайнерман читает газету с речью Сталина. Каждому слову вождя придавалось огромное значение. Постепенно начинало нарастать то, что позже назвали «культом личности», но процесс этот казался нам естественным: кто правил нами, был выше сомнений и критики. Была вера, необходимая человеку. Дядя Эля в эту весну вступил в партию, а в ноябре — я в комсомол. Рекомендацию мне дала Татьяна Павловна Рютова, наша учительница истории.

Что касается Шустовых, они все-таки более или менее устроили свою жизнь без тети Мели — стала приезжать на всю зиму с Дона бабушка. И дни рождения Иры в сентябре стали

опять веселыми и людными. К тому же в нее влюбился тогдашний ее сосед по дому Леня Финкельштейн. Он был ровесник Иры, но учился на два класса выше — перескочил через пятый и седьмой и вообще был чем-то вроде математического вундеркинда. Дома у него были мать и отчим, которыми он был недоволен, и однажды он исчез из дома. Его искала милиция — не нашла, и вдруг оказалось, что он тайком уехал в Ленинград к своему родному отцу. Но тот вскоре отправил его обратно. Любовь Лени была восторженная и романтическая, но Ира относилась к нему совершенно спокойно.

Болезнь

Через два дня после того, как мы вернулись из похода (и за пять дней до конца лагерной смены), я заболела. У меня с утра поднялась температура до 40°, и меня положили в изолятор. На следующий день сделалось плохо с животом, заподозрили дизентерию, и меня отвезли на машине домой. Папа и мама страшно испугались, когда увидели меня так неожиданно рано и в таком тяжелом состоянии. В Москве в то время была тетя Матильда, она сразу приехала, но помочь мне тоже ничем не смогла. Температура оставалась высокой, я ничего не ела и мучилась болями в животе. Через четыре дня я ослабла так, что не могла даже приподняться в постели. Меня увезли в больницу, а дома сделали дезинфекцию. Больница была небольшая, двухэтажное здание на Селезневке — оказалось, что в Москве была эпидемия дизентерии, и пришлось устроить дополнительные инфекционные стационары, в том числе и этот.

В палате, куда меня поместили, было еще человек десять, но я была самая тяжелобольная. Я не спала даже ночью, иногда стонала и звала няню, и женщины в палате стали жаловаться, что я им мешаю, и просили, чтобы меня перевели в палату № 4 (там были безнадежные, накануне две женщины оттуда умерли; мои соседки, видимо, боялись, как бы я не стала при них помирать). Но дня через три мне начало понемногу становиться лучше, и мои отношения с женщинами в палате улучшились. Я с благодарностью вспоминаю нашу медсестру Любу Сапрыкину — милую ласковую девушку, всегда готовую помочь. В самые тяжелые мои дни, бывало, подойдет к кровати и скажет что-нибудь подбадривающее шутливым своим, негромким, но звонким голосом, как добрая фея из сказки. Она читала нам маленькие лекции о всякой диете, рассказывала про погоду, про городские новости. Меня она, по-моему, особенно любила и даже

считала красивой. Женщины в палате были не шибко грамотны, поэтому написать про Любу в книге благодарностей поручили мне, и я это с радостью сделала. К сожалению, когда я потом просила родителей поблагодарить Любу и они отправились в больницу с большим букетом цветов и конфетами, они уже не застали ее в больнице: Люба Сапрыкина была отправлена медсестрой в армию, в Западную Белоруссию.

Я пролежала в больнице около двух недель, вернулась домой примерно 10 сентября, то есть пропустила начало девятого класса. Ко мне приходила наша отличница Зоя Рубаненко и объяснила все пропущенное, но по физике я все равно ничего не поняла. По литературе они проходили «Мертвые души». «Это ужасно скучная книга, — сказала Зоя, — очень трудно ее читать. Если хочешь, я расскажу образы Манилова и Собакевича…» Бедный Гоголь!

Потом в школе все пошло неплохо. В октябре вернулся из армии наш Ян Кузьмич; он участвовал в оккупации Западной Украины и после уроков долго рассказывал ребятам об этом.

Я уже писала, что в Москве была Матильда. Она уехала после моего выздоровления. Но уехала не в Баку, а на Дальний Восток, куда ее почему-то перевели. Я все так же не очень любила ее. В этот ее приезд я тоже рассердилась на нее — мы с ней собирались куда-то пойти, и я перед уходом достала из почтового ящика письмо от Люси Веселовской, бегло прочитала его и положила в свою сумочку. «От кого это, позволь узнать, ты получила письмо, зеленая крыса?» — «От одной подруги». — «Так как же ты могла прочитать его и не показать родителям?» — «Мои родители не читают моих писем. Им это неинтересно». — «На-прас-но, на-прас-но! Таких обезьянок надо еще контролировать, кон-тр-р-ролировать…»

Тетя Матильда уехала на Дальний Восток, и уже недели через две у нее там сделался инсульт. Все правая сторона ее была парализована, нарушена речь. Тетя Зина стала просить у дяди Эли денег, чтобы немедленно выехать к любимой сестре, но дядя Эля написал ей, что она безумная истеричка и он ей ни копейки не даст. Тетю Матильду после этого привезли в Баку, но тетя Зина так до конца жизни и не простила дяде Эле, и они никогда больше не общались. Тетя Зина заявила, что он больше ей не брат.

1940 год

Зима 1939–1940 годов была необыкновенно морозная. Под

окном у дяди Эли вымерзли все до единой яблони.

Это было время финской кампании, не очень популярной: все недоумевали — почему мы вдруг воюем, да еще первыми напали… Ходили даже слухи, что были случаи, когда красноармейцы обворовывали финских крестьян; финны якобы никогда не запирали своих дверей, когда уходили, и наши этим пользовались. В газетах писали о линии Маннергейма, которую нашим войскам удалось прорвать. Мы в Москве замечали эту кампанию только потому, что вдруг начались перебои с некоторыми продуктами; исчезало сливочное масло, и за ним были длинные очереди. Если я не ошибаюсь, оно тогда и подорожало немного.

Этой весной у меня появилась новая любовь.

Валентин

У нас в девятом классе уже не было русского языка, но иногда проводились диктанты, а однажды был объединенный урок обоих классов, и к доске вызвали из нашего и другого класса «лучших учеников по русскому языку». Это оказались я и высокий широкоплечий русый парень Валентин Степанов. Ранее я как-то не обращала на него внимания. Доску разделили пополам, и мы писали под диктовку предложения, которые потом должны были разобрать. Наш химик как-то в начале одного урока сказал: «Только что я услышал в учительской разговор, что Фаерман — абсолютно грамотный человек. Ах, как я завидую вам, девочка!» Писала-то я действительно всегда на «отлично», но теорию знала плохо и разбор умела делать далеко не блестяще. И вот этот Валя Степанов, видя, что я задумалась, когда Серафима отвернулась, сам написал мне что было нужно; при этом он посмотрел на меня добрыми улыбающимися карими глазами.

Вскоре после этого был какой-то вечер. Начались танцы, мы с Нотой Швецовой решили уйти, и, когда я уже взяла в безлюдной раздевалке пальто, я вдруг услышала быстрые шаги. «Что же вы уходите? — спросил Валентин бархатным басом. — Останьтесь, пожалуйста. Я надеялся пригласить вас на танец». Но я танцевала плохо и ушла: «В другой раз…» И с этого момента я влюбилась. Хотя мы больше не разговаривали с Валентином в ту весну, он всегда очень мило раскланивался со мной в коридоре. Как-то я видела его на улице под руку с Олей Огородниковой из десятого класса, и ревность еще усилила мою влюбленность — я даже сочинила впервые в жизни стихи. Они заканчивались словами: «И вечно будет мне сиять на небе темном/Звездою яркой

путеводной: Валентин».

А танцевала я действительно очень плохо. То есть, когда никто меня не видел, я, особенно при избытке чувств, подолгу прыгала по нашей длинной комнате, придумывая всевозможные выразительные движения; может быть, со стороны это выглядело не так уж плохо, но танцевать фокстрот и танго и при этом слушаться ведущего я была не в состоянии. Я делала всякую отсебятину, хоть и в такт музыке, и наступала партнерам на ноги. Шаги-то этих танцев я знала и дома часто, всегда за ведущего, кружила (стыдно сознаться!) своего старого Пеца-Бурумбуца.

Все сильнее и сильнее я любила музыку. Большой радостью для меня было открытие Чайковского; не всего еще, но его концертов для фортепиано и для скрипки с оркестром и некоторых симфоний. Со всем этим я познакомилась через радио. Папа из русских композиторов знал только Римского-Корсакова («Испанское каприччио» и «Шахерезаду»), а теперь он вместе со мной полюбил Первый концерт Чайковского. Иногда не мы слышали объявления, что за музыка будет исполняться, и пытались отгадывать. «Не знаю, что это, но уж точно что-то зимнее, — говорила я, и оказалось, что это Первая симфония Чайковского («Зимние грезы»). — Билльчик, а это что, по-твоему?» — «Это, наверное, ведьмы пляшут!» (он тоже отгадал, это был «Шабаш ведьм» из Фантастической симфонии Берлиоза). Слушая музыку и совершенно не зная ее теории, я наслаждалась тем, что представляла себе — лес, ветер, море, солнце, — или своими переживаниями. Я узнала увертюры Бетховена, его сонаты, Пятую симфонию; рапсодии и Первый фортепианный концерт Листа, Сен-Санса, Шумана. Я завела себе специальную тетрадку, куда вписывала названия всех новых произведений, которые мне нравились. Я купила два абонемента — в консерваторию, «Лист», и в Дом ученых, «Итальянская опера», и вообще все чаще ходила на концерты, в частности, в Колонном зале прослушала в исполнении Натальи Шпиллер все романсы Чайковского. Мне давали по 5 рублей карманных денег ежемесячно, вот их я и тратила на концерты; билеты, конечно, брала самые дешевые. Кроме того, папа стал приносить мне билеты в театр — и на оперу, и на драму.

Кое-что из музыки я слушала и в школе: там у нас довольно часто бывали концерты для старшеклассников с участием известных исполнителей. Это объяснялось тем, что нашим шефом было Москонцертобъединение.

У нас пели Степанова, Давыдова, играли Флиер, Гринберг и другие. В последние два года мы очень полюбили Илью Набатова с его политическими куплетами. По его выступлениям я стала

лучше представлять себе всякие процессы и события, происходящие в мире. Сатира его была блестяща и всеобъемлюща: Мюнхенское соглашение, Чемберлен, японцы… Даже модную песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза» он переделал с политическим смыслом. Мы бурно аплодировали ему, после выступлений ребята всегда окружали его и поздравляли. Набатов нас тоже любил и говорил, что все свои новые вещи сначала показывает нам.

Экзамен по химии

В этом году на экзамене меня спас наш химик, Владимир Григорьевич. Но сначала — несколько слов об экзаменах вообще. Мы сдавали их начиная с четвертого класса ежегодно. Их всегда набиралось три-четыре, не считая письменных. Начинались экзамены числа 20 мая, а заканчивались 5–7 июня (в десятом классе — 14 июня). Нам никогда не давали (как это потом практиковалось) списка вопросов или тем более билетов с номерами, и мы точно не знали, что и как у нас могут опросить. Нам просто говорили: учите все, что проходили. Как правило, мне на экзаменах везло. Кажется, в восьмом классе был экзамен по геометрии — я возвращаюсь с предыдущего экзамена, встречаю девочку из соседнего класса: «Что тебе досталось на геометрии?» — «Билет № 23, такая-то теорема, такой-то вопрос и задача, решается так…» На следующий день я вытаскиваю именно этот, единственный известный мне билет № 23: «отлично».

Но на том экзамене по химии все было иначе. Неорганическую химию я любила. И я ее неплохо знала, особенно же любила я таблицу Менделеева. Но были в учебнике и главы, которые наводили на меня тоску и ужас: процесс получения серной или азотной кислоты, процессы в доменной печи. Там были рисунки, схематически изображающие целые заводы с множеством труб, котлов и Бог весть чего еще. Я не могла запомнить всего этого и перед экзаменом просто пропустила эти главы.

Мы все очень испугались, когда, войдя в кабинет химии, увидели вместо одного ассистента целую комиссию, человек пять. Сейчас мне ясно, что это, видимо, был одновременно и экзамен нашего химика и что комиссию меньше интересовали мы как таковые, но тогда нам это в голову не приходило, и мы все задрожали. А когда я вытащила билет и прочитала его, у меня только и мелькнуло в голове: «Все пропало!» Первые два вопроса я знала хорошо, могла бы и без подготовки на них отвечать. Но по

третьему вопросу просиди я хоть час, не придумала бы что сказать. Я решила прямо так и сознаться — третьего вопроса не знаю. Может, все-таки поставят хотя бы «пос.»?

И вот пришла пора мне отвечать. На вторую тему мне даже не дали договорить. «Переходите к третьему вопросу», — сказал Владимир Григорьевич. И тут на меня внезапно что-то нашло. Это вовсе не было задумано мной заранее, но я громко и внятно сказала: «Третий вопрос — таблица Менделеева».

Химик недоуменно посмотрел на меня: «Как? У вас ведь билет номер такой-то?» «Да», — подтвердила я. Он посмотрел у себя в список, потом встал, спустился с возвышения, где стоял длинный учительский стол с комиссией, и подошел ко мне: «Дайте-ка мне ваш билет». Я протянула ему эту злосчастную бумажку. Владимир Григорьевич посмотрел на третий вопрос, посмотрел на меня, бросил взгляд назад, на комиссию за своей спиной — они как раз о чем-то перешептывались, — и, видно, у меня был такой умоляющий взгляд (как у утопающего или поверженного гладиатора), что он понял, в чем дело. Он быстро скомкал мой билет, положил его к себе в карман и, чуть улыбнувшись и покраснев не меньше меня, сказал: «Совершенно правильно, я не тот билет посмотрел. Продолжайте отвечать: таблица Менделеева». Тут я, конечно, пошла гарцевать. «Все ясно, — сказал один дяденька из комиссии, — отпустите вы ее, Владимир Григорьевич. Спасибо!» Мне поставили «отлично».

ВСХВ

В 1939 году открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), но попасть на нее сначала было невозможно. Только в июне 1940 года папа через свою работу достал два билета. В то время на выставку был только один вход — тот, что теперь считается северным, а павильоны все были деревянные. Каждый павильон принадлежал одной из союзных республик, он был построен в народном стиле, а внутри были выставлены сельскохозяйственная продукция и образцы народного искусства. Кроме этого, были общие павильоны, но я уже не помню какие. (Позже, когда я еще раз попала на ВСХВ, уже в конце августа, я побывала в павильоне «Сахарный завод» и могу сейчас сказать, что это было одно из самых интересных зрелищ, какие мне довелось увидеть. Пока посетитель обходил вокруг большого зала, он наблюдал — в действии! — весь процесс превращения сахарной свеклы в рафинад.) Мы с папой обошли все павильоны, потом еще гуляли по парку, я мало запомнила подробностей того,

что мы видели в тот день, запомнилось чувство какой-то светлой радости! Мне нравились эти павильоны, нравился парк, нравились толпы людей разных национальностей и то, что все время из репродукторов слышалась музыка. Когда мы вышли из ворот, было уже темно и на троллейбус стояла бесконечная очередь. Мы простояли с папой минут сорок, и даже это стояние — за группой каких-то веселых грузин, разговаривавших на совсем непонятном языке, — тоже мне нравилось. В темных кустах за оградой пели птицы, в репродукторе звучали арии Верди. Я прижалась щекой к белому рукаву папиной рубашки и снова ощутила большой прилив любви к нему — как тогда, на станции в горах, когда мне было четыре года. Только бы он всегда был со мной…

Лето 1940 года было, может быть, самым прекрасным в моей жизни. Это было лето счастливых мечтаний, лето полной свободы, лето общения с природой, лето одиночества, но не навязанного мне судьбой, а избранного — мне было приятно побыть одной, как это ни странно было в мои семнадцать лет.

Пташкины

В мамину детскую группу ходил мальчик Витя Пташкин. Родители этого мальчика были не очень обеспеченные, но задумали строить дачу. Для этого им не хватало денег, и они попросили у нас взаймы 900 рублей. У нас теперь стало побольше денег — и благодаря маминой группе, и оттого, что папу назначили начальником отдела, — и мы смогли одолжить им эту сумму. Пташкины были очень благодарны и пригласили меня пожить сколько я захочу у них на даче. Еще в мае я съездила с ними посмотреть на это место. Надо было ехать час паровиком с Ржевского вокзала до станции Снегири, там пройти километра полтора (вперед, мимо кирпичного завода, за торфяное озерко, потом вправо вдоль нового забора голландских дач Большого театра, и за ними, на небольшом бугорке, неогороженный, стоял домик). Пташкины купили готовый бревенчатый сруб в соседней деревне, а крышу, пол, веранду, а также прекрасную уборную в углу участка Витин отец построил с помощью приятеля. Место мне понравилось — совсем рядом начинался лес; говорили, что и купаться можно ходить на Истру. В тот выходной мы все «поднимали целину», работа эта была нелегкая, я натерла лопатой мозоли на руках, но от земли шел такой чудесный влажный запах, что я получила большое удовольствие. Подумать только: в семнадцать лет я впервые увидела, как делают грядки,

впервые помогала сеять.

Помню, в первый же вечер после моего прибытия в Снегири я отправилась на разведку окрестностей. За домом начиналась березовая роща, за ней — Волоколамское шоссе, а на другой стороне шоссе — сплошной большой лес. Его я обследовала позже, а в тот вечер обошла вокруг небольшого озерца в березовой роще. Солнце было уже низко, и в его косых лучах меня вдруг охватило чувство трепетного ожидания какого-то чуда, какая-то непонятная восторженность. Вдруг из-за берез сейчас выйдет Валентин. И я тихо запела. Никого кругом не было, я спела много-много романсов Чайковского. Мне казалось, что он мог их сочинить только в такой же летний вечер… «Закатилось солнце…», «Ты куда летишь, как птица…», «О дитя, под окошком твоим…», «Уноси мое сердце в звенящую даль…», «Уж гасли в комнатах огни…» «Скажи, о чем в тени ветвей…»

А на следующее утро, пока все еще спали, я взяла корзинку и пошла искать грибы — впервые в жизни! В Ильинском грибов не было, а в лагере попадались только белые молоканки да поганки. Давно, в Софрине, Леля мне показала сыроежки. А других грибов, кроме еще лисичек, которые часто тушила мама, я и не видела. Когда я набрала полную корзинку белых, в моем представлении, грибов, меня увидел старый пастух: «Чего это ты набрала? Что ты с ними делать-то собираешься?» Я испугалась: «А что, разве их нельзя пожарить? Или суп…» Старик объяснил мне, что это валуи и что их можно только солить. Так в первый же день началось мое знакомство с грибами и дружба с пастухом и его старухой. Коров было всего пять-шесть, но старики всегда пасли вдвоем. У старухи часто болели зубы, тогда она ходила, обмотав голову шерстяным платком, и часто прикладывалась к бутылке, которую таскала с собой в кармане: думала, от водочки «пройдет зуб». Я искренне жалела ее, потому что меня тоже часто мучили зубы, и я ей рассказывала про такие случаи. Встречаться с этими старичками мне всегда было приятно, и они тоже, завидев меня, улыбались. Мы много беседовали, но почему-то ни мне, ни им не пришло в голову спросить, как кого звать. Они говорили друг о друге «дед», «моя бабка», а я, наверное, была просто «дачница». Меня очень удивили и сблизили с дедом его рассуждения о природе и цивилизации. Он был зол на то, что теперь везде строят дачи, портят и вырубают лес. В общем-то, дач в том месте было совсем немного, да и лес по ту сторону шоссе был мало исхожен. Но дед возражал даже против автомобилей. «Скоро все, все истопчут они здесь, жалко мне места эти до слез», — говорил он и рассказывал, какая тут была красота раньше.

Мороженое

Иногда мы с Витькой ходили на станцию за мороженым. Мороженое продавалось только с тележек на колесах. В такой тележке стояли один или два бидона, закрытых крышкой, а сверху было три лоточка с круглыми вафлями разных размеров. Мороженщица ложкой накладывала в вафлю доверху мороженого из бидона, приглаживала его и прикрывала сверху второй вафлей, затем вручала покупателю. В зависимости от размеров порции были за 10, 40 и 80 копеек. За 80 почти не брали, за 20 — только если ребенку не удалось выпросить больше денег у родителей, а самые популярные были за 40. Очереди к мороженщицам всегда были большие. Притом у покупателей был всегда еще один дополнительный интерес: на вафлях обязательно бывали выдавлены разные четырехбуквенные имена: НИНА, КОЛЯ, МАША и т. п. И всегда ребятишки смотрели прежде всего на эти имена: «У меня Вера и Саша, а тебе кто достался?» Потом начинали слизывать мороженое, медленно вертя вафельку, чтобы со всех сторон было ровно. Под конец съедались сами вафельки, уже несколько размокшие. (В Москве в то время появилось эскимо в шоколадной глазури. Первое время его называли «эски́мо». Или, в шутку, «г… на палочке». Кроме того, в специальных кафе мороженое отпускали и на вес в принесенную посуду. Причем если оно называлось «клубничный пломбир», то там действительно попадались целые ягоды. Но наиболее популярными до самой войны оставались эти круглые вафельки.)

Однажды по дороге на станцию за мороженым мы проходили мимо группы рабочих, которые сидели у железнодорожного откоса и слушали, как им читают газету. Я уловила слова: «Вместо шестидневной недели вводится семидневная с выходным днем в воскресенье». Я не поверила своим ушам. Остановилась и стала слушать: в газете пояснялось, что это было вызвано тем, что в серьезной международной обстановке надо было повысить производительность, кроме того, это было удобнее при внешних сношениях, ведь такой счет дней был принят во всем мире, да и у нас в деревнях придерживались семидневной недели. Меня это сообщение несколько расстроило. Шестидневка была так удобна: задумывая что-нибудь наперед, сразу знаешь, что 6, и, 18, 24, 30-е — выходные.

Но такая мелочь не была способна испортить радостное настроение того лета. Самым большим удовольствием для меня было встать пораньше, когда все еще спят, и бежать за шоссе в лес по своей любимой дорожке к маленькому ручейку, который когда-то, возможно, был большой рекой — такие высокие у него

были берега, сплошь поросшие лесом. Вот посреди дорожки стоит, широко расставив длинные ноги, теленок: нет ничего добрее его карих глаз с длинными ресницами. Он весь отражен в большой луже. Я целую теленка, обнимаю березы и бегу дальше. Никогда, нигде я еще не дышала таким свежим душистым воздухом, как в том лесу! В голове у меня звучит Первый концерт Листа. У спуска к ручью я останавливаюсь, сажусь на березовый пень и некоторое время слежу, как на противоположном высоком склоне все ниже спускаются по пихтам лучи солнца.

На некоторых березах в то лето появились написанные карандашом или нацарапанные палочкой буквы: В. С. Может быть, я поколдую немножко, и он меня полюбит? Мне казалось тогда, что все возможно и что меня ждет счастье. Только какое оно? Счастье — это, конечно, любовь. Но надо обязательно, чтобы и лес тоже был, значит, если он вдруг приедет сюда… Я не знала, что самое большое счастье у меня как раз и было в то лето: свобода, лес и ожидание возможного-невозможного…

Иногда я собирала немногие свои вещи и уезжала на несколько дней в Москву, я ведь могла уезжать и приезжать, когда захочется. Дома мне бывали рады, и я всегда привозила грибы, ягоды и букеты цветов. В Москве я узнавала всякие новости. Мы присоединили Латвию, Литву, Эстонию. Слышать это было приятно, но вызывало вместе с тем некоторое удивление и смутную тревогу. По радио стали передавать народную музыку этих стран, а в магазинах стали появляться всякие красивые вещи — туфли, платки, кофты, расчески. И конфеты в непривычных обертках с надписями на совсем непонятных языках — *Laima.*

12 августа я слушала в Большом театре «Ивана Сусанина». Билет достал папа, и я сидела в партере рядом с одной его сослуживицей, которая в антрактах брала меня под руку и прогуливалась со мной между колоннами (было жарко, и публику выпускали на улицу). Говорила она все время только о папе: какой он хороший, умный и добрый и как все его любят. Мне приятно было это слышать. По-моему, эта женщина была влюблена в Билльчика. А Михайлов пел прекрасно, казалось, что так можно спеть и сыграть только один раз. Во время его последней арии я не могла сдержать слез. Покосилась на свою соседку — она тоже плакала.

Дядя Эля

Родители мои в то лето были очень встревожены болезнью дяди Эли. Долго никто не мог понять, что с ним такое, потом кто-

то поставил диагноз — заболевание надпочечников (не знаю, как оно называлось, но болезнь была серьезная и редкая). В Кремлевской больнице дядю оперировал известный в то время хирург Спасокукоцкий. После операции дядя Эля месяц был в санатории в Барвихе, и мы к нему туда ездили один раз, в самом конце августа. Был солнечный, но прохладный день, цвели флоксы, уже пахло осенью. В тиши аллей прогуливались группами и в одиночку люди, мы смотрели на них с лоджии. Дядя Эля был рад, что все обошлось и он остался жив, правда, он еще был слаб и в тот день сидел больше в кресле. Тетя Люба рассказывала о Маршаке и Папанине, с которыми они познакомились.

Когда дядя Эля вернулся в Москву, они стали каждое воскресенье собирать у себя гостей. Это были врачи (тот, который верно поставил ему диагноз, и кое-кто из его бывших аспирантов), двоюродный брат тети Любы Володя Степухович с женой Татой и мы. На обед всегда давали необыкновенно вкусный борщ. Всегда бывало немного вина в красивых хрустальных бокалах. А на столе всегда — белоснежная накрахмаленная скатерть. После обеда дядя брал в руки гитару с перламутровыми инкрустациями и начинал тихо перебирать струны. Он пел «Из-за острова на стрежень», «Средь высоких хлебов затерялося», «Много я любил женщин молодых» и другие, немного грустные кавказские песни. И делалось необыкновенно уютно в этих деревянных стенах, будто мы где-то далеко от остального мира. У тети Любы тоже был тихий, приятный, камерный голосок. Она пела «Две увядших розы в синем хрустале» и две веселые — украинскую «Чи я, мамо, нэдорыс, чи я, мамо, пэрэрыс» и французскую *J'ai perdu le do de ma clarinette.* Иногда они пели в два голоса, но всегда очень тихо. После этого был чай с каким-нибудь домашним печеньем, а потом начинали играть. Сначала достали маджонг, но не все смогли усвоить эту китайскую игру, и ее заменили картами — стали играть в хункен[43].

В школе

Осенью в школе мы узнали, что нас, к сожалению, покинул наш химик. Если не ошибаюсь, его призвали в армию. Вместо него появилась учительница, тоже молодая, которая почему-то ненавидела своего предшественника. Вызывала к доске с презрительной усмешкой: «Ну-ка, такая-то небось у Владимира Григорьевича тоже «отличнó» имела. Послушаю-ка теперь я вас!» Органическая химия была гораздо труднее неорганической, и

действительно, большинство прежних отличников — я в их числе — уже до этой отметки недотягивали, и учительница почему-то злорадствовала. Вредная была женщина! Появился у нас и новый учитель истории, за малый рост тут же прозванный ребятами Папой Карло. Вместо бесконечного конспектирования и записывания под диктовку мы наконец могли пользоваться учебником: за неимением школьного пользовались «Кратким курсом истории ВКП (б)». Мы изучали новую историю СССР, и учитель давал нам довольно много, особенно по истории Гражданской войны; он всегда приносил в класс коробку с карточками, на которых были выписки по теме его диссертации (кажется, он писал ее по Второму походу Антанты).

В классе меня ждал приятный сюрприз: к нам из соседнего класса перешли Валя Степанов и его друг Витя Червяков. Помимо них к нам из другой школы перешли брат и сестра Ионины, которые сразу влились в наш коллектив как родные. Алеша Ионии, на год младше своей сестры, был необыкновенно способным молодым человеком, он знал даже высшую математику. Наши симпатии он сразу завоевал, когда скромно поднял на уроке алгебры руку: «Анна Ивановна, а вам не кажется, что это можно решить проще?» «Не кажется, нет, — растерялась она, — ну-ка, пойдите к доске». Алеша стал быстро писать формулы, что-то зачеркивать, сокращать, все притом поясняя: «Ну как?» «Да, красивое решение», — вынуждена была признать Анна Ивановна. Сестре его, Оле, было уже девятнадцать лет, она была очень полная, с больным сердцем, очень начитанная и веселая и сразу всем понравилась. Брат и сестра были дружны между собой, неразлучны, как близнецы.

К своей радости, я обнаружила две вещи. Во-первых, Валя Степанов был еще и отличный музыкант! Одновременно с школой он оканчивал музыкальный техникум по классу рояля. Слушая, как он играет этюды Скрябина и Рахманинова, я еще больше в него влюбилась. Во-вторых, Тата Богданова и Оля Ионина тоже очень любили и прекрасно знали музыку, а Зина Макарова пела в хоре Клуба детей железнодорожников и исполняла там даже сольные партии: у нее было красивое низкое меццо-сопрано. В классе появилось много музыки. Как гимн, по утрам мы пели тарантеллу Листа. Перед контрольными всегда звучал «Порыв» Шумана, а после, если работа была трудная и не все хорошо написали, — «Потерял я Эвридику». По дороге домой все пели «Танец маленьких лебедей», под который мы с Татой, забежав вперед, еще и плясали. Вообще мы в этот год еще больше сплотились, дружили все вместе, хотя Тата Богданова и Миша Воинов еще и вдвоем были неразлучны. Некоторые учителя

понемногу теряли в наших глазах свой авторитет; это больше всего относилось к нашей классной руководительнице, Елене. Не только я, но и Тата, Валя и Витя знали язык лучше ее, а она иногда позорилась: например, *Heidenröslein* Гете перевела как «Полевая козочка». Вы оговорились, сказали ей, не козочка, а розочка. «Нет, козочка, — возразила она. — Я специально проверила по словарю: *Rößlein* — это вообще-то лошадка, но «полевая лошадка» по-русски как-то не звучит, лучше — козочка». Мама очень смеялась, когда я ей про это рассказала. Кто-то у нас по ошибке написал вместо *Schießzirkel* (стрелковый кружок) — *Scheißzirkel* (сральный кружок): *Die Pioniere organisierten linen Scheißzirkel*[44]. Мы, кто знал это неприличное слово, рассмеялись. Но Елена, взглянув на доску, сказала: «Смеяться нечего, все правильно». Очень смущало ее, когда она слышала, как все на перемене поют хулиганскую песню, которую мы с Татой сочинили на мотив «Я Чарли-безработный»: *Vor ihrem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, das Kampfspiel zu erwarten — saß nackte Lorelei*[45]. Она полагала, видно, что это незнакомый ей отрывок из немецкой классики.

Гоша Кольцов, худощавый высокий мальчик, любивший поесть, выдвинул идею устраивать «обжорные дни», и мы провели несколько таких мероприятий. Участвовали все, за исключением примерно десяти учеников, которые вообще держались в стороне. Выбирался день, когда бывали учителя, которых не уважали и не боялись, среди них обязательно «чертежник» (когда он отворачивался к доске, ему наводили на лысину солнечные зайчики и т. п.). Накануне составляли список, кто что может принести из дома — хлеб, колбасу, мясо вареное, огурцы, апельсины, печенье. На следующий день все это приносилось в пакетах, баночках и даже кастрюльках и на уроке черчения мы все садились за задние парты. Обжорство происходило только на уроках, в этом и была вся прелесть. Приподняв крышки парт, все одновременно жевали, следя глазами за учителем. Незаметно обменивались всякими яствами, передавали их даже из ряда в ряд. Конечно, на уроке математики или на литературе нельзя было пересаживаться назад, приходилось жевать на своих местах, что было значительно опаснее. Увидит Анна Ивановна, ткнет пальцем и неодобрительно скажет: «Жуете!»

Наш шеф Москонцерт организовал у нас в школе платный кружок сольного пения. Туда записались я и еще две девочки из соседнего класса. Вела кружок преподавательница из консерватории. Она научила нас правильно дышать и подготовила со мной романс Римского-Корсакова «Звонче жаворонка пенье». Сначала мы пробовали «Весну» Грига, но потом

она нашла, что мне по стилю и по голосу лучше подходит романс. Другие две девочки разучили дуэт «Уж вечер…» из «Пиковой дамы». Но, к сожалению, мы прозанимались только месяца два, потом кружок распустили.

В декабре оба десятых класса придумали устроить вечер с ужином. Попросили, конечно, разрешения у директора. Тот сначала засомневался: такие вечера нельзя было устраивать без присутствия хоть кого-нибудь из учителей. Тогда мальчишки пригласили его самого. Мы собрали немного денег, сделали бутерброды, купили пирожных и много бутылок лимонада, накрыли столы в физкультурном зале. У всех было веселое, приподнятое настроение, мы словно немножко опьянели от лимонада. Часов в девять в зал заглянул Николай Семенович. Постоял, посмотрел на всех, потом сказал: «Ну, ребятки, я пошел домой. Не буду вам мешать. Только, чур, в одиннадцать вы все пойдете домой. Предварительно все здесь приберите. Вот ключ, — он поманил к себе Витю Червякова, — под твою ответственность; запрешь школу». Такое к нам доверие еще больше повысило наше настроение. Девочки из соседнего класса спели под аккомпанемент пианино модную в это время «Сулико», потом за инструмент сел Валя и играл, играл одну за другой вещи Скрябина, Шопена… Я стояла рядом и млела от восторга. Потом его попросили сыграть что-нибудь танцевальное, и все закружились по паркету. Мы с Нотой схватили Сашу Никонова и стали дурачиться втроем — изобрели какую-то новую пляску. Около Вали все время вились девочки из соседнего класса, но я была рада, что он сидит и играет, а не танцует с ними. Ровно в одиннадцать мы все разошлись: нельзя было подводить Николая Семеновича. Правда, мальчишки курили, а этого директор бы не разрешил. Но нам нравилось, танцевать в папиросном дыму было совсем по-взрослому…

Почему-то мне запомнилось, что вечер этот был 14 декабря, а на следующий день мы с папой были в Театре им. Вахтангова и получили огромное удовольствие от «Много шума из ничего» с блестящей игрой Мансуровой и хорошей музыкой Хренникова.

Канун Нового года

Близился Новый год. Папа и мама собирались к дяде Эле, а я выпросила разрешение пригласить к себе Ноту и, может быть, еще кого-нибудь из класса. «Валь, ты где встречаешь Новый год?» — отважилась я спросить. — «Нигде». — «А разве ты не идешь к Свете Мамоновой?» (Я слышала, что несколько ребят из нашего и

девочек из соседнего класса были приглашены к этой девятикласснице.) — «Нет. Звали меня туда, да я не пойду». — «Почему?» — «Надоело быть вечным тапером. Думаю, только за этим и пригласили…» — «Валя, у меня пианино нет, ты бы пришел к нам?» И он ответил, что с удовольствием придет! Я не смела и верить такому счастью. Еще к нам были приглашены Тата (ее Миша уезжал куда-то к родным в другой город) и Юра Клочков.

Мы распределили, кому что принести из еды и вина. Мы с Нотой должны были купить два торта и фрукты.

Ранние зимние сумерки, сильный ветер и редкий снег; мы с Нотой пересекаем Трубную площадь и громко кричим: «Ветер, ветер — на ногах не стоит человек» — и дальше из «Двенадцати» Блока. Впереди идет мужчина, несет большой торт — вдруг он роняет его, картонная крышка слетает, а сам торт раскалывается на много кусков. Мужчина стоит секунды три, смотрит на эти куски, потом делает рукой жест «а, ну и черт с ним» и идет дальше. «Дяденька, — смеется Нота, — что ж вы бросили такой торт!» Ах ты, Катя моя, Катя толстоморденькая. Мы истерично веселились всю Неглинную, а вокруг фонарных огней кружились спирали из снежинок. Ветер, ветер на всем белом свете…

1941 год

Валентин

Первые минуты нового, 1941 года застали нас уже несколько опьяневшими после выпитого шампанского. Мы перешли из прихожей в длинную комнату и стали играть в цветочный флирт — старинную игру, которую принесла Тата. Вдруг Тата сказала: «Давайте честно сознаемся, кто кого любит. И оставим это между нами — никто, кроме нас, не узнает. Начинай ты, Валя. Говорят, ты был влюблен в Олю Огородникову?» Валя улыбнулся: «Почему же, я вовсе никогда не был в нее влюблен. Уж коли на то пошло…» — «В Иру Зеленину?» — «Я сейчас вовсе не настроен откровенничать. Скажу только, что Ира Зеленина очень хорошая девушка…» В это мгновение меня словно бес подтолкнул, я стала говорить — и не хотела говорить, и не могла остановиться: «Вот ты, Валя, любишь Иру Зеленину, а ведь я была влюблена в тебя! Я все лето о тебе думала, я даже стихи в честь тебя написала, я даже чуть на дуэли из-за тебя не подралась…» Тата и Нота тихо вышли из комнаты, таща за собой ничего не понимавшего Юрку. Мы с Валей остались одни в комнате. Потрескивая, горели на елке свечи. Валя вдруг обнял меня за плечи. «Валя, ты где был летом?» — неожиданно для себя спросила я вдруг. «Где всегда, в Истре у своей тетки». Господи, значит, он все лето был где-то рядом со мной, а я… Валя поцеловал меня. Если бы такое случилось летом, в лесу, где я не смела и мечтать об этом, я бы умерла от счастья, а сейчас меня охватило жгучее чувство стыда: что я сделала? Я сама, сама ему навязалась, а он вовсе меня не любит, он даже соврать мне не счел нужным. Он любит эту Иру Зеленину, а меня целует из жалости — разве можно так! Я быстро высвободилась из его рук и подняла скатерть, скользнувшую на пол. «Куда же вы все ушли», — крикнула я другим. Мне хотелось поскорее сделать так, чтобы Валя не принял те мои слова про любовь всерьез, чтобы он подумал, что я все это сказала в шутку. Вслед за мной вышел Валентин. Он задел плечом подставку у двери, на которой стоял кувшин с водой, кувшин упал и разбился вдребезги. Это сразу разрядило обстановку, все стали смеяться. «Как хорошо, это к счастью, — заметила Нотка. «Ребята, а мне попадет от мамы». «А Валька сам извинится, — сказала Тата. — Как по-немецки теща?» — *«Schwiegermutter».* — «Ну вот он и скажет: *Liehe Schwiegermutter — große Krug zerbrochen*[46]. Повтори, Валя». И Валя под общий смех повторил. Около двух часов утра

вернулись мои родители. Валька действительно очень мило своим бархатным басом извинился за кувшин, и мне потом вовсе не попало. Юрка настолько захмелел, что Вале пришлось отвести его домой. Я легла спать счастливая. Но весь следующий день на душе был неприятный осадок и снова чувство стыда за мое признание.

После каникул я поняла, что я разлюбила Валю. И было очень жаль чего-то. Скучно стало без любви…

Когда я говорила, что чуть не подралась на дуэли, это была правда. Еще в октябре-ноябре оба наших класса ходили — не помню зачем, может быть, просто гуляли — по Первой Мещанской за Крестовскую заставу, и, когда мы возвращались, со мной вдруг разговорилась маленькая Людочка Белецкая из соседнего класса, с которой я до этого не была близко знакома. Она сказала мне тогда, что влюблена в Валю Степанова, а я ей сказала о себе, но мы решили на дуэли не драться, поскольку обе — несчастливые соперницы. Вместо дуэли мы стали громко петь «Потерял я Эвридику». В январе случай во второй раз столкнул меня с этой Людочкой. Должна была состояться лыжная вылазка, но пришли к школе в то воскресное утро только мы с ней. Мы решили одни поехать в Сокольники. Гуляли там часа три, и за это время девочка рассказала мне все о своей жизни, о детстве и увлечениях. Дома у нее было неладно: родители в разводе, она жила при маме, но любила больше папу, который часто водил ее на концерты и научил понимать музыку. Конечно, в этой связи она опять заговорила о Валентине, и я решила не говорить ей, что он встречал Новый год у меня, чтобы она напрасно не расстраивалась. После этого она как-то пригласила меня в театр, и мы вместе слушали «Чио-Чио-сан». Людочка мне нравилась, но я себя чувствовала с ней немного неловко. Я не могла понять, почему она вдруг так ко мне привязалась. Но все закончилось так же странно, как началось, — она вдруг перестала со мной разговаривать, ходила на переменах только с девочками из своего класса и холодно здоровалась со мной. Я так никогда и не узнала, что произошло.

Еврейка или немка?

Еще в 1940 году я наконец получила паспорт, хотя мне было уже семнадцать лет. Задержка случилась оттого, что метрика моя была на немецком языке, и ее почему-то очень долго переводили. Получала я этот перевод в нотариате Наркоминдел на углу Кузнецкого и Дзержинской. К моему ужасу, там была написано,

что я дочь купца: «Занятие отца — купец». Горе-переводчики, очевидно, знали только одно значение слова *Kaufmann*, тогда как под этим словом мог подразумеваться и экономист, и вообще работник какой-то торговой организации. А папа ведь работал в Торгпредстве.

Когда я пришла в милицию за паспортом, меня вызвал начальник и спросил, какую я хочу национальность: немка или еврейка. Я сказала — ни то ни другое. «Если немка, — сказала я, — то получается, будто я иностранка какая-то. Но какая я еврейка, если не знаю ни языка, ни обычаев этого народа. Я выросла в Москве, мой язык — русский, вот и запишите меня русской». Начальник улыбнулся и сказал, что так нельзя. Тогда я выбрала еврейку. Папа был заметно рад этому. Сам он тоже, рано оторвавшись от семьи, забыл язык и еврейские традиции. Как я уже говорила, у него были собственные философия и религия, не имеющие отношения к определенной национальности. Рад же он был моему решению потому, что этим единственная дочь старшего сына большой семьи Фаерманов достойно признала свое происхождение. Или что-нибудь в этом роде.

Родители

Вообще же у нас с папой в последний год взаимоотношения были не такие простые, как раньше. Конечно, папа по-прежнему любил меня, но его раздражала моя порой дурацкая восторженность и некоторая экзальтация. «Ура! День ли царит!» — завопила я как-то, вскочив с сундука, на котором сидела с книгой, одним ухом прислушиваясь к радио, и захлопала в ладоши. Папа дал мне оплеуху и назвал истеричной институткой. Я очень обиделась, но не так сильно, как позже, в июне, но об этом я скажу в свое время. Внешне, на словах, я часто бывала груба с родителями, это папу огорчало, и он сердился на меня совершенно справедливо. С другой стороны, папа прекрасно знал, что только со мной он может говорить о тех книгах и учебниках, которые тогда так усердно изучал по вечерам. Помимо этого, он еще взялся переводить с английского одну малоизвестную книгу, которая ему нравилась (*Mehalah* некоего Баринг-Гульда), и он отдавал мне каждые четыре-пять переведенных страниц на проверку с точки зрения языка и стиля. С моими поправками он всегда соглашался. Папа боялся, что я совсем отдалюсь от него. Незадолго до экзаменов он вдруг попросил меня рассказать ему про всех моих учителей и кто из них как ко мне относится. По-настоящему делиться с ним мне обычно было некогда, да и он не

расспрашивал — наши с папой отношения так и остались с детства какой-то полуигрой.

Когда стало теплее, в весенние каникулы и позже, во время экзаменов, я очень любила провожать папу утром на работу, куда он всегда ходил пешком, по возможности разными путями. «Видишь большой пень? — спросил он однажды, когда мы спустились к Цветному бульвару. — Здесь стоял старый мудрый тополь с мощными ветвями, я очень любил его. А недавно его вдруг спилили. Кому-то он помешал. Очень мне жаль его». За такие слова разве можно было не любить Билльчика! В мае мы стали иногда вечерами прогуливаться с ним по Садовой, и он рассказывал мне всю свою жизнь. Я узнала о его детстве, о трудной юности, о лагере гражданских пленных. «Есть одна вещь, — говорил папа, — я не могу передать это словами, это надо видеть и почувствовать и потом возненавидеть на всю жизнь, — прусский милитаризм. Я насмотрелся в лагере на этих жестоких, тупоголовых, бесчеловечных людей — не люди, а машины, олицетворение войны, что ли. Нет для меня ничего ужаснее и отвратительнее этого прусского милитаризма!» Я просила папу записать свои воспоминания, но тогда он даже не успел мне все досказать.

У папы давно было неблагополучно с сердцем, он принимал какие-то лекарства, а однажды ночью у него был сильный приступ стенокардии («грудной жабы», как тогда говорили). Я очень испугалась. Вообще папу вдруг стали мучить какие-то кошмары; иногда утром он говорил: слава богу, вы обе здесь, со мной. Один раз он даже рассказал нам свой сон, чего вообще никогда не делал. Будто началась война, и он на фронте, потерял винтовку, а за ним гонятся враги и стреляют в него.

С мамой у нас были отношения более ровные, но я с ней никогда не делилась тем, что меня волновало, она бы меня не поняла. После того как она оставила занятия с детской группой, у нее стало больше свободного времени. В магазинах очередей не было, из еды можно было купить практически все. Я не знаю, было ли возможно купить готовое платье, во всяком случае, мама вечно отдавала что-то перешивать и меня тоже таскала на ненавистные примерки к разным портнихам. Много старых платьев, своих и квартирохозяев, привезла еще тетя Анни, из них и перекраивались новые наряды (тетя Зина тоже заочно шила мне из старых своих платьев блузки). Новые платья мы с мамой отдали пошить только один раз. Дело в том, что было неимоверно трудно купить какие-нибудь ткани. Рядом с нами на Колхозной площади был универмаг (он назывался «Ростокинским», «Рижским», после войны — «Щербаковским», по мере того как

меняли названия нашего района), его служебный вход был со стороны нашего переулка, и вот люди — и москвичи, и из провинции, — с вечера занимали очередь, и весь переулок бывал запружен народом. Брали «что дают», ибо пробиться и посмотреть, что за ткани продают, было невозможно. Мама однажды записалась в такую очередь, ходила ночью на перекличку и потом вернулась домой уже около трех часов дня с шестью метрами черного, в желтых цветочках сатина. Но она пришла заплаканная и показывала нам синяки на руках выше локтя: какие-то бабки вытащили ее из очереди и сказали, что она не стояла, она снова встала в конец очереди, правда, потом ее пустила к себе одна знакомая женщина, но все равно хорошие ткани уже кончились. Потом мы сшили себе в ателье по летнему платьицу с модными в то время оборочками внизу и около шеи и с рукавами фонариком.

В школе

В тот год ввели плату за обучение в трех старших классах школы и в вузах. Открылись ремесленные училища, и, видимо, рассчитывали, что часть учащихся перейдут туда.

В школе у нас появился предмет «военное дело». На нем нас научили, как отличить иприт от фосгена и люизита[47], как устроен противогаз и как его надевать. Один вид противогаза внушал ужас и отвращение. Еще нам показали устройство гранаты-«лимонки». Она правда была похожа на лимон. И очень хорошо мы научились поворачиваться «Напр-ра-во!», «Кр-ру-угом!» и зачем-то ходить парадным шагом.

В кино шел фильм «Если завтра война», и все пели песню оттуда. Как-то мы шли по улице с Нотой, и она сказала: «Ну Лор, что это все говорят: война, война. Ас кем война-то? Я не представляю себе — даже интересно, если б была война, посмотреть бы, как это будет». Потом мы с ней не раз вспоминали эти грешные ее слова.

Но действительно, с кем война-то? С Германией мы с осени 1939 года вроде бы дружили. Я даже получила через тетю Анни письмо с фотографиями от своей троюродной сестры Инги Рат, которую видела всего раза два в раннем детстве. Она писала: «Как хорошо, что наши страны теперь дружат, давай будем переписываться», — и дальше описала несколько своих приключений. По радио передавали много немецкой музыки. Однажды вечером после «Последних известий» в концерте «Легкая музыка Германии» прозвучала лихая песня, в которой мы

разобрали слова *Jetzt fliegen wir nach England und schießen alle tot* («Теперь полетим мы в Англию и всех перестреляем».)

Я выступила для Германии по радио. Елена дала мне выучить немецкий перевод одного стихотворения, в котором говорилось, что на старом дубе сидели два сокола, один сокол — Ленин, а другой — Сталин и т. д. Вместе со мной выступили мальчик из другой школы и девочка из Школы слепых (она очень трогательно читала Гете *Wie herrlich leuchtet mir die Natur*). Конечно, нас сначала несколько раз прослушали всякие комиссии, отобрав нас из большого количества учащихся. Нас записали на тонфильм в Путинковском переулке в комнате, обитой деревянными квадратами с дырочками. Но мы не знали, когда наше выступление будут передавать в эфир, поэтому, например, ни я, ни Елена этой передачи не слышали. Ее случайно поймал только наш физик, Евгений Евграфович, и сказал, что все звучало прекрасно. Не знаю, понравились ли в гитлеровской Германии стихи про соколов Ленина-Сталина. Непонятно также, почему Берлинская опера поставила у себя из русской классики именно «Ивана Сусанина». У нас в Большом театре как бы в порядке культурного обмена была показана «Валькирия» Вагнера в постановке Эйзенштейна. Папа, поклонник Вагнера, с большим трудом достал билеты, и мы пошли. Все было не совсем так, как должно бы быть, и большого впечатления на нас не произвело. В первом акте была оригинальная и хорошая декорация, но ни голоса, ни манера исполнения, ни даже оркестр не давали должного представления о Вагнере. Полет валькирий был смешон: под потолком неслись висящие на канатах деревянные лошадки с живыми женщинами. Зато огонь в конце оперы был очень красив: поддуваемые снизу, развевались красные шелковые ленты, и музыка в этом месте тоже звучала вполне на высоте. Может быть, все для меня много потеряло оттого, что мы сидели в первых рядах партера.

Были ли у меня в то время планы на будущее? Надо ведь было решать, куда идти учиться после школы. Примерно с шестого по девятый класс я была убеждена, что буду геологом, потому что любила землю, разные камни и путешествия пешком. Но потом я узнала, что на геологический факультет надо сдавать математику, да еще потом изучать ее — это меня оттолкнуло. Мне захотелось изучать литературу в ИФЛИ (модный в то время Институт философии, литературы и истории), я даже стала покупать билеты на вечерние лекции в МГУ, прослушала рефераты о Шекспире, Стендале, разумеется, Байроне (читал проф. Аникст) и еще о ком-то. Но вскоре я поняла, что знаю

литературу неважно и мало читала того, что было необходимо, а одной грамотности и хорошего слога недостаточно для поступления на такой факультет. Поэтому перед самыми экзаменами я поняла, что мне подходит Институт иностранных языков. Сдам на «отлично» немецкий, а учить буду английский…

Класс наш чем ближе к концу учебы, тем больше дружил. Часто мы вечерами гуляли по сретенским переулкам, заходили друг за другом и просто так ходили толпой и разговаривали, а то и молчали. Чаще всего это были Тата с Мишей, Зина, Зоя, Нота, Валя, Витя, Наум, Юра Кузин и Боря Бондарь. Иногда и днем ко мне заходили Зоя и Тата, мы играли в хункен или шли в кино «Хроника» у Сретенских ворот. «Обжорные дни» мы заменили поеданием баранок. В тот год на многих углах Сретенки продавались из больших корзин горячие баранки с маком, их выносили два раза в день. Вот мы и скидывались и на большой перемене отправляли двух-трех ребят за этими вкусными свежими бубликами. Один раз они не успели добежать к концу перемены: начался урок литературы, как вдруг открылась дверь, и на пороге появились обвешанные, как бусами, нанизанными на веревки баранками Миша и Гошка Кольцов: «Можно войти? Извините, что мы опоздали, мы выполняли общественное поручение…»

Самое любимое наше развлечение, как бы ритуал «прощания с детством», было прыганье через веревочку. Участвовал весь класс. Двое вертели, а остальные становились в длинную очередь, каждый должен был перепрыгнуть только один раз, друг за другом, и снова бежал в хвост очереди. Это мы проделывали каждое утро перед началом занятий и потом на большой перемене. Перед входом в школу, где это происходило, всегда собиралась толпа младших ребятишек — посмотреть, как взрослые дяди и тети резвятся.

Елена вдруг стала делать попытки сблизиться с нами. Она довольно часто устраивала классные собрания, начала называть нас по именам и на «ты», а себя — нашей нянюшкой. Один раз она вызвала хохот всего класса. «Вот вы мне не рассказываете ничего, — сказала она, — а я вчера узнала от другого учителя, что Лора Фаерман и Шура Трошин любят друг друга. Что же вы смеетесь? Это же очень хорошо!» А дело было в том, что наш физик, заметив, что мы с этим Шуриком в классе самые маленькие ростом, всегда звал нас помогать ему в кабинете, принести что-нибудь или включить, причем он произносил наши фамилии так, будто мы — великаны, но все это было добродушно и вовсе не обидно для нас. Видимо, он при Елене сказал что-нибудь вроде «Это мои два неизменных друга-помощника». После

этого я Шурика называла не иначе как «любовь моя».

Выпускные экзамены мне ничем особенным не запомнились. Перед письменной математикой перед классом выступил Алеша Ионии и объявил: «Ребятки, мы с Олей садимся на задние парты. Я решаю свой вариант, а потом решаю другой. Вы в это время решайте сами или пишите что угодно на своих черновиках. Условие одно: никто в нашу сторону не оборачивайтесь. Я напишу дубликаты обоих вариантов и пущу их по ряду вперед: задний передает впереди сидящему. Если не нужна вам моя шпаргалка, сразу передавайте дальше. Только не нервничайте, не вертитесь — решения получат все, кому нужно».

Все это было осуществлено, и я частично тоже воспользовалась Алешиной добротой — нашла у себя ошибку.

Перед письменным сочинением со всеми договорилась я, но, поскольку все писали разные темы, я сказала, что буду от всех принимать письменные вопросы, но не сразу, а когда сама закончу писать. Я тоже села назад. В другом ряду параллельно со мной сели Люда Широкорад и Наташа Лескова, которым всегда трудно было писать и у которых сильно хромала орфография. Им я помогла больше, чем остальным, Наташе вообще вчерне набросала всю тему. Темы же у нас были: 1) «Образ Сатина[48]» (это писала я — очень любила Горького), 2) тема, связанная с «Фаустом», и 3) Джамбул Джабаев[49] и многонациональная советская литература (ее писали те, кто ничего не знал, там можно было отделаться общими восторженными фразами, упоминая почаще сталинскую конституцию).

Перед выпускным вечером мы еще повеселились 14 июня на дне рождения Таты Богдановой. Было несколько человек из нашего класса и другие ее подруги и родственники, среди них — студенты-первокурсники. Мы играли во всякие игры и засиделись за полночь. Когда мы вышли от Таты, которая жила на улице Мархлевского, было уже без четверти час. Мы двинулись по Сретенке, посередине Зина и я, по краям нас «охраняли» Миша и Рудик, нам всем было по пути. Еще издалека мы заметили перед булочной одинокую фигуру мужчины в белой рубашке. «На Биллька похож», — подумала я и улыбнулась. Но, когда мы подошли, мужчина действительно оказался моим папой. Он крикнул что-то вроде: «Лора! (Именно «Лора», а не «Джим», как он меня всегда называл). Я тебе покажу, как гулять по ночам с мужчинами!» Точных слов его я не помню, но смысл их сводился к этому. Он кричал это очень злым голосом, схватил меня за руку и выдернул из нашего ряда: «Марш домой!» Все это было так неожиданно, что мои спутники совершенно растерялись. Мишка, обычно не робкого десятка, только пробормотал, что мы же, мол,

были на дне рождения и сейчас идем домой. Папа даже не дал мне проститься ни с кем и потащил почти бегом к дому. Как же мне было стыдно перед ребятами! И как еще больше мне было стыдно и обидно за папу, когда мне потом говорили: «Ну и злой же у тебя папаша!» Я не могу объяснить, почему папа так себя повел, даже если они с мамой действительно очень беспокоились, что я долго не возвращаюсь. Вечером в понедельник или вторник я подслушала, как он говорил маме: «На работе меня все ругают, что я так поступил. Они сказали — что же такого, что она шла по улице с мальчиками, ведь они учатся вместе, они все товарищи. Они, может быть, на каждой перемене ходили так, это же не то что в ваши времена, и все такое. Я действительно об этом не подумал».

Выпускной вечер у нас был то ли 18, то ли 19 июня. Всем девочкам, даже Ноте, которая была из очень бедной семьи, сшили к этому событию новые платья из крепдешина разных цветов, полосатые или в цветочках. Я одна была в своем стареньком белом, которое вышила еще тетя Анни в 1935 году. Правда, его с тех пор надставили — удлинили и пришили новые рукава. Мне было стыдно просить маму еще раз выстоять ужасную очередь за тканью, а сама она не догадывалась, что к окончанию школы есть обычай шить новое платье. И если у меня сейчас звучит обида, тогда я ее не чувствовала. Тем более что меня назначили выступить на вечере с маленькой речью. Мы собрали денег и купили Елене огромный букет, а на деньги обоих десятых классов купили для директорского письменного стола большую чугунную группу с лошадьми — кажется, копию коней Клодта[50]. Эту фигуру должен был вручить Валя Степанов. Во время речи директора мы с ним сидели за сценой и нервничали, обдумывая свои выступления. Я сказала Елене много ужасно лицемерных теплых слов благодарности, назвала ее, по ее же подсказке, «нашей нянюшкой», и это последнее привело ее в совершенный восторг, она даже прослезилась. У меня тоже были на глазах слезы, потому что именно в тот момент я вдруг остро почувствовала, что ничего больше не будет, что я в школе в последний раз. Валентин умел очень красиво говорить, и его речь и вовсе получилась отличной — Николай Семенович был очень тронут и обрадовался коням, даже экспромтом сострил на эту тему.

Круглыми отличниками в нашем классе окончили школу Зоя, Алеша, Витя и Валя. У меня были «хорошо» по всем точным наукам, остальные — «отлично». В зале среди родителей сидел папа. Он был очень доволен мной; отличников он вообще не признавал, считая, что не бывает так, чтобы человек одинаково

отличался по всем предметам. Он говорил, что или это глупые зубрилы, или им за что-то натягивают отметки.

Я не помню, что еще было на этом вечере — наверное, концерт и танцы. То, что не было никакого банкета, я помню точно — это тогда еще не было принято. Часов в одиннадцать мы все вышли на улицу. Было очень жарко, в школе было душно, и мы, разгоряченные и веселые, собрались перед входом. Кто-то предложил пойти прогуляться по Москве. Я увидела папу — он тоже вышел и стоял у входной двери, и я подошла к нему, чтобы вместе пойти домой. Не скрою, была у меня мысль: пусть видит, как все у нас веселятся и никто из родителей не вмешивается, а я, бедная, одна в такой вечер должна идти с ним домой. Но он поцеловал меня и сказал: «Нет, Господь с тобой, иди к своим товарищам! Мне очень у вас все понравилось, и ребята тоже! Я был не прав, когда так рассердился, — ты, пожалуйста, иди к своим и гуляй вместе со всеми сколько угодно. И можешь прийти домой когда захочешь». У меня сразу на душе сделалось легко от этих слов!

Родители ушли домой, а мы двинулись по Садовой к Колхозной площади. Мы шли посередине мостовой и громко кричали, смеялись и пели. Не было ни людей, ни автомобилей — одни мы, и нам казалось тогда, что весь город принадлежит нам. Когда дошли до Каретного ряда, несколько человек из нас, я в том числе, попрощались и пошли домой, потому что мы устали.

На следующий день Тата, Зина, Зоя, Оля Нонина и я пошли гулять в Центральный парк культуры. Мы говорили о нашем будущем — кто куда будет поступать учиться, куда поедет летом, и Зоя призналась нам, что любит Алешу Нонина и они собираются пожениться. Это было ново и неожиданно для нас.

Двадцатого у нас проездом на Урал ночевал дядя Сережа. После разрыва тети Зины с дядей Элей он во время своих частых командировок стал останавливаться у нас.

После него прибыл из Волоколамска толстый старичок — мужской портной. Его нам порекомендовала наша соседка. Он должен был у нас прожить два дня с питанием (обязательно с водочкой) и за это время перешить папе две пары брюк от дяди Эли.

Война

В воскресенье, 22 июня, ребята нашего класса сговорились поехать за город поиграть в мяч, а я — не помню почему — не поехала с ними. Часов около двенадцати мы с папой вышли из дома и направились к Колхозной площади: мама послала нас что-то купить. Мы сразу обратили внимание на толпу, стоявшую на углу площади под репродуктором: «Сейчас будет важное сообщение, что-то случилось…»

Мы с папой тоже остановились. И вот суровый и строгий голос Левитана сообщил, что сегодня, 22 июня 1941 года, на рассвете гитлеровские войска без объявления войны вторглись на нашу территорию, бомбят мирное население и движутся вперед. Мы сразу поспешили обратно домой, чтобы рассказать обо всем маме, портному и Марии Васильевне, у которой и радио-то не было. Портной сразу после обеда уехал домой, не до брюк теперь было. В тот день вряд ли можно было встретить где-нибудь улыбающееся лицо. Мои родители еще волновались из-за того, что мама — немка, и папа умолял ее не говорить больше на улице по-немецки. «Почему? — возмущалась мама. — Ведь я же против фашистов!»

Те несколько человек из нашего класса, что ездили за город, узнали про войну только вечером в электричке, когда возвращались.

Все находились в страшном волнении: что же теперь будет? У всех появилась потребность в общении. Вспоминали даже совсем дальних знакомых и без конца ходили и ездили друг к другу — все стали как бы огромной единой семьей.

В домоуправлении всем раздали шторы из плотной бумаги, ими надо было вечером закрывать окна, чтобы ни один луч света не проникал наружу. Ночью город погружался во тьму. Стекла окон всем велели заклеить крест-накрест узкими полосками материи, чтобы в случае взрывной волны они не разлетелись вдребезги.

А фашисты наступали. Это вызывало все большую тревогу и растерянность. Третьего июля выступил по радио Сталин и объявил о создании отрядов народного ополчения. Папа сразу принял решение записаться. Посоветовался с дядей Элей, тот горячо поддержал это решение, и с 6 июля наш Билльчик стал ополченцем. Примерно в то же время начались бомбежки Москвы и были введены карточки на продукты питания.

Я поехала к Шустовым узнать, что слышно у них, и сообщить про папу. Я знала, что Ира еще числа десятого уехала погостить к

тете Меле в ее чкаловском изгнании, и дома я застала дядю Ваню в довольно бодром и веселом настроении, собирающего какие-то вещи в мешок: «Все! Скажи отцу — я ушел в ополчение!» Он очень удивился, что папа тоже уже ополченец. «Он-то чего? С больным сердцем! Я иду не только Москву защищать или Дон свой, но и ради Ирки — легче ей так будет жить. Мать в ссылке, так хоть отец будет героем». Мы долго просидели с ним, впервые поговорили по-взрослому, серьезно, и тепло распрощались. «Может, сведет опять судьба, встретимся с Борисом…»

Ополченцев сначала держали в Москве. Мы с мамой два раза навещали уже одетого в гимнастерку защитного цвета Билльчика. Мы ездили к нему в школы, где они разместились, — сначала где-то около Телеграфного переулка, потом в Харитоньевском. Мама приносила папе его любимый творожный пудинг с манкой. Во время этих посещений один раз нас задержала воздушная тревога, в другой — сильная гроза. Было очень тревожно на душе, и мы почти все время сидели молча, тесно прижавшись к папе. Их должны были со дня на день вывезти из Москвы, и мы оба раза не знали, увидимся ли еще с папой до этого.

Дядя Эля и тетя Люба уехали в Омск, где дядю назначили начальником эвакогоспиталей[51] Омской области.

Москву бомбили почти каждую ночь, иногда и днем. Всех обязали сдать радиоприемники — они были зарегистрированы, и за них ежегодно вносили какую-то плату, так что никому в голову не могло прийти оставить какой-нибудь аппарат у себя. К сожалению, в нашу квартиру не была проведена городская сеть, и новости мы могли узнавать только из газет, а тревога объявлялась по многочисленным уличным репродукторам. Всегда повторялось три раза: «Граждане, воздушная тревога», — и от этого голоса сразу замирало сердце. Зато как отрадно было потом слышать: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой» (тоже три раза, в третий раз с особой, финальной интонацией).

Бомбоубежище находилось непосредственно под нашей комнатой. Первые два месяца мы спускались туда, потом решили, что при прямом попадании фугаски шансы одинаковы, и мы вместо убежища перебирались спать в нашу переднюю. Там было спокойнее, чем в комнате: не так слышна были стрельба, шум моторов, свист и грохот бомб. Были распределены ночные дежурства у дома: по два часа, с двенадцати до шести, каждый нес вахту раза три в месяц. В мои дежурства тревог не было. Я сидела на каменных ступеньках «Ателье пошива» около наших ворот и прислушивалась к ночным звукам. Звуки в тишине доносились издалека — иногда это был гудок паровоза или стук тяжелого состава со стороны Крестовской заставы. Если

услышишь, что по Сретенке проехала редкая машина, обязательно после этого раздавался свисток и окрик патруля на Колхозной площади, потом тишина (проверяли пропуск), и машина ехала дальше. Ночью по улицам нельзя было двигаться ни людям, ни машинам. В звездные ночи дежурить было тревожнее: могли быть налеты.

На наш дом в то лето несколько раз сбрасывали бомбы, но не фугасные, а «зажигалки». На крышах и во дворе во время тревоги всегда дежурили специальные бригады из жильцов. Они хватали эти бомбочки длинными щипцами и кидали в специальные ящики с песком. Бомбы падали на нашу крышу и — однажды сразу восемь штук — на помойку. В убежище их падение было слышно довольно громко; все опасались — не фугаска ли?

В один из первых налетов бомбили Арбат. Я на следующий же день поехала туда. Был разрушен Театр Вахтангова. Я дошла до дома дяди — там все было цело. Домработница тетя Маша сидела в своей каморке, покачивая пиратской золотой серьгой в ухе, и курила самокрутку Рядом на кровати стояла большая консервная банка, куда она то и дело сплевывала. Она честно охраняла их дом, но в разговоре поносила тетю Любу за скупость, а дядю за высокомерие. По дороге обратно я вышла на Арбатскую площадь. Там ночью бомба упала на четырехэтажный жилой дом на углу улицы Калинина, рядом с кинотеатром «Художественный». Было страшно смотреть на оставшиеся две стены с разноцветными обоями. Среди груды развалин торчали ножки стола, кусок обитой клеенкой двери, умывальник. Перед домом стоял пожилой мужчина. Он смотрел на эти уцелевшие стены и крепко прижимал к себе большую синюю кастрюлю, в которой рос фикус. Наверное, этот фикус был единственной вещью, которая осталась от его квартиры. Немного подальше я потом заметила женщину со стулом. Для меня этот мужчина с фикусом у разрушенного дома стал чем-то вроде символа всех тех, кого бомбы лишили крова. Помимо этого, у меня в памяти застрял еще один «символ». В июле я поднималась по Петроверигскому переулку, возвращаясь из конторы, куда надо было сдать медицинскую справку для института, и из двери одного из домов вдруг вышла молодая женщина и стала спускаться мне навстречу. Она вся тряслась от рыданий, а в руке держала извещение-похоронку. У меня сжалось сердце — кто погиб у нее? Муж, отец, брат или жених? Страшно было представить, сколько таких вестей люди получали ежедневно, сколько было слез…

С 5 августа я некоторое время снова вела дневник. Перечитывая его, я поразилась большому числу совершенно забытых мной сейчас людей, которые навещали нас и с которыми

я встречалась. Я, например, понятия не имею, кто такая Шура, которая заходила ко мне почти ежедневно и очень меня раздражала. Я с удивлением узнала, что в первые месяцы войны я, часто даже по несколько раз в день, виделась с Галей и Розой — двумя девочками из соседнего класса, которые когда-то вместе со мной ходили в кружок сольного пения. У нас каждый день бывало человек пять-шесть знакомых, и я тоже ходила то к Ноте, то к Тате, то к Инне Панченко. Я перепишу ниже отрывки из этого моего дневника, но без упоминания этих бесконечных визитов — они значения не имеют и служат лишь подтверждением того, о чем я уже писала: в то время все люди стали ближе друг другу, очень возросла потребность в общении.

Еще до дней, описанных в дневнике, произошло событие, о котором я мечтала всю жизнь и которое теперь, в это страшное время и уже без папы, не вызвало у меня большой радости, — у нас появилось пианино. Мама купила его у одной знакомой, жившей в Сретенском тупике, деньги отдали еще раньше, и все не было случая перевезти его. Вообще-то это должен был быть мне подарок в честь окончания школы. Инструмент поставили в нашей длинной узкой комнате на место этажерки и сундука, которые мы выдвинули в прихожую. Вскоре после этого появилась молодая красивая учительница музыки (знакомая соседской Лиды) и дала мне три урока. Она показала, какими пальцами играть гамму до мажор, оставила у нас кучу всяких нот и эвакуировалась. На этом мое музыкальное образование закончилось навсегда.

Я подала документы в институт (МГПИИЯ, на Метростроевской улице) и узнала, что на вступительных экзаменах надо будет сдавать историю СССР по новым учебникам, по которым мы никогда не занимались (учебник восьмого класса вышел, когда мы были в девятом, а для девятого — когда мы были в десятом). Я стала ходить в Тургеневскую читальню и делать выписки, но скоро бросила это, так как обстановка делалась все серьезнее и было уже не до зубрежки.

Вот отрывки из моего дневника.

5 авг. 1941

<…> С утра шел мелкий, какой-то осенний дождь. Беспрерывно гудят наши самолеты. <…> Томочка Уральская и несколько других девочек из [класса] «Б» мобилизованы; они в Смоленской области и работают связистами на строительстве. Поехать бы и мне — было бы сознание, что ты, работая, приносишь кому-то пользу, помогаешь Родине… Даже радио нет; как я буду жить без

музыки?..

6. VIII

…потом мы с Розалией вышли. Видели, где ночью упала фугаска на ул. Дзержинского. Все окна, в том числе и в рыбном магазине, вылетели вместе с рамами. Народ стоит и смотрит, хотя любоваться нечем. Все вокруг оцепили. В институте ожидала радость, на дверях объявление: «Приемных экзаменов не будет. Прием по конкурсным аттестатам». По-моему, у них и конкурса-то нет. Мы, конечно, обрадовались. Пошли сразу домой. На площади Свердлова мы вышли и часа два простояли, дожидаясь очереди посмотреть на «Юнкерс-88» и «Хейнкель-211» (или 111?). Мне очень понравился вид Большого театра: его замечательно замаскировали, и не только его, но и дома вокруг него. А самолеты те были сбиты около Истры! <…> К вечеру зашла товарищ П. и сообщила, что Билльчик в Химках. Сейчас идем к тов. Г. — сказать и ей. Были у нее. Она плачет, т. к. получила от мужа письмо, что они уходят на фронт… Завтра едем с мамой в Химки. Мы ужасно волнуемся: застанем ли его еще там? Будем ли мы сами еще живы?

7. VIII

Встали рано. Ночью на наш дом опять были сброшены «зажигалки» (не знаю сколько). Две фугаски сбросили на Колхозную площадь, но они не взорвались — наверное, замедленного действия. Оцепили всю Садовую и прилегающие переулки, троллейбусы не ходят. Надо быстро обезвредить эти бомбы… Ездили с мамой в Химки, нашли Билля; он рассказал нам о своих походах: они побывали в Волоколамске и в Калинине, на Московском море. У бедненького очень болит нос: там внутри образовался нарыв. Мне так жаль его. А врач был очень груб с ним. Нам дали три поручения, но все выполнились неудачно: у М. никого нет дома — оставили записку; Щ. — на работе, а жена бедного А. уехала из Москвы, а он и не знает и ждет ее в Химки, он так скучает по ней, что даже плакал. Как ему сказать завтра — не знаю. Мы завтра опять собираемся с мамой в Химки.
<…>

8. VIII

Утром отправились в Химки. С утра была прекрасная

погода, потом все небо затянула тонкая мутная пелена и пошел мелкий противный дождь. Ополченцы ушли на стрельбу, и мы ждали их до шести часов… В шесть бойцы пришли, но мы видели Билля только мимоходом — их сразу же повели на присягу. Оттуда они вернулись часов в восемь… У бедного Билля все еще болит нос. Он был очень, очень рад, что мы пришли… Вечер был очень холодный; тучи рассеялись, и закат был золотистый… Мы переночевали в одном домике на той же дороге, где стояли палатки ополченцев. Спали по-походному, на полу. <…>

9. VIII

Встали мы в начале пятого и сразу пошли с еще одной женщиной… на станцию. Утро скверное, дождливое, с холодным ветром. <…> В 5 ч 26 мин приехали в Москву. Я позвонила тов. Щ; и она пришла к нам. Ее мужа отпускают по состоянию здоровья. <…> Купила газету: Талалихин[52] — герой Советского Союза… В институте узнали, что берут 500 человек, а заявлений 560. <…> Думаю, сегодня эти псы отомстят нам за наш налет. Я уже начала отвыкать от убежища…

10. VIII (воскресенье)

Ночью была тревога. У нас было спокойно, но в других районах сброшено много бомб. Читала в газете об ужасах в Бресте и Минске. Вот изверги. Это не люди, но это и не звери, ведь это разумные существа. Потерявшие всякие человеческие чувства. Мы ездили с мамой в Химки. Видели Билльчика. Вероятно, их завтра вечером отправляют. Билль нам опять много рассказывал. Ушли в три часа; поезда были переполнены, и мы поехали на автобусе, потом пересели на троллейбус. На площади Маяковского пила очень вкусный лимонад; там, впрочем, нигде нет стекол. <…>

11. VIII

Ночью была тревога — с 10 ч 55 мин до четверти четвертого. Стреляли без передышки, и, говорят, налет был ужасен — бомбили Пресню и Фили. В нашем районе все цело. Впрочем, узнала, что несколько дней назад разрушили большой дом в Староконюшенном. Это где-то около моей старой школы! <…> Были в Химках с мамой, приехали туда на автобусе — и хорошо сделали, т. к., как

мы узнали позже, Октябрьскую дорогу ночью бомбили, и поезда ходили плохо. Видели Билльчика. Там многих отпустили домой, но его не пускают, вернее, он сам не хочет идти к врачу, хотя сердце его беспокоит. Он говорит, что не для этого пошел в ополчение, чтобы отпрашиваться. Обратно поехали опять на автобусе. Я что-то очень устала; газету прочитала почти всю, в особенности Славянскую конференцию[53]*. Сегодня она еще продлится. <…>*

12. VII

Ездили с мамой в Химки. Ходили в деревню С. вместе с еще одной женщиной и ее маленьким сынишкой. Виделись с Билльчиком — они сегодня уезжают на фронт. Мы вместе пошли на станцию и долго там с ним сидели. Погода скверная, ненастная, по радио звучал какой-то отвратительный тяжелый квартет, который очень подходил к сегодняшнему небу и настроению. Попрощавшись с Билльчиком, мы около % у-го уехали…»

Почему-то я не записала в дневнике одну подробность, которая мне очень хорошо запомнилась: мы попрощались с папой на платформе станции, мама очень плакала, папа прошел до конца этой платформы, еще раз помахал нам и стал спускаться по деревянным ступенькам, а мама вдруг обнаружила, что у нее в сумке остался папин черный хлеб, его дневная норма. Я схватила этот хлеб и побежала за ним. «Папа! Папа! — кричала я, но он не оборачивался. — Билльчик! Ты хлеб забыл!» Он остановился и обернулся, я отдала хлеб и на минуту уткнулась ему в грудь, в отсыревшую от мороси гимнастерку. Мне было приятно, что мне удалось еще раз — отдельно — попрощаться с ним…

…дома — открытка от дяди, посланная еще 27 июля… Ночью был налет, сброшены одни фугаски, но около нас — спокойно. <…>

13. VIII

Утром была гроза… Поехала в институт, там еще ничего не известно. <…> Мы с мамой были в кино, в «Хронике», видели опять — уже в третий раз — тот же сборник «Весь народ на победу над врагом», журнал № 76 и «Чапаев с нами» (довольно, по-моему, неудачно). <…> Вчера был ровно год, как я слушала «Ивана Сусанина». <…> Где-то сейчас Билльчик, наверное, нас вспоминает. Тоскливо — хоть бы начать учиться…

14. VIII

В эту ночь тревоги не было. Мама всю ночь не спала, плакала; я поила ее валериановыми каплями. <…> Мы ездили к Машё и узнали, что дядя с супругою вовсе не в дороге еще, а только собираются выехать — очень жаль, значит, надежд нет, что он поможет вернуть Биллька. Смешная старуха сообщила, что ей сказали, будто «немец бросает какие-то там газеты али листы какие, где пишут, что 15-го числа уже в Москве камня на камне не будет». <…> Дома письмо от Мели Шустовой, какое-то сухое, официальное: пишет, что уверена, что Ваня убит и они с Ирой — нищие. Велела нам обо всем узнать и написать ей. <…>

15. VIII

<…> Мы уже опять сдали два города — нерадостные вести. Англичане тоже все больше болтают о солидарности, когда надо энергично действовать. Черт знает что такое… Мама ездила на Шмидтовский, и соседи рассказали ей, что Ваня со свойственной ему ловкостью неплохо устроился: он писарь при штабе. <…> В консерватории начались концерты, но первые программы не очень привлекательны…

16. VIII

Во время тревоги, ночью, меня попросили стать членом кружка химической медицины[54] *(?). Я согласилась. <…> Хотела сегодня купить флоксы, но вовремя рассмотрела, что они уже вянут. Видела разрушенный дом в Б-ском переулке. <…>*

17. VIII (воскресенье)

Ночь провела плохо. В убежище еще прибавилось народу: крик неугомонного младенца, ворчание беспокойного старика, сплетни, обмен предположениями о сроках продолжения войны и подобная ерунда. Очень хочется знать, как войдет настоящий период в историю… Очень хотелось бы, чтобы нанести основной удар фашистам и вконец разбить их досталось нам! Какая слава, какое торжество Светлого над темными силами…

18. VIII

<…> Были в «Хронике». Я в восторге от

Союзкиножурнала № 77. Отважный кинооператор достоин ордена за свою отвагу, за свое присутствие духа во время съемок таких эпизодов. Молодец! Остальное мне не понравилось. Вечером состоялось первое занятие медицинского кружка. <…> Сданы Николаев и Кривой Рог. Что же будет дальше? <…> Начала читать «Историю дипломатии». <…>

19. VIII

Мы впервые проспали тревогу и проснулись, когда вокруг нас уже вовсю стреляли. В убежище было неуютно, но весело. Доктор Соловей, который всегда приходит совсем сонный, в обнимку с огромной подушкой, спросил нас вдруг про дядю. Хорошо иметь такого знаменитого родственника. <…> Утром мама уехала в Химки, а я пошла в библиотеку. <…> Подобрала одним пальцем несколько хороших вещей (Берлиоз, Чайковский, Лист)… Мама приехала из Химок, ничего, конечно, не узнав. А мне почему-то кажется, что Билльчик скоро вернется. <…> Надо бы подремать: мне сегодня дежурить с четырех до шести…

20. VIII

…Анна Бранна ворвалась к нам и затрещала: «Почему вы не уезжаете из Москвы, золотце мое, ведь будто бы будет всеобщая мобилизация…» Потом она услыхала, что на кухне кипит чайник, и заказала себе чайку. Съела весь хлеб и полную чашку с повидлом, так что есть нам больше нечего… Что я пишу о ней: разве достойна она занимать тут место и мой ум. <…> Мама ходила в Наркомат, оказалось, что ничего сделать нельзя, они не могут отозвать Билльчика. <…>

21. VIII

<… > Много читала, подбирала музыку. В газете — воззвание Ворошилова, Жданова и Попкова к ленинградцам. <…> Очень хотелось бы знать, что поделывает моя любимая тетушка. <…> Сегодня целый день стреляли, думаю, что летали разведчики, — значит, ночью будет налет в ознаменование двухмесячного «юбилея» войны, бог знает, что эти гады придумают. Проверила противогазы — мой оказался негодным. Не знаю, берут ли их в починку…

22. VIII

Налета не было — вероятно, из-за плохой погоды… К маме приходили М. С. и тов. Г. Они тоже не получают вестей от своих мужей, думали, мы что-нибудь знаем. <…> В газетах — сообщения о разногласиях в Германии. Говорят, у нас в убежище устроили полки. Давненько уже я там не была.

23. VIII

Удивительно — третью ночь нет тревоги… Читала в газете об итогах двух месяцев войны, это очень интересно. Но что-то будет?

24. VIII (воскресенье)

…Виктор и Валентин скоро уезжают в армию. <…> Мама очень нервничает, беспокоится о Билльчике, я тоже очень беспокоюсь. <…> Ездили на Арбат к Маше́. <…> Состоялось второе занятие кружка. <…> Наш доцент рассказывал о разных ранах и перевязках. Слушала в это время одним ухом трансляцию митинга, где выступали евреи. Очень хорошо говорил Михоэлс[55]*… потом кто-то говорил по-немецки, но я не разобрала кто.*

25. VIII

В комнате прекрасный свежий воздух, на моем столе — чудные осенние цветы, дождь перестал, и стало светлее. Читала. Ходили с мамой в «Хронику» — особенно нового там ничего не было. <…> К нам зашла «фрау Майкоп», как мама ее называет, она была в наших краях, т. к. меняет фамилию на Злотникову. Я думала, что это сделано давно! Ее муж очень болен и сейчас в кремлевском санатории, Вика учится в МГПИИЯ, тоже на английском факультете. <…> От Билльчика наконец открытка! От 18. VIII. Слава богу, он жив и здоров был тогда. Как-то он сейчас?

26. VIII

… [зашла к Зине] пришел ее отец. Показал нам между прочим сохранившуюся случайно у них прошлогоднюю газету от 18 ноября. О политика!.. В институте узнала, что я буду получать стипендию. Платить за обучение детям военнослужащих тоже не надо. <…> Ездила к Машё, отвезла ей хлеб. Вахтанговский театр реставрируется, уже воздвигли

порядочную стену. Быстро! Но — Новгород сдан, Новгород… Кто бы поверил! <…> Впрочем, приехали родственники Таты из Бородина, говорят, что там все стало неузнаваемым. Все поле изрыли (против танков), у реки вырубили все кусты и поставили там какие-то железные дуги. <…> Очень жаль. Но ведь эта война по своему значению в истории останется важнее той. <…>

27. VIII

Комната полна цветов; больше всего золотого шара… В саду у Ноты масса цветов, все заросло золотым шаром, их окна даже не видно с улицы. Она-то мне и подарила столько цветов. <…>

28. VIII

Ночью нас хоть и побеспокоили, но, кажется, тревога была ложной. Дождь льет потоками. <…> Нота дала мне почитать фронтовые письма от Володи Сидоренко и Алексея В. [мальчики из класса «Б», которые были в нее влюблены. Они были уже на фронте] <…> Подобрала на пианино еще несколько мелодий из опер Верди. Откопала свою старую мандолину, настроила ее. <…>

29. VIII

…Пошла в консерваторию, купила билет на воскресенье на Я. Флиера[56]*. <…> Сдан Днепропетровск. Остроумный фельетончик Р., где, впрочем, встречается имя «Адольф Меншенфрессер»*[57]*. Но до шуток ли сейчас? Чтобы он подох, этот Гитлер.*

30. VIII

Были с мамой в кино, видели «Антон Иванович сердится». Вещь пуста, хорошо хоть, что музыкальная. <…> В институте нас собрали в Большом зале — человек, наверное, пятьсот, и среди них нет ни одного мужского пола, много девиц, с солидных. Говорил директор… Затем одна особа в синей кофте сообщила нам, что в этом доме учились Гончаров и историк Соловьев, потом сделали краткие сообщения деканы факультетов… Вечером была на кружке в домоуправлении. <…>

31. VIII

Последний день каникул, если их можно так назвать.

<…> В два часа дня начался концерт; я не ожидала, что будет так много народу, не было ни одного свободного места. <…> Произведения Шопена я прослушала более или менее спокойно, но Лист был прекрасен, и «Сонет» Петрарки, и таинственный «Мефисто-вальс» (будто на черном болоте в сумерки), а «Метель» была просто великолепна, по спине бегали мурашки, этот ветер, эта вьюга пронимала до костей. Среди слушателей поднялся невольный шепот, многие с удивлением и недоумением глядели друг на друга. <…> На бис, к общему ликованию, были исполнены 7-й вальс Шопена и 12-й этюд Скрябина, который всегда играет Валентин…

1. IX

Вчера вечером Нота сказала, что Галя Соловьева эвакуируется… Зоя уже на Урале, все больше знакомых уезжает. <…> Всю ночь у меня болела голова, я так давно не слушала хорошую музыку, что после концерта не могла никак уснуть — все носились в голове отрывки того, что я слушала… В институте начались лекции, два профессора мне понравились, очень хорошо читает лектор по истории Англии (будто проповедь произносит)… В общем, я почти всем довольна. Рассматривала в зале девочек, некоторые мне понравились…

2. IX

утром дежурила. Небо было все усыпано звездами: какая красота! Стоишь в этом каменном ящике, и кажется, никого и ничего нет кругом, нет этой глупой жестокой войны, только я одна и великая Природа, вселенная. Когда рассвело, стала читать «Овода» — так зачиталась, что просидела больше своего времени, у меня совершенно закоченели руки и ноги, еле дошла до нашей двери… Поехала в институт. Было сразу три лекции по фонетике, преподает ее доцент Трахтеров, очень остроумный, но и строгий. <…> Кроме этого, два часа занимались спортом в парке. <…> Из студентов (вернее, студенток) я еще ни с кем не познакомилась! <…> Времени так мало, что вряд ли я смогу вести дальше дневник каждый день!»

В конце августа и начале сентября из Москвы стали выселять немцев.

Выслали семью Мили Шульц, учившейся в соседнем

классе, — какой-то далекий предок ее отца был из немцев Поволжья; ни она, ни ее родители даже не знали ни слова по-немецки. Выслали в Казахстан после месяца учебы на нашем курсе Луизу Мюллер, такую же «немку»; выслали, дав всего сроку на сборы 24 часа, всех маминых знакомых старушек, гулявших когда-то с детскими группами на Сретенском бульваре. Им всем было уже лет под семьдесят, все вдовы, и они были в полной растерянности — не знали, куда ехать, денег у них тоже не было, они предлагали за бесценок свои вещи. Мама купила у одной из них фарфоровый чайный сервиз. Все просили маму взять на хранение некоторые дорогие для них вещи, но мама отказалась, ведь мы сами не знали, что нас ждет. Но нас не тронули, несмотря на то что мама до войны очень часто переписывалась с Анни. Очевидно, к нам было иное отношение, так как папа был на фронте.

17. IX

<…> Преподавательский состав у нас прекрасный; географию читает сам знаменитый профессор Звавич. <…> 7. IX ездили на воскресник на завод «Каучук», во время работы познакомилась с очень милыми девочками (мы все копали там во дворе какие-то ямы)… Повидалась с дядей у него в больнице, теперь он уехал. От бедного Билльчика давно нет известий. 14-го приходили сначала Нота, потом ввалились Валентин… Виктор… Татьяна и Зина… Все было хорошо, Валя играл на нашем пианино, Зина пела, и у меня поднялось настроение… Но на следующий день начались всякие неприятности… В институте встретила Зину, и она — очень нетактично! — призналась мне, что они накануне все заходили… проститься! Они думали, что нас как немцев тоже высылают. <…>

10 октября, пятница, вечер

<…> Сейчас, когда у меня такое ужасное настроение (враг недалеко от Москвы, Билльчик неизвестно где), я сижу, ужасно мерзну и переписываю историю, вдруг с улицы послышались звуки «Рондо каприччиозо» Сен-Санса… Эти легкие звуки скрипки зажгли во мне какое-то сознание того, что жизнь ведь должна быть прекрасна, это же святой огонь, и мы все частицы благородного, идеального, а как все это сейчас подавлено гнусной войной… Не веду сейчас дневник только потому, что некогда, впечатлений же очень много… На

руках посинели даже ногти. Где наш Биллъчик? Надо писать дальше…

Проучились мы в институте до 14 октября. А 15-го первокурсницы собрались на Белорусском вокзале, и нас повезли в Кунцево рыть противотанковые рвы. От станции отошли немного вглубь, там стояло несколько двухэтажных бараков; в одном из них нас разместили. Я попала вместе с еще двадцатью девочками в большую комнату на втором этаже. Мы поужинали в столовой неподалеку и улеглись спать на полу, подстелив пальто и укрывшись принесенными с собой тонкими одеялами. На следующий день нам раздали лопаты и повели на то поле, где надо было копать рвы. Весь день мы копали, и весь день валил снег, сначала густой и липкий, потом сухой и мелкий; дул пронизывающий ветер. Я ближе познакомилась с одной из девочек нашей группы, Людой И. По дороге с работы она много рассказала мне о себе — она была очень говорлива, хотя заикалась: оказалось, что она тоже очень любит музыку, хорошо рисует и учится игре на скрипке. Вернулись мы в наш барак усталые и промокшие. К вечеру снег прекратился, и небо прояснилось; было морозно. Мы сидели в темноте на полу и переговаривались. Вдруг кто-то сказал: «Девочки, посмотрите скорее в окно!» Мы выглянули и обомлели: в окне третьего этажа кирпичного корпуса напротив кто-то подавал световые сигналы, очевидно, карманным фонарем, из верхнего левого угла в нижний правый, все время в одном направлении. Кто-то явно указывал фашистским самолетам на что-то, и от этого нам стало так страшно, что стучали зубы. Кто-то из девочек стал ощупью пробираться вниз, чтобы найти кого-нибудь, кто остановил бы этих нарушителей затемнения, наверное, фашистских агентов, но тут послышался гул самолетов, и мы все укрылись с головой одеялами. Где-то заговорили зенитки, но далеко, а рокот моторов все не прекращался. Вдруг раздался знакомый свист — высокий, все ниже, и потом — оглушительный удар. Пол под нами дрогнул, и с потолка на нас кусками посыпалась штукатурка. Где-то совсем рядом упала бомба. «Девочки — все живы?» — спросил кто-то шепотом. Шепотом же ответило сразу несколько голосов: «Да. Что это было? Где это?» Но потом стало сразу тихо — и снаружи, и в нашей комнате. Я не могла заснуть всю ночь. Рядом со мной тоже ворочались: это была девочка из другой группы, Таня Радзевич, — высокая, с русыми кудряшками и нежным, будто фарфоровым личиком. Уже незадолго до рассвета мы рассмотрели, что обе сидим, обхватив колени руками. «Давай уйдем отсюда, — шепнула она. — Или хочешь — оставайся, а я

пойду одна. Я второй такой ночи не переживу». Мы тихо, на ощупь, собрали свои вещи, спустились и вышли из барака.

Снаружи кое-что можно было рассмотреть, все-таки лежал снег. Но мы не представляли себе, куда идти. Мы молча топали через снег и слякоть, цепляясь за проволоку, попадая в какие-то ямки; мы близко подошли к железной дороге, наткнулись на забор и никак не могли найти ровную дорогу или тропинку — всюду среди деревьев вставали заборы, какие-то колья. Тогда мы повернули назад, к шоссе. Когда мы вышли на него, начало скупо и невесело светать — небо опять все заволоклось тучами. Еще на подходе к шоссе нам показалось, что там какое-то непрерывное движение. Это были не машины. Голосов тоже не было слышно. Изредка — скрип, тихий лязг и топот. Топот многих ног. И мы увидели, что по обочине шоссе в сторону Москвы тянется вереница людей. Все тащили за собой санки, а на санках сидели закутанные в платки ребятишки и лежал наспех собранный домашний скарб: самовары, чайники, горшки, мешки, в которые второпях засунули что под руку попалось; на одних саночках лежала на боку швейная машина. Это были беженцы! Они шли молча, сгорбившись, все новые обгоняли нас. В их лицах было не горе, не страх, а тихое, пустое отчаяние. В основном это были женщины, изредка попадались и старики. «Откуда вы?» — спрашивали мы у них. «Из деревни под Вязьмой… Из Бородина». Последние, кого мы спросили, были из-под Можайска. Это было уже совсем страшно.

Потрясенные, мы с Таней сели на Кутузовской заставе в пустой троллейбус. Мы были единственными пассажирами. Протянули кондукторше деньги за проезд, но она отстранила наши руки: «Вы что, билеты брать! Так поедете, бесплатно…» Мы с Таней переглянулись: «А что — случилось что-нибудь?» — «Да вы откуда взялись такие — не знаете? Паника! Вчера в Москве была паника. Людей вон на улице никого нет, удрапали все!» Нам страшно было расспрашивать ее дальше. Таня сошла у Манежа, и мы сговорились с ней к трем часам подойти к институту и признаться, что мы убежали, — пусть нас снова отправят. Как-никак, мы чувствовали себя дезертирами. Слава богу, мама была дома. Она сказала, что приходили из Станкоимпорта, предлагали эвакуироваться. Мама отказалась: меня не было дома, да и папа, если вдруг вернется, придет к запертой двери и не будет знать, где мы… Нашей соседки Марьи Васильевны уже не было в Москве, она еще раньше выехала с частью Наркомвнешторга в Куйбышев. Из разговоров с Нотой и с людьми в очереди за хлебом я узнала некоторые подробности о том, что произошло в Москве 16 октября. Немцы подступали все ближе к городу, и среди

населения началась паника. Все ринулись на вокзалы, а поездов было совсем мало, и люди лезли на крыши товарных вагонов, влезали в паровозы: говорили, что видели в конце одной платформы известного опереточного певца Я., плачущего, в обнимку с каким-то шкафчиком. Узнав о положении на вокзалах, масса людей бросилась вон из города пешком по шоссе, ведущим на восток; прихватывали из домов что попало; говорили, что к вечеру на этих дорогах валялись брошенные патефоны, чемоданы, даже пальто. Комиссионные магазины ломились от вещей: тем, кто торопился бежать из города, нужны были деньги, чтобы где-то потом устроиться и прокормиться, а предметы роскоши были ни к чему. Многие из тех, кто остался, сожгли свои комсомольские билеты и прочие документы. Слухи ходили в тот день самые страшные — будто немец уже вступил в Москву, будто правительство уже несколько дней как уехало за Урал…

В условленное время мы с Таней Радзевич подошли к институту. Толкнули дверь — внутри пустынно. Только в углу вестибюля ярко пылал огонь в старинной печи, а перед ней на корточках сидел старик и подкладывал туда все новые пачки бумаг, которые он брал из валявшихся вокруг мешков. Мы подошли к нему. «Вы чего? Вам кого? Тут никого нет, не ходите наверх, — пробурчал он. — Я один тут остался. Все вчера выкувырывались. Весь ваш институт. И студентки, и учителя ихние. В Ташкент, что ли, уехали». — «А как же мы, первый курс? Все на трудфронте и ничего не знают». — «Ну уж про то не ведаю. Институт закрыт, нет его, понятно? Мне вон велели, я жгу документы все. Чтоб немцу не достались».

И начались мрачные дни неопределенности. Где Билльчик? В течение сентября изредка приходили от него открытки; номера полевых почт несколько раз менялись, видно, их перебрасывали с места на место. Подробностей о себе он не писал, были почти одни вопросы: о мамином здоровье и моей учебе в институте — и просьбы прислать папиросы, теплые носки… Мы отправили ему несколько посылок, последнюю он почему-то не получил. Он сообщил, что служит теперь в транспортной роте и имеет дело с лошадьми, что лошадей он полюбил, но работа трудная. После этого мы ничего от него не получали. Иногда я даже молилась за него своему богу, хотя всегда считала позорным просить что-либо у богов, моя религия была вообще-то религией радости и благодарности, а не страха и попрошайничества, да и что было проку просить в такую-то пору. Я аккуратно заводила папины любимые наручные часы, с которыми он не расставался много лет, считала, что, пока они идут, и с ним ничего не случится…

Москву после паники не бомбили — наверное, оттого что

погода была нелетная, но народ придумал, будто фашисты сбрасывают листовки с текстом: «Дорогой товарищ Сталин, мы Москву бомбить не станем, полетим мы за Урал и посмотрим, кто удрал».

В самом начале ноября я опять очутилась в Кунцеве. К нам зашел сын той Анастасии Павловны, у которой мама купила пианино, и записал меня в список: домоуправление отправляло всех молодых жильцов, не занятых на работе, на трудфронт рыть траншеи. И вот наша группа, человек пятьдесят, отправилась, уже не поездом, а пешком, по Можайскому шоссе в Кунцево. Беженцев больше не было. Мы шли и пели «Идет война народная», а по небу навстречу нам неслись под белой пеленой серые клочья туч. Мы прошли мимо того барака, из которого я бежала, и я увидела рядом с ним совершенно разрушенный бомбой дом, в котором, к счастью, в ту ночь, видимо, никого не было. А ведь могло быть так, что нас бы поместили там. И не было бы уже меня…

На этот раз мы расположились в четырехэтажном кирпичном корпусе, где все квартиры почему-то были пустые. Днем мы рыли траншеи, но копать было очень трудно, намокшая глина была тяжелая. А ночью было очень холодно, галоши мои прохудились, и сушить ноги было негде. Меня очень трогательно согревала одна молодая женщина из нашего дома: она укрывала меня своим пальто и приглашала придвинуться к ней вплотную. А на третий день, после работы, она сказала: «Поезжай-ка ты домой, голубушка. Маленькая ты, худенькая, и сапог у тебя нет, ноги мокнут. Мы никому не скажем, а я с Володькой буду твою норму выполнять, у меня ведь руки рабочие. Я договорюсь с начальником — дадим тебе справку, и поедешь автобусом вместе с Валькой Лебедевой» (у Вальки была температура). И я вернулась к маме. Ту добрую женщину я почему-то никогда не встречала больше.

7 ноября я решила пойти прогуляться к центру. Раньше нас обычно по праздникам в шесть часов утра будил грохот танков и орудий, которые частично шли к Красной площади по Сретенке. 7 ноября 1941 года все было тихо. Даже репродуктор на крыше дома напротив молчал. Я пошла по Сретенке, потом по Дзержинской, повернула на Кузнецкий, и тут меня охватило чувство какой-то жути. Кузнецкий мост был совершенно безлюден. Над ним нависло свинцовое небо. Издалека я услышала грохот танков; по-видимому, они шли по улице Горького. Впереди на углу стояли два милиционера. Я отказалась от мысли дойти до Красной площади — раз шли орудия, значит, там все-таки было что-то вроде парада. Дома я прочитала в газете, что накануне вечером выступал Сталин; собрание

проходило под землей, на станции метро «Маяковская». Между прочим, почти с самого начала войны была закрыта станция «Кировская». Оттуда велись передачи радио.

Опять потянулись дни бездействия и тревоги. У меня над кроватью висела купленная еще в 1939 году большая, очень подробная карта Московской области; на ней были обозначены все до единой деревеньки. Зеленым были обозначены леса. На этой карте я каждый день, прочитав в газете сводку Информбюро, окружала черным карандашом все новые селения. Иногда я при этом плакала: фашисты занимали знакомые и любимые места! Можайск, Васильевское, Истра, Дорно, бои шли уже у Снегирей… И почему-то мы с мамой упорно ждали со дня на день возвращения Билльчика, ждали вопреки всему…

Наконец в декабре прозвучали имена Рокоссовского, Жукова — наступление немцев на Москву было остановлено! Москвичи несколько воспрянули духом. Это чувствовалось и в долгих очередях за хлебом; долгие они были потому, что нормы хлеба были разные (по рабочим и детским карточкам 600 г, служащим 500 г, иждивенцам 400 г), и уже не выпускали батонов и булок, а продавцы резали буханки и взвешивали куски на весах; это отнимало много времени, и часто приходилось стоять по часу.

Как-то в середине декабря я случайно купила «Вечерку» и нашла в ней объявление: В МГПИИЯ (кажется, с 25.XII) возобновлялись занятия! Всех студентов, кто оставался в Москве, просили зайти и записаться. Я, конечно, сразу побежала. Из нашей группы осталось человек семь, добавили еще несколько новых, в общем же вместо двенадцати групп на первом курсе осталось восемь. Преподавательница языка у нас осталась та же, Надежда Дмитриевна Лукина. На радостях вся наша группа с первых же дней занятий очень сдружилась. Оказалось, что некоторые девочки живут совсем недалеко от меня (Люда — на Самотеке, Неля С. — на Кировской, Нина Вознюк — в Даевом переулке). На январь я уже получила «служащую» карточку. Кроме того, нам по талонам давали в столовой по тарелке овсяной или ячневой каши. У Нины Вознюк отец работал снабженцем, они жили сытно, и она отдавала свои талончики мне, каждый день я приносила маме в котелке порцию каши.

Институт не отапливался. Мы сидели на лекциях в зимних пальто и шапках, часто даже в варежках. Чернила, которые мы приносили из дома в пузырьках, замерзали, поэтому мы чаще писали карандашом. Каждые двадцать минут лекторы делали перерыв для обогревания: все студентки прыгали, толкали друг друга плечами и хлопали в ладоши, а профессор бегал взад и вперед и тоже топал и махал руками. На занятиях по практике

иногда попадались совсем аудитории-«холодильники», и мы сидели как сычи, дыша в шерстяные платки или воротники и стуча ногой об ногу. Позже в больших аудиториях и кабинетах поставили печки-буржуйки, которые растапливали лаборантки, и в одном помещении в разных углах занимались иногда по три группы. Но все-таки то, что немцы больше не двигались на Москву, и то, что шли занятия, хоть немного подняло настроение в конце тяжелого сорок первого года…

1942 год

Январь и февраль были тяжелыми месяцами. Было голодно и холодно: дров давали меньше, и нашу огромную, на три комнаты, печь протопить стало трудно. Почему-то часто отключали свет, и я делала домашние задания при свече. У меня был институт, подружки, а мама совсем истосковалась дома. Потом она ближе познакомилась с Г. из Сретенского тупика и стала бывать у нее. Эта толстая женщина с монгольским лицом (мать ее была казашка) могла без конца и иногда без причины смеяться — это нравилось маме. Семья ее состояла из мужа-инженера и двух сыновей, один годом старше меня, другой помладше, почему-то никто из них не был призван в армию. Якобы у них были больные почки, но мама говорила, что у них просто есть знакомый врач, который устроил им освобождение от службы. Константин Андреевич, хотя и был по профессии строитель, устроился калькулятором в столовую и туда же пристроил поваром своего старшего сына. Кто-то шел на фронт добровольцем, а кто-то и в такую войну искал местечка потеплее!

Смерть папы

От папы уже больше двух месяцев не было вестей.

В ночь на 31 января мне приснился праздничный, светлый сон — голубое небо, на большом зеленом лугу толпа народа, флаги. Я проснулась с чувством радости, которое потом весь день, на уроках в институте и позже, по дороге домой, вспыхивало снова. Может быть, я приду, а там, дома, — Билльчик?

Но я обманулась. Вечером, часов в восемь, раздался стук в дверь. Мы всегда, прежде чем открыть, спрашивали: «Кто там?»

— Алиев Юсуп Ахметович в этой квартире?

— Вы ошиблись, здесь таких нет.

— Его-то нет, а родные его есть кто? Откройте, я хочу вам что-то сказать.

Мы боялись открыть — Бог знает кто это, а мы в квартире одни.

— Вы ошибаетесь, здесь не живет Алиев, какая вам нужна квартира?

— Дом два, квартира пятнадцать. Ну есть у вас кто на фронте?

— Есть, но его не так зовут.

— Да что вы открывать-то боитесь! У него жена должна здесь жить, дочка восемнадцати лет…

Мы наконец отперли дверь. Вошел молодой парень лет двадцати пяти в телогрейке.

— Умер он, Юсуп Ахметович, погиб. Вот его вещи, хоть их-то вы признаете? — И он достал — папины очки в футляре. — Там еще были бритва его, хорошая, иностранная какая-то, ножик перочинный, так то ребята другие себе взяли, — не взыщите, время такое…

Мама стояла белая как полотно, а у меня тряслись руки и стучали зубы, и я долго не могла вымолвить ни слова. Потом сказала, заикаясь:

— Но он… но мой отец — его зовут не Юсуп Ахметович. Он Борис Львович Фаерман, он…

Мы не догадывались даже предложить этому человеку сесть. Он сам подошел к столу в передней, сел и стал нам рассказывать. Между Вязьмой и Смоленском очень большая группа наших войск попала в окружение, парень этот был легко ранен и попал в наспех созданный маленький госпиталь, разместившийся в школе одной деревеньки. Раненых было много, а врач всего одна да одна медсестра. Там рядом с ним лежал ополченец Юсуп; ему раздробило плечо, врач сделала ему операцию, вынула осколки,

вроде бы уже ему становилось лучше, но 29 октября под утро ему стало плохо с сердцем — ничего не могли сделать, и он умер. «Хороший был человек, все вспоминал дочку свою и жену. Там и выкопали могилу, похоронили его около той школы. Он говорил, чтобы называли его Юсуп — с Кавказа он, кажется. А что он Ахметович, и фамилия Алиев, и адрес его, — то мы прочитали в его патронке. Я на всякий случай себе все это переписал, потому что собрался прорваться и выбраться к своим. Больше двух месяцев пробирался к Москве; дошел — сразу в военкомат. Послезавтра отбываю опять на фронт. Думаю, зайти надо сюда и рассказать, чтобы напрасно не ждали». Он оставил нам свой адрес и московский телефон врача («Если вернется она живая после войны, может, позвонить захотите, узнать, как чего было…»), продиктовал мне название той деревни на большаке Вязьма — Смоленск, где похоронили папу. У меня так тряслись руки, что выходили какие-то каракули — написала «Вьязма»…

Нам бы чаю предложить тому парню — и это не догадались сделать. Хотелось, чтобы он поскорее ушел, а когда мы остались одни, то долго стояли у печки обнявшись. Бедный, бедный наш Билльчик. Юсуп! Мы вспомнили, что когда-то папа говорил, что Юсупом его хотела назвать его мама (то есть не Юсупом, конечно, а Иосифом), и, может быть, он думал, если вдруг попадет в руки фашистам, так сойдет за татарина, чтобы его не уничтожили сразу как еврея. Ведь его всегда принимали за кавказца.

У меня первое чувство было: для кого же я теперь учусь, для кого стараюсь стать образованнее и лучше?! Оказалось, всегда подсознательно думала: пусть Билльчик увидит, пусть удивится и оценит. С кем же я теперь буду читать книги, слушать музыку, как буду жить без него… И была поэтому мысль: какая же я эгоистка, что же мне, жаль только себя? Но нет, не только — я вспомнила его в общем-то малорадостную жизнь. Умный и добрый человек — что хорошего он видел?.. А в прошлом году даже тополь его любимый спилили… Слезы лились в подушку. Под утро я уснула, и мне приснился почему-то наш профессор по истории. Как нелепо[58].

На следующий день надо было послать всем родным телеграммы. Помню, я никак не могла придумать текст. «Папа погиб Марга Лора». Но он же маме не папа — могло быть недоразумение. «Борис погиб» — тоже как-то странно: ни мы, ни из родных его никто так не называл, все знали, что он Билльчик. Наконец, я остановилась на «Боря погиб Марга Лора» и отправилась на почту у Сретенского бульвара (наше отделение в начале войны закрылось). Телеграммы пошли в Омск дяде Эле, в Полевское Свердловской области к тете Зине, в Баку к тете

Матильде.

Официального сообщения о гибели папы мы так никогда и не получили, так же как, впрочем, и большинство семей попавших в окружение ополченцев. В Министерстве обороны на наши запросы приходил ответ «пропал без вести», и только лет через десять после войны ответили: «Пропавшего без вести… считать погибшим». Многие другие «пропавшие без вести» были в плену и позже нашлись, и мама сокрушалась: зачем приходил тот человек с печальной вестью, мы бы еще долго ждали, надеялись… Не знаю, что было бы лучше.

Через день после этого я снова пошла в институт. Встала в коридоре у стены и боялась: сейчас начнут расспрашивать. Прежде всего поинтересуются, почему я вчера не была, — так и есть, кто-то подбежал и спросил, не больна ли я. «У меня папа погиб на войне», — сказала я (хотела сказать «на фронте», почему-то получилось «на войне»). Всем девочкам это незаметно передали шепотом, кто-то взял меня под руку, когда входили в аудиторию. Нина Круженкова дождалась в коридоре нашу Надежду Дмитриевну и, очевидно, сказала ей о моем горе; они вышли вместе, и никто меня больше ни о чем не спрашивал, все были очень тактичны и ненавязчиво добры ко мне.

Все наши родные сразу откликнулись на телеграммы; тетя Зина даже предложила, чтобы мы приехали к ним и зажили одной семьей.

Денег у нас не было; 3000 рублей лежали на сберкнижке, но с начала войны все вклады были законсервированы. Поэтому мы с мамой стали понемногу продавать папины вещи на рынках-толкучках. Такие рынки были сначала на Тишинском, потом в Малаховке. Потом я стала получать повышенную стипендию как отличница, и таким образом мы как-то продержались все эти годы.

Постепенно горе становилось менее острым, вернее, ощущалось уже не постоянно. Но до сих пор, когда совершается что-то новое, мне бывает больно думать, что Билльчик не дожил до этого, не увидел — ни телевизоров, ни полетов в космос, — и даже сейчас, через сорок пять лет, услышу музыку, которую он любил, — и больно защемит сердце.

Судьбы других

Наверное, уместно будет здесь рассказать о том, что было во время войны с нашими родными и знакомыми. Тетя Зина

эвакуировалась на Урал вместе с Гипроалюминием. Дядя Сережа выехал туда же в командировку еще накануне начала войны. По дороге тетя Зина подобрала плачущую девчушку лет двенадцати: ее везли из Минска, и она отстала от своего поезда, а где были ее родители, она не знала (они были врачи и находились на разных фронтах); эта девочка потом жила у тети Зины до самого конца войны, когда нашлись ее родители, чему тетя, кажется, не очень была рада, так как привязалась к девочке. Тетя Зина болела в эвакуации цингой, потеряла зубы — свой паек она отдавала дядя Сереже, а тот то ли не замечал этого, то ли делал вид, что не замечает, и все поедал… Папиных бакинских родных война не затронула: у дяди Моисея было больное сердце, Исаак работал на оборону и имел бронь. Трагически сложилась судьба родных дяди Сережи, которые когда-то так мило меня встретили: дядя Саша умер в Ленинграде от голода, его старший сын погиб на фронте, а Лариса Семеновна эвакуировалась куда-то под Мурманск, попала там под поезд, и ей отрезало ногу. Сонечка умерла.

У Шустовых дядя Ваня тоже «пропал без вести» и с войны не вернулся. Ира окончила школу в Чкаловске, у тети Мели, и только в 1944 году с трудом получила вызов в Москву из Института стали. Она там вовсе не собиралась учиться, а поступила в мой институт на немецкий факультет.

Вера Михайловна Пташкина умерла от голода — для Москвы довольно редкий случай, но ее Антоша с Витей съедали весь ее паек, не оставляя даже хлеба. Она сносила это безропотно, считала — так и должно быть, мужчинам нужно больше есть.

Нота Швецова устроилась на военный завод, совсем забыла о своей мечте стать химиком и так и осталась там работать до пенсии. Другие девочки из нашего класса раньше или позже эвакуировались. А мальчики… Одного за другим их забирали а армию, некоторых отправили на фронт в первые же дни войны, и они почти все сразу погибли: среди них был и Юра Кузин, когда-то спасший меня на экзамене по алгебре, и маленький Шура Трошин, мечтавший стать географом, и хороший наш товарищ Саша Никонов, и Нотина любовь Володя Сидоренко. У Гоши Кольцова было больное сердце, его в армию не взяли, и он с родителями эвакуировался, но немцы разбомбили поезд, в котором они ехали, и Гоша погиб. Без руки вернулся с фронта Коля Капотов, Витя Червяков потерял ногу…

Много было горя, и от того, что оно было почти в каждой семье, никому не было легче.

В институте

Время шло, дни становились длиннее и теплее. Развлечений у нас, студенток, не было, и мы украшали себе жизнь тем, что все время во что-то играли. Честно говоря, это были мои идеи; у меня всю жизнь была страсть к перевоплощению, но другие девочки все с большим энтузиазмом в этом участвовали. Сначала мы разделились на аристократов и буржуев (мы с Нелей С. — два родовитых, чванных и глуповатых лорда, Люда и Зоя — наши жены, Нина Вознюк — деловитая и практичная буржуйка, и т. д.). На переменах и после уроков мы вели себя согласно своим ролям, и получалось смешно и забавно. Потом, после одного вечернего дежурства нашей группы, когда мы сидели под мрачными сводами и читали «Декамерон», возникла другая игра: институт — это аббатство, я — аббат, а все другие — более или менее грешные девицы разных сословий, которые приходили ко мне каяться. И на лекциях мы развлекались, посылая друг другу смешные записочки, Зоя Рыбакова даже сочиняла целые юмористические поэмы, и мы смеялись до слез. Это было что-то вроде несколько истерического сопротивления нашей молодости суровому и тяжкому времени.

Я ходила на все лекции, кроме истории педагогики, которую мы обычно прогуливали вместе с Людой И. Однажды во время этой лекции я решила в буквальном смысле слова прогуляться и отправилась на Арбат. Там я зашла в магазин игрушек и за какие-то гроши купила, Бог знает зачем, погремушку. После этого была лекция по русскому языку в 99-й аудитории, где скамьи возвышались амфитеатром. Кто-то, сидевший надо мной сзади, увидел у меня в сумке эту игрушку, спросил, что это, и я вынула погремушку и потрясла ее. Это заметил профессор Базилевич и немедля выгнал меня из аудитории. Он сказал, чтобы я не смела больше появляться у него на лекциях, я сказала до свидания и вышла. Лекции его были не бог весть как интересны, но предстояло сдавать ему экзамен, поэтому я все-таки была встревожена. Я прилежно посещала семинары по теории русского языка, их вела симпатичная, умненькая старушка с обезьяньим лицом, она хорошо относилась ко мне. И, о радость, в конце наших занятий она объявила нам, что желающие могут сдать экзамен досрочно, ей. Я, конечно, ухватилась за эту возможность, подзубрила, и ее красиво выведенное «отлично» стало первой отметкой в моей зачетной книжке. Позже, когда сдавала этот предмет вся наша группа, я тоже пришла. Я первой зашла в аудиторию, где сидел Базилевич, заглянула в чернильницу на его

столе, сказала, что там чернил мало, и притащила ему из соседней комнаты другую. «Вы напрасно стараетесь, — сказал Базилевич, — вы, может быть, надеетесь, что я забыл. Но я помню. Давайте зачетку, тяните билет, и я послушаю, как вы теперь загремите». «Ах, простите, — сказала я с невинным видом, — я бы с удовольствием, но у меня теория русского уже сдана».

Экзамены мы сдавали поздно, в июле, и их было много: у нас ведь зимой не было сессии, и мы отчитывались за весь год. Весна же запомнилась тем, что Люда и Наташа Косачева повели меня — для меня впервые — на симфонический концерт в консерваторию, и я слушала симфонии Чайковского, которые до того знала только в отрывках, услышанных по радио. А в один из последних дней апреля была Пасха, и мы с Людой решили пойти в Елоховскую церковь, где должны были петь Козловский, Михайлов и Барсова. Было так тепло, что мы были в летних платьях. Мы шли пешком по тихой Басманной. Но, когда мы дошли до площади, еле протиснулись к входу церкви, а войти внутрь оказалось вовсе невозможно, столько там было народу, и нам пришлось вернуться.

Из экзаменов самым «страшным» для меня была, конечно, история педагогики: я даже лектора не видела ни разу! Оказалось, что по этому предмету надо было знать три толстых учебника по истории западной, русской и советской педагогики. Это я выяснила на консультации, куда пошла, чтобы хоть взглянуть на профессора Медынского и послушать, какие задают вопросы. Первые два учебника я в библиотеке взяла и слегка пролистала, а по советской педагогике я книги не достала и решила вовсе не отвечать на третий вопрос билета, — может быть, все-таки поставят «удовлетворительно». Экзамен по этому предмету был последним, в зачетной книжке уже стояли шесть «отлично». Перед каждым экзаменом я всегда очень волновалась и обязательно, чтобы успокоить нервы, шла в институт пешком по Бульварному кольцу, мимо редких в столь раннее время прохожих и мимо лежавших больших белых колбас аэростатов воздушного заграждения. На этот последний экзамен я вошла в аудиторию последней. Люда И. уже успела провалиться. Профессор Медынский к этому времени был порядком уставший и голодный. Увидев меня, он сказал: «Вот, ваше лицо я помню! Вы, кажется, на все мои лекции ходили?» Какие там лекции. Это я на консультации сидела за первым столом, больше он нигде не мог меня прежде видеть. Я вытянула билет и — о чудо! — в нем не оказалось третьего вопроса… Медынский засмеялся: «Это не ошибка, это мне для одного билета вопроса не хватило по советской педагогике. Считайте, что вам повезло!» Я так и

считала, даже больше, чем он предполагал. Пока я обдумывала ответ, к нему зашел какой-то его коллега, принес ему бутерброды, они ели и разговаривали. «Я сейчас закончу, — сказал Медынский. — У меня только одна осталась», — и он ткнул пальцем в мою раскрытую зачетку. После первых трех-четырех фраз он останавливал меня по обоим вопросам. Он думал, что я и его предмет знаю на «отлично». В коридоре меня ждали почти все девочки группы. Наверное, в глубине души они думали, что я напрасно паниковала. На самом же деле экзамены были, пожалуй, единственным разделом жизни, где мне просто везло. Как другим, бывает, везет в лотереях. Или в любви.

Трудфронт. Лесозаготовки

Экзамены завершились в конце июля, а 5 августа мы уехали на трудфронт в Калининскую область, на лесозаготовки. На Северном речном вокзале нас провожали наши мамы. День был жаркий, каюты все забиты до отказа (нас было человек двести первокурсниц), душно, и мы расположились на ночь спать на палубе. Когда начало темнеть, нависла почти черная грозовая туча, и полил сильный дождь. Все убежали внутрь теплохода, а Наташа Косачева и я остались на палубе; прижавшись к стенке, мы приподняли свои вещи — под ногами текли целые реки. «И все равно я люблю грозу, я люблю всю природу, и даже эти тучи и холодный дождь», — шепнула Наташа. И мы долго еще говорили с ней в ту ночь, пока не заснули на досках палубы, пристроив головы на мягкие части своих рюкзаков. Наутро мы прибыли на пристань Большая Волга и долго просидели на берегу в ожидании катера. Какие-то девочки пели песню из фильма «Свинарка и пастух», и всем подумалось: будем ли мы когда-нибудь снова беззаботно гулять по любимым паркам, по ВСХВ (я уже без Билльчика…). Наконец нас погрузили на катер, и мы приехали к месту назначения — деревне Старое Домкино (помню адрес: Калининская обл., Конаковский р-н, п/о Архангельское, дер. Старое Домкино, Леспромхоз, 10-я рота). Большинство девочек разместились человека по четыре в избах крестьян, а я оказалась в числе тех примерно двадцати пяти человек, кому не хватило места в домах. Нас поселили в большом сарае на краю деревни. На дощатом полу кое-где были разбросаны охапки сена, большие ворота сарая закрывались только наполовину — второй створки не было, так что мы спали почти на открытом воздухе. Нас построили, разбили на бригады (почему-то не по учебным группам), выдали крупы и льняного масла, и первые недели две мы по очереди оставляли в сарае дежурного, который должен был варить на костре для всех кашу и чай. В первый же день нас повели в лес. Идти было довольно далеко. Лес — преимущественно березки и осинки — был весь заболоченный. Первое время наша работа заключалась в том, что мы выстраивались в длинные двойные цепочки и уже распиленные другими чурбаны передавали друг другу из глубины леса к дороге на опушке, где их грузили на подводы. Эта работа была однообразия, но не очень трудная, иногда мы даже пели что-то и слушали всякие сплетни о певцах Большого театра. Тема эта возникла оттого, что среди нас оказалось много заядлых театралок, а еще потому, что недалеко от нас той же работой был

занят кордебалет Большого театра; они громко шутили и во время перекуров изображали в нашем болоте «Лебединое озеро». Было довольно голодно: нам выдавали в день по 600 граммов черного хлеба, сырого, тяжелого, с примесью картофельной кожуры и мякины, да вечером и утром мы ели каши. Однажды Люда в свое дежурство опрокинула наше ведерко в огонь, и вся группа осталась без ужина… Впрочем, Люду вскоре вернули по болезни в Москву.

«Оно»

Потом нас перевели на другую работу. Но прежде этого нас всех выстроили на лужайке и представили нам командира и политрука. Командир, Петр Петрович Петров, был небритый дядька лет под пятьдесят, и мы сразу заметили, что он стесняется нас — видно, не привык вообще командовать и не знает, как с нами обращаться. Зато политрук, товарищ Розенблюм, был строг и суров, говорил отрывисто, чеканил слова и сразу заявил нам, что мы приравниваемся к военному фронту и кто будет работать плохо — пойдет под трибунал. В облике и манерах политрука было что-то странное, и в наших рядах послышался шепот: «Девочки, а кто это? Мужчина или женщина? Она или он?» «Оно», — хихикнул кто-то. Одна из девочек сказала громко: «Простите, а как нам называть вас?» — надеясь услышать имя и отчество товарища Розенблюм. «Так не обращаться, — сказали ей в ответ. — Говорите в таких случаях — разрешите обратиться. Меня называть товарищ политрук». Так и остался для нас загадкой пол нашего политрука. Черные кудрявые волосы его были очень коротко, по-мужски подстрижены, черты лица ни о чем не говорили, движения были резки и отрывисты, как речь, но кто-то потом рассмотрел, что под гимнастеркой у политрука вышитая блузка. А в другой бригаде видели, как политрук, сидя на пне, вышивал что-то крестом. Видимо, это все-таки была женщина, но мы называли ее только Оно.

Новой же нашей работой была валка леса. Нам показали, как надо сначала топором подрубать дерево под комель с той стороны, где больше листвы, а потом с легким наклоном вниз пилить с противоположной стороны лучевой пилой. С этими пилами мы порядком намучились: то их заедало, то они тупились, мы не могли их сами вытащить и не умели разводить. Нам забыли сказать, что обрубать ветки с поваленного дерева надо стоя по другую сторону ствола, и одна девочка чуть не отрубила себе ногу. Она потеряла много крови, и ее увезли в

Москву.

Однажды мы с большим трудом спилили необычно толстую осину, а когда мы уселись на нее, поваленную, заметили, что срез ее пахнет яблоками… Вся бригада приходила ее нюхать, и всем почему-то до слез стало жаль это дерево.

Оно само не работало с нами, но ежедневно обходило все бригады, причем сначала пряталось за деревья и тайком смотрело, как мы работаем, не делаем ли лишних «перекуров». В один из дней Оно подсело к нашему костру во время обеденного перерыва и объявило: «Товарищи бойцы, сегодня закончите работу на полчаса позже. Ты, товарищ Фаерман, пойдешь сейчас по всем бригадам и передашь мой приказ. Скажешь, за невыполнение — трибунал». Приказ этот был нелепый: у всех была дневная норма, которую с нас и спрашивали, к тому же мы как раз успевали добраться до своего ночлега к сумеркам. Но я рада была отдохнуть от пилы и побегать по лесу, повидать девочек из своей группы. «Девчонки, Оно велело передавать вам, что всех отдаст под трибунал, если не поработаете на полчаса дольше!» — кричала я, подражая голосу и осанке политрука. Во всех бригадах смеялись, приглашали меня к костру и даже предлагали поесть из котелков. «Фигу этому Оно!» — «Доработаем, как всегда, пока солнце за нижнюю ветку той березы зайдет, да и пойдем!» — «А само Оно не хочет поработать с нами? Топорик да пилочку подержать!» Все сговорились уйти как всегда, так и сделали. На дороге в кустах Оно устроило засаду и схватило тех, кто случайно шел впереди, — шестерых девочек. Я шла непосредственно за ними, а дальше шагала вся рота, но никого больше не тронули. На следующее утро всех выстроили недалеко от нашего сарая, и товарищ Розенблюм произнесла страшную разгромную речь. Было объявлено, что тех шесть «дезертирок» в наказание ссылают на север. Такая несправедливость всех возмутила, по рядам пронесся ропот: «Все выполняют норму! Все мы шли вместе!» Это еще больше взбесило политрука, а я ждала, что на конец она приберегла меня и вообще велит расстрелять меня как зачинщицу. Но меня она оставила в покое, а тех шестерых перевели в другую роту лесорубов, километрах в десяти от нас. Там условия были хуже наших, и две девочки серьезно заболели.

Кража

В самом начале сентября нам дали первый выходной, и день этот запомнился мне по некоторым причинам. Сначала мы

сходили и помылись в Московском море[59], потом узнали, что в Никольском (как бы пригороде Домкина, недалеко от нашего сарая) в амбаре продают репу. Мы с Наташей Косачевой сразу поспешили туда, но то ли был перерыв, то ли вообще закончили продавать — там висел большой замок. Однако дверь не была плотно закрыта, и в широкую щель было видно, что на полу навалена целая куча репы. Минут сорок мы просидели со своими сумками на приступочке перед дверью, а потом мне пришло в голову совершить воровство. Несколько репок я достала рукой, потом стала с помощью палки подталкивать еще и еще. Наташа была в ужасе: «Что ты делаешь! А если придут? А если кто нас увидит?» «Придут — так мы заплатим сколько полагается», — успокоила я ее. Я наскребла себе и Наташе килограмма по два. После этого мы еще посидели с наполненными сумками у амбара минут десять, но никто не шел. И мы двинулись домой. «Открыла она уже», — сказал кто-то из наших, увидев нас на улице с репой. «Нет, — наврала я, — это мы еще утром купили, у девочек оставляли».

В тот вечер я заснула с черными пятном на совести, но с полным желудком. И сытость заглушала стыд.

Ночной аврал

Ночью, часа в два, нас всех вдруг подняли: «Быстро все встали, идем грузить баржу!» Спотыкаясь и шатаясь, мы выползли из сарая. Нас построили и повели километра два к водохранилищу. Вдоль берега были сложены высоченные штабеля чурбанов, все это требовалось переложить на стоявшую у причала баржу. Медленно, зевая и поеживаясь, мы начали передавать по цепочке эти дрова. Сначала молчали.

Смотрели в ярко-звездное черное небо. «Девочки — вон Кассиопея. Как буква М в Москве на метро…»

По мере того как стало заметно, что дров на берегу становится меньше, а баржа все больше заполняется, нас понемногу охватил какой-то восторг, энтузиазм, радость труда — не придумаю, как лучше назвать это состояние. Деревяшки летели по цепочке все быстрее и быстрее, послышались шутки: «Эй вы, пара, — принимай сигару! Держите бабу толстую!»

Мы уже не замечали времени. Часа через три дров не осталось, но никто не хотел расходиться. Мы хотели работать еще — нагрузить еще одну баржу, если надо. «Молодчины, девушки! Спасибо!» — сказали мужчины, работавшие на барже. «Рады стараться! Хотите, бурлаками доволочем дровишки в Москву!»

Потом в сентябре было еще два дня без работы. В один из них я ходила на Большую Волгу за посылкой. Другим девочкам привозили посылки и раньше, когда к нам приезжал директор института, а тут вдруг зачитали и мою фамилию. Это было совсем неожиданно: что могла прислать мне мама от своей мизерной иждивенческой карточки?

Отпустили за посылками не всех, и надо было забрать по две — свою и еще чью-нибудь. Мы пошли с Аней Штакиной, и обратно она несла свою и Наташину, а я помимо своей, совсем легкой, еле волокла большой мешок для Нели С. В моей посылочке оказалась жестяная коробка, в ней сверху подробное мамино письмо, под ним — сухарики, несколько морковок и небольшой кухонный нож с деревянной ручкой. Я была очень тронута и рада всему этому. Ане и Наташе прислали куски пирога, сала и банки с вареньем, они угостили и меня. А Неля С. съела содержимое своей посылки тайком, ночью, когда все в сарае уже спали. Место ее было через одно от моего, и я видела, как она сидит, зажав между коленей консервную банку, и вылавливает оттуда что-то ложкой. Это выглядело очень смешно. Впрочем, почти все другие девочки жили сытнее меня, и не только за счет посылок из дома; они выменивали всякие вещи на молоко, творог, яйца и прочее. Деревне все-таки в войну жилось неголодно — у крестьян было вдоволь картошки, овощей, многие держали кур, даже коров, а коровам травы хватало, так что всегда было молоко.

В последний наш выходной я тоже отправилась «меняться». Из своих вещей я выбрала вывезенный еще из Германии темно-зеленый шерстяной плащ (он был вообще-то детский, но с капюшоном, и я засунула его в рюкзак в последнюю минуту — может, пригодится, если накинуть в дождь) и пластмассовую гребенку. С этим товаром я отправилась в село Дмитрова Гора километрах в пяти от нас. Это было 26 или 28 сентября, день был ясный, солнечный и в общем-то тихий, если бы не отдаленная канонада (где-то под Калинином шли бои, и стрельба слышалась все те дни то дальше, то ближе). Именно в этот день я впервые увидела всю красоту золотой осени. Ярко-желтые березы и красные осины застыли в безмолвной красе под бледно-голубым чистым небом, и я остановилась посереди дороги и любовалась ими, забыв о том, что идет жестокая война и гибнут наши люди.

В Дмитровой Горе я стала заходить в избы, предлагая свой «товар». Было время обеда, и в каждом доме я заставала женщин, детей и стариков за столом; не спеша тыкали они ложками в общую большую сковороду, отделяя себе кусочки аппетитно пахнущей драчены. Плащик мой пощупали, потрясли и взяли в

одной из первых же изб, правда, швырнули его на лавку без всякого энтузиазма. Дали мне за него кочан капусты. А гребенка так никому в той деревне и не приглянулась, и я ее позже в Домкине выменяла на кружку топленого молока. А капусту я на обратной дороге понемногу общипывала и, наконец, всю съела.

На сплаве

После этого выходных у нас больше не было. Нас перевели на новую работу, на сплав леса. Кончились дни хорошей погоды, стало дождливо и холодно, часто мы возвращались в свой сарай насквозь промокшие. Укрывались поверх одеял своими мокрыми телогрейками, и к утру они от тепла тел немного обсыхали хотя бы изнутри. А ногами мы влезали в мокрые парусиновые полуботинки, облепленные затвердевшей глиной. Сушить их было негде.

Ровно в четыре часа утра одна из девушек, живущих в Никольских избах, стучала в косяк наших ворот и повторяла несколько раз негромко, но настойчиво: «Девочки, вставайте!» Мы молча накидывали свои телогрейки и пробирались в темноте к выходу из сарая, стараясь не наступить на вещи или ноги еще не вставших. Длинной вереницей вытягивались мы вдоль деревенской улицы, хлюпая по глиняному месиву. Поминутно кто-нибудь останавливался и вытягивал из грязи ногу. После деревни мы километра два шли полем, это был хороший участок пути, там дорога была потверже, шагалось легче. За полем начинался лес. Здесь было опасно отставать от впереди идущих — можно было заблудиться в темноте и после долгих поисков тропиночки в болоте ошибиться и выйти в конце концов к совсем чужой бригаде в незнакомом участке леса. Со мной это однажды произошло — я опоздала почти на час и осталась без завтрака. Поэтому я всегда старалась не терять из вида расплывчатые в предрассветной тьме фигуры впереди. Стегают по лицу тяжелые мокрые лапы елей и пихт, почему-то пахнет озоном. Путь по лесным тропам кажется бесконечным, и, когда на востоке появляется светлая полоса, мы выходим к наспех сколоченному из досок бараку — нашей кухне. Всем выдают по миске жидкой манной каши. Я никогда не могла есть эту кашу и даже там, голодная, переливала почти всю порцию в миски соседок, сидящих рядом на пнях и бревнах. Свои 600 граммов черного хлеба мы получали после работы, по дороге назад, и я съедала его сразу же вечером, тогда как почти все девочки, получавшие дополнительную еду в посылках, приберегали его к завтраку и

обеду следующего дня.

После завтрака мы отправлялись на свои рабочие места в болоте недалеко от одного из заливчиков Московского моря и с помощью веревок и ваг вытаскивали и выталкивали большие бревна. Их укладывали на деревянные «рельсы» из более тонких бревен и подталкивали по склону вниз, к воде, где бригады мужчин шестами наводили какой-то порядок. Работа наша была нелегкая, «рельсы» то и дело разъезжались, бревна застревали. Всех нас, институтских девочек, теперь разбросали по другим бригадам; многие попали к администрации и кордебалету Большого театра, а я и еще пять человек — к работницам какой-то трикотажной фабрики. Бригадиром была полная женщина в пенсне, Людмила Ароновна. Во время перекуров мы разжигали костер и совали свои холодные и мокрые руки и ноги почти в самый огонь, чтобы немного обсушиться. Бригадирша запомнилась мне всегда сидящей на каком-нибудь пне, на коленях у нее белокурая голова Ханечки, как она называла эту молодую дивчину с их фабрики, и Людмила Ароновна бьет у нее в волосах вшей.

Настроение у всех было мрачное. Мы жили совсем оторванные от мира; не было ни газет, ни радио, и нам казалось, что про нас забыли. Две наши девочки рассказывали, что к их костру вышли двое каких-то подозрительных мужиков и сказали, что Сталинград сдан и теперь немец взял Москву в окружение и опять бомбит, пока мы не сдадимся.

Как-то вечером, возвращаясь с работы, мы увидели недалеко от деревни группу женщин. Когда мы подошли ближе, они бросились к нам со слезами и принялись причитать: «Ох, бедные вы девоньки наши, на кого же вы похожи! Одеты как каторжницы. В ваши девятнадцать лет вам бы волосы завивать да на балы ходить». Эти глупые женщины оказались матерями каких-то наших студенток; они добились пропусков и приехали, захватив нам письма и посылки, одна из них даже осталась работать за свою дочь. От их причитаний никому не сделалось легче, но зато мы хоть узнали, что Москва стоит на месте и никто ее не бомбит.

Во время перекуров я часто писала письма маме, и тут не обошлось без курьеза в духе «Бравого солдата Швейка». Когда я потом вернулась, мама показала мне одно из моих писем, где цензура что-то вымарала: «…мы теперь работаем с утра и до ночи (зачеркнуто) и очень устаем…» Маме было очень интересно, что там могли вычеркнуть. Я вспомнила, что там было «как лошади» Это сравнение не понравилось цензору.

А лошадей я упомянула потому, что в некоторых соседних бригадах они тоже шлепали вместе с нами в болоте, подтаскивая

к воде по нескольку связанных канатом бревен. «Так тебя растак, окаянная», — орет на милую гнедую кобылку какой-то дядя. Лошадь устала и не двигается с места. Еще трехэтажный мат — без результата. Подходит молодой красивый парень из кордебалета, берет у дядьки из рук вожжи, хлопает лошадку: «Что ты, дед, оскорбляешь скотину-то! Ах ты, моя родная, золотая, серебряная, ну пожалуйста, поднатужься, иди, красавица…» Лошадь делает рывок, и связка бревен снова приходит в движение.

Где-то подальше от нас в одной из бригад целыми днями поет звонкий задорный голос: «Козел козу дернул с возу! Раз, два, раз, сама подалась! Свекор сваху стукнул с маху. Раз, два, взяли, раз, два, дали!» Слова все время придумывались новые, все на тот же мотив: до-до-до-соль до-соль-ми-до. Все прислушивались к этому голосу и улыбались каждому новому варианту текста. Говорили, что бригадирше — автору и исполнительнице этой песенки — объявили благодарность за поднятие духа у работающих и выдали дополнительный паек.

На обед мы получали полную миску супа. Я всегда делала из него два блюда — сначала съедала всю жижу, потом мяла ложкой картошку и что еще в нем плавало и ела второе.

Обратно с работы мы уже едва плелись. Когда выходили на твердую дорогу в поле, я иногда закрывала глаза, и проходила так шагов двадцать, и обязательно отклонялась куда-нибудь в сторону, снова направлялась по прямому пути, снова закрывала глаза… Неужели мы когда-то ездили в троллейбусах, трамваях… Какая неоцененная роскошь!

В нашем сарае становилось все холоднее. Неля С. и еще несколько девочек втихую перебрались в избы к знакомым. Но в конце первой недели октября нас всех расселили по избам. Я попала к хозяйке Анне Афанасьевне, с которой были еще невестка с маленькой десятимесячной дочкой, сын ее был на фронте. В большой комнате этой избы жили четыре девушки и единственный парень на нашем курсе, Сережа Дорофеев с немецкого факультета, сильно близорукий бледный блондин. А на печи спал наш бывший командир Петр Петрович (Оно уже давно уехало обратно в Москву). Меня пристроили спать на лежанку в закутке за печью, и первое, что я видела по утрам над веревками, где сушилась мокрая одежда, — большие мозолистые ноги Петра Петровича, на которые он долго, охая, наматывал грязные онучи.

«Петр Петрович, вы помните политрука нашего, товарища Розенблюм? Уж вы-то знали, наверное, кто это был, он или она?» «А пес его знает. Все же, скорее всего, баба, — сказал он после

некоторого раздумья. — Это если по характеру судить. Сволочная больно была…»

Спиритизм

В избе было тепло. Мы в своем сарае совсем было одичали, последнее время просто валились спать, даже почти не разговаривая. А здесь, в тепле, при керосиновой лампе, шла какая-то вечерняя жизнь. Девочки читали друг другу письма своих женихов, сплетничали. Самый долгожданный момент наступал, когда Валя Лебедева, красивая своеобразная девушка с французского факультета, соглашалась провести сеанс спиритизма. На стол в большой комнате клали лист бумаги с буквами и цифрами и опрокидывали на него блюдце, на котором снизу была нарисована стрелка. Мы все слегка, кончиками пальцев, прикасались к этому блюдцу, и, как только к нам присоединялась эта Валя, называвшая себя медиумом, блюдечко точно само собой начинало двигаться. Никакого усилия со стороны Вали не чувствовалось — она, казалось, даже и не смотрела на стол, когда стрелка в ответ на ее тихий вопрос «Как тебя зовут?» составляла по буквам: «Аркадий Комелев».

— Кто ты?

— Красноармеец.

— Когда ты умер?

— В 1918 году.

— Ты можешь сказать нам, когда кончится война?

— Через два года…

У маленькой хозяйской внучки был диатез, и она часто ночью расчесывала себе лицо и потом плакала. Люлька ее была подвешена к потолку в маленькой клетушке напротив моего закутка. «Кач-кач-кач-кач, куплю доченьке калач», — тихим сонным голосом пела ее мать под скрип люльки. Как-то в комнатушку на цыпочках вошла Алла Лушина: «Дай я ей спою. Слушай: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни». Моцарт[60]. «Какая хорошая песенка», — прошептала мать, а девочка заслушалась и успокоилась.

По ночам мне за печкой снился один и тот же сон: хлеб, колбаса, капуста, мясо… Нам было так голодно, что и днем, на работе, все наши разговоры сворачивали на одну тему — на еду «Девочки, помните вкус бананов?» — «Ах, какие пирожки пекла моя бабушка». — «А помните, слоеные продавались, с мясом?» — «Сейчас бы котлет таких, как умеет делать моя мама». —

«Господи, ничего не надо, только бы досыта поесть хлеба — белого, конечно, да с маслом. И чаю с сахаром…»

Кругом туман, морось. Мы из последних сил тянем за мокрые канаты застрявшее в болоте суковатое бревно. «Неужели мы когда-нибудь уедем отсюда?» Тоненький голосок поет: «Покинем тот край мы, где так страдали», — а мы все подпеваем: «Там снова радость нам улыбнется». Нам очень жаль себя, в глазах слезы. «Думал ли Верди, что его «Травиату» будут петь в домкинском болоте!» — восклицает кто-то, и мы немного истерично смеемся.

Анна Афанасьевна, хозяйка, строго следила за праздниками, подливала масла в лампаду под иконами. После Покрова ждали снега, но его не было, только холодная морось и туманы.

Вскоре после 10 октября по дороге на работу у меня вдруг сделалось черно перед глазами и закружилась голова. Мы как раз подходили к тому хуторочку, где был медпункт; меня осмотрели, сказали, что это упадок сил, и дали освобождение от работы. Я еле доплелась до своей избы. Там уже не первый день с таким же диагнозом сидел Сережа Дорофеев; мне кажется, мы с ним просто ослабли от голода. Теперь я только вечерами получала свои 600 г хлеба, их заносила мне Инна Перепелкина из моей группы. Наташа и Аня пробовали мне в котелке носить суп, но тащить его пять километров по скользким дорогам было тяжело, и я велела им съедать мою порцию за мое здоровье. Сережка всегда уходил с утра, он бродил по полям и собирал себе в мешочек неубранные картофелины и свеклу Единственной книгой у Сережки была «Хижина дяди Тома» на немецком языке. Я стала ее листать и, конечно, как назло наткнулась на описание ужина, который готовили квакеры. Читать про еду было больно, и вместе с тем нельзя было оторваться.

Однажды у нас с Сережкой был праздник — хозяйка зарезала барана и угостила нас полной сковородкой «потрохов». По виду это были просто жареные кишки, но как же это было вкусно!

Увы, то было один раз, а вообще голод продолжал мучить нас. И я снова прибегла к воровству, совершив еще две кражи.

У одной из девочек под кроватью стояла миска с драченой, плохо прикрытая тарелочкой, и я своим ножичком отрезала себе ломоть и съела. Вечером в их комнате был шум, потом я слышала, как одна из девочек в сенях говорила своей знакомой: «Да ну ее, некрасиво это как-то с ее стороны, крик устроила, будто кто-то у нее драчену подъел, нужна нам ее драчена…»

В другой раз я стащила из деревянного бочонка тесто для драчены у самой хозяйки. Это было рискованное предприятие. Анна Афанасьевна была почти все время дома, но я дождалась,

когда она пойдет с ведрами к колодцу за водой. В окно колодец был хорошо виден: вот она наклонила немного шею журавля, прицепила ведро — пора! Скорее! Я рукой выхватила целую горсть теста и тщательно облизала пальцы. Драчена была излюбленным кушаньем тех мест; готовили ее из картошки, муки и яиц. Ее запекали в русской печи и вынимали с румяной корочкой.

Хозяйка не заметила, что теста стало меньше, хотя вообще-то была женщиной очень экономной. Грамотная, очень сдержанная в словах и выражении своих чувств, эта худощавая опрятная старушка не пользовалась особой любовью односельчан. Она была единоличница и жила богаче колхозников, были у нее и корова, и овцы, и куры. С глупой, шумной краснощекой невесткой они друг друга ненавидели, это было заметно не по их словам, а по взглядам, брезгливым жестам, по тону. Невестка с раннего утра уходила на работу в колхоз, только забегала днем покормить дочку. Раз в неделю она мылась вместе с девочкой внутри в печке, на удивление совсем не пачкаясь копотью.

31 октября: «А сегодня что за праздник, Анна Афанасьевна?» — «Родительская суббота. Родителей усопших поминают».

Билльчик умер 29 октября, я как раз его вспоминала… В этот день девочки пришли с работы с радостной новостью: 5 ноября мы все уезжаем отсюда!

3 и 4 ноября нам оформили в конторе документы, а к вечеру мы собрались около пристани в ожидании катера. Он опаздывал на полтора часа, и мы в это время поджаривали себе на кострах нацепленные на палки ломтики черного хлеба. На Большой Волге мы пересели на теплоход, ехали как сельди в бочке, спали сидя. Нам выдали по банке какого-то супа с томатом, и у меня от него всю ночь болел живот.

Снова дома

И вот я снова в нашей длинной комнатке. Все осталось позади, как сон. Над своей кроватью я нашла полотняный коврик со смешной и наивной аппликацией, откуда-то мама перевела рисунок — четыре цапли, лягушки, камыши и кувшинки — и все это вышила к моему возвращению. (Я тоже привезла маме подарок — штук шесть луковиц. Незадолго до нашего отъезда я получила от нее письмо, в котором она просила меня привезти из деревни немного лука. Мне негде было взять этот лук: за деньги не продавали, а менять мне было нечего. Не хотелось маму разочаровывать, и я постучалась в избу напротив со своим очередным хлебным пайком. В обмен на него мне расплели косичку и выдали шесть луковиц. «Так мало? — сказала мама. — Ты совсем не умеешь торговать!») Мама рассказала мне, что почти каждый день бывала у Анастасии Павловны в Сретенском тупике. Она взялась штопать носки всем ее мужчинам, за это ее часто кормили обедом — как я уже говорила, муж и сын Анастасии работали в столовой и всегда кое-что приносили оттуда домой.

Во время войны люди очень часто писали друг другу — всем хотелось быть ближе, — поэтому я нашла дома много писем.

Вообще же у меня после возвращения с лесозаготовок было какое-то странное недоуменное состояние: чего-то мне не хватало. Иногда глаза жгли непонятные слезы. Странно, но позже, через тридцать и даже сорок лет, случайно встретившиеся знакомые тех времен спрашивали: «Помнишь Домкино? Помнишь лесозаготовки?» (а не институт, выпускной вечер или что-нибудь другое, казалось бы, более приятное). Сблизили нас пережитые вместе трудности, а не радости. И именно они были лакмусовой бумажкой, помогшей определить, кто из нас что за человек. В хорошее время многие и хорошие, и плохие качества не проявились бы так заметно. Еще мы думали тогда, что разлюбили лес, но ни с кем этого не произошло.

Непонятно было и то, что, хотя мы целыми днями стояли в болоте, мерзли и не просыхали под дождями, а в жаркие дни августа, случалось, зачерпывали прямо из болота и пили ржавую воду, никто из нас не простудился, не чихнул даже! И никто не заболел животом.

Зима 1942–1943 годов была для нас с мамой голодной и холодной. Хорошо еще, что у нас было дровяное отопление, центральное почти ни у кого не работало или лопнули трубы. На лесозаготовках нам дали справки с указанием, сколько норм мы

выполнили, и по этим справкам на складах выдавали дополнительные кубометры дров. Но для огромной нашей печи и этого было мало. Большинство москвичей в ту зиму сделали себе буржуйки — маленькие железные печурки, трубы которых выводили в форточки окон; на этих печах и готовили, так как керосина и газа тоже не хватало. В конце зимы сын Анастасии Павловны соорудил и нам такую продолговатую печку на ножках. Мы ее поставили в нашей комнате на столик у печки, в которую и вывели трубу. На печке умещались две кастрюли. Топили ее короткими полешками, и, пока она горела, иногда раскаляясь докрасна, в комнате было очень тепло. К сожалению, она быстро остывала, но все-таки у нас не было так холодно, как у многих других, — видимо, за счет того, что наружная стена была совсем маленькая и на всю квартиру всего два окна.

Помню, как обрадовались мы с мамой, когда нам от Станкоимпорта предложили получить мешок картошки! Ездили с саночками куда-то на улицу Разина и привезли оттуда большой мешок. Правда, картошка была мороженая и пополам с сахарной свеклой, но мы были рады любой еде. Кроме этого, дядя Илья в ту зиму два раза передавал нам через знакомых врачей посылки из Омска — сушеные овощи, яичный порошок. Мама расходовала все это очень экономно, так что хватало надолго.

1943 год

Занятия наши после трудфронта начались, кажется, 10 ноября. В нашей группе взамен трех выбывших появились три новые девочки. Ушла из института и Люда И.: не захотелось ей пересдавать историю педагогики, и она перешла в Институт внешней торговли, который тогда находился за городом, в Балашихе.

Английский язык у нас теперь вела Зинаида Евгеньевна Ган, кандидат наук, специалист по английской литературе; язык она любила и была большой энтузиасткой. Но преподавала неумело — она больше работала сама, чем нас заставляла. Конечно, на ее уроках было интересно — она рассказывала всевозможные истории, пересказывала сюжеты из литературы, в которые очень удачно вставляла нашу «активную лексику», видимо, немало затрачивая времени дома на подготовку к занятиям. Среди нас она выделила себе любимчиков — меня, Инну, Наташу и Нелю, а слабые студентки ее не интересовали, и в конце концов от нас ушли хорошие девочки, которым труднее давался язык: Нина Вознюк, Зоя Рыбакова и Леля Новикова.

Латинист

Мы также начали учить латынь, и учитель нам достался не совсем заурядный. Леониду Михайловичу Осипову было лет под семьдесят. Это был небольшого роста круглый лысый старик, обладавший необычайно широкими познаниями и вспыльчивым нравом. Латинский язык он обожал и требовал, чтобы мы зубрили всю грамматику, пословицы и т. п. Если кто-то отвечал плохо, лицо Осипова наливалось кровью, он стучал кулаком по столу и кричал что-нибудь вроде: «Плохо, Перепелкина! Отвратительно! Это же дурой надо быть, чтобы такое напутать!» — «Леонид Михайлович, извините, но я вчера смогла выучить только английский, потому что…» — «Английский! К черту мне нужен ваш английский язык! К черту!» Всем было очень страшно при вспышках его гнева, поэтому мы часто заранее придумывали, чем его «заговорить». В соседней группе случайно возникла тема об индейцах, и он увлекся так, что целый час рассказывал о разных племенах и даже о способах скальпирования. Он прекрасно знал историю и литературу, и чаще всего мы выводили его на эти темы. Самое большое удовольствие мы получили, когда Леля Новикова принесла на урок альбом своей бабушки. Леонид Михайлович был в восторге, сказал, что альбом этот стоит тысячи рублей, и стал рассказывать нам обо всех людях, чьи подписи он там нашел. В большинстве своем это были вовсе незнакомые нам писатели, поэты, художники и юристы начала века, а он всех их знал, цитировал, рассказывал нам об их жизни. Мы очень жалели, что он ведет у нас латынь, а не литературу, например. И мы прощали ему все его гневные выходки. У этого человека было две жены. Одна — тонкая, высокая, аристократической внешности — была бывшая балерина, на которой его родители не разрешили ему жениться в молодости. Она иногда приходила в институт, и приносила ему чай в термосе и бутерброды в мешочке, и непременно всегда встречала его у выхода, чтобы проводить до дома в Сивцевом Вражке, где он жил. С ней он общался духовно. Другая была женщиной попроще, она была его женой *de juro* и *de facto,* готовила ему обеды, стирала и была у него скорее на положении домработницы; с ней он не показывался на людях. Забегая вперед, скажу, что в 1944 году весной, перед экзаменом, наша группа ходила к нему домой на консультацию. Мы собрали денег — помнится, 440 рублей, — купили букет пионов и в Смоленском гастрономе коробку конфет. На обертке этой коробки я написала *Morituri te salutant*[61] и находила эту надпись очень остроумной. Но он рассердился: «Это что же получается! Это же взятка! Перед экзаменами!» А потом вместо консультации

рассказывал нам о гладиаторах. Перед началом экзамена он предупредил: «Я про конфеты ваши забыл и буду выгонять тех, кто ничего не знает!» Но, насколько я помню, никто все-таки не провалился. Я получила «отлично», и он даже растрогался, сказал, что впервые слышит, чтобы студентка не только без запинки, но и с выражением читала *Exegi monument(um)* Горация.

Когда ему исполнилось семьдесят лет, он вступил в партию. Мы тогда были на четвертом курсе. Говорили, что при вступлении он произнес блестящую патриотическую речь с цитатами на латыни.

Из новых предметов мне очень понравилась психология и то, как читает этот предмет В. А. Артемов. Я не пропускала ни одной из его блестящих лекций, звучавших как импровизации, но на самом деле тщательно продуманных.

Наташа

В группе я в это время подружилась с Наташей Косачевой. Даже скорее не подружилась, а влюбилась в нее, как когда-то в Тамару Львову. То есть я ревновала ее к другим девочкам, без конца обижалась на нее. Много у нас было с ней размолвок и ссор — все это исходило только от меня, и мне до сих пор горько и стыдно об этом вспоминать. Наташа была доброй и ласковой девушкой, она относилась ко мне ровно и спокойно, она меня тоже очень любила, притом, кажется, больше других своих подруг, но вовсе не собиралась из-за меня переставать общаться с ними.

Красивой я ее не находила. Это позже, через два года, мама одной из наших студенток, увидев ее, сказала: «А королева красоты у вас, конечно, Наташа!» Пожалуй, все-таки не королева. Королевского и броского в ней не было ничего. Роста она, правда, была высокого, и хороши были у нее волосы — очень густые, вьющиеся, темно-русые. Глаза неопределенного цвета были слегка косо поставлены, и были у нее какие-то свои особые движения и жесты, в основном связанные с непокорными волосами. В ней была невыразимая и неотразимая женственность. Глаза всегда опущены, какая-то неподдельная скромность, даже стыдливость. Наверное, именно это так привлекало в Наташе мужчин. Еще в школе за ней ухаживали мальчишки, а теперь в нее влюблялись порой прямо на улице, сильно и надолго, и люди это были интересные (известный журналист Оганов, например, или полковник Сусанин). Наташа тоже была влюбчивая душа, но все время у нее бывали какие-то глубокие переживания и

страдания: об одном она узнала, что он женат, другой был разведен, но, оказалось, бросил жену с двумя детьми, и Наташа заставляла себя рвать с ними, а сама потом плакала. Все ее «романы», конечно, не шли дальше писем, романтических свиданий где-нибудь в парках, посещений вместе кино или театров. Жила она со своей мамой у Рогожской заставы на Вековой улице в старинном двухэтажном купеческом особняке. Там, в коммунальной квартире, они занимали комнатку с лепными потолками и высокими окнами, выходившими на улицу. От старых лип под окнами в комнате летом всегда было темновато. Наташа очень любила эту свою бедно обставленную комнату с пляшущими тенями. Нежно любила она и свою маму, учительницу литературы в старших классах. Анна Васильевна прекрасно знала и очень любила классическую русскую литературу она и дочь свою назвала Наташей именно в честь героини «Войны и мира», а был бы сын, назвала бы его Андреем. Она привила Наташе и любовь к музыке, особенно к Чайковскому. Отца своего Наташа никогда не видела: он бросил семью, когда его дочери не было и года. Вместо отца Наташа почитала Дмитрия Ивановича, учителя рисования и черчения, который был коллегой Анны Васильевны и часто бывал у них дома. Это был умный, симпатичный человек, он очень хорошо относился к Наташе, и я не знаю, почему он не женился на ее маме и жил отдельно от них.

Вспоминая Наташу сейчас, я не нахожу в ней ни одной плохой черты характера. Она была человеком честным, неспособным на обман или хитрость, очень чистым душой и романтически впечатлительным. Самое счастливое время для меня было, когда мы шли с ней из консерватории домой по переулкам и улице Горького и дальше по Кузнецкому мосту до Дзержинской, где Наташа садилась на трамвай № 2, а я на троллейбус. С Наташей можно было говорить обо всем, она все понимала, в том числе и юмор. Были у нас с ней и свои шутки, и мы иногда останавливались по дороге, от смеха не в силах идти дальше. А один раз мы проходили мимо церквушки в Брюсовском переулке — это было перед Пасхой, и там шла служба. «Наташка, а ведь мы с тобой грешницы. Помнишь, как мы репу своровали на лесозаготовках? Пойдем покаемся и попросим у Бога прощения». И мы вошли, купили свечки и в самом деле прошептали: «Господи, прости нас, грешных, мы больше никогда не будем воровать!»

В тот год я вдруг начала сочинять стишки на английском языке — о природе, музыке, любви и шутливые. Например,

посвященное Леле Новиковой *To a Lady on Studying Latin.* Зинаида Евгеньевна называла меня *our little poet,* и одно мое стихотворение, *Morning,* даже поместила в стенгазету. Когда кончился учебный год, я не могла не сочинить хвалебную оду с юмором — я довольно долго провозилась с ней, она не была очень искренней, но Зинаида Евгеньевна была в восторге и даже расцеловала меня.

Экзамены в тот год, после второго курса, запомнились мне двумя забавными случаями.

Экзамены

Надо сознаться, что я на экзамены всегда шла со шпаргалками, и они очень мне помогали. Правда, я не помню случая, чтобы на самом деле воспользовалась ими, но они придавали мне спокойствие и уверенность: ежели что — тут они, со мной. Только опусти руку в карман или в рукав и вытаскивай маленькую, 3 × 3 см, сшитую книжечку.

В отличие от обычных экзаменов, на экзамен по марксизму я сделала шпаргалку более крупного формата — это был блокнот, который я внесла в сумочке. Ответив одной из первых, я вынула блокнот и положила его в стол, чтобы им могли воспользоваться другие девочки. Минут через двадцать из аудитории вылетела раскрасневшаяся Нина Вознюк. «Ну как ты?» — «Удовлетворительно! Я думала, совсем засыпаюсь, ужас какой-то: про какого-то Маханариуса меня стали спрашивать». — «А как же блокнотик мой, не помог никому?» — «Ой, с твоим блокнотом вообще кошмар. Инка взяла его, стала листать, искать свою тему, а он у нее на коленях расшился, и листки твои теперь разлетелись по всему полу…»

Я решительно постучалась в дверь: «Можно? Извините, ради Бога, я тут конспекты свои оставила, хочу их забрать…» Я полезла под стол и стала собирать листочки. «Говорите, кому что дать», — шепнула я девочкам. Они сказали, и я, сидя на полу, стала выбирать и незаметно передавать им листки. «Скоро вы там? Мешаете ведь тем, кто готовится!» — «Ах, извините, тут у меня все рассыпалось…»

На экзамене по психологии был случай, похожий на этот. Готовились к экзамену у меня дома, потому что у меня единственной были записаны все лекции профессора Артемова. Да и не только это, я ведь действительно знала этот предмет лучше других — я ходила еще и на кружок по психологии творчества. Кружок вел тот же Артемов, но участники были из

разных вузов. Заседания у нас обычно проходили в Университете на Моховой, а иногда и в Доме актера, и мы прослушали там много интересных сообщений и аспирантов, и преподавателей из других институтов… Перед экзаменами Артемов объявил, что те, кто глубже интересуется психологией, могут вместо ответа на второй вопрос билета подготовить по любой теме доклад, и я изучила несколько учебников и книжек для сообщения по теме «Темпераменты».

Я читала девочкам вслух свои записи по лекциям и еще дополняла их, но получалось так, что по каждому разделу возникали какие-то споры и разговоры, мы все время отвлекались и не успели до вечера все разобрать. Экзамен был во второй половине дня, и, когда мы подошли к кабинету психологии, Артемов вышел и сказал, что очень устал и принимать будет его ассистент Карпов — дядька с козлиной бородой и маслеными глазами, он вел у нас семинары. Наши обрадовались, все-таки не профессору отвечать, а я набралась храбрости и умолила Артемова выслушать и меня — последнюю, пожалуйста! Он был польщен и согласился. Мне достался билет по теме «Чувства», я стала ему отвечать не готовясь, потом сказала, что подготовила доклад, и этому он явно очень удивился. Я догадалась, что я, наверное, была единственной на курсе, кто сделал это. Ответ мой ему понравился, он даже спросил, не хочу ли я перейти в Университет, где в этом году открывается факультет психологии. Словом, это был один из редких случаев, когда я уходила с экзамена, действительно довольная своим ответом. (Хотя у меня и стояли в зачетной книжке все «отлично», но обычно это означало «повезло» или «не захотели мне зачетку портить». Психологию же я действительно знала, меня по достоинству оценили, и я была счастлива.) Но, когда я вышла из кабинета в тот зал, где сдавали другие, я сразу поймала на себе умоляющий взгляд почти плачущей Ани Штакиной. «Ничего не знаю, — шепнула она мне. — «Воля и инстинкты». Я вышла в коридор и стала соображать, как спасти Аню. Через минуту я постучалась в аудиторию: «Извините, пожалуйста, что я врываюсь во время экзамена, но я из комитета комсомола, и мне срочно нужно передать эту тетрадь товарищу Штакиной. Я очень спешу и не могу ее дождаться».

Я уже стояла около стола, где сидела Аня. В руках у меня была моя тетрадка с лекциями по психологии. Я открыла страницу, где была «Воля и инстинкты», и вслух сказала Ане: «Вот, видишь, отсюда ты начнешь, возьмешь еще эту вот страничку — и досюда. Все это перепишешь и завтра утром отдашь Ивановой. Ну все, больше не буду никому мешать,

спасибо, извините еще раз». Я оставила прямо перед Аней на столе раскрытую тетрадь, и она получила «хорошо». Я опять «заработала» повышенную стипендию, а она была нам с мамой в буквальном смысле слова жизненно необходима.

Весной 1943 года мы через Станкоимпорт получили небольшой участочек земли на большом внешторговском поле около Балашихи. Нам выдали немного семян — морковь, петрушка, кабачки и что-то еще, и мы с мамой, подглядывая, как это делают другие, их посеяли. Потом мы долго не ездили туда: поливать все равно было нечем и не из чего, а позже увидели, что все у нас заросло сорняками, и я немножко прополола, но под травой оказалось только несколько хвостиков моркови.

Лето

Летом нас всех отправили на разные работы. Большинство девочек нашей группы поехали в колхоз, а меня оставили в Москве через день дежурить в институте. В большом физкультурном зале расставили около тридцати кроватей — там мы должны были спать, готовые по сигналу тревоги занять свои места у ведер с песком на крыше и по всему зданию. Но тревог в Москве не было уже года полтора, и мы спали спокойно. В мою смену дежурили незнакомые девочки с разных факультетов, и я с интересом к ним присматривалась и прислушивалась. Некоторые бегали к Парку культуры знакомиться с иностранцами (их — англичан, французов и американцев — было в то время в Москве очень много, и они были популярны среди девушек), другие рассказывали разные интересные истории, играли на пианино. Одна как-то принесла патефон и пластинки, привезенные ее родителями из Японии, на них были записи Вертинского и Лещенко, о которых я до этого никогда не слышала.

Только один раз во время нашего дежурства мы чуть не умерли от испуга. Мы уже лежали на своих железных кроватях и засыпали, как вдруг на улице раздался невообразимый шум. Во всем городе началась стрельба, небо вспыхивало от залпов. Мы уже совсем отвыкли от этого, и все до одного в ужасе вскочили. «Девочки, но ведь тревоги не было! Что же это происходит!» Несколько человек побежали вниз, к вахтеру, но тот дремал под выключенным репродуктором и тоже ничего не понимал. Наконец выяснили, в чем дело, прибежали к нам в зал: «Это салют в честь взятия Харькова!» «Ура!» — мы все стали обнимать друг друга и плясать.

Между прочим, у того первого салюта были жертвы, кто-то

даже погиб на улице. Дело в том, что стреляли тогда трассирующими пулями, они очень красиво смотрелись в небе, но от них падали тяжелые гильзы. Со следующих салютов (Курск, Белгород и другие города) стрельба уже была безопасной.

В свободные от дежурств дни мы с мамой ездили за щепками. Они были нам нужны для нашей буржуйки, ведь к лету дрова кончались. Место, где можно было добыть эти щепки, мы обнаружили случайно, когда с огорода пошли вместо Балашихи на другую станцию — Кучино. Там на пригорке был разрежен лес. Очевидно, жители тех мест добывали там себе дрова, и около пней валялось много щепок и палок. Вот мы и стали ездить в это Кучино. Однажды мы попали под проливной дождь, промокли до нитки и такими влезли в переполненную электричку, да еще стали пробираться в середину вагона. Кроме нитяных сеток, авосек, тогда сумок не знали, и щепки у нас торчали из всех дырочек. Трудно вообразить, что мы выслушали в тот день от пассажиров, нас даже обозвали фашистками. Гнев людей был, конечно, вполне оправдан — некоторым мы оцарапали ноги щепками, и нас грозились сдать в милицию, но больше всего народ был возмущен тем, что мы мокрые: «Купались в одежде, что ли, хулиганки».

В Наташин день рождения, и августа, я поехала к ней в колхоз. Она иногда писала мне, и я знала ее адрес: это было недалеко от Новоиерусалимской. Не отрываясь, глядела я в окно вагона: Снегири! Но милые места было не узнать, все было изрыто траншеями. Истра! Я ахнула от ужаса. Вместо домов чернели одни только кирпичные трубы, все было разрушено и сожжено.

Потом я долго шла по дорогам и тропинкам, разыскивая нужную деревушку. Небо было тусклое, ныло у меня сердце после Истры, принимался болеть зуб. Наташу я тоже не застала. Девочки сказали, что у нее сделался нарыв на пальце, она не спала ночью и утром уехала в Москву, чтобы пойти к врачу. Домой я вернулась совсем расстроенная.

А на огороде нас с мамой порадовали только кабачки. Совершенно неожиданно их выросло целых три штуки, и мы не могли налюбоваться ими. Они казались нам такими смешными. Мы решили — пусть еще немного подрастут, в следующий приезд сорвем. Но, увы, в следующий раз мы их уже не нашли. Их кто-то украл! Только и собрали мы со своего участочка несколько морковок. Мы не знали, что корнеплоды надо окучивать, что надо рыхлить землю, — мы были совсем неопытные.

Тетя Дора

У мамы в том году вдруг появилась новая приятельница.

Стоя в очереди в булочной, мама услышала, как одна женщина говорит с акцентом — таким заметным, что даже мама обратила на него внимание. Мама всегда легко и охотно вступала со всеми в разговоры: «Вы, наверно, не русская?» Оказалось, что эта женщина тоже немка, приехала в 1934 году из Франкфурта-на-Майне. Муж ее был татарин, рабочий на подшипниковом заводе, старый большевик, соратник Калинина и Шверника. Он был зачем-то командирован в Германию, там увидел свою миловидную и бедовую соседку Дору Форндран, у них случилась любовь с первого взгляда, и он увез девушку в СССР. Дора тоже жила на Сретенке, и они с мамой стали бывать друг у друга. По-русски Дора в самом деле говорила очень смешно: в отличие от мамы, она усвоила гораздо больше слов, в том числе грубых выражений, но акцент ее был вопиющий, к тому же она перед каждым существительным вставляла слово «этого»: «Ми когда недавно приехали, я пошла на этого Сухаревка, Сухаревский ринок. Я хотела этого масло немножко купить, и я совсем не заметила, как у меня из этого руки украли этого шамоданшик. А в этого маленький шамоданшик били наши карточки, и деньги, и все. Я испугалась, думала, этого Мишинка меня теперь убьет. И я села у нас на этого лестнице и плачу: «У-у-у! У-у-у!» Этого Мишинка идет и говорит: «Ти что, этого Дорочка, плачешь?» А я говорю: «У-у-у! Какой-то этого шалун украл у меня этого шамоданшик!» А этого Мишинка совсем не стал ругаться, а стал смеяться и говорит: «Дорочка, что ти этого говоришь! Этого же не шалун бил, а жулик!»

Энергии у Доры было хоть отбавляй. Квартира их была большая и тесная, с соседями она воевала непрерывно, отстаивая свои права с помощью крепкого мата и всевозможных выдумок. У ее двери в коридоре стоял небольшой сундучок, сверху покрытый газетой, и Дора заметила, что один из соседей по пути в уборную всегда отрывает себе кусочки от этой газеты. «Тогда я взяла этого горчица и намазала на этого газета. Он еще раз оторвал и больше уже не хотел рвать мой этого газета». Подобных историй было много. Дружила она только с одной семьей из своей квартиры, это были очень бедные люди, Дора с мужем полюбили их дочку Нюру («этого Нюра Горохова») и помогали той семье как могли.

Мама была счастлива, что нашла женщину своего возраста, с которой могла говорить по-немецки. Правда, я никогда не слышала, чтобы и тетя Дора отвечала ей на своем родном языке, она и с мамой говорила только по-русски.

Это знакомство поддерживалось потом еще многие годы вплоть до смерти Доры в 1974 году. После войны «этого

Мишинке» как старому большевику дали комнату в дачном поселке и квартиру в Москве. Они взяли с собой в эту квартиру одну пожилую пару из своего дома, но те люди повели себя очень подло: вместо благодарности, что их вытащили из грязной, склочной «коммуналки», они начали всячески притеснять Дору с Мишей и издеваться над ними. Миша, заядлый курильщик, заболел раком легких и умер в кремлевской больнице, кажется, в 1955 году, а Дора после этого разменялась со своими притеснителями и в конце концов добилась отдельной квартиры, куда взяла с собой как опекуншу Нюру Горохову. Дора до глубокой старости оставалась очень хорошенькой; когда ей было уже под восемьдесят, в нее всерьез влюбился в трамвае один мужчина и даже сделал ей предложение. Но в конце жизни она много болела, дважды попадала под машину и подолгу лежала в больницах.

С мамой они были очень разные. Дора часто шокировала маму своими словами и выходками. Но мама не допускала мысли, что у Доры просто своеобразная, несколько озорная натура, причиной всему она считала то, что тетя Дора была католичкой.

Наша группа. Колхоз. Журнал

Осенью 1943 года состав нашей группы опять изменился. Взамен ушедших Нины, Зои, Лели и других к нам влились шесть новых студенток, старше нас на три года. Это были вернувшиеся из эвакуации, когда-то уже учившиеся здесь на третьем курсе. (Вернулись из Ташкента и преподаватели, которые эвакуировались с институтом в начале войны.) Мы быстро сдружились с новыми девочками, на занятиях все были очень сплочены, выручали друг друга, к преподавателям все относились одинаково — хорошо или плохо. Не угасали у нас и искорки юмора. Мы образовали «колхоз» со мной на посту почетного председателя и распределили обязанности в нем в зависимости от характера и возможностей каждого: Неля, знавшая многих девочек из соседних групп, — министр внешних сношений; Галя Скребкова — министр внутренних дел; ее подружка Валя Емельянова — министр скотоводства; Женя Шиманко — министр пропаганды; Наташа — министр культуры и т. д. Мы даже выпустили три журнала; 1-й номер назывался *Vain Efforts* («Напрасный труд»), другие два (уже на четвертом курсе) — *SOS*. Заметки писали почти все, а оформление и большинство сообщений были мои. Кроме того, я придумывала

юмористические кроссворды (например, «Что общего между нашим министром труда и дочерью Черчилля?». Ответ — *name*, имя: и ту и другую звали Сарой). Была у нас в журнале и реклама типа «Меняю конспекты по философии на шпаргалки по педагогике», «По средам от 13 до 15 ч леди Глазун-Шимановская делится опытом и дает консультации по вопросу «Как поймать хорошего мужа» (Женя Шиманко как раз вышла замуж и поменяла фамилию на Глазунову) или «Издательство *Vain Efforts* приступило к изданию многотомного сборника по шпаргалированию. Уже вышли в свет следующие монографии: «История шпаргалирования» канд. шп. наук Ю. Антоновой, «Я и она (шпаргалка)» и «Перцепция и апперцепция в шпаргал-психологии» канд. псих, наук Л. Фаерман, «Техника шпаргалирования. По материалам диссертации «К вопросу о подходе к изложению «Капитала» К. Маркса на шести страницах формы *petit*» д-ра техн. наук С. Зорохович, «Шпаргалка в художественной литературе» Н. Косачевой, «О пользе и вреде шпаргалирования» канд. юр. наук Д. Род штейн». Были в журнале и иллюстрации — вырезанные из старых журналов фотографии и карикатуры, якобы изображающие наших «колхозников» за той или иной работой. Весело было читать эти журналы, и мы очень гордились ими.

Английский язык у нас на последних двух курсах вела Эмма Кроль, из вернувшихся из США еще до войны евреев-эмигрантов. Я знала ее до института, так как ее муж, Борух Кац, работал в Станкоимпорте. Она меня сразу узнала. Оказалось, что ее муж ушел в ополчение и не вернулся. Эмма мало чему научила нас, нашей группе просто не повезло, потому что в институте в то время работали знаменитые супруги Каар и Уайзер, англичанка Ольга Свортс и виртуозная Любовь Имханицкая, у которой на уроке нельзя было расслабиться ни на минуту — она постоянно вовлекала в процесс урока всех, и все у нее знали язык блестяще. У Эммы же на уроках было страшно скучно. Кто-нибудь бубнил что-то, Эмма с презрительной усмешкой и американским прононсом лениво поправляла отвечавшую, а мы занимались своим делом — читали что-то или писали друг другу записочки: «Почетному председателю от министра скотоводства. (Осторожно!) *(Handle with care!)* Министр имеет удовольствие поставить вас в известность о том, что им только что поймана блоха необычной породы[62]. Министр имеет честь препроводить вам этот редкий экземпляр, дабы вы могли высказать свои соображения по поводу целесообразности разведения этой породы на пастбищах колхоза. Подпись: мин. скотоводства

Панталеоне Валембус, заверено мин. внутр. дел Галембус Скребенко».

Так мы развлекались. Я ходила в группу как в свою семью.

1944 год

1944 год я встречала у Люды на Садовой-Самотечной (Люда к тому времени уже бросила Институт внешней торговли и вернулась к нам, так что училась она на курс моложе меня). Мы были с ней вдвоем и, помню, с нетерпением ждали исполнения по радио нового гимна, который должен был сменить «Интернационал». Оказалось, что к новым словам приспособили существовавший еще до войны в репертуаре Краснознаменного ансамбля гимн ВКП (б). Тогда он звучал неплохо — и аранжировка, и исполнение были приятнее, чем теперь, в качестве гимна страны… Мы были разочарованы. Жаль было «Интернационал».

В то время многие возвращались из эвакуации. На фронтах продолжались бои, гибли люди, но у нас в тылу война чувствовалась все меньше. Вернулись дядя Эля с тетей Любой. От них ушла похожая на пирата домработница Маша с круглой серьгой в одном ухе, и они завели другую, Аришу, тоже пожилую, карикатурно безобразную, но в отличие от Маши тихую, кроткую, преданную. А Маша перед своим отбытием успела на целых шесть лет рассорить маму со своими хозяевами — сказала маме, будто бы дядя Илья не пригласил нас на какой-то ужин у себя, произнеся: «Не хочу я эту бедноту здесь видеть». Вряд ли он мог такое сказать, и ужин, наверное, был только для врачей — его новых знакомых и друзей по Омску. Но мама обиделась, имела у нас дома объяснение с тетей Любой и перестала к ним ходить. Что до меня, то я бывала у них раза два в месяц по воскресеньям; у них всегда бывали люди, всегда вкусно кормили и по-прежнему дядя играл на гитаре и они с тетей Любой пели. И так же приятно и уютно пахло чесноком и немного — печным дымом. Слава дяди как хирурга росла, и не редели толпы благодарных аспирантов и пациентов, которых я в этом доме встречала.

Еще осенью 1943 года вернулась из Чкаловска Ира, вернулась совсем раздетая, и я поделилась с ней своими кофточками и рубашками. Она поступила в институт на отделение немецкого языка и часто приходила к нам с мамой поболтать. Ее сразу нашел с детства влюбленный в нее Леня. Он был моложе Иры на год и на фронте не побывал — обучался какой-то военной специальности в тылу, потом вернулся в Москву и в то время был

уже студентом МАИ. Летом 1944 года они с Ирой поженились.

Клеветница

Весной этого же года я поехала навестить Иру на Шмитовском. Телефонов у нас не было, и ездили друг к другу всегда на авось. Я встретила Иру, спускающуюся по лестнице, взглянула на нее и ахнула: на ней было роскошное модное пальто с подложенными плечами, кокетливая шляпка, на ногах тонкие чулки и изящные туфельки. «Ки́шечка, ты что, миллионершу ограбила?» «Нет, Джимик, — засмеялась она, — это просто воплощение нечистой совести одной шизофренички!» Она повела меня обратно к себе домой и рассказала весьма любопытную историю.

Когда-то, еще в начале 1930-х, тетя Меля упросила одну из своих сослуживиц по Наркомздраву позаниматься с Ирой музыкой. Та женщина стала бывать у них в доме и года два давала Ире уроки игры на фортепиано. А когда тетю Мелю арестовали, женщина больше не появлялась. Этому никто особо не удивился — именно так часто вели себя даже близкие знакомые арестованных. Но недавно женщина эта вдруг явилась к Ире, бросилась ей в ноги и стала плакать, прося у нее прощения: «Ируся, ведь это я донесла на Амелию Генриховну, это я лишила тебя мамочки», — и дальше в этом духе. Она созналась, что очень завидовала тете Меле, что у той есть муж и дочка, и решила ее загубить — донесла в НКВД, что тетя Меля якобы французская шпионка и держит связь со своим братом, военным разведчиком в Париже. Позже эта особа провела несколько лет в США, потом у нее проявилась шизофрения, и ее отправили обратно в Москву. Теперь она решила попробовать загладить вину и пригласила Иру к себе забрать два чемодана с вещами. Ира поехала к ней, убедилась, что женщина действительно больна манией преследования (весь потолок у нее был залеплен кусками картона и фанеры, чтобы соседи сверху не кидали ей за шиворот иголки и т. д.), но обо всем, что не касалось мнимых козней ее соседей, рассуждала вполне нормально и логично. Ира забрала у нее оба чемодана с американскими вещами, предложенными ей, не сказав, конечно, спасибо. Разве могли какие-то тряпки, помада и пудра искупить чудовищное преступление, совершенное этой женщиной в отношении тети Мели?

Сколько же, однако, еще было клеветников, так никогда и не сознавшихся!

Ранней весной у нас была педагогическая практика: каждый должен был дать три урока английского языка в пятом классе школы. В этой связи надо упомянуть, что к тому времени Наркомпрос ввел раздельное обучение — якобы потому, что в связи с войной надо было шире обучать мальчиков военному делу (эта новая система просуществовала до середины 1950-х). Так вот, мы попали в женскую школу № 635 в Петровском переулке, напротив филиала Художественного театра, чем пользовались, по утрам занимая очередь за билетами: наша группа пересмотрела тогда все до единого спектакли этого театра. Все педагогические науки были мне не по душе, методика в особенности, и уроки мои прошли далеко не блестяще. Были замечания, и наша руководительница сказала: «Конечно, это не отличные уроки, но не хочется портить вам вашу зачетку…» Забегая вперед, скажу, что и позже, на госэкзамене по педагогике, я проваливалась: мне по методике достался вопрос о какой-то методической записке, которую я в глаза не видала и о которой слыхом не слыхала. Я попыталась сообразить, что там могло быть написано, и высказала свои соображения громким и уверенным голосом (который всегда появлялся у меня на экзаменах чисто на нервной почве). Я увидела, как глаза членов комиссии делаются все больше, как они готовы испепелить меня в порошок, но меня спасла Ольга Сергеевна Ахманова. Когда кто-то возмущенно произнес: «Но ведь там ничего подобного нет!» — она громко расхохоталась своим кокетливым грудным смехом и, тыча ручкой в мою «отличную» зачетку и одновременно толкнув плечом соседа по столу, сказала: «Ха-ха-ха, ну и что, что там ничего подобного нет, — это-то и жаль, не правда ли? Было бы хорошо, если бы было так, как вы говорите! Спасибо вам, товарищ Фаерман, за вашу подсказку Наркомпросу. Отлично, товарищ Фаерман, отлично!»

Конечно же, такие «отлично» было получать очень стыдно.

Лето. Ока

Летом 1944 года нас отправили в колхоз. Вернее, это был совхоз «Красная пойма». Мы поехали теплоходом вниз по Москве-реке, потом по Оке до пристани Дединово, где нас высадили и разделили на две части: большая часть пошла к станции Луховицы, около которой и размещался совхоз, а меньшая, человек пятьдесят, — я в их числе, — направилась вдоль берега реки в так называемые Чурилки. Так назывался всего лишь деревянный барак, состоявший из двух помещений. Около барака

в стороне стояли еще два полуразвалившихся сарайчика да будка медовника, охранявшего пасеку. Место это сразу произвело на меня большое впечатление: бескрайние поля и луга, широкая, спокойная, какая-то мудрая и величественная река, и только очень далеко на другом берегу среди зелени ослепительно белая церковь — Ловцы. Студентки нашего факультета разместились на полу в одном из помещений; в соседнем были девушки с французского факультета. Очень шумные и озорные, девушки начали с того, что совсем заморочили поселенного с ними застенчивого и молчаливого юношу с переводческого факультета, Сашу Демьяненко. Они без стеснения начинали при нем раздеваться, и он на второй день от них сбежал и попросился в помощники к пасечнику. Так он и жил потом в его будочке, постоянно осаждаемый пчелами и назойливыми шутницами. Наша бригада из семи человек разместилась вдоль правой стены под окнами. Бригадиром была назначена высокая, смуглая, страшно длинноносая Шифра Шварцберг с нашего курса, из вернувшихся из эвакуации. До этого я встречалась с ней дважды, один раз в библиотеке, когда она взяла у меня из рук книгу: «Хотелось узнать, что вы читаете, чем интересуетесь»; второй раз она заговорила со мной на теплоходе. Там в зале играла на рояле самая красивая девушка нашего института, Эра Воевода, а я стояла за портьерой и не могла отвести от нее глаз. «Любуетесь? — произнес над моим ухом голос, я даже вздрогнула. — Да, она, конечно, очень хороша». Я обернулась — опять эта Шифра. Я пожала плечами и ничего не ответила, найдя ее несколько назойливой. И вот теперь она оказалась нашим бригадиром. Но вскоре я поняла, что нам с ней очень повезло. Она оказалась девушкой не совсем обычной — ходячая энциклопедия, да еще с блестящим даром рассказчицы. Утром мы отправлялись на место своей работы, вдоль Оки в направлении Дединова, километра два. Там мы пололи просо, и всю дорогу туда и обратно Шифра могла занимать нас рассказами из области истории, языкознания, философии, религии, литературы. «Смотрите, Шифра, какие красивые голубые бабочки», — говорит кто-то. И уже она рассказывает нам о различных поверьях, связанных с бабочками, потом — о лавандовом цвете…

Между прочим, Шифра была первым в моей жизни человеком, от которого я услышала отрицательное суждение о Сталине. Не знаю, откуда у нее были все эти сведения, но на одной из наших прогулок, когда вокруг нее увивалось не так много девочек — кажется, нас всего было трое, — она рассказала нам о его жестокости, о мании преследования, его отношении к старшему сыну. «Это страшный человек, это тиран», — закончила

она свой рассказ. Позже, когда она пришла как-то ко мне и увидела над моим столом портрет Сталина (такие портреты имелись почти во всех квартирах, в частности у Иры тоже), она сказала с презрительной усмешкой: «Извини, но что у нас здесь, частное жилище или красный уголок? Не заставляй меня менять свое мнение о тебе». И добавила: «Но некоторые люди просто не хотят видеть…»

Сначала мы хотели назвать нашу бригаду «Интернациональной», потому что у Шурочки Бейер предки были немцы и итальянцы, Наташа Шашина и Алла Горшкова были русские, Шифра и наполовину я — еврейки, Таня Венде по отцу была эстонка и т. д., но потом другие обитательницы нашего барака назвали нас «Кавказской бригадой», потому что Шура, Наташа и Шифра научили нас забавным песенкам, которые мы часто распевали, к удовольствию других девочек. Вот эти песенки:

Как персидская шашка твой стан,
Рот — рубин раскаленный,
Если б я был турецкий султан,
Я бы взял тебя в жены.
Жемчуг плел бы тебе я меж кос:
Пусть завидуют люди!
Свое сердце б тебе я принес
На эмалевом блюде.
Под чинарой на пестром ковре
Мы играли бы в прятки,
Я, склонившись к лиловой чадре,
Целовал б твои пятки.
Ты тиха, ты бледна, ты молчишь,
Ты скребешь штукатурку,
Но зачем же тихонько, как мышь,
Ночью бегаешь к турку?
Он проклятый медынский шакал,
Он шайтан и нэвэжа,
Третий день я точу свой кинжал,
На четвертый — зарэжу.
Измельчу его в мелкий шашлык,
Кабардинцу дам шпоры,
И, надвинув на брови башлык,
Я умчу тебя в горы.

По Тифлисской улице Кентура идет,
Нежно гладит бороду, песенку поет.
«По Тифлисской улице часто я гулял

И хороший барышня там я увидал.
Как барашек жирненький, как узюм глаза,
Губки сильно крашены, желты волоса.
— Стой же ты, красавица, стой же ты, постой:
Ты мне очень сильно нравишься, будь моей женой.
Восемнадцать месяцев я с женою жил,
И однажды вечером поздно приходил:
Нет моя красавица, нет моя жена,
И с другим любовником убежал она.
Она убежала — мне ее не жаль,
Но мой мягкий мебель — тоже убежал.
По Тифлисской улице больше не хожу,
На красавиц русских больше не гляжу!»

Карапет влюбился
в красотку Тамару:
— Ой, душа любезный,
ты мне под пару,
Ты цветешь, как роза
родного Кавказа,
Будем мы с тобой жениться —
ехать в Тифлис!
— Ах, отстань ты,
старый Карапет,
У меня муж —
молодой Ахмет,
Как услышит он твои слова,
Он тебе отрэжет голова!
Карапет приходит
под вечер к Ахмету:
— Ой, Ахмет, ты хочешь
большую монету?
Мы возьмем Тамару,
конечно, за это:
Будем мы на ней жениться,
ехать в Тифлис!
Отвечал Ахмет:
— Зачем же нет!
Женщин много,
мало так монет;
Забирай жену,
вином запьем;
Потерял одну —

а пять найдем!

Шифра предложила нам стать персонажами этих песен, и вот сама она стала Кентурой, я — молодым Ахметом, Шура — красоткой Тамарой, Наташа — старым Карапетом, Алла — «желты волоса». «Ахмет, я пойду вперед без вас, а ты захвати котелок, — говорила иногда утром Шифра. — Собери там палочек по дороге, разожжем костер картошку варить». — «Где же ты собираешься взять картошку?» — «Кентура все достанет!» И действительно, картошка появлялась — по-моему, она ее где-то тайком накапывала.

Еду нам привозили два раза в день. Утром мы съедали свой хлеб и запивали его молоком, которое покупали или выменивали у крестьянок, подходивших иногда к Чурилкам с бидонами. Днем серая лошадка привозила на подводе два котла с супом и кашей, а вечером — бочку с овсяным киселем, который почти никто не мог есть. Тем, кого разместили в школе в Луховицах, жилось посытнее: у них была настоящая столовая со столами и скамейками. В отличие от нас, «чурилок», они называли себя боярами. Галя Скребкова или Люда иногда присылали мне с возчиком записки вроде: «От бояр холопам-чурилкам. Хорошо ли вы трудитесь на полях наших боярских? Пусть придет к нам ваш представитель, доложит о состоянии дел. Все ли просо вы пропололи? Не запил ли кто из вас? Не пустился ли кто в бега вниз по Оке?»

В общем, жилось нам совсем неплохо, это был не 1942 год. На фронтах тоже все шло к победе. Как-то к нам в Чурилки приходил один майор и прочитал много отрадных сообщений Совинформбюро, так что настроение у нас было бодрое.

Общение мое с природой в то лето было прекрасным. Привыкшая к лесу, я впервые ощутила всю прелесть бескрайних лугов и бесконечного голубого неба над ними — это было такое чувство счастья, единения со всем этим, свободы. Река казалась мне таинственным живым существом, она вызывала во мне какое-то благоговейное уважение… Наши вечерние, после работы, прогулки вдоль реки — какие там были запахи! Пахло то спелыми злаками, сухой пыльной землей, то влажной свежестью с реки, то вдруг охватывал теплый-теплый медовый аромат таволги. А тишина какая вокруг, только изредка всплеск воды в реке или далекий звонкий смех. Однажды во время работы нас настигла грозовая туча. Недолго думая мы сняли с себя всю одежду и спрятали под стог сена, сами же бросились в реку; пошел крупный град, мы окунали под воду плечи и закрывали

головы руками, громко визжа от радости.

Но вернулась я из Чурилок несколько раньше других. Каждой из нас разрешалось раз в две недели ездить в Москву на денек-два, и вот в очередной мой приезд дядя Эля затеял освободить меня от всех полевых работ. Дело в том, что я была сильно близорука, и окулист сказал мне, что с такими глазами мне не только на трудфронт нельзя, но и вообще нельзя нагибаться и носить тяжести больше двух килограммов. Собственно, я узнала об этом еще на лесозаготовках — там одна девочка разбила свои очки, ее отпустили в Конаково к врачу за новыми, и она вернулась тогда со справкой, что ей нельзя работать физически. У меня зрение было еще хуже, чем у той девушки, мне бы тогда воспользоваться своим правом, но мне было стыдно перед памятью Билльчика, который с больным сердцем записался в ополчение. Теперь мне вовсе не хотелось уезжать из полюбившихся Чурилок, но дядя напугал меня, что я могу ослепнуть, если буду дальше полоть просо. Пришлось ехать забирать свои вещи[63].

После лета к нам въехали новые соседи — Гнедины, семья внешторговских работников с двумя дочками. До войны они лет пять прожили в Италии и нахватались там гонору и итальянских словечек. Они были из комсомольцев-выдвиженцев, и образования у них хорошего не было, особенно у Нины Ивановны, работавшей в отделе кадров. К нам с мамой они отнеслись несколько свысока. Начались мелочные расчеты — за свет, за дрова, уборка квартиры по расписанию. Позже они потребовали, чтобы мы убрали все свои вещи из передней, а пока по утрам, когда мы с мамой сидели там и завтракали, вся их семья демонстративно отправлялась один за другим в уборную, обязательно задевая наши стулья, которые стояли в стороне, и громко перекрикиваясь друг с другом. О том, что они сами занимают бывшую ванную, куда мы никогда не заходили, они не хотели думать. До откровенного скандала дело не доходило, но жить нам с мамой стало неспокойно.

Снова Леля!

Однажды поздней осенью 1944 года к нам зашла Ира. Когда она уже собралась уходить, вдруг спохватилась: «Чуть не забыла, зачем я, Джимик, пришла: хотела ведь тебе рассказать про одну встречу. Ну и подруги у тебя, никогда бы не подумала!»

Она расхохоталась и долго не могла продолжать говорить, а я смотрела на нее в недоумении. «Ты знаешь такую Лялю Б.?» Я

раскрыла рот от удивления. Лелю! Лялю! Боже мой, она все эти годы не переставала жить где-то у меня в глубине сознания. Вращается теперь, думала я, наверное, в высшем обществе; отец, должно быть, уже академик… Год назад, стоя в очереди в институтской столовой, я обратила внимание на промелькнувшее передо мной лицо: как похоже на Лелино! Я чуть было не окликнула ее, но удержалась — вряд ли это была она, да если чудом и была, должно быть, давно забыла меня, ведь восемь лет прошло, мы тогда были совсем детьми. Вскоре после этого в стенгазете подготовительных курсов мне бросилась в глаза подпись под стихотворением: «Е. Б.». «Е»? В детстве я никогда не задумывалась о том, каково ее полное имя, она была просто Леля. А теперь вдруг Ирин вопрос.

— Да, у меня была такая подружка, мы вместе учились с ней во втором и третьем классе, и я ее очень любила. Разве ты в те времена ни разу не встречала ее у меня?

— Никогда. Расскажи о ней.

— Они жили в Гагаринском переулке, в отдельной квартире, у нее еще были сестра и маленький братишка. Отец ее был известный профессор. У них была дача была в Софрине…

— Ну хватит, — остановила меня Ира. — Так вот, тебе привет от нее! — Она снова начала смеяться. — Тысяча и одна ночь! Теперь послушай, как я встретила эту твою Лялю Б.! Со мной в группе учится некая Рита, она не москвичка и снимает сейчас комнатку в Гагаринском. Я часто хожу к ней, и мы занимаемся вместе, и я долго не видела жильцов этой квартиры…

Оказалось, что в 1937 году летом неожиданно арестовали отца Лели — через неделю после того, как его выдвинули в члены-корреспонденты Академии наук. Его не расстреляли, но отправили в лагерь под Воркуту. В виде особой милости ему там дали возможность в примитивной лаборатории заниматься научной работой. Благополучие семьи Б. сразу рухнуло, дачу у них отобрали. Около 1940 года Ивану Б. лагерь заменили поселением в Красноярске: слишком нужный он был человек, чтобы совсем погубить его. Лелина мама с сыном переехала к нему, и на некоторое время Леля с сестрой Ирой остались на Гагаринском одни. Обе девочки тяжело переживали случившееся с отцом. Зинаида Ивановна мне позже рассказала об одном эпизоде из Ириной жизни. Эта девочка еще с первых классов школы была активной общественницей, а в 1938 году ее выбрали секретарем комитета комсомола школы. И вдруг за ней вечером приехала машина, и Иру куда-то увезли. Вернулась она домой только через сутки, бледная и дрожащая, и никто не мог добиться от нее ни слова — красивая гордая девочка повалилась на

кровать, повернулась к стене и только произнесла сквозь зубы: «Мама, ни о чем меня не спрашивай!» Много позже узнала мать о том, что происходило в те ночь и день. На Иру начали кричать за то, что она «продолжала руководить комсомольцами и смела скрывать, что она дочь врага народа». «Мой отец не враг народа!» — кричала Ира. Ее ударили по щеке и долго еще оскорбляли, потом потребовали, чтобы она положила на стол свой комсомольский билет. Ира не хотела его отдавать, продолжала твердить, что и отец ее, и она не совершили ничего преступного. Но в конце концов она швырнула свой билет под ноги мучителям, и тогда ее отпустили. Окончив в 1941 году школу, Ира уехала на Урал, поступила там на геологический факультет и вышла замуж за своего однокурсника Юру М. В Москву она вернулась уже после войны.

Судьба Лели сложилась иначе. Еще в 1938 году, живя на даче в Истре, она сошлась — конечно, тайком от матери — с одним шофером. «Красивый был парень, — вспоминала она позже. — Як нему ночью вылезала в окно, чтобы мама не услыхала. А когда мы съезжали с дачи, он провожал меня с гармошкой и плакал!» Мать уезжала навестить мужа под Воркуту, а Леля почти не занималась в школе и много времени проводила с компанией танцоров из Большего театра, ездила с ними в дом отдыха на юге. Спортом она занималась более усиленно, чем науками, и даже заняла первое место в районе по скоростному бегу на коньках. В 1940 году она вовсе бросила школу и вышла замуж за одного танцора, который страстно ее любил и сочинял в честь нее музыку. У Лели родился сын Сашенька. Вскоре началась война, бомбежки. Во время одной из них Леля отнесла Сашу в надежное убежище под большим каменным домом, а сама укрылась в траншее у себя во дворе. Бомба упала в каменный дом, не повредив никого из сидевших в траншее. Сашенька погиб, Леля похоронила его на кладбище в Софрине, а сама после этого потрясения попала в психиатрическую лечебницу. Оттуда она через три месяца убежала, после того как однажды ночью увидела свою соседку по палате сидящей на ее кровати с бритвенным лезвием в руке. Некоторое время Леля проработала регистратором в поликлинике ЦКБУ, где когда-то работала ее мама, с балетмейстером она развелась. Какое-то время она действительно училась у нас на подготовительном отделении французскому языку (как ее взяли туда, непонятно, ведь она окончила только восемь полных классов школы!), но надо было зарабатывать и получить рабочую карточку. Она бросила институт и окончила курсы шоферов. С одной стороны, она опустилась очень низко, с другой — продолжала встречаться с очень интеллигентными людьми,

начала сама писать неплохие стихи. Одно стихотворение она отнесла в редакцию «Московского рабочего». Там сказали, что стихи хорошие, но усомнились, она ли это написала. И литературный редактор поставил на стол перед Лелей вазу с мимозами, предложив ей сочинить стихи про эти мимозы, пока он минут на двадцать выйдет. Леля к его возвращению уже настрочила две страницы, и редактору понравилось. «Правда, несколько смахивает на Ахматову, что ли…» — сказал он. И Лелино стихотворение было напечатано в газете.

«Сейчас она, стало быть, не замужем, опять работает на грузовике, — закончила рассказ Ира. — Одну комнату у нее забрали, подселили кого-то, одну (бывшую столовую) она сдает Рите, а сама живет в крошечной угловой (бывшем кабинете ее отца), там у нее стоит одна тахта, а кругом снизу доверху полки с книгами». Ира рассказала, что посмотрела на часы, увидела, что уже поздно, и сказала: «Я пойду, мне надо еще заехать к Лоре». — «А кто эта Лора?» — «Моя подруга». Тогда она сказала: «У меня когда-то в детстве тоже была подружка Лора, Лорик Фаерман». Ира упала на стул от удивления, так же как я в начале нашего разговора. Леля взяла с Иры слово, что она не скажет мне, какой она ее нашла. Но пусть узнает, помню ли я ее, и пусть передаст от нее привет.

Я, конечно, на следующий же день написала Леле письмо: «… я все знаю о твоей жизни, милая сестричка Лизизака, и я тебя по-прежнему люблю…» Ответ пришел не сразу. Это была открытка с все тем же, не изменившимся крупным, ясным и простым, почти детским почерком. Она писала, что ей все в жизни надоело, настроение ужасное, «иногда хочется уйти в небытие». А вообще-то она через два дня уезжает в Армению, с кем и зачем — не сообщала. Позже выяснилось, что она там бродила по селениям, выдавая себя за гадалку, и неплохо зарабатывала: ей платили за гадание и яичками, и курочками, и хлебом, и деньгами.

Вернулась она уже в конце лета 1945 года. Не помню, как я узнала об этом, но решила отправиться к ней, прихватив для смелости Люду. Очень уж мне хотелось посмотреть на Лелю! Но нас к ней не пустили. «Она занята», — сообщила ее соседка. «Чем занята? Скажите ей, что это Лора». Минут через пять соседка вернулась: «Она спит. Не могу же я ее будить». И она захлопнула дверь перед нашим носом.

Увидела я Лелю только уже весной 1946 года. Я пришла на Гагаринский днем. Она очень мне обрадовалась и бросилась меня целовать. «Чем это ты тут занимаешься, Лелька?» В комнате у нее стояло два раскрытых чемодана, портфель и сумка, на столе вокруг бутылки с клеем было разбросано множество ее

фотографий. Оказалось, что Леля недавно снова вышла замуж — за геолога Леонида И., на девятнадцать лет старше ее. Их познакомила ее сестра Ира. Теперь этот Леонид И. собирался отбыть в командировку в Болгарию, и Ляля говорила, что очень боится, как бы он не забыл ее, не изменил ей, поэтому она всюду расклеивала и рассовывала в его вещах свои фотографии — на внутренней крышке чемодана, в бритвенном приборе, в мыльнице, в карманах рубашек. Сзади на всех фотографиях были надписи вроде «Люблю, люблю…», «Я буду ждать тебя мучительно, я буду ждать тебя всегда…», «Помни меня!» и тому подобное. «А кто же это фотографировал тебя так прекрасно?» — «Это еще в прошлом году один мой друг, Ромм. Не режиссер, а оператор. Он сказал, что у меня совершенная фигура, как у Венеры Милосской, только коленки, говорит, подводят — острые». Следить за Лялей и слушать ее было для меня большим удовольствием, я словно сидела в театре…

Ляля появлялась в моей жизни и дальше. Но об этом потом.

А сейчас наступал 1945 год, год Победы, а для меня год окончания института, год то радостей, то горя и волнений.

1945 год

Мы с мамой встретили этот год шумно и весело, в большой компании, дома у друзей. Я впервые в жизни напилась по-настоящему. Я хвастала, что никогда не пьянею, и мой сосед по столу подливал мне из всех бутылок. От этого «ерша» я дошла до того, что пригласила всех посмотреть «подвиг» — как я умею ходить по одной половице, потом я вообще села на пол и объяснилась в любви совершенно незнакомому пожилому мужчине (профессору из Бауманского института). На следующий день мне было ужасно стыдно; к счастью, все восприняли мои ночные выходки только с юмором.

Однажды ночью, часа в два, в начале февраля в нашу входную дверь раздался страшный стук: «Отоприте! Милиция! Товарищ Фаерман, завтра к трем часам вам надлежит явиться по такому-то адресу на 1-й Мещанской». — «По какому вопросу?» — «Там узнаете. Распишитесь, что вас уведомили». Все, решили мы с мамой, нас выселяют. Оставшуюся ночь мы не спали; потом, в институте, я не в состоянии была высидеть до конца лекций. Я ушла пораньше и, захватив на всякий случай паспорт и справку о том, что мой папа — боец народного ополчения, двинулась по указанному адресу. Меня принял средних лет мужчина в милицейской форме. Сначала он просил меня рассказать о себе,

долго вертел в руках справку о папе, потом стал подробно расспрашивать о той квартире, которую мы занимаем (какой этаж, какое отопление, сколько комнат и т. п.). Мои ответы, казалось, озадачили его.

«А что случилось? Почему меня вызвали?» — наконец осмелилась я спросить. «Да так… Вы только еще скажите мне, у вас есть — во дворе, может быть, — какие-нибудь соседи, с которыми вы не в ладах?» Я ответила, что во дворе мы близко знаем только Пастуховых и в хороших отношениях с ними, с соседями по квартире тоже вроде бы не ссоримся. Офицер вернул мне справку, сказал, что я могу спокойно идти домой, даже пожал мне руку. «Вы только соседям-то не очень доверяйте: есть среди них кто-то подлый. А отцу вашему желаю скорого возвращения с победой».

Мы поняли, что не иначе как наша соседка написала в милицию письмо — скорее всего, анонимное — с сообщением, что живет, мол, тут немка, которую забыли выселить..

Развлечения

Я продолжала часто ходить в консерваторию с Людой, Наташей, Юлей или вовсе одна. На симфонические концерты, особенно на Чайковского и Бетховена, да если еще дирижировал Мравинский, народ шел толпами. Большую часть слушателей составляли солдаты и офицеры, на несколько дней приехавшие в отпуск с фронта. Билетов на всех не хватало, в вестибюле собиралась огромная толпа, и, когда уже яблоку упасть было негде, задние начинали напирать. Сбивались с ног билетерши, валились барьеры, даже милиция не в силах была остановить эту безудержную лавину, врывающуюся в фойе. Самые уютные места были на ступеньках первого амфитеатра; они были все тесно заполнены, и оттуда уж никто нас не сгонял.

В кино мы тоже ходили довольно часто. Особенно нас радовали фильмы на английском языке — их тогда не дублировали, а только сопровождали титрами. Еще в 1943 году Зинаида Евгеньевна Ган повела нас на «Леди Гамильтон», и мы были счастливы, что понимали буквально каждое слово. Мы потом смотрели этот фильм еще несколько раз (я — семь) и знали его наизусть. Потом был «Багдадский вор», цветной, — тот я видела четырнадцать раз, опять же из-за языка, но еще и потому, что влюбилась в Конрада Фейдта. Были еще всякие американские фильмы — «Сестра его дворецкого», «Ураган» и другие, все они радовали нас возможностью слушать и — ура! — понимать

настоящую, живую английскую речь. Из русских фильмов того времени запомнились только «Два бойца»: песни оттуда были так популярны, что их распевали всюду.

Девушки вдруг снова стали интересоваться модой. Если зиму мы, как прежде, прозябали в холодных аудиториях в довоенных пальто и в старых валенках, то к весне во все, даже старые, платьица подложили плечики из ваты: эти плечики всем очень нравились, они как-то перекликались с формой военных. Начали появляться и тонкие чулки-паутинки с темным швом сзади, но эти чулки было очень трудно достать. Говорили, что француженки красят ноги марганцовкой и рисуют друг другу швы чернилами. Стали модными туфли с совершенно прямыми каблуками. Стали появляться заграничные вещи. Мы с мамой, например, получили через Станкоимпорт «американские подарки» — два пальто, шерстяную кофту и платье-халат; вещи, конечно, ношеные, но они нам очень пригодились. Здесь можно было купить вещи только по ордерам, а студентам ордеров не давали. Много вещей привозили из Германии. Ловкие военные начальники вывозили оттуда целыми вагонами мебель, посуду, не говоря о тряпках женам.

Запомнился мне февральский вечер нашей группы, который мы устроили у Жени Шиманко, жившей в одном из сретенских переулков. Мы долго готовились к этому празднику. Каждый должен был подготовить какое-то выступление, составлялись речи, мы долго рылись в журналах в поисках подходящих картинок для «фотографий». Мы — это подготовительный комитет: Женя, Галя и я, от остальных все держалось в тайне, и каждый готовил свой номер тоже как сюрприз. Было придумано и угощение: мама Жени испекла пирог, каждому поручили принести что-то из дома. Вина не было, были, кажется, какие-то разбавленные соки да вода, но на столе стояли винные бутылки, на которые мы наклеили придуманные и изготовленные нами этикетки. Здесь были *Exegi!* из винных погребов Горация, *Whisky — Ohthere*, 90° (этот Охтхере, живший в IX веке, был из «Беовульфа») и тому подобные. Вечер прошел прекрасно — кажется, давно мы так не смеялись. Среди концертных номеров был танец Жени в японском кимоно, с веером и зонтиком, сцена из «Как важно быть серьезным» с измененными именами, исполненная Галей и Валей[64], и с вечера все унесли маленькие сувенирчики, сделанные Галей, и «фотографии» с надписями. Мне дали вставленный в картонку скрипичный ключ из проволоки, обмотанной желтым шелком: все знали, как я люблю музыку. Засиделись мы почти до полуночи. Наташа жила дальше всех и не успела бы добраться домой до комендантского часа, поэтому она

пошла ночевать ко мне.

Она в то время уже была невестой некоего Васи Уманского, и в начале марта должна была состояться свадьба. Особенно счастливой Наташа себя не чувствовала, Васю знала плохо. Это был типичный «фронтовой друг» — кто-то дал адрес его полевой почты, начали переписываться. Таких корреспондентов у Наташи было несколько, а потом просто он первым к Наташе приехал, был очень настойчив, и она как-то растерялась и согласилась стать его женой. Она даже плакала, когда рассказывала мне об этом, и я подумала — сколько у нее было увлечений и страданий, а тут… Наташиным любимым фильм была «Бесприданница», и чем-то она была похожа на ту Ларису. Было и еще одно огорчение: уже став невестой Васи, она вдруг получила из Германии посылку от другого «фронтового друга», Владика. В посылке были всякие вкусные вещи и два красивых шарфика; пока Наташа терзалась, как бы вернуть ему все эти вещи, явился к ней он сам, полный надежд (как рассказывала Наташа, очень симпатичный и умный), а ей пришлось его сразу расстроить и сказать, что она невеста другого. Все это было для нее нелегко, она чувствовала себя обманщицей, виноватой. Вася же торопил свадьбу, потому что он еще не побывал у себя дома, на Украине, не видел своих родных. На следующий же день после свадьбы он должен был на месяц отбыть к себе на родину.

Наташа очень нервничала, но свадьба прошла неплохо. Тогда все было менее торжественно, чем сейчас, никаких белых нарядов для невесты или украшенных машин. Пошли в загс, расписались, потом дома ужин. Стол был накрыт у соседки в ее более просторной комнате; гостей было человек двадцать. Оказалось, что у Наташи подружек еще больше, чем я знала, и мне, конечно, показалось, что и она, и ее мама больше обращаются к тем девочкам, и опять меня терзала глупая ревность. Сам Вася оказался приятнее, чем я ожидала, не очень, видно, умен, но держался он скромно и не спускал влюбленных глаз с Наташи. Разве можно было ее не любить…

В 1945 году нам с мамой жилось уже не голодно. Тому было две причины. Во-первых, мне через деканат порекомендовали двух девятиклассниц для частных уроков. Девочки жили недалеко, на Кировской, и ходили ко мне два раза в неделю. За урок они платили 15 рублей, и это было большим подспорьем: можно было покупать продукты на рынке или в магазинах по высокой цене, без карточек. Во-вторых, в доме у нас появилась мука, и мама иногда пекла из нее кексы и фруктовые пироги. Вот как появилась мука. Осенью 1944 года одна знакомая Анастасии Павловны подговорила маму поехать вместе куда-нибудь

подальше от Москвы и выменять на вещи муку. Это было очень рискованное предприятие — от Москвы отъехать дальше 100 км можно было только по специальным пропускам, и, если бы маму схватили, да еще увидели бы по паспорту, что она немка, Бог знает, чем бы это могло закончиться. Трое суток мамы не было, и понятно, как я все это время беспокоилась. Но все обошлось благополучно: мамина спутница была женщина боевая, даже нахальная, и они везде проскочили. Мама, конечно, не раскрывала рта; переговоры с патрулями вела только та женщина, и так они на попутных машинах от Наро-Фоминска добрались до Ельни. Мама потом рассказывала о страшных разрушениях и пепелищах, которые они видели вокруг. Ночевали у крестьян, и мама боялась, что ее убьют, когда узнают, что она немка. Но ничего подобного не произошло, ее еще и пожалели: «Чего ж теперь, ведь тоже люди, не все как Гитлер». Обратно обе женщины ехали совсем нелегально — в теплушке, вместе с солдатами, спрятавшими их под сеном и одеялами. Никогда в жизни мама не переживала еще подобных приключений, но приехала она веселая и торжествующая: выменяла папино зимнее пальто на большой мешок муки!

Кошка Софокла

У Пастуховых была в то время кошка, тигровая пушистая красавица. Кошки, а также, конечно, и собаки, к тому времени в Москве почти перевелись и были большой редкостью: никто их не мог во время войны прокормить. Но в эту весну желающих завести у себя зверушку было много, поэтому на будущих детей пастуховской кошки выстроилась целая очередь, и меня записали в первую четверку. Котята появились в начале апреля. Я как-то упустила этот момент, и, когда меня позвали, трех хорошеньких уже разобрали и мне достался самый дохленький, с очень смешным и жалким хвостом (это была единственная часть его тельца, где шерсть была длинная, как у его матери, но волосики были редкие, словно кто-то этот хвост общипал). Сначала мы думали, что это кот, и я назвала его Радамесом, потом оказалось — кошечка, и мне захотелось дать ей греческое имя — Андромаха. Клитемнестрочка. И вдруг придумалось нелепое Софоклочка, да так и пристало к ней. Хорошенькая мордочка, несколько облезлый вид и необычное имя нравились всем знакомым, причем имя запомнилось так надолго, что меня еще через тридцать лет спрашивали: «Помнишь еще вашу кошечку Софоклу?» А Софокла сразу поняла, что может делать у нас в

доме что хочет. Например, если лень дойти до кухни в песок, сходить ночью в стеклянную ванночку на моем письменном столе, где лежали карандаши. Спала она только со мной. Утром, бывало, потягивается, бесцеремонно уперев все четыре лапы мне в бок, и смотрит на меня, прищурившись и с выражением легкого презрения. Между прочим, она так и осталась кошечкой небольшой, хрупкого сложения.

Позже она стала меня ревновать к студенческим тетрадям, которые я поправляла, как ей казалось, слишком долго. Возьмет и рассядется на раскрытой тетрадке, да еще нарочно так широко, что всю страницу собой закроет. Я ее, конечно, сгоняла. Тогда она долго искала себе местечка около меня на стуле и, наконец, забиралась ко мне на плечо. Там она топталась некоторое время, потом осторожно трогала лапой мою макушку, как бы разведывая, и садилась мне на голову. А я сидела не шевелясь, боясь, как бы она не соскользнула и не поцарапала мне лицо. Разумеется, ее можно было снять руками, но покоя она все равно не дала бы.

К чести Софоклы надо сказать, что она была прекрасной охотницей. Еще будучи совсем маленьким котенком, когда и зубов-то у нее было всего четыре клычка, она поймала мышку — совсем маленькую, себе под стать. Она крепко держала ее своими клычками, так что торчали только задние лапки мышки да хвост ниточкой. Не в силах раскусить добычу, она мотала ее из стороны в сторону и сердито рычала, когда я поставила рядом с ней ногу и просила: «Ну поделись со мной-то!»

Софокла прожила с нами четыре с половиной года, принося нам один-два раза в год от двух до четырех котят. Когда она погибла, мы с мамой плакали и долго не могли ее забыть.

Странные веяния

Прежде чем продолжить более или менее связное описание моей жизни в 1945 году, я не могу не сказать несколько слов о странных веяниях, которые проходили по стране в то время. Казалось бы, народ должен возненавидеть фашистов и вообще немцев. Но это было на фронте, всюду в самом начале войны, а теперь, в тылу, возродился антисемитизм. Антисемитизм, совершенно искорененный революцией и до войны не проявлявшийся. За полтора года мне пришлось столкнуться с ним дважды, притом вовсе не со стороны частных лиц.

Когда я была на втором или третьем курсе, меня в числе четырех девочек выдвинули на сталинскую стипендию. Была беседа у директора, на которой я выглядела не хуже других: и

общественная работа у меня была (редактор стенгазеты), и отличные отметки, но трех других утвердили, а меня нет. Я особенно тогда не огорчилась, решила, что помешало то, что мать немка, да и я сама родилась в Берлине. Правда, дядя Илья, когда узнал, намекнул, что теперь евреев не очень стали жаловать, но я это решительно отмела. Потом, в конце четвертого курса, меня однажды на переменке взяла под руку Ольга Сергеевна Ахманова (назло нелюбимой Эмме Кроль любимица нашей группы, и мы — ее любимцы; она вела у нас лексикологию и делилась своим счастьем — стала женой знаменитого Смирницкого, меня с других уроков вызывала послушать его лекции). Она стала ходить со мной по коридору и спросила, какие у меня планы на будущее. Я даже не знала, что сказать. «Вы в аспирантуру не собираетесь?» «Нет, — сказала я, — мы с мамой одни, мне надо зарабатывать деньги». «Жаль, — сказала она. — А может быть, и к лучшему. Я-то хотела бы вас рекомендовать в аспирантуру, вам место там, но вас бы все равно не взяли, и вы бы тогда, наверное, очень огорчились». Она вывела меня на лестничную площадку, где было меньше народу. «Это очень горько, — продолжала она, — я сама об этом узнала совсем недавно, тем не менее это факт. Какая у вас по паспорту национальность? Еврейка?» Она сжала мою руку: «Ну вот, очень жаль, но с этой национальностью вас теперь не возьмут. До свидания, товарищ Фаерман, я искренне желаю вам всего доброго. А разговор наш забудьте…» Также было странно видеть, как сильно увлеклась в то время молодежь, даже школьники старших классов, философией Ницше. Им зачитывались, его цитировали. Было похоже, что фашизм, разбитый на полях сражения, оставил после себя вредоносную заразу, и микроб этот не миновал и тех, кто правил страной.

В конце апреля к нам приехали тетя Зина с дядей Сережей. На нашем дворе еще лежали кучи почерневшего снега, весна в тот год была поздняя. После Урала дядю Сережу командировали в Запорожье, но там они не захотели остаться и, пожив два месяца, уехали: на улице и в магазинах им вслед неслось: «Жиды недорезанные». Они надумали соединиться с нами в Москве и зажить единой семьей — авось и квартиру со временем дадут на всех. Тетей Зиной притом руководило искреннее желание как-то заменить нам с мамой Билльчика, помочь материально и морально, она считала это своим долгом. Но маме вовсе не хотелось этого, и чуткая тетя Зина, конечно, сразу почувствовала это полное отсутствие энтузиазма. Я-то очень любила тетю Зину, и ее было жаль: она вернулась из эвакуации совсем старушкой, седой и беззубой, несколько раз у нее случались сердечные

приступы, пугавшие нас. Но их с дядей Сережей приезд в то время был не очень кстати. У нас сделалось тесно, соседи ворчали, что дядя Сережа спит в передней, мне надо было готовиться к экзаменам и госэкзаменам и часто негде было уединиться. К тому же мама сердилась на меня — ей казалось, что я тетю Зину люблю больше, чем ее, потому что я чаще с ней разговаривала. Жить нам стало более тесно и нервно.

Оказалось, что недалеко от нас, на Кировской, снимает комнату Майечка Петрова, дочка подруги тети Зины, почти совсем потерявшей зрение Анеточки (теперь, из патриотических соображений, Анюты). Она недавно приехала из ташкентской эвакуации и училась в Институте востоковедения на персидском отделении. Майя стала бывать у нас. Она сделалась изумительно хороша — из маленькой непоседливой обезьянки выросла веселая красавица, по улице за ней всегда ходила толпа студентов из ее и других институтов. Тетю Зину она все время целовала и называла Зёлонькой; она часто сидела у нас и рассказывала про свой институт, а тетя Зина все расспрашивала ее о «кавалерах».

Все-таки тетя Зина и дядя Сережа решили вернуться в свой любимый Ленинград, и в середине августа они от нас уехали. Позже, осенью, туда с Дальнего Востока вернулись и Юдя с мужем и дочками. До конца ее жизни тетя Зина оставалась моей любимой тетей, мы с ней часто переписывались и изредка виделись.

Последние два месяца учебы в институте были для меня омрачены болезнью Наташи. Странная болезнь началась почти сразу после ее свадьбы. Это были сильные боли в области живота; врачи сначала решили, что это глисты, и лечили от них, потом заподозрили внематочную беременность, но диагнозы не подтвердились, а Наташа продолжала мучиться. На уроке она вдруг клала голову на стол и хватала меня за руку. «Вы что, не выспались? Опять вы не готовы отвечать!» — часто приходилось слышать ей, а она еле могла шевелить побелевшими губами. Бывало, приходит она ко мне и все лежит на диване, что очень раздражало маму, которая ее почему-то недолюбливала. Даже ее собственная мама, с которой Наташа была так дружна, только недоуменно качала головой: «Ах ты, развалина моя большая!» «Ты одна веришь, что мне в самом деле плохо, — говорила мне Наташа, — даже врачи уже стали думать, что я симулянтка. Многим мне стыдно говорить, что я мучаюсь, я даже Васе не написала…» Курсовые экзамены Наташа еще сдавала вместе с нами, а потом у нее все сильнее стала подниматься температура, и наконец ее положили в больницу. Попасть в то время в больницу было очень трудно: все было до отказа забито

ранеными. Поэтому Наташа попала в больницу совсем не той специализации, где ей могли бы по крайней мере сразу поставить правильный диагноз.

Но это все было позднее, уже в августе, а пока наступил май. И пришел наконец долгожданный День Победы.

День Победы

8 мая я пошла прогуляться в центр. Что-то носилось в воздухе, какая-то радость, притаившийся смех. Народу было много. Вот Центральный Мосторг (позже названный ЦУМ), около него мороженщица продает бруски мороженого (целый — 36 рублей, можно разрезать пополам — 18 рублей, можно и четвертушку — 9 рублей), вокруг нее столпилось несколько человек, я тоже подхожу ближе.

— Вы слыхали?

— Ой, что-то слыхала! Говорят — не знаю, правда или нет, — говорят, Победа.

— Да-да, говорят — совершенно точно, фашисты уже подписали капитуляцию.

— Я тоже слышал…

Радость в голосах, в глазах этих людей. Услышанные слова поднимают как на крыльях, щиплют глаза. Хоть знаем, наши уже в Берлине, уже повороту назад не бывать, но хочется услышать, хочется прочитать эти слова: капитуляция, Победа. Я лечу домой: «Слыхали? Говорят…» Тетя Зина с мамой ничего не слышали и радуются вместе со мной.

У нас не работал репродуктор, поэтому мы не слышали, что передавали ночью, а утром заговорило радио на улице. Ура!

Хочется что-то сделать, куда-то пойти! Вот и Люда прибежала — пойдем, пойдем в центр, на Красную площадь, весь народ уже на улице. День клонится к вечеру. Мы спускаемся вниз, к Трубной площади. Холодно страшно, дует совсем ледяной ветер, и мы поднимаем воротники пальто. Из репродукторов объявляют, что будет выступать Сталин. Я слушаю это сообщение, прижавшись спиной к какому-то столбу, чтобы защититься от ветра. Мы беремся за руки и протискиваемся сквозь толпу дальше, к центру. Останавливаемся на площади Свердлова, потому что из репродуктора начинает звучать голос Сталина. Вся огромная толпа на площади слушает, затаив дыхание, у всех на лицах улыбки и слезы горя и восторга. Ах, Билльчик, был бы он сейчас тут, рядом со мной… Мощное «ура» прокатывается волнами по площади, и тут же мы видим, как около «Восток-кино» взлетают в воздух какие-то люди: это толпа качает англичан, французов, американцев. Ура! Ура!

На Красную площадь мы так и не попали, так много туда устремилось народу. Мы побоялись, что нас раздавят, и с Исторического проезда повернули назад, салют смотрели уже издалека.

Перед курсовыми экзаменами я еще раз выступила на сцене — в одноактной пьеске сыграла роль «соседской Мэри», маленькой девочки, которая появлялась всякий раз в критические для главного героя моменты, просила одолжить маме то соль, то спички, то масла и все подсматривала. Успех мой мог сравниться разве только с успехом моего первого выступления в берлинском кафе восемнадцать лет назад. Даже через много лет мало знавшие меня бывшие однокурсницы и главный герой пьесы, наш единственный мужчина Гриша Венгеров, при встрече звали меня *Mrs. Wiggins's Mary*.

На письменном экзамене по языку я выбрала тему *V-Day*[65].

Дальше был жаркий июль. В один из дней — солнечное затмение, которое мы наблюдали из окна комнаты Нели С. Мы вместе с ней готовились к экзаменам: она жила недалеко от меня, на Кировской, в доме, у входа в который до сих пор сидит каменный лев со щитом. Нелина комната находится в огромной коммунальной квартире: длиннейший коридор, по обе стороны двери, всего девять семейств. Потолки метра четыре высотой, все закопченные, огромная кухня без окон. Соседи все в одиночку и группами воюют друг с другом. Привязывают тряпками крышки кастрюль к ручкам: не вытащили б чего и не плюнули бы в суп. Хлопнет входная дверь — двери комнат приоткрываются, смотрят, кто и к кому идет. Нелина комната была средних размеров, с окном во всю стену, там, среди обшарпанной скудной мебели и невообразимого беспорядка, жила она со своей младшей сестрой Майей и старой бабушкой Мерой Мироновной. Старуха была грузная, ворчливая, почти слепая. Соседи — даже враги — считали ее мудрой и уважали, хотя она была очень нечистоплотна и часто сидела в мрачной кухне у стола, вылавливая толстыми пальцами кусочки мяса из кастрюли с супом.

Неля, хоть и числилась в нашем «колхозе» министром внешних сношений, не очень активно участвовала в нашей игре — после уроков она всегда сразу убегала, иногда даже пропускала семинары и практику, стала хуже учиться — явно что-то скрывала. Мне она наконец созналась, что уже с осени работает — преподает язык в Энергетическом институте, куда ее устроила приятельница ее покойной матери[66].

Мы занимаемся то у Нели, то у меня. Мама с тетей Зиной иногда с утра ездят за город, ищут ягоды и грибы, а мы с Нелей ставим в комнату корыто с водой, надеваем купальники и брызгаемся. Долго было холодно, вот и парад Победы в конце июня проходил в холодный день под дождем, а теперь, в июле,

стало жарко. Когда приходит тетя Зина, начинается интересная беседа. Тетя Зина блещет остроумием, Неля от нее в восторге, и я горжусь, что у меня такая тетя. С Нелей же нас сближает то, что мы в группе единственные, кроме хромой Юли Антоновой, у кого нет романов. Все понемногу выходят замуж, у Иры в марте родился сын, у Вали Емельяновой дочка, а в нас никто не влюбляется, хотя сами мы все время о ком-то вздыхаем — в данный момент Неля вздыхает об одном своем студенте, а я влюблена в скрипача из Симфонического оркестра.

Накануне госэкзамена по языку мы вместе с Женей и Сарой пошли в кинотеатр «Уран» на последний сеанс смотреть диснеевского «Бемби». Перед сеансом выступала какая-то певичка, при ней — толстая и важная аккомпаниаторша в черном креп-сатиновом платье с глубоким декольте. Настроение у нас было хулиганское, мы запомнили имя этой жирной аккомпаниаторши и дружно кричали: «Ра-хиль Бром-берг! Ра-хиль Бром-берг!» Публика оглядывается на нас, шикает, но мы ничуть не смущаемся: мы заканчиваем институт! Сам фильм показался нам прекрасным, и мы плакали, когда погибла мать олененка. От утомления и зубрежки мы были слегка истеричны.

Я совсем перестала читать газеты, казалось — мы победили, что же еще интересного может произойти? Сейчас кажется несколько смешной такая запись в моем дневнике (я снова вела его с конца июля до конца августа).

> 8. VIII.45
>
> *Сегодня опять дождь — косой, нескончаемый. Целый день никуда не выходила, читала стихи и греческую литературу. К вечеру пришла Оленька (Пастухова), а потом Неля, и мы опять долго говорили. Во время нашей беседы вдруг раздались знакомые перезвоны позывных, и мне почему-то сразу подумалось: не война ли это с Японией? Так оно и было. Больше всего мне понравилось «союзники предложили» — представляю себе. Д. Т. [Дмитрий Тихонович Гнедин, наш сосед] сегодня в прекрасном настроении, ибо завтра едет в Берлин, выскочил к нам с Нелькой в переднюю и долго болтал о каких-то атомных бомбах…»*

Госэкзамены я все сдала на «отлично». Направление на работу мне дали сначала в Казань, потом заменили Ярославлем. Это было очень обидно, потому что большинство девочек остались в Москве. Неля уже работала и получила с этой работы вызов, три девочки из нашей группы были замужем, Аню и Галю тоже оставили здесь. Правда, Дору направили в Свердловск, а

Сару в Рыбинск, но обе они были не москвички. Кроме того — но об этом я тогда еще не могла знать, — все последующие годы окончивших с отличием обязательно оставляли в Москве. Выручил меня в конце концов дядя Эля, правда, ему не очень хотелось это делать, и тетя Люба тоже считала, что я уже вышла из того возраста, когда меня надо опекать, но все-таки он достал мне справки, что моя мама нуждается в постоянном присмотре, а сама я прохожу длительный курс амбулаторного лечения по поводу прогрессирующей близорукости. Мне разрешили остаться в Москве, но надо было самой найти работу, а это было нелегко. Временно дядя Эля пристроил меня к одному своему бывшему пациенту, директору технического отдела газеты «Известия» Медведеву, внештатным переводчиком технической литературы. Весь август я переводила для него статьи с английского и немецкого и получила первый в своей жизни гонорар.

Смерть Наташи

А Наташе тем временем делалось все хуже. Каждые три-четыре дня я ходила к ней в больницу, через день ездила к ее маме узнать, как она, и передать записочку или фрукты. Бедная моя подружка лежала бледная, осунувшаяся, с усталыми, измученными глазами. Температура продолжала оставаться высокой, ее не могли сбить, от болей помогали на время спасали уколы пантопона, и она хотя бы ночью могла немного поспать. Ей наконец поставили диагноз — туберкулезный перитонит (воспаление брюшины). «Нет, Лорчик, я уже не поправлюсь, — грустно говорила она. — Расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь… Сонечка [подруга Анны Васильевны] так интересно рассказывала про выставку картин. Может быть, ты фильм какой-нибудь видела…» Мы с Людой как раз смотрели очень глупый, но смешной фильм «Джордж из Динки-джаза», но мне показалось неприличным развлекать ее, больную, такими сюжетами. «Тогда расскажи мне про природу. Какие сейчас деревья? Желтеют уже?»

Тетя Зина подарила мне на день рождения (на который, между прочим, впервые в моей жизни позвали много гостей!) одну свою сережку с бриллиантом, и я отдала ее в мастерскую сделать из нее колечко — первое мое колечко! Но так хотелось чем-то развлечь и обрадовать Наташу, что я надела его ей на палец: «Выздоравливай скорее, и тогда я тебе подарю его насовсем!» Наташе очень нравилось это колечко. «Знаешь, как оно меня радует, — сказала она мне как-то, — я все жду, когда подойдет луч солнышка, и тогда я тихонько верчу это колечко…

Ты даже не представляешь, какой красоты цвета в нем играют, я никогда таких не видела. Особенно красив синий цвет. И только чуточку передвинешь — уже зеленый сияет, потом оранжевый…»

В одно из моих посещений в сентябре она вдруг оживилась: «Я все-таки, наверное, скоро поправлюсь. Только бы скорее! Я тогда уеду с Васей к нему на Украину и буду там в деревне учить ребятишек в школе английскому. А ты будешь каждое лето приезжать ко мне. Обязательно будешь приезжать. И мы с тобой будем бродить по полям и лесам — Вася говорит, у них есть там лес.

А 13 сентября, в пасмурный, дождливый день, — по радио как раз звучала любимая Наташина Пятая симфония Чайковского — в окно ко мне постучала Люда. «Я не зайду, некогда, открой форточку. Мне только что звонила Наташина мама. Наташа умерла».

Хоронили мы Наташу через два дня на Рогожском кладбище. Пришли все, кто так недавно был на ее свадьбе, — все ее подружки, к которым я так ревновала ее. Я потом ни на одних похоронах не видела, чтобы люди так горько плакали. Дождь тоже не кончался. На обратном пути Дмитрий Иванович, Вася, Соня, Тамара — школьная подружка из того же дома — и я зашли на Вековую. Посидели за столом, поели кутью, потом тихо разошлись. На улице меня догнала Анна Васильевна: «Лора, вот же ваше колечко! Ей оно так нравилось, она все смотрела, как играет камушек. Мы его сняли уже после того, как она…» — ее начали душить слезы. Я потом несколько лет по праздникам посылала Анне Васильевне открытки. Она отвечала мне, сообщая новости: Вася снова женился и приезжал к ней со своей женой. У Васи родилась дочка, и ее назвали Наташей. Потом у Анны Васильевны года два жила маленькая племянница, которую она привезла со своей родины, из-под Смоленска.

А потом Анна Васильевна перестала мне отвечать, я решила, что она уехала, и тоже бросила ей писать. Раз в году я навещала Наташину могилку и однажды нашла на том же камне новую надпись: «Дмитрий Иванович».

Вдруг через двадцать лет — это было уже в 1966 году — я получила от Анны Васильевны открытку с портретом Чайковского. «Перебирала сейчас старые фотографии и открытки, — писала она, — и нашла одно давнишнее ваше письмо Наташе. Потом мне попалась эта открыточка, вспомнилось, как часто мы ходили на концерты. Помните ли вы Наташу? Не знаю, слыхали ли вы, что Вася тоже умер. Я была бы рада, если бы вы навестили меня, только обязательно сначала предупредите меня открыточкой, когда вы хотите прийти…» Я

сразу же ответила ей, написала о своих новостях и просила ее самой назначить мне удобное для себя время, когда я могу прийти. Она мне не ответила. А потом я нашла на Наташином камне новую, очень небрежно выбитую надпись: «Косачева А. В.», без всяких дат.

Институт востоковедения

Одновременно с этими горестными переживаниями меня наконец устроили на работу. О том, что я мыкаюсь, нигде не пристроенная, узнала «учительница первая моя» Н. Д. Лукина и сообщила об этом Зинаиде Ган, которая работала уже не у нас, а в Институте мировой литературы. Та вызвала меня к себе. Я отправилась на встречу с ней на улице Воровского — пошла не одна, а с дядей Моисеем, который был в то время в Москве и принимал во всем горячее участие. Зинаида Евгеньевна бросилась меня обнимать и целовать: *My little poet*! («Мой маленький поэт!») Она дала мне в красивом конверте рекомендательное письмо к преподавательнице, работавшей в Институте востоковедения. Письмо это произвело на старушку должное впечатление — она мило побеседовала с дядей Моисеем и обещала непременно помочь мне.

Так я стала преподавателем английского языка в Московском институте востоковедения, в Сокольниках, Ростокинский проезд, 13а. И началась самая счастливая полоса моей жизни, длившаяся уже не дни или месяцы, а годы. Точнее, больше четырех лет.

Счастливым этот период был из-за работы, из-за состояния души — постоянного, пусть безответного, увлечения, чувства свободы. Были, конечно, и неприятные моменты, но они почти забылись, и все это время запомнилось как один солнечный день с легкими тучками.

Как я уже сказала, Институт востоковедения находился в Сокольниках, точнее, за Сокольническим парком, — небольшое красное с белым четырехэтажное здание расположилось среди сосен на высоком берегу Яузы. Вдоль небрежно вымощенного булыжником Ростокинского проезда стояли отдельные одноэтажные деревянные домики с садами, между ними были полянки с редкими соснами и березами. Ехать туда надо было от метро «Сокольники» трамваем № 4 остановок шесть. С работы мы обычно, если только позволяла погода, возвращались пешком через парк, в то время в этом дальнем своем конце совсем запущенный и тем более приятный.

Вообще-то я всегда боялась преподавательской работы. Я не была педагогом по призванию, и некоторое удовольствие мне доставляло только объяснять людям что-то для них новое, но отрабатывать, закреплять материал, а тем более требовать заученное было совершенно противно моей природе. В то же время я, конечно, была счастлива, что буду работать не в школе, а в институте, да еще таком хорошем.

К своему удивлению, я в самом начале обнаружила, что совершенно не знаю английской грамматики. Пришлось все не только учить заново, но и придумывать, как лучше объяснить студентам. Хорошо еще, что нам выдавали лишь общий план и мы могли сами как угодно располагать материал, добавлять что-то, придумывать интересные виды работ, т. е. пользовались большой свободой.

Несколько смущало меня то, что кафедра западных языков состояла процентов на восемьдесят из старушек от сорока пяти до семидесяти лет: первое время я их побаивалась. И когда одна из них, Болховитинова, руководительница первого курса, без предупреждения пришла ко мне на урок, я настолько испугалась, что стала, как на экзамене, говорить гораздо громче обычного. К своему ужасу, я провела весь урок совсем не так, как задумала, и, самое страшное, мне все время казалось, что студенты замечают, как неестественно и напряженно я себя веду. Болховитинова ушла минут за пять до конца урока, а я, как только прозвенел звонок, бросилась вниз в раздевалку и на улицу. На следующий день я боялась зайти на кафедру, но моя начальница подкараулила меня на лестнице и поманила пальцем. Дальше я выслушала первый — и, к счастью, последний — выговор в своей педагогической деятельности — выговор, впрочем, не за плохое ведение урока, а за то, что я вопиюще самоуверенна, не интересуюсь замечаниями старших и проявляю неуважение к начальству.

Студенческие группы в то время были большие, по 12–16 человек, примерно $^{2}/_{5}$ девочек и $^{3}/_{5}$ ребят, причем среди последних были парни и постарше меня, пришедшие после фронта. Одна моя группа, арабская, состояла почти сплошь из таких. Вообще, я до сих пор помню фамилии всех студентов этих моих первых групп, — «арабской» и «бенгальской». У каждой группы было по восемь часов английского языка в неделю, а нагрузка преподавателей была, трудно сейчас поверить, — всего 16 часов в неделю! Правда, так было только в первые два года моей работы, потом ввели 22–24 часа, а под конец у меня был даже период с 36 часами.

Студенты-«бенгальцы»

Со студентами бенгальской группы у меня сразу сложились какие-то особые, дружеские отношения. Все как один студенты здесь подобрались талантливые, начитанные, остроумные и очень веселые и дружные. Самым веселым был некрасивый, небольшого роста, бедно одетый талантливый пианист и поэт Сережа Цырин,

часто взрывающийся на уроках заразительным булькающим смехом. Своеобразным человеком был Эрик Комаров, у которого все домашние работы перемежались высказываниями различных философов и его собственными размышлениями, а доклады он делал такие интересные, что я себя чувствовала перед ним ученицей. Сверкал остроумием Женя Хазанов, носил мне книги и приобщал к творчеству Рабиндраната Тагора увлекающийся индийской литературой Саша Гнатюк, поражал своим почти истерическим трудолюбием нервный долговязый Боря Карпушкин, подготовленный немного слабее других. Девочки тоже все были умные и красивые. Конечно, часто они ставили меня в неловкое положение. Они, конечно же, чувствовали, что я еще очень молода и неопытна, и пробовали меня смутить. Например, во время урока Рита Кафитина передает мне записку: «Лора Борисовна! Сегодня произойдет ужасное событие: предстоит дуэль между товарищами Цыриным и Карпушкиным. Вы хорошо знаете, что причина поединка — вы. Сделайте что-нибудь, чтобы они остались живы». Мне бы рассердиться, а я не рву записку, а пишу на ней: «Где?» Ответ: «Над Яузой, за институтом». В тот вечер встречаю всю компанию на концерте в консерватории. «Вы оба живы? А как же дуэль?» Как сейчас вижу улыбающиеся лицо Сережи над рядами стульев: «Победил я, Лора Борисовна. Я его в Яузу сбросил, честное слово!» Сережа всегда был увлечен какой-нибудь девочкой, и девочки с ним охотно дружили, но не более того. Сережа страдал, и часто улыбка его была типа «смейся, паяц».

— Сережа, что вы там пишете? Вы совсем меня не слушаете.

— Лора Борисовна, я ехал сегодня в институт, висел на подножке трамвая и сочинил вдруг стихи. Сейчас спешу записать их, а то забуду, — а потом добавляет: — Хотите, вам подарю? — И отдает мне листок:

В брызгах солнечной суеты
Синий воздух капелью вымыт,
Ранним утром мои мечты
Голосами поют живыми.
Солнце плещется у колеса
В разлетающемся фонтане…
Новый день в золотых волосах,
Как веселый ребенок, встанет.
В теплом ветре моя голова —
Пой и смейся, рванись и взвизгни:
Пусть весенний гремит трамвай
И несет нас к любви и жизни.

Груды снега в журчащем плену —
От лучей все равно не сбежать им…
Я встречаю мою весну
Крепким, яростным рукопожатьем.
Час придет: я в глаза ей взгляну,
И, от солнца, от радости хмелен,
Зацелую мою весну,
Погружусь в ее нежную зелень…

Учились все эти ребята хорошо. Уважали ли они меня? Не знаю — видимо, не очень. Но любили. И мне было радостно — впервые люди должны слушать меня. И у меня положение такое, что могу быть смелой, преодолеть свою вечную робость, могу сказать что угодно!

Первый экзамен

На зимних экзаменах произошел забавный конфуз. Ассистентом у меня была совсем древняя симпатичная старушка по фамилии Беатус. Закончил отвечать Карпушкин. «Выйдите пока, — сказала она ему, — мы посовещаемся, потом отдадим вам зачетку». «Ну, как вы думаете?» — спросила я. «Что же, четверку, пожалуй, можно…» Я была разочарована. Обычно я ставила Борису «отлично». За ним отвечала Рита Кафитина. Я опять шепотом спрашиваю: «Что вы ей хотите поставить?» Пожимая плечами, моя ассистентка говорит: «Ну… удовлетворительно, пожалуй, можно». Я покраснела от испуга. Рита была моей лучшей отличницей! «А вы сами-то как считаете?» — «Не знаю, она вообще-то у меня всегда очень хорошо училась…»

Беатус вдруг рассмеялась. Долго тряслись ее белые кудряшки, и на глазах даже выступили слезы. Она обняла меня за плечи: «Милая моя! Да вы знаете, кого вы мне напомнили? Есть у Чехова такой рассказ — «Размазня». Вот вы — точно как та молоденькая гувернантка. Разве можно так? Ведь первый мальчик был отличный, а эта девочка — вообще чудо, ответ ее был блес-тя-щий! А вы и против тройки боитесь возразить. Сейчас же ставьте им обоим «отлично»!» Я, конечно, сказала, что впервые в жизни принимаю экзамен, что я не знаю еще критериев. «Это все ерунда! Просто нельзя быть размазней. Вы должны уметь постоять за себя. Как же так можно!»

1946 год. Татьяна

Среди преподавателей я первое время чувствовала себя довольно одинокой. Не с кем было отвести душу, что так необходимо бывает на работе.

А весной 1946 года к нам с курсов иностранных языков перешла Таня Барышникова, и у меня наконец появилась в институте подруга, с которой можно было говорить обо всем на свете. Она была на четыре года старше меня, с довольно бурным прошлым и трудным характером. Мать взяла ее годовалым младенцем из детского дома, и кто были Танины настоящие родители, так и осталось неизвестным. В доме у приемной матери бывали люди, связанные с кино, и маленькая Таня Мухина с большими лукавыми черными глазами с 4–5 лет стала сниматься в немых кинофильмах — среди прочих ролей она сыграла маленького озорного беспризорника в «Мисс Менд». Когда в Москву приезжала Мэри Пикфорд, то она очень просила Танину маму отдать девчушку ей, обещая сделать ее в Америке кинозвездой, но ей было отказано, и Таня осталась в Москве. Мать ее вышла замуж, и, по рассказам Тани, отчим ненавидел ее и часто бил. В 1937 году он был арестован, и больше о нем не слышали. После седьмого класса Таня пошла учиться в сварочный техником. Окончив его, она проработала какое-то время на заводе в Мытищах и вышла там замуж за инженера, своего начальника, — тот ради нее бросил семью, и, когда Таня поняла, что он очень привязан к своим детям, она разошлась с ним. В 1940 году она поступила в городской пединститут на отделение английского языка, и в том же году вторично вышла замуж, теперь за инженера Барышникова. В 1941 году у нее родился сын, но он умер, не прожив и семи месяцев, Таня говорила — от голода. С мужем она через год разошлась, так как жизнь их стала состоять из сплошных ссор. Таня сама признавала, что виновата бывала почти всегда она. У нее был тяжелый характер, она была очень требовательна к другим, иногда коварна, подвержена частым необъяснимым сменам настроения, от которых страдали окружающие и сильнее всего она сама — разум ее в этом не участвовал, она просто не могла ничего с собой поделать.

В то время, когда я с ней познакомилась, она жила в маленькой, сырой и темноватой комнатушке на Новой Басманной. Подружились мы как-то сразу — договорились поехать в одно воскресенье за город «куда глаза глядят». С Северного вокзала доехали до Монина и пошли вдоль железной дороги в обратном направлении. По дороге мы выяснили, что обе любим природу и музыку. Мы о многом переговорили и много

промурлыкали мелодий. После этого дружба наша благодаря Таниным настроениям протекала очень бурно и неровно. Таня бывала то весела и ласкова со мной, то могла вдруг ни с того ни с сего обидеться или неожиданно раскричаться на меня. Например, я дала ей на урок одну свою тетрадь с упражнениями, она забыла ее мне вернуть. Через два дня мне эта тетрадь понадобилась, и я спросила, нужна ли она еще ей. В ответ я (и все присутствующие на кафедре) услышала крик, град оскорблений — оказалось, тетрадку она оставила дома. А на следующий день она швырнула мне ее на стол. «Как ты можешь после этого…» — удивлялись все. А я могла. Иногда мы месяцами не разговаривали с Татьяной, будто и не замечали друг друга. Мириться после этого всегда приходила она, ведь она сознавала, что виновата. Мужья, возлюбленные, большинство подруг не выдерживали ее характера и уходили. Я прощала ей целых тридцать семь лет. Все-таки она меня по-своему очень любила. И была интересным человеком.

В самом конце первого года работы мои «бенгалята» подарили мне такой огромный букет пионов, что я могла нести его, только обхватив обеими руками. Я шла с ним, гордая и счастливая, ведь ребята попросили меня взять их и на следующий год. А в метро я услышала, как одна женщина сказала другой: «Какой большой букет девочка несет, наверное, от класса учительнице…»

Лето этого года я провела совсем скучно. Все мои подружки разъехались, а я гуляла с мамой в московских парках. Свою заработную плату (1050 рублей в месяц) я отдавала маме, как это делал в свое время и папа, и о том, чтобы куда-нибудь поехать, не могло быть и речи. Я дождаться не могла, когда же придет сентябрь и снова начнутся занятия в институте.

Майя Петрова, дочь Анны Моисеевны, учившаяся на третьем курсе Института востоковедения, жила теперь совсем рядом с нами, в Сретенском тупике, в общежитии института, и с ней я тоже нередко общалась. У этой красивой девушки жизнь сложилась не очень удачно. За ней ухаживали очень многие, она была весела и мила со всеми, ходила с ними в театры, танцевала и флиртовала с детской беспечностью. Когда же сама всерьез влюбилась в красивого парня, Ромку Ахрамовича (на курс старше нее), то тот так долго пребывал в нерешительности и откладывал серьезное объяснение, что она решила назло ему выйти замуж за другого. Только ради того, чтобы потом, когда Рома наконец объяснился ей в любви, сказать: «Поздно, Ромочка. Я уже обещала стать женой другого». Каких только глупостей люди не делают.

Майя долго потом жалела об этом своем решении. «Другим» же, ставшим ее мужем, был Яков Островский, преподаватель нашей кафедры, на 13 лет старше Майи. Он вырос в США в семье дореволюционных эмигрантов, окончил Гарвардский университет и после войны приехал навсегда в Советский Союз, куда еще раньше вернулась его старшая сестра. У нас на кафедре в него были влюблены две молодые женщины, но он с самого начала просил нашу лаборантку, симпатичную Марию Константиновну, намекнуть этим дамам, что он возьмет в жены только кого-нибудь в том же положении, что и он, то есть бесквартирную, чтобы никто не говорил потом, что он «женился на жилплощади». За Майей он ухаживал долго, красиво и романтично, и ей, конечно же, льстило такое внимание со стороны старшего, обожаемого всеми студентами человека. Яша умел преподнести себя, на уроках острил и применял всякие американские методы: во время докладов ребят рисовал на доске цветными мелками «график ответа», выпускал устные газеты, руководил самодеятельностью.

С ним-то Майя и поселилась теперь в общежитии, занимавшем первый, вровень с землей, этаж ветхого двухэтажного домика в глубине тупичка. В темном, закоптевшем от керосинок и примусов коридоре этого клоповника всегда стоял густой, душный запах кислых щей, гуталина и каш и мелькали мрачные тени жильцов — преподавателей института, в основном с кафедр восточных языков. Они интриговали друг против друга и бегали к Майе с Яшей, стоявшим в стороне от их склок, прося разобраться или пытаясь заручиться их поддержкой. Был случай, когда жена одного доцента обвинила другую в том, что та насыпала ей соли в суп. Во время этого страшного скандала сцепились и мужья: один погнался за другим по коридору с топором в руке. Потом знакомые журналисты той и другой стороны написали об этом в две разные газеты фельетоны, один назывался «Ученый склочник», другой «Егоров пишет». Майя очень развлекала нас своими рассказами об общежитии.

Помимо общения с подругами и знакомыми у меня в конце 1946 года появилось новое, чрезвычайно приятное развлечение — семинары профессора Виктора Абрамовича Цуккермана.

Музыка. Семинары

Юля Антонова ходила на лекции «Музыкального университета». Один раз она пригласила и нас с Людой. Лекция в Доме ученых была не совсем обычной по содержанию — не о творчестве того или иного композитора вообще, а о си-бемольной

сонате Листа. Все прозвучало для нас ново и неожиданно. Виктор Абрамович, не обладая ораторскими данными, говорил так увлекательно, высказывал такие оригинальные суждения и к тому же играл куда лучше знаменитого пианиста, исполнявшего потом эту сонату, что мы были счастливы, когда услышали объявление, что для желающих профессор Цуккерман будет по воскресеньям проводить семинары. Наконец-то мне представилась возможность стать по-настоящему музыкально образованной, пусть хотя бы только и слушателем. С той поры и до 1952 года я не пропустила почти ни одного семинара. Занятия проводились довольно регулярно, по воскресеньям, в одиннадцать часов утра в зале Чайковского на площади Маяковского. За эти годы мы прослушали подробнейший разбор всех симфоний, сонат и даже опер как русских, так и западных композиторов. Очень приятна была скромная, камерная манера ведения этих семинаров — не лекций для музыкально малообразованной публики, а скорее бесед, высказываний оригинальных мыслей для избранных одновременно с незаурядным исполнением произведений. Постоянных слушателей семинара было человек сорок. Иногда людей собиралось больше или немного меньше, почти все умели играть на инструменте. Стоило это удовольствие всего 5 рублей за занятие. Это был особый, прекрасный мир, и я всю неделю с нетерпением ждала воскресений. Иногда мне — так же как, кажется, всем посетительницам семинаров — казалось, что я влюблена в Виктора Абрамовича. Во всяком случае, я получила от него так много, что до сих пор благодарна ему.

Осенью 1946 года в институте к нам на кафедру пришла большая группа (человек десять) молодых преподавательниц, окончивших в этом году МГПИИЯ и оставленных в Москве как отличницы или замужние. Старушки кафедры после этого одна за другой стали уходить на пенсию. Молодежь была в большинстве своем симпатичная, но такого дружного коллектива, как в совместной учебе, уже не складывалось. К счастью, интриганок или других неприятных типов среди новеньких не было, но меня несколько удивило, как некоторые среди них в первые же дни старались выделиться. Одна из них, например, на первом же заседании кафедры выступила с докладом «Новое в концепции категории времени в английском языке», в котором, к моему удивлению, просто слово в слово повторила одну из лекций профессора Смирницкого, которую я тоже в свое время слушала. Доклад произвел большое впечатление на пожилых членов кафедры, и об этой преподавательнице утвердилось мнение как о выдающемся светиле науки! Другие старались выдвинуться в

общественной работе, одну вскоре даже избрали депутатом райсовета. Все это меня, да и Таню с другой ее приятельницей, Линой Беляевой, мало трогало, мы просто наблюдали и делились мнениями. И радовались, что на кафедре стало интереснее и веселее.

1947 год. Вечера

Всем, кто работал в то время в Институте востоковедения, запомнились замечательные языковые вечера — китайские, японские, индийские. Их прекрасно организовывали энтузиасты-преподаватели, в большинстве своем побывавшие в странах Востока. Зал, лестница и коридоры украшались в национальном стиле фонариками, транспарантами с ковровыми рисунками, из репродукторов звучала национальная музыка. На индийские вечера супруги Гладышевы всегда привозили и устанавливали на одном из этажей большой макет Тадж-Махала под стеклянным колпаком. В зале силами студентов давался концерт: песни, танцы, сценки из народной жизни, фокусы. Студенты под руководством преподавателей делали костюмы для представлений. Пригласительные билеты печатались в институтской ротаторской и тоже украшались национальным орнаментом.

Проводились и вечера на английском языке. Они были более многолюдны (ведь английский, за исключением турецких групп, изучали все), поэтому их устраивали не в здании института, а в клубе МГУ на улице Герцена. Главным организатором этих вечеров всегда был Яша Островский. Майя неизменно участвовала в драматических отрывках и скетчах, она и познакомилась с Яшей на репетициях.

Очень мило и тепло проходили и общеинститутские вечера перед праздниками. После неизменной торжественной части и концерта (или спектакля, если вечер проводился в театре) бывали танцы, во время которых мы смешивались с толпой студентов, начальство против этого не возражало.

Любовь

Все мы были молоды, все думали о любви. Я влюблялась в одного студента за другим (скорее, это было какое-то восторженное состояние души, ищущее выхода) и вскоре заметила, что в тех группах, где есть милый моему сердцу юноша

или где, как я знала, я сама кому-то нравлюсь, уроки мои проходили интереснее и живее, я старалась придумывать что-нибудь особое, необычное. Как всегда, мои увлечения бывали безответными, мне всю жизнь не везло в любви. А те немногие, которым я нравилась, как правило, были мне страшно неприятны. Так, дома у меня часто появлялся мой бывший одноклассник Юра Клочков, который очень грубо и неуклюже пытался за мной ухаживать, лез целоваться, предлагал руку и сердце. Я не могла даже превозмочь себя и сходить хоть раз с ним в кино или в театр. Когда я его окончательно и всерьез прогнала, он стал ходить к маме и беседовать с ней обо мне. Он просил у нее моей руки. Маме было очень приятно, что он приходит и говорит с ней, она бы рада была иметь его своим зятем. Он оканчивал тогда медицинский институт и долго еще ходил ко мне якобы для того, чтобы я ему помогала с немецкими переводами.

В институте я, несомненно, нравилась Сереже Цырину, «маленькому Пушкину», как я его мысленно называла. Но сердце его вообще было очень любвеобильно. Однажды, получив задание написать дома сочинение «Письмо», он рассказал вымышленному другу, что накануне был в консерватории и встретил там девушку, в которую влюблен. Дальше шло точное и подробное описание моей внешности и сетование по поводу того, что эта девушка такая застенчивая, а он не может осмелиться открыто признаться ей, потому что она по своему положению выше него. В сочинении не было ни единой грамматической ошибки. Описанная встреча в консерватории тоже имела место. Я не знала, что делать! Если я поставлю ему пять, этим я как бы поощрю подобные выходки. Если два, за дерзость, он сможет сделать удивленное лицо и сказать, что вовсе не меня имел в виду и как я могла такое подумать… И я не поставила ему никакой оценки. Он сразу с нетерпением открыл свою тетрадь… огорчение и недоумение: «А мне… вы ничего не поставили!» «Неужели? — притворно удивилась я. — Как же это я забыла! Я уже не помню, о чем вы там писали, покажите-ка. Ошибки ни одной не помечено на полях — значит, наверное, пять». Потом, когда я уже не вела в его группе занятий, у нас с этим некрасивым, но обаятельным мальчишкой установились хорошие дружеские отношения, он даже иногда забегал ко мне домой, садился за пианино, играл что-нибудь бурное и романтическое и убегал. Он рассказывал мне, с кем из девочек в данное время дружит, и, к стыду моему, в глубине сердца шевелился вечный мучитель мой — червячок ревности…

Но бывало и другое. На одном из вечеров я отказалась пойти танцевать с подвыпившим Толей Ананьевым из афганской

группы, и он устроил при всех сцену — встал на колени, а когда я ушла в раздевалку, побежал за мной, дергал меня за руки, чтобы я не уходила, и объяснялся в любви. Мне было очень неловко. Но на следующий день, раскрыв после уроков его тетрадь с домашним заданием, я нашла письмо, написанное почти без ошибок. В нем он очень мило принес свои извинения. Я порвала это письмо и только, возвращая ему тетрадь, сказала: *«Everything is all right»* (все в порядке).

Еще был в группе хинди Ваня Егоров, он часто поджидал меня после уроков и звал прогуляться через парк. Я в таких случаях всегда спешила на трамвай.

В студентов влюблялась не одна я. Правда, чаще бывало наоборот: почти за всеми моими молодыми коллегами, замужними и нет, ухаживали студенты, и все рассказывали друг другу о своих «победах». В Таню Барышникову без ума влюбился мой студент Женя Хазанов — до такой степени, что на улице вставал перед ней на колени и плакал; Таня относилась к его чувствам с большой иронией, Женя мало интересовал ее, потому что она в то время переживала бурный роман со случайно встреченным старым знакомым. Два года она летом ездила с ним в Крым, он боготворил ее, а она как-то по дороге домой через парк остановилась и сказала мне: «Пожалуйста, посмотри на меня — перед тобой стоит самая счастливая женщина на свете! Я счастлива, счастлива, как никогда в жизни, я никого так не любила, как Николая! Но я боюсь, что такое большое счастье не может долго продолжаться». Она оказалась права, хотя разрушила это счастье сама. Николай хотел жениться на ней, но ставил условие, что она должна переехать к нему, а жил он в квартире с матерью. Таня же была тверда — со свекровью она жить не будет, и пусть он выберет — или она, или мать. После долгих и бурных объяснений он от Тани ушел. Она была глубоко несчастна. Позже она от кого-то узнала, что, по иронии судьбы, мать Николая через год после этого умерла.

Левка

Недели на две к нам в то лето опять приезжал дядя Исаак. Он совсем замучил маму, посылая ее каждое утро на рынок за свежим творогом. Правда, он и смешил нас часто до слез своими шутками. На этот раз он привез с собой еще и сына, четырнадцатилетнего Леву. Это был очень общительный и практичный мальчишка. Со всеми он заводил знакомства, даже ходил беседовать о чем-то с продавщицами Резинсбыта на углу и

однажды вернулся домой с теннисным мячиком — это был, как теперь бы сказали, большой дефицит, но продавщицы подарили его Левке, достав из-под прилавка. Мы с Ирой брали Леву с собой в Ильинское. В Усове он попросил у нас денег купить воды в буфете, но вместо воды напился пива и всю дорогу потом кувыркался по вагону и делал попытки выпрыгнуть на ходу из поезда. Мы замучились с ним. Я повела его в ЦПКиО.

Когда мы дошли до прудов в Нескучном, я его вдруг потеряла, а потом увидела мальчика внизу, у воды, беседующего о чем-то с мужчиной, выдающим по билетам лодки. Денег у Левки не было, билета он купить себе не мог, тем более что и очередь в кассу была большая, но в следующее мгновение он уже сидел в лодке. Отыскал меня в толпе над пристанью и помахал мне рукой. Я не спускала с него глаз: грести он явно не умел, видимо, это было его первое плаванье, и я боялась, что он перевернет лодку и утонет, что я тогда скажу его отцу? Я была очень зла на парнишку. Нам уже было пора возвращаться домой, а он все кружил по пруду. И в какой-то момент я вдруг потеряла его из виду. Только что лодка с ним скрылась за островком, но с противоположной стороны она не появлялась. Она исчезла. Сердце мое страшно заколотилось. Что делать? К кому обратиться? Он же и билета не брал, и номера лодки я не видела. В тревоге я обежала вокруг пруда, не спуская глаз с поверхности воды, — Левы и его лодочки не было. Потоптавшись еще немного над пристанью, я пустилась бежать к выходу из парка, а по дороге думала: куда бегу? зачем? Лишь бы не стоять сложа руки. Я же не могла поехать домой без него. Может быть, у входа в парк можно обратиться к кому-нибудь, попросить, чтобы по радио объявили о пропаже мальчика… У самых ворот мне навстречу шагнул — руки в карманах — бесконечно улыбающийся Левка. Я готова была расцеловать и убить его одновременно, но он очень удивился тому, что я сержусь. «Где я был? Ну, я покатался и вернул лодку этому симпатичному мужичку. И я не забыл ему спасибо сказать, — добавил он. — Тебя уже не было, и я думал, ты уехала домой». «Как же я могла бы одна! Ты лучше скажи, что бы сделал ты, если бы не встретил меня?» — «Ну, я же знаю, что мне нужно на Колхозную площадь. И, кажется, мы приехали сюда на троллейбусе Б. Я бы у людей спросил…» Да, конечно, Левка не пропал бы. Сейчас он уже дедушка. Он уважаемый на заводе старший инженер, лет десять тому назад переехал из родного Сумгаита в подмосковный Воскресенск, так что мы иногда видимся.

Леля

Периодически в моей жизни появлялась Ляля, теперь — жена Леонида И., но она из уважения к отцу сохранила его фамилию. Она переехала с Гагаринского в коммунальную квартиру в Малом Могильцевском переулке, и я раза два у нее побывала. Она рассказывала мне, что стало известно: отца ее в 1937-м арестовали по ложному доносу группы ленинградских ученых, позавидовавших выдвижению его в академики. Теперь ее отцу присудили Сталинскую премию (работа его была связана с обнаружением залежей урановой руды), ему неоднократно предлагали вернуться из Красноярска в Москву, но он наотрез отказывался. «Я хочу заниматься наукой, а не интригами, — заявил он, — и здесь, в Красноярске, мне никто не будет мешать». Лялина мама и младший брат по-прежнему жили вместе с ним в Сибири.

Жизнь страны

Какова была жизнь в те годы? Не помню уже точно когда — кажется, в самом конце 1947 года — были отменены продуктовые карточки, и примерно в это же время случилась денежная реформа: старые деньги были обменены на новые, если я не ошибаюсь, 1:10. Деньги же на сберкнижках обменивали 1:3. Все довоенные облигации займов заменили единым займом 1947 года.

Продуктов в Москве хватало. В витринах гастронома напротив наших окон стояли пирамиды из банок с крабами, было очень много сортов колбасы и сыра. На улицах везде появились небольшие лотки, с которых продавали поштучно конфеты, тоже в большом ассортименте. Одна из таких торговок сладостями обосновалась прямо у нас под окном. Два раза в год объявляли о снижении цен. Из записей в моем дневнике (правда, уже 1950 года): «Вчера объявили о снижении цен. Левитан торжественным голосом (таким, каким раньше говорил: «Вечная слава героям…») перечислял: «Ноги, головы, печенка и другая мелочь…» А сегодня бабы обрушились на магазины, хватают по пять буханок хлеба, будто месяц не ели ничего».

Все радовались и мысленно благословляли Сталина в полной уверенности, что хорошее — только от него. Это вообще были годы наивысшего его культа. Вместе с тем творились странные вещи: кого-то вдруг объявляли космополитом и увольняли со службы, даже ссылали. Был запрещен писатель А. Грин (отъявленный космополит), космополитом также оказался профессор Звавич (читал курс географии зарубежных стран!), его

выслали в Казахстан. Композитор Хайт, автор песни «Все выше…» — опять же космополит (применил в песне синкопы, совсем не свойственные русской музыке). В газетах появлялись разгромные статьи. Очень вознесся Жданов, от которого и исходила эта травля «космополитов». Потом возвышался некий академик Лысенко, а другие, выдающиеся биологи стали «вейсманистами-морганистами». Они делали опыты с «какими-то мухами дрозофилами», когда надо было новые сорта пшеницы выращивать. Травля опять разрослась до гигантских размеров. Некомпетентные люди верили в правоту лысенковцев, потому что противной стороне не давали сказать и слова в свою защиту, так что все думали, что ей просто нечего возразить.

В кино шли трофейные ленты — сентиментальные, пошленькие сюжеты с участием известных оперных певцов. Из русских — слабенькие биографические «Глинка», «Мусоргский» да цветное «Сказание о земле Сибирской», которое пользовалось успехом у публики.

В ЦПКиО одна за другой в деревянных павильонах устраивались иностранные промышленные выставки: венгерская, финская, чехословацкая. Народ шел туда толпой и втайне завидовал обилию выставленных там красивых вещей. Мы с мамой тоже ходили, смотрели и покупали мыло, блокноты. С промтоварами у нас все еще было плохо.

Как мы одевались? Еще держалась мода на подложенные плечики, шляпы были модны велюровые, с вуалетками. На смену «паутинкам» пришли чулки капроновые, совсем прозрачные. Но в дождь все по-прежнему ходили в галошах, и для зимы еще не придумали сапог. Ходили, как до войны, в черных резиновых ботинках с бархатными отворотами и металлическими пряжками. Во всех гардеробах под вешалками для пальто обязательно были специальные ящики для галош и бот. Стали появляться разных фасонов довольно грубые хлорвиниловые сумки, для нас они были очень удобны — туда умещались все тетради и учебник, и выглядели они приятнее портфелей.

800-летие Москвы

Описание событий 1947 года будет неполным, если не сказать об одном необычном празднике: 7 сентября отмечалось 800-летие Москвы. Я купила себе на улице с лотка сиреневую пластмассовую круглую коробку для ниток с надписью «Москва-800», потом, в Сокольниках, красную пластмассовую же пудреницу с такой же надписью. На работе мне выдали медаль,

тоже в честь этого юбилея.

Не помню, почему мы с мамой оказались в тот день одни, но мы решили вдвоем пойти вечером гулять по Москве. Мама еще испекла два пирога: один с яблоками, другой со сливками; на одном она выложила из теста «Москва», на другом — «800». Попили мы чаю с этими пирогами и отправились к центру. На улицах были большие толпы народу. Помню, что на площади Революции у «Гранд-отеля» мы впервые после довоенного времени увидели продавщицу, торгующую пирожками (без карточек!) Они были дорогие, но мы купили себе по штуке. Все контуры кремлевских стен и башен, а также наиболее значительных зданий были обвешаны маленькими лампочками; город стал будто сказочным, и было очень светло. Потом начался фейерверк, вместо обещанных двадцати залпов их было бессчетное количество; мы успели дойти до Кропоткинских ворот, а все еще стреляли…

Желтуха

Немного позже я заболела желтухой. Два дня я ничего не могла есть, потом вечером стало плохо, поднялась температура. Наутро было лучше, но я увидела, что вся стала желтого цвета. Я пошла в поликлинику, и на вопрос врача, на что я жалуюсь, сказала: «У меня, наверное, желтуха…» В ответ эта женщина обрушила на меня гневную тираду: взяли люди моду сами себе ставить диагнозы, зачем тогда вообще к врачу идут, если больше него понимают, и т. д. «Доктор, — сказала я, — вы хоть посмотрите на меня». Она наконец подняла на меня глаза и сразу вскочила, стала ощупывать мою печень. И снова начала на меня кричать: как я могла встать с такой болезнью, почему не вызвала врача домой… Мне было велено лежать в постели и не вставать несколько дней.

На следующий день ко мне ввалились почти все мои «бенгалята» и застали меня растрепанной, лежащей в стареньком халате, — мне было очень неловко перед ними. «Что с вами?» — «Воспаление печени: видите, я желтая». — «Лора Борисовна, а мы еще на уроке позавчера заметили, что вы желтая», — сказала Рита. Сережа вдруг рассмеялся своим «бу-а-хо-хо-хо», потом сразу сделал грустное лицо и извинился. В это время вошла мама и встала, облокотившись на подножье моей железной кровати. Она вообще всегда любила присутствовать при всех моих разговорах с подружками, а в этот день, видя, что у нас наступило минутное молчание, решила оживить ситуацию. «Да, Лорэ заболела, —

сказала она, — не слушается никогда меня и не кушает как следует. Она пришла из свой работа и вдруг вырвался [в смысле, ее вырвало]. Женя сказала — Лорэ, надо температур померить…» — и дальше в том же духе. Я не знала, куда деваться от стыда, мне захотелось никогда больше не встречаться со своими любимыми студентами. Они сидели и слушали маму с большим интересом. Когда они ушли, я сказала маме, что для студентов я не Лорэ, а Лора Борисовна и что им совершенно не обязательно знать, что я «вырвался». Но мама не поняла, почему я на нее сержусь.

Кажется, в ту же осень арестовали мужа Иры Леню Финкельштейна. Он учился на третьем курсе МАИ и подрабатывал фотографией: ездил по подмосковным деревням и снимал колхозников с семьями. Это очень хорошо оплачивалось, и Леня совершенствовал свое ремесло — продавал на Тишинском рынке один аппарат и покупал новый, лучшей марки, «трофейный», там же покупал из-под полы хорошую заграничную фотобумагу — он уже знал тех парней, у которых можно было купить то, что его интересовало. И вот однажды эти ребята под каким-то вымышленным предлогом попросили Леню взять к себе домой чемодан и подержать его несколько дней у себя. В этом чемодане якобы были фотопленки, бумага и два увеличителя. Леня согласился, а когда он входил с чемоданом в свой подъезд, к нему сзади подошли и положили руку на плечо. В чемодане оказался краденый сахарин, которым спекулировали те парни. Леню судили и приговорили к десяти годам заключения. Года через полтора Ира решила развестись с ним и отдала маленького Толю на попечение Лениным родителям. В то время Ира бросила МГПИИЯ и училась в педагогическом институте на вечернем истфаке, а днем работала там машинисткой. Тетя Меля в то время уже перебралась из Чкалова поближе к Москве (ей было разрешено приблизиться к столице, но оставаться за пределами Московской области), и она поселилась сначала в Петушках, потом переехала еще ближе, в Покров, и работала там счетоводом. Время от времени она тайком приезжала в Москву, чтобы купить себе что-то необходимое вроде резиновых сапог или продуктов, и останавливалась всегда у нас. Тогда были очень строгие правила относительно прописки: всякого приезжего надо было регистрировать в домоуправлении, а если он жил больше трех суток, временно прописывать. Бывали кое-где и ночные проверки: не спит ли где кто-нибудь непрописанный. Наша соседка как-то сказала маме: «Вы смелая женщина, Марга Юльевна. У вас иногда ночует ваша Меля, мы же знаем, кто она

такая. Вы не боитесь, что мы заявим на вас в милицию?» Мама ответила: «Нет, я не боюсь. Я верю, что вы все-таки порядочный человек. И вы знаете, что Меля не преступница и не враг народа, ее надо жалеть».

1948 год

Чем дальше идут годы, тем они летят быстрее — впечатления уже не так свежи и глубоки, как в детстве, когда все ново, и часто многое оказывается смазанным в памяти. Наверное, я допускаю много неточностей.

Кажется, именно 1948 год я встречала в мрачной подвальной квартире где-то недалеко от Сущевского вала. Там жила с родителями Людина подружка Нина, и мы одновременно с Новым годом праздновали ее свадьбу с Людиным братом Юрой. Юра был на год моложе сестры, в 1941-м ушел на фронт добровольцем и всю войну прослужил на военном аэродроме, где устанавливал и чинил радиоаппаратуру. Практику он прошел там такую, что, вернувшись из армии, не пошел никуда учиться, а устроился на авиационный завод, где сразу стал очень хорошо зарабатывать.

Он приходил чинить мне радио и научил танцевать модный в то время танец «линду», который многим казался неприличным, а на самом деле был просто необычным и озорным. Нина, невеста Юры, была недурна собой. Она училась в Торфяном институте, а с Людой познакомилась в театральной студии при клубе «Правды». Там она играла главные роли в спектаклях и даже давала сольные вечера (помню, например, ее мелодекламацию по «Пиковой даме»). Родители ее были малограмотны и жили в нищете, но свадьбу сыграли «богатую» — было человек тридцать гостей и обильное угощение. Мы шли туда втроем — я, Люда и ее бывший сосед Дима. По дороге думали, как лучше поздравить новобрачных. У Димы оказался прекрасный голос, и мы решили спеть. Общими усилиями мы вспомнили слова всех трех куплетов эпиталамы из оперы «Нерон» Рубинштейна и орали ее во всю глотку, на удивление прохожим. Позже, за столом, когда настала наша очередь поздравлять, мы встали и торжественно начали: «Пою тебя, бог Гименей…» и так далее. Но, когда мы дошли до слов «Слава и хвала Ни-и-не и Юре», то Дима, то ли под влиянием уже выпитого вина, то ли по рассеянности, вдруг переключился на «Князя Игоря» и грянул своим прекрасным басом: «Слава князьям нашим, слава, слава, сла-а-ава!» И мы почему-то тоже сразу уверенно подхватили, будто так и полагалось.

Люда давно забросила скрипку и года три занималась

танцами, выступала в танцевальном ансамбле при клубе МИДа (она работала в Бюробине[67]) и одновременно ходила в драматическую студию Дома культуры «Правда», но к актерскому искусству у нее данных не было совсем, к тому же она довольно сильно заикалась. Зато через эту студию она нашла себе мужа: еще до конца войны руководитель студии дал ей фронтовой адрес своего племенника, молодого врача, и они переписывались. После войны Сергей Л. приехал. Он оказался очень интересным внешне и широко образованным молодым человеком, и они с Людой сразу же расписались. Свадьбы не устраивали, и Сергей вскоре опять уехал — какие-то дела у него были в Риге. Он начал писать диссертацию и собирался быстро сдать кандидатский минимум. У меня с ним сразу возникла взаимная симпатия, и мы переписывались. Письма его были очень интересные, живые, блещущие эрудицией и остроумием. Я их, разумеется, все давала читать Люде, она находила, что они интереснее и длиннее адресованных ей, находила это с некоторой обидой в голосе, хотя вообще-то уверяла, что Сергей ей не подошел и она с ним разведется. Что и сделала в конце года. А пока она завела у себя кружок: я, она, студент Юра из пединститута, землемер Толя Алов, очень хорошо знавший поэзию не из школьной программы и влюбленный в актрису Тарасову (позже — в Вертинского), был еще кто-то, кого забыла. Целью наших собраний (всегда в тесной комнатушке Люды на Садовой-Самотечной) было знакомство с нашим творчеством. Так, Юра приносил на наш суд свои рисунки и карикатуры, Толя пел, мы читали стихи — свои и известных поэтов. Продержался наш кружок недолго, да и собирались мы не каждую неделю, как было задумано. И только Толя Алов еще долго после этого изредка вечером заглядывал ко мне. Он пил у нас чай и с удовольствием играл с мамой в шахматы. Со мной он делился своими увлеченьями, всегда неудачными, он вообще был какой-то надломленный, и мне казалось, что после разговоров со мной ему делалось легче на душе — он видел, что я его понимаю. Однажды он даже попросил у меня автограф, и мне пришлось, чтобы ублажить его, расписаться после известных актеров и актрис в его специальной книжечке. В другой раз он рассказывал мне, как пробовал курить опиум. После 1950 года он совсем исчез из нашего поля зрения. От кого-то Люда потом услышала, что он уехал в Сибирь и женился там на женщине старше его, тоже геодезисте.

Еще осенью 1947 года Яша Островский дал мне возможность немного подзаработать. Он давал уроки английского языка аспирантам и сотрудникам одного НИИ и устроил туда меня с

немецким языком. Обстановка там была приятная: симпатичные ученики и заведующая аспирантурой Надежда Рославец. Институт был засекреченный, находился у Красных Ворот, в особняке, когда-то принадлежавшем фон Мекку[68]. Особняк был импозантным, вестибюль весь в витражах, мраморная лестница. Выше этого вестибюля я, правда, не поднималась (аспирантура и лаборатории помещались в современном шестиэтажном корпусе), я ходила туда только в кассу за зарплатой. Но рассказывали, что в кабинете директора всю стену позади его письменного стола занимала фреска с такими соблазнительными обнаженными дамами, что посетители, раскрыв рот, глядели только туда и забывали, зачем пришли.

В 1948 году в аспирантуре НИИ произошло событие, поразившее всех. В один из дней заведующая не вышла на работу. Женщина она была одинокая, страдала базедовой болезнью, лет ей было уже за пятьдесят, поэтому когда она не пришла и на следующий день и притом не позвонила, все стали беспокоиться. На третий день один из сослуживцев пошел ее проведать, ее он дома не нашел, но то, что ему рассказали соседи, было совсем как в 1937 году: очень рано утром за ней приехал «черный ворон», Рославец арестовали, и больше мы ее не видели. На место заведующего определили ее заместителя, тихого, скромного пожилого мужчину.

Я проработала в этом НИИ года полтора, два раза в неделю ходила туда вечерами, и добавочные деньги, которые я там зарабатывала, позволили мне купить себе ручку-самописку и приличные туфли (на Преображенском рынке, с рук). Мама стала выделять мне деньги, чтобы я немного приоделась. До этого я донашивала еще довоенное, а на вечера приходилось одалживать платья. Для меня это было унизительно, тем более что ее вещи сидели на мне плохо: талия ее была уже моей, грудь и бедра гораздо шире, поэтому что-нибудь всегда держалось на булавках, и я не шла танцевать, боясь, что уколюсь или порву платье. Теперь портниха сшила мне целых три крепдешиновых платья, вернее, перешила из старых, привезенных еще тетей Анни, и Наташиного «выпускного», подаренного Анной Васильевной. Но выглядели они модно, с хорошо подложенными плечиками.

1 июня я позвала много гостей, почти как в 1945 году. Были все те институтские подружки, которые оставались в Москве, Ира со своим знакомым, Люда с мужем, Майя с Яшей, Анной Моисеевной и молодым приятелем Феликсом Карелиным, Таня Барышникова и не помню кто еще. После ужина мы танцевали под принесенный кем-то патефон, как в детстве, выбегали в наш темный двор. Помню, я порвала новые чулки-паутинки, и посреди

двора меня потом целовал этот Феликс, который мне вовсе не нравился. Кстати, подарил он мне очаровательного игрушечного ежика, совсем не колючего, а шерстяного, мягкого, с милой мордашкой.

Мне было двадцать пять лет, и мне предстояло прекрасное лето в деревне Берниково.

Лето в Берникове

Достать билеты на поезд в то время было неимоверно трудно. Помог Яша, который пошел к начальнику вокзала со слепой Анной Моисеевной и какими-то справками, сказал, что она слепая поэтесса из Ленинграда, а мы трое (он, Майя и я) — представители ленинградского отдела Союза писателей, ее сопровождающие. Нам выдали без очереди четыре билета.

Мы ехали всю ночь, а утром нас на станции Зубцов встретил хозяйский сын, пятнадцатилетний Витька, с подводой. Мы погрузили на нее вещи, посадили туда же Анну Моисеевну и для поддержки ее и вещей Яшу. Витька и Майя пошли рядом с лошадью, а я сзади — следить, чтобы ничего не упало. Добираться по проселочной дороге было гораздо дольше, чем берегом Вазузы и потом Волги, но вдоль берега шла лишь узенькая тропиночка, да еще по бывшей каменоломне. Общительная Майя сразу завела беседу с Витькой, расспрашивала его про лошадь, я не все из их разговора улавливала. «Что ж она у тебя такая растрепанная? — услыхала я. — Ты за ней не присмотришь, не причешешь ее…» После чего подвода остановились, а Майя достала откуда-то расческу и стала расчесывать коню челку. Лошади это было явно приятно, а Яша так же явно кипел от досады. «Что она, в самом деле, под девчонку колхозную подделывается, с кем нашла общий язык», — бормотал он. Он вообще часто осаживал жену. Вспомнилось, как еще в прошлое лето она в новеньком красном цветастом халатике, который был ей очень к лицу, вскочила на пень и начала приплясывать: «Дики-дики-ду-у! Я из пушки в небо иду!» А он возмущенно прикрикнул на нее: «Майюся!! Ты забываешь, что ты теперь замужняя женщина и такое поведение тебе просто не к лицу!» «Представляете, — говорил он мне, — хозяйка спрашивает, как нас называть, и она говорит: «Майя!» Я сказал, что она Майя Георгиевна, а она смеется, говорит, ее так еще никогда не называли!»

Жизнь моя в деревне в то лето была прекрасна.

Хозяйка наша Гкатерина Егоровна была женщиной лет сорока, с лицом, морщинистым от тяжелого крестьянского труда, но, как говорится, «со следами былой красоты». Шла она всегда выпрямившись, как солдат, широко размахивая руками. Первый муж ее погиб в войну, младший сын года полтора назад подорвался на мине. (В тех местах шли долгие суровые бои, немцы держали противоположный берег Волги, наши окопались на высоком Берниковском. Отступая, фашисты заминировали за собой все поля, и даже в то лето 1948-го нет-нет да и слышались за Волгой взрывы. «Опять корова какая-нибудь на мину наступила, — говорили крестьяне, — а может, и пастух. Високосный год!») Екатерина Егоровна вышла замуж во второй раз. Муж был намного старше ее и болел чахоткой. Целыми днями он только сидел да грелся на солнышке под березой. У него было четыре дочери; младших девочек сдали в детдом, а старшие, Маня и Нюшка, жили здесь. Екатерина надеялась, что они будут ей подмогой в хозяйстве. Нюшка действительно кое-что делала по дому, только и слышался ее громкий гнусавый голос. «Ирод проклятый, Наполеон!» — орала она на непослушного петуха. Маня же была девочкой тихой, заторможенной и страшно ленивой.

С дачников Екатерина Егоровна брала по 100 рублей за сезон, и это было очень дешево, тем более что Яша включил сюда и пользование хозяйским огородом. Правда, ходить в этот огород мы стеснялись. Яша если и брал оттуда изредка морковку или два-три огурчика, то делал это, когда хозяйки не было дома. Он выносил эти овощи за пазухой, воровато оглядываясь по сторонам.

Помимо нас в тех же местах жили знакомые: в доме напротив Майина однокурсница Наташа Унтилова с мужем, поэтом и переводчиком Даном Седых (тоже, как Яша, лет на четырнадцать старше своей жены); у них была девятимесячная дочка и при ней хорошенькая юная няня-молдаванка. В соседней деревушке Пищалино жили Яшины родственники — его племянник Юра Кузес, студент журналистского факультета, его сводная сестра Ася и еще кто-то из старшего поколения, преподавательница с нашей кафедры и Майин преподаватель языка фарси Жора Арсанис с женой и маленькой дочкой.

Я наслаждалась в Берникове полной свободой. Это было как летом 1940 года, только теперь вокруг меня были еще и интересные люди.

Я спала в большой, в три окна, двухсветной комнате, по которой по ночам бегал, как на высоких каблучках, еж. За печкой в маленькой комнатушке за дощатой перегородкой жила Анна

Моисеевна; Майя с Яшей спали на чердаке в сене. Все мои друзья и соседи любили долго спать, я же вставала рано и обязательно спускалась умываться к Волге. Между прочим, питьевую воду тоже брали из реки, такая она была чистая. «Витя-витя-витя», — пела в кустах чечевичка. Иногда встречался Витька с ведрами, и мне казалось, что это его зовет птичка. А в березах наверху свистела моя любимица иволга, и я каждое утро заслушивалась ею. На завтрак я ела творог со сметаной и зеленым луком — молочные продукты мы покупали у хозяйки или, чаще, в одной из соседних деревень, за остальным раз в неделю ходили на рынок в разбитый войной городок Зубцов.

Поставив в печку чугуны с кашей и супом, я отправлялась одна в ближние и дальние походы. Мне нравилось ходить одной, благо я знала, что стоит мне захотеть — и я могу быть в обществе. Где-то в глубине души я все-таки всю жизнь любила одиночество. Не навязанное и грустное, а избранное, когда кругом кипит жизнь, когда у меня есть возможность вернуться к людям, но они мне не мешают, — это мое представление о свободе. Вскоре я обследовала все большие и малые деревни в радиусе примерно шести километров: Лотовинино, Маловзино, Гармоново, Адуйцево. «Опять ходила в народ», — смеялись Анна Моисеевна с Майей и добавляли нецензурное слово в местном произношении.

Как-то раз я даже встретила волка. Я шла по лесной дороге в Гармоново. Вдруг шагах в двадцати на дорогу выбежала большая, с несколько облезлой шерстью, овчарка, посмотрела на меня и ушла в малинник. Я стала ждать, когда же появится ее хозяин, но никого не было. Тогда я вспомнила, что мы иногда вечерами видели, как светятся за полем волчьи глаза, вспомнила и недавнее сообщение, что около большой деревни Моловзино волки «зарезали» корову, что было для летней поры большой наглостью с их стороны. Без сомнения, мне тоже повстречался волк. В другой раз под вечер на тропинке, по которой я шла через поле, сидел большой заяц. Сидел и, казалось, смотрел прямо на меня. На самом же деле он, конечно, видел два отдельных мира по бокам, а меня не замечал. Я медленно и неслышно приближалась к нему, а он все сидел. Только когда я была уже шагах в шести от него, он чуть повернул голову в сторону, мгновенно прыгнул в рожь и пустился наутек.

Истинным бичом для меня в то лето были пчелы. По несколько ульев стояло в двух дворах в Берникове, но я знала, когда там берут мед, и старалась держаться от них подальше. Жалили меня несколько раз в Пищалино. Эта деревушка, всего три дома, была примерно в километре от нас; туда идти — только овраг малинный пересечь да небольшое голубое поле льна. Мы

часто там бывали, навещали знакомых дачников или смотрели, как под вязами вьют веревки из пеньки, а главным образом ходили покупать мед, потому что там жил старик — самый известный медовик в округе. Его-то пчелы на меня и нападали, один раз одна запуталась у меня в волосах и долго надрывно жужжала, прежде чем вонзила мне в голову свое жало — хорошо, Яша был неподалеку и вытащил его.

И все равно я была счастлива в то лето. Впервые, вдыхая все его запахи, я поняла, что люблю землю. Никто меня не видел, я легла прямо на дороге и поцеловала эту землю, пахнувшую, как мне казалось, спелым колосом и еще немного травами, навозом, сеном и бог знает какими еще ароматами.

С детства я любила камни и всегда собирала их, поэтому мне особенно нравилось бродить внизу, вдоль самой реки среди кустов по каменистой тропке. Каких только камней там не было. Вот на большом почти черном гладком валуне из углублений торчат желтоватые правильные шестигранные призмы кварца. Я отколола себе несколько штук. А вот маленький источник, крошечный ручеек пересекает тропинку, и на дне его — изумительная бледно-розовая глина. И ее тоже я набрала немного в спичечный коробок. Годами позже мне попалась книга Ферсмана[69], где он пишет о тех же местах и о красивых лиловых флюоритах, которые там обнаружил. Я прочитала о том, что это место вообще очень интересно. Тогда я, к сожалению, об этом еще не знала — брала что попадалось и специально ничего не искала.

Иногда я вместе со всей компанией ходила загорать. Шуткам не было конца. Я не любила долго лежать неподвижно и загорать после полудня и уходила домой обедать. Дан ворчал, что я несносная «режимочка», он подметил, что я встаю всегда намного раньше всех и обедаю примерно в одно и то же время.

— Не смейте уходить домой! — кричал он и бросался за мной вслед.

— Что он там делает с Лорчиком? Почему она так визжит и смеется? — спрашивала Анна Моисеевна.

— Дан раздевает ее, — поясняла Майя, — повернул ее вниз головой. Сарафан с нее снял, а сейчас несет сюда под мышкой!

Очень часто все ходили за малиной. Большой малинник находился километрах в полутора от деревни, он был в довольно открытом месте, и передвигаться по нему надо было осторожно: всюду под колючими кустами были ямы — остатки траншей, дзотов и взрывных воронок. Мы вешали себе на шею бидоны и обеими руками «обдаивали» кусты, при этом всегда напевали или насвистывали всякие песенки, чтобы знать кто где. Что делать с обилием ягод, мы скоро уже не знали. Ели свежие ягоды с медом,

со сметаной, со взбитыми белками, варили варенье, сушили в печах на огромных противнях, пекли пироги…

В кулинарном искусстве особенно изощрялась Наташа. «Это уже не Берниково, а Непомерниково», — приговаривал Дан, уплетая заливные бараньи ножки с пирогом. Правда, вообще-то питались мы не бог весть как. Было трудно с хлебом, но Яша с Даном ходили куда-то на мельницу и покупали там муку, а Анна Моисеевна ежедневно месила тесто.

В дождливую погоду и иногда поздно вечером все играли в покер. Майя и Наташа играли с азартом и никак не хотели заканчивать, мужья играли больше потому, что их забавляло наблюдать за женами. Наташа была отчаянная и всегда блефовала с невозмутимым видом. Оживленная, с блестящими глазами Майя просто рисковала. Помимо покера еще любили играть в папы-мамы, кроссворд и буриме. Народ собрался остроумный, всегда много смеялись. Не оставалась в стороне и Анна Моисеевна. Чтобы ей не было скучно, мы еще занимались чтением вслух. Дан взял в зубцовской библиотеке «Лунный камень» Коллинза, и какое-то время мы часам к четырем собирались на лужайке над оврагом и по очереди читали вслух. Каждый читал рассказ одного персонажа, стараясь делать это по возможности артистичнее. Читать книгу дальше в одиночку не разрешалось; Дан запирал ее на ключ у себя в чемодане. Таким образом, всем было одинаково интересно и читать, и слушать.

Иногда на закате мы усаживались на завалинке, и Дан тихо читал нам стихи из своего неопубликованного сборника «На задворках жизни». Стихи были хорошие, умные и — горькие. «Почему вы их не напечатаете?» «Не возьмут. Вот это напечатают, и денег я получу немало, — и он с иронией начал долдонить отвратительные вирши. — Это отрывок из кантаты «Урожай». Пишу на заказ, вместе с композитором Триодиным, скоро надо сдать». Действительно, Дан с свешивающейся из угла рта папиросой часами сидел рядом с мужем нашей хозяйки под березой и стучал на машинке. «Умный мужик этот дядька, с ним интересно беседовать, — говорил Дан, — но он долго не проживет и знает это. И Катерина ваша очень умная женщина. Говорю ей: вот, на кулаков батрачили, а теперь ты в колхозе бригадиршей, ведь здорово это, у тебя, наверное, чувство — все теперь мое, все поля и скотина. А она только рукой махнула: что вы, говорит, нам, крестьянам, все едино, что царь, что помещик, что колхоз да коммунизм, нет нам разницы, что на тех, что на этих — работай да работай, что капиталистам лен трепать, что колхозу; тяжелый труд, и ничего мы за это не имеем. Это, говорит, только вам, городским, интерес есть в политике».

Вместе с пищалинскими дачниками мы затеяли устроить шашлык с шурпой. Все начали готовить с вечера: замочили мясо в маринаде, долго выбирали место для костра. На следующий день с утра все возились — кто варил и жарил, кто стелил скатерти снизу под кустами и носил посуду День был теплый, несколько душный, и с утра небо было затянуто белой пеленой. Вид неба мало кого тревожил, но только мы съели первые ложки шурпы, как вдруг закапал дождь и быстро разошелся до настоящего ливня. Посуду покидали в скатерти и одеяла, все взялись за их концы и начали спешно карабкаться наверх. Яша нечаянно отпустил свой конец, и миски с шашлыком выкатились в мокрую траву.

Дома все прежде всего сняли с себя мокрую одежду; потом съели что осталось от шашлыка. Жоре Арсанису переодеть было нечего; он остался в трусах и вскоре начал всех развлекать. Схватил подушку, надел ее на голову в профиль: «Наполеон I!» Повернул ее на девяносто градусов: «Фридрих II!» Притом он принимал соответствующие позы. Затем выпросил у кого-то из женщин желтый сарафан, надел его, а голову кокетливо повязал пестрой косынкой с бантом впереди.

Дождь к тому времени кончился, выглянуло солнце, и на дороге показалась группа зубцовских девчат, они шли из малинника с полными корзиночками и бидонами, очевидно, переждав дождь где-нибудь под деревом или в избе. Увидев их, Жора одним прыжком выскочил из окна, перемахнул через заборчик и, вопя фальцетом: «Девьки-и-и! Подождите меня!» — ринулся за этими девчатами. Раздался дикий визг, девушки побросали свои корзинки с ягодами и бросились врассыпную, а мы держались за животы от смеха. Жора был смуглый, носатый, из-под желтого сарафана торчали длинные костлявые волосатые загорелые ноги, все это в сочетании с пестрой косыночкой на голове выглядело невообразимо комично и абсурдно.

Еще запомнился день рождения Наташи, 24 июля. В подарок ей Майя испекла два пирога: один с малиной, другой с хамсой. Большое количество соленых рыбок наподобие килек принес из очередного похода в зубцовский магазин Яша. Рыбки были горьковатые, мутные на вид и почти несъедобные, но мы повтыкали их в пирог вместо свечек — 24 штуки, с цветочками кашки в мордах, а в середину воткнули еще одну, размером покрупнее, и уж той положили в рот красный цветок бальзамина. Кроме этого, мы общими усилиями с Майей и Анной Моисеевной сочинили целую поэму, в которой опять же фигурировала хамса. Пир у Наташи выдался на славу.

В середине августа ко мне приехала дня на три мама — ее

привез Яша, часто по делам бывавший в Москве. Мама получила большое удовольствие от собирания малины — это было ее любимое занятие вообще, а такого количества ягод, и притом рядом с домом (она ходила с утра пораньше в Пищалинский овраг), она в жизни не видела. Все три дня она только и делала что пропадала в малинниках. Обратно ехали с Яшиными племянниками, билетов в зубцовской кассе не было, и мы сели без билета в поезд дальнего следования. Все устроил Дан — он был так неотразим, что обе проводницы сразу влюбились в него. По его просьбе они уступили нам свое купе, и мы хорошо выспались, а сам Дан всю ночь балагурил с этими девушками в маленьком закуточке, где хранилось постельное белье. Он научил их играть в покер, рассказывал анекдоты, и они были счастливы.

Еще через несколько дней мы поехали навестить тетю Зину и вместе с Анной Моисеевной отправились в Ленинград. У тети Зины в комнате ничего не изменилось, только украли во время войны ширму с гобеленом. Сама тетя Зина выглядела больной и измученной; в этот приезд мы мало пообщались с ней…

Возвращаясь к берниковским делам — в конце августа муж Екатерины Егоровны умер в больнице, и девочки стали ей в тягость. Маню отправили к дальней родственнице в Калинин, учиться в ремесленном училище, а гундосую Нюшку Майя с Яшей решили взять к себе домработницей. Нюшка никогда раньше не бывала в Москве, да и вообще в большом городе, и ее поразило то, что все-все вокруг каменное, даже земли не видно. Надеясь со временем научить Нюшку готовить, Майя перед уходом на работу давала ей кое-какие задания по хозяйству: купить хлеба, почистить картошку, помыть посуду. Однако Нюшка, как правило, заданий этих не выполняла, ссылаясь на плохую память. Она сидела дома, листала журналы с картинками или спала и съедала большие количества сливочного масла, которого раньше никогда не видела. Поучать и ругать ее было бесполезно — она выслушивала все с олимпийским спокойствием, будто не с ней разговаривали. За месяц она располнела так, что ее было не узнать. Отчаявшись чего-либо от нее добиться, Майя отправила ее обратно в деревню. Она так и осталась жить при Екатерине Егоровне; та умела заставить ее работать, и Нюшке у нее жилось несладко.

Заседания…

Осенью на первом же заседании кафедры наша заведующая М. А. Ганшина дала мне задание: выступить с призывом ко всем

пойти учиться в вечерний Университет марксизма и сказать, что сама я уже записалась на эту учебу. Так было заведено: на собраниях всегда кто-нибудь выступал, как бы от себя, а на самом деле хорошо подготовленный кем-нибудь. Так, например, бывало каждый год в начале мая на общеинститутских митингах, когда кто-нибудь из сотрудников поднимался на трибуну и призывал всех подписаться на очередной заем в размере двухмесячного оклада, после чего никто уже не смел подписаться на меньшую сумму. Вообще, сколько времени за все годы моей работы было загублено на всевозможных собраниях, митингах и заседаниях, никому не интересных, не нужных, где все было решено заранее или зачитывались бесконечные скучные отчеты! При М. А. Ганшиной заседания кафедры тянулись особенно долго. Я даже сочинила куплеты, которые все распевали: это была переделанная из детской радиопередачи «Угадай-ка» песенка («Угадай-ка, угадай-ка, интересная игра, собирайтеся, ребята, слушать радио пора»): «Ах, кафе́дра, ах, кафе́дра, ох и скучная пора, собирайтеся, девчата, слушать Ганшину пора…» — дальше я не помню. Скука бывала такая, что половина преподавателей дремали, часть правили студенческие тетради, часть читали книгу или писали друг другу записки, а начальница наша монотонно бубнила что-то, тряся головой и часто поправляя пенсне.

Но я отвлеклась. Конечно, в Университет марксизма записались многие, и мы в течение двух лет вечерами учились. Каждую неделю у нас были две лекции в Доме ученых и семинар в помещении нашего института. Всего в нашей группе было человек тридцать, с нашей и других кафедр. Весной мы сдавали экзамены.

Олег

В сентябре 1948 года у меня появилась новая группа — хинди — и вместе с ней самое горячее увлечение, самая сильная любовь в моей жизни, снова совершенно безответная. В этой группе учился голубоглазый блондин с приятными, мужественными чертами лица (пожалуй, скандинавского типа), Олег С. Ни особым остроумием, ни талантами, как многие другие мои студенты, он не блистал. Учился он неплохо, но больше стремился к высоким постам на комсомольской работе, и многие считали его карьеристом. Конечно, он не мог не нравиться всем женщинам всех возрастов. Даже такая серьезная и принципиальная замужняя дама, как Нина Богданова, увидев его на экзамене, на котором она у меня ассистировала, спешно, прикрывшись сумочкой,

подкрасила губы и припудрила нос, а потом задавала ему игривые вопросы, явно кокетничая. Сам он кокетливым не был и даже редко улыбался, но я бывала счастлива уже от одного его взгляда. Войдя в аудиторию к его группе, даже не глядя в его сторону, чувствовала: он здесь, и на меня находило какое-то вдохновение, урок проходил живее и веселее, чем в моих других группах. Я считала дни и часы, когда снова его увижу. Мне нравился даже его почерк, и я вскоре научилась в совершенстве его подделывать: вот он читает мое замечание в своей тетради — видит ли он, что у меня такой же почерк, как у него? Конечно же, он этого вовсе не замечал. Как не заметил, что я весь урок не могу прийти в себя, оттого что он одновременно со мной взялся за ручку двери (опаздывал, бежал, хотел все-таки войти в аудиторию раньше меня) и нечаянно вместе с дверной ручкой схватил и мою руку. В актовом зале показывали американский фильм — мы иногда водили студентов на просмотры кино вместо занятий, — и получилось так, что мы в середине ряда оказались рядом. Он то касался меня рукавом, то убирал руку (совершенно бессознательно), а я чувствовала только прикосновение этого рукава и боялась пошевельнуться. Я совершенно не следила за тем, что происходит на экране…

Даже судя по тому, сколько стихов я написала в то время, это была пора настоящего вдохновения. Поэтом я не была, да и качество этих стихов (все — по-английски) было довольно низкое, но я могла проснуться ночью и обнаружить, что в голове у меня уже готовы строки, целые четверостишия, и я садилась, не зажигая света, чтобы не разбудить маму, и вслепую царапала на бумаге карандашом эти строчки. Еще я завела тетрадку, где каждый день записывала все, что узнавала о нем, все наши разговоры. Без конца я выводила «заветный вензель», как Татьяна, только в моем случае не «О да Е», а «ОС».

Конечно, я не могла скрывать от всех свои бурные чувства, кому-то я должна была их излить, с кем-то поделиться, поэтому о моих страданиях знали Таня, Лина Беляева и Оля Брянцева да еще наша лаборантка Мария Константиновна. Мария Константиновна вела в группе хинди английский язык на первом курсе и вполне понимала мои восторги. Она очень мило посмеивалась надо мной, декламируя своим прекрасно поставленным (она была когда-то актрисой) мелодичным голосом «Страдания молодого Вертера», «И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор…» или, совсем некстати, «Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым…»

Ей было уже за пятьдесят, и она могла себе позволить, например, такое: подстережет его в коридоре перед дверью

кафедры и томным голосом говорит: «Ах, Олег, здравствуйте, какая приятная встреча. Дайте мне, пожалуйста, закурить…» Потом она непринужденно беседует с ним, зная, что я подсматриваю в щель и подслушиваю, а я думала: хоть бы быть мне старой, что ли, чтобы вот так же свободно разговаривать с ним…

Я стою у большого окна кафедры, и Мария Константиновна говорит: «Надо сложиться всем, Лорочка, и купить вам бинокль, чтобы вы уже издалека видели, как ваш *Complex Object* подходит к калитке». Это она придумала ему такую конспиративную кличку из области английской грамматики (С. О. — его инициалы), и скоро все на кафедре, кто знал, да и я тоже в разговоре с другими, стали его так называть.

«Лина, — говорю я на одном из наших семинаров по марксизму, — там внизу в стенгазете есть фотография, где он стоит с группой ребят, с которыми ездил в Ленинград. Пойдем со мной после семинара, пройдемся по коридору, я еще раз взгляну…» И спокойная, рассудительная, старше меня на пять лет Лина совершенно неожиданно совершила что-то наподобие подвига. Когда все спустились в гардероб, она подошла со мной в полутемном коридоре к газете и вдруг протянула руку и молча решительным движением дернула фотографию вниз, отодрав ее вместе с полоской стенгазетной бумаги. Я от счастья расцеловала Лину. Олег на фотографии вышел совсем плохо, но это был он, и я хранила сокровище в своей зачетной тетрадке, пока у меня не появились другие, лучшие его фотографии. Но это уже было в 1949 году…

1949 год

Этот год начался с того, что мама уехала погостить к тете Матильде в Баку Она пробыла там две недели, побывала у всех родственников, посмотрела на двухмесячную дочку Жени и привезла мне подарок от тети Матильды — колечко с бриллиантом. Я совершила нехороший поступок в связи с этой поездкой — не поехала встречать маму на вокзал. Поезд прибывал в половине восьмого, мне надо было на работу к половине девятого, и я бы, конечно, успела, но… первый урок у меня был в группе хинди, и я боялась опоздать, если поезд задержится. Разумеется, я могла бы позвонить в институт и отпроситься, что я и сделала бы, будь у меня другая группа. Мама очень обиделась, не подействовало на нее и то, что дома я красиво накрыла стол к завтраку и купила ее любимый торт

«Сказка». Долго не могла мама забыть этой обиды.

В общем же год этот начался для меня неплохо. Денег у меня благодаря работе в НИИ стало больше, и я решила поехать куда-нибудь на юг. В институте как раз продавались путевки в санаторий «Лазаревское», и я купила себе одну. О Лазаревке я наслушалась от одного из моих студентов, Леши Гаретовского, который три года подряд проводил там лето и расхваливал эти места. Вместе со мной путевку купила Лера Филиппович, и я была очень рада, что еду не одна. Лера была моложе меня на два года, хорошенькая сероглазая блондиночка, похожая на мою лагерную подружку Валю. У нее были муж и дочка. На юг она ехала второй раз в жизни — в детстве она была раз в Анапе, но плохо помнила все, так что для нее эта поездка тоже была интересным событием.

23 мая я принимала после уроков у Олега домашнее чтение. Я нарочно растягивала это удовольствие — был такой чудесный теплый ветреный день, за открытым окном шелестела листва, и мне очень хотелось подольше побыть с ним наедине. И вдруг он вытащил откуда-то из-под стола фотоаппарат. «Дайте-ка я вас запечатлею!» — сказал он и снял меня, глядящую на него влюбленными глазами.

Лето. Лазаревское

Потом, после экзамена, группа подарила мне цветы и пригласила прогуляться до метро через парк. Олег и Женя Филюшкин были с аппаратами и все время нас фотографировали. На одной из фотографий Олег стоит рядом со мной, я потом взяла эту фотографию с собой на юг и поставила на тумбочке. По дороге через парк все говорили о своих планах на лето, спросили и меня, и я сказала, что в июле поеду в Лазаревское.

Перед нашим отъездом мы часто общались с Лерой. Вместе покупали билеты на поезд, приводили в порядок гардероб. Тетя Люба дала мне свое старое платье из полосатого шелка-полотна, и я перешила из него новое, а еще купила соломенную шляпу с красивой лентой. Лера сшила себе сарафан из очень модного в то время штапельного полотна и перекрасила в синий цвет австрийские босоножки. Она была одета лучше меня, но меня это не волновало. У меня было прекрасное настроение, даже с Олегом все было не так уж плохо, и у меня были те фотографии… Накануне отъезда мы у Леры гадали на пластинках — с закрытыми глазами вытаскивали одну из стопки, ставили на патефон и пытались понять, что это могло обозначать. Помню, у

меня вышли «Лунная рапсодия» и «Что-то я тебя, пеструха, долго не пойму…»

Наконец наступил долгожданный вечер отъезда 12 июля. На каждой станции мы выходили на перрон, покупали книжки и журналы, в Харькове даже поели щей. Лера была очень общительна и словно притягивала к себе людей — к концу поездки мы знали почти весь вагон. Два молодых летчика уже ухаживали за Лерой, в нашем отсеке все время сидели старые и новые Лерины знакомые, среди них студентка консерватории, которая училась у профессора Цуккермана. Она рассказала, что у него молодая жена, а вообще-то в него влюблено много студенток, да и он тоже любит поухаживать. Я с интересом слушала эти сплетни.

В Лазаревку мы прибыли рано утром. Нас послали в душ, а потом мы еще долго сидели в холле и ждали, когда нас распределят по комнатам. Вышла некоторая заминка, так как выяснилось, что путевок продали больше, чем было мест. Мне очень хотелось поскорее увидеть море. Я схватила за руку Лёдю, девочку тринадцати лет, с родителями которой только что познакомилась, и мы побежали вниз через парк по широкой пологой лестнице, к самому берегу. Плеск волн, опьяняющий запах — у меня дух захватило от радости, не верилось, что это не сон! Когда мы вернулись, ситуация несколько прояснилась: семейным дали комнаты в одноэтажных деревянных коттеджах в парке, а всех одиноких женщин разместили в главном корпусе на втором этаже, в бильярдной. Бильярдные столы оттуда вынесли и поставили 12 кроватей. Наверное, можно было пошуметь и настоять, чтобы нас оттуда постепенно расселили в освобождающиеся спальни, но это никому не пришло в голову. Мы так и прожили все 24 дня в этой бильярдной и были счастливы.

После завтрака девушки показали нам полочку под зеркалом в столовой, куда клали письма отдыхающим. Не знаю почему, но я подошла близко к этой полочке и бросила беглый взгляд на разбросанную там почту. Вдруг меня как огнем обожгло, и сердце готово было выскочить из груди: там лежала открытка, адресованная мне. Написанная почерком Олега С.! Ничего не было особенного в этой открытке, он даже не написал «дорогая» Лора Борисовна», но для меня она была как объяснение в любви. В конце подписано: «Ваш О. Б.» — бог мой, как еще он мог закончить свое послание, — но я придала этому «ваш» значение совершенно необычное: он мой! И вообще, он же мог и вовсе не обратить внимания, когда я сказала, что поеду в Лазаревское, или мог бы не написать… Лера, верно, подумала, что я слегка

рехнулась, потому что поцеловала открытку. Я тут же села писать Олегу ответ — по адресу «Сочи, до востребования», как он указал. Что я написала тогда, совершенно не помню, но письмо получилось длинное, и я не сомневалась, что, прочтя его, он поймет, что я его люблю! Отослав письмо, я почувствовала себя совершенно счастливой и готова была с удовольствием окунуться в море и во все развлечения, которым можно было предаться на южном курорте.

В первый же день мы поехали кататься на лодке. Лодка эта вмещала четырех пассажиров и гребца — молодого парня, грузина, который помимо обязанностей лодочника занимал должность заведующего женским пляжем. Во время плавания я невольно залюбовалась его фигурой — стройные ноги, мускулистые руки и грудь (он был облачен только в трусы), гладкая, темно-коричневая от загара кожа. Он греб с необычайной легкостью, а я глядела на него, щурясь от солнца, и вообразила вдруг, что я — принцесса, а он — мой раб. И все это происходит где-нибудь на Средиземном море, в какой-нибудь легенде…

После обеда Лера пошла играть в волейбол, а мы уселись смотреть на играющих. У нас в первый же день образовалась своя компания: Галя, студентка девятнадцати лет, и ее тетка-чичероне (обе из нашей бильярдной), супруги Хега с дочкой Лёдей, хромой «Володя с палочкой» лет двадцати и его отец, полковник в отставке, два молодых студента, Миша и Аркаша. Последние были очень веселые парни. Они уверяли всех, что влюбились в Лёдю, а родителям сказали, что подождут лет пять, пока девочка подрастет, и уж тогда с их разрешения будут ухаживать за ней по-настоящему. А пока они без конца срывали в парке всякие цветы и дарили их девочке, которая страшно смущалась и пряталась за спины родителей. Все вместе мы потом совершали прогулки в горы или вдоль берега.

Вечером после ужина были танцы. К нам подошли Аня, преподавательница университета, и ее друг Гоша, с которыми успела подружиться Лера, и сказали, что нам надо сразу выбрать себе курортного кавалера, чтобы не скучать одним. Аня пробыла в санатории уже дней десять и вызвалась познакомить нас с кем мы пожелаем. Но Лера уже во время игры в волейбол выбрала себе Володю, инженера лет на десять старше ее, и теперь он пригласил ее танцевать. «Ну а вы, Лора, уже выбрали себе кого-нибудь? Кто вам нравится?» «Пока никто, — сказала я, — разве что познакомьте меня с лодочником, который нас сегодня катал…» Я сказала это, потому что видела, как он мелькал где-то в толпе, уже не полуголый, а в белоснежной рубашке. Все сидевшие с

нами за столом рассмеялись. «Нет ничего проще, — сказала Аня. — Его зовут Леша». Она нырнула в толпу танцующих и вскоре привела его. Он поклонился мне и пригласил на танго. Я пробормотала что-то о том, что я неважно танцую, но моя рука уже лежала на его плече, твердом как железо. Танцевал он великолепно. От него пахло морем, табаком и даже слегка вином, но и это мне нравилось.

С тех пор для меня началась веселая пора, полная романтики. Прогулки по парку вечерами — иногда мы заходили к семейству Хегов в их домик, иногда сидели на обращенных к морю белых скамейках под развесистыми деревьями. Перед нами внизу — море с лунной дорожкой, сверху свешиваются ветки, сзади с танцплощадки доносится тихое танго, все как в несколько пошлом фильме, но для меня это все впервые в жизни. Я закрываю глаза и пытаюсь вообразить: рядом со мной не молодой грузинский лодочник, а Олег… Самым романтичным местом была Лешина хибара у женского пляжа. Домик был сколочен, кажется, из фанеры, и в нем умещались только железная кровать и тумбочка. А в тумбочке была банка с заспиртованными змеями. Лешка их сам наловил и собирался сдать куда-то за деньги. Еще у него в домике был какой-то грузинский струнный музыкальный инструмент; под его аккомпанемент Леша иногда пел мне своеобразные, ни на что не похожие народные песни. С этим же инструментом он появлялся иногда под нашим балконом и пел мне что-то вроде серенады. Это очень забавляло старушек из нашей бильярдной. Если я выходила на балкон, он влезал туда по гладкой белой колонне.

Мне казалось, что все это нереально, что мы играем какие-то роли в театре. Никогда еще ни одно существо мужского пола не уделяло мне столько внимания. И, хотя я вместе с другими смеялась над всем этим, не скрою, что мне это льстило. Весь санаторий все видел и слышал, обо мне за глаза говорили, как о «той, в которую влюблен лодочник Леша».

«Лора, милая, — говорили пожилые дамы из нашей спальни, — нам так хочется тоже покататься на лодке, а там всегда столько народу; вы не могли бы попросить за нас вашего Лешу?» Конечно, я могла. И он галантно катал этих старушек и даже не брал с них денег — это было для него делом чести: «Раз ты просишь, это для меня закон!» По моему ходатайству он даже уговорил своего приятеля, грека-сапожника, починить вне очереди туфли Гале Сергеевой.

Иногда бывало приятно отдохнуть от назойливого внимания Леши, и я особенно обрадовалась, когда была устроена поездка в Сочи и на гору Ахун. Мы выехали в половину шестого утра. Был

беззаботный солнечный день, все было для меня интересно и ново. Бой часов на вокзале в Сочи, поездка на гору на открытом автобусе. Полковник в отставке запевает: «По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой», — и мы все подхватываем и с наслаждением горланим изо всех сил. Погуляли по башне (внизу плавали клочья тумана), а потом мы зашли на той же горе в ресторан и выпили по бокалу холодного цинандали. После прогулки по дендрарию я попросила Володю (курортного кавалера Леры) притвориться Олегом и зайти на почту узнать, забрал ли Олег мое письмо до востребования. Но злая девушка за окошком ни за что не хотела сказать, есть ли ему письмо или нет, хотя он очень хорошо вошел в свою роль, сердился и уверял ее, что он вовсе не просит ее дать ему письмо, он просто хочет знать, стоит ли ему подниматься в гору, в свой санаторий, за паспортом. Она была неумолима, и я так и не узнала никогда, прочитал ли Олег мое послание.

Вернулись мы поздно. На перроне меня ждал Леша с цветами и упреками, что я гуляла так долго в Сочи с другими мужчинами. Ревность его вообще стала принимать неприятные формы, и мне это стало уже надоедать. Как-то Миша (один из обожателей маленькой Леди) поранил палец, повязка его развязалась, и я затянула ее потуже, после чего — дело было вечером, во время танцев, — сделала с ним несколько шагов уже заканчивающегося фокстрота. За это время Леша куда-то исчез и появился снова только минут через двадцать, совершенно пьяный. Я подошла и заговорила с ним, но лицо его было искажено злостью. Он бормотал что-то вроде: «Иди танцуй с ним, своим любовником», — и я увидела в руке у него большой нож. Я думала, что он собирается «зарэзать» меня, но, к счастью, он только «измельчил в мелкий шашлык» небольшую тую, росшую около главного корпуса. Глядеть на это было страшно, и я призвала на помощь знакомых. Они еле успокоили его, сказав, что своим подозрением он оскорбляет меня, и вообще, если бы он увидел раненую девушку, разве не помог бы ей перевязать палец? Они уговорили его лечь спать.

Дня за три до нашего отъезда, когда мы сбегали с довольно крутого склона, у меня подвернулась ступня. Мне сразу сделали ванну и перебинтовали ногу, но последние дни пришлось прихрамывать, и я уже не могла купаться.

Когда мы уезжали, Леша оборвал огромное количество цветов с санаторных клумб. С этим гигантским букетом он вскочил в вагон, когда поезд уже тронулся, потом спрыгивал на полном ходу — все так и ахнули, но он остался цел и невредим.

Мне бы и забыть его, но Леша перед моим отъездом попросил

дать ему мой адрес и, к моему удивлению, долго писал мне письма — безграмотные, смешные и трогательные. Он сообщал, что уехал из Лазаревки к своему дяде в Сочи, хотел поступить во флот, потом разругался с дядей и стал рыбаком. Потом его призвали в армию, он поступил в военное училище и получил офицерский чин. Я написала ему, что вышла замуж, но он на это никак не отреагировал, а будучи проездом в Москве, зашел к нам. Мы встретили его приветливо, он пообедал у нас; разговаривал с ним больше мой муж, расспрашивал его про военную службу. Это было, кажется, в начале 1952 года. Больше я от него писем не получала.

Из лазаревских знакомых я потом несколько лет поддерживала связь с Галей Сергеевой, своеобразной, умной и порывистой девушкой. Мы переписывались и даже бывали дома друг у друга.

В 1954 году меня окликнули на улице: «Лорики-Лерики!» Так нас с Лерой называла Александра Хега, не в силах запомнить, кого как зовут. Она обрадовалась, увидев меня, даже бросилась целовать. «Лёдечка наша уже в институте учится, на первом курсе. А помните тех ребят, Мишу и Аркашу? Мы с мужем думали тогда, что они так, дурака валяют, а вот, вы не поверите, они все эти годы нет-нет да позвонят, день рождения Лёдин помнят, поздравляют и приносят цветы ей и конфеты. Может быть, в самом деле быть мне одному из них тещей…»

Осенью в институте произошли перемены, и стало чувствоваться какое-то беспокойство. Ушла на пенсию Ганшина, уволили двух преподавательниц, не взяли обратно Яшу Островского. Его отчислили еще год назад, так как, хотя он и окончил Гарвард, у него не было советского диплома языкового вуза. После этого он за год экстерном сдал экзамены за четыре курса МГПИИЯ, и теперь у него диплом был на руках, но обратно к нам в институт его не приняли. В институте появился новый директор, присланный со стороны, и никто не знал, чего от него ожидать.

Яша с Майей по-прежнему жили в общежитии, но боялись, что теперь в любой день их могут оттуда выселить. Майя закончила институт и работала на радио в персидской редакции.

В октябре погибла моя кошечка, и после этого пошли всякие неприятности. После счастливого года — несчастливый..

Наша новая заведующая кафедрой, Татьяна Амвросиевна, которая уже много лет проработала в институте, относилась ко мне прекрасно, да и коллеги были дружелюбны, хотя в тот год я ни с кем из них особенно близко не общалась, даже с Таней часто

бывали отчуждения. Пожалуй, я больше дружила со студентами: у меня была очень милая иранская группа, которая и училась хорошо, и делилась со мной всеми своими заботами. В группе была талантливая девочка Ира Суркова, писавшая прекрасные сочинения с фантазией и юмором. Была группа урду с очень умными и веселыми ребятами; один из них, Саша Медовой (теперь известный профессор, доктор экономических наук), помогал мне готовиться к экзамену по политэкономии. Не забывали меня и старые мои друзья бенгальцы, я часто с ними общалась. (После прогулки через парк входим в метро: «Лора Борисовна, не доставайте билет, у нас есть», — и проталкивают меня вперед мимо билетерши, которой сразу дают билетов восемь. «Ребятки, но кому я должна?» — «Никому, Лора Борисовна, вы у нас едете зайцем». И показывают мне: сверху и снизу кладут по два билета вверх контрольными корешками, а в середину вкладывают уже использованные билеты. Мошенники!) Весной 1950 года Сережа Цырин пригласил меня на свой концерт, который был устроен на квартире его старого учителя музыки, и в то мрачное для меня время это было как луч солнца.

До описания 1950 года несколько слов о том, что изменилось в жизни людей. В Москве в те годы было построено много новых домов — не «коробочек», те появились позже, а солидных, с украшениями, часто с гранитной облицовкой. Начали строить и высотные дома: Университет, дом на Котельнической набережной и другие. Площадь, где почти двадцать лет назад снесли храм Христа Спасителя, все еще пустовала и была по-прежнему обнесена деревянным забором. Никакой Дворец Советов там не строился. Теперь говорили, что для того, чтобы не было слишком большой амплитуды колебаний башни этого будущего Дворца, надо прежде выстроить вокруг него несколько других высотных домов. В пригородах Москвы строилось множество дачных поселков. Ильинское и Снегири было не узнать. Весь лес, где когда-то мы собирали чернику и землянику, обнесли забором и настроили в нем множество коттеджей, ивы наши на берегу реки срубили, дорога к ним через луг совершенно заросла, вместо нее левее проложили шоссе, и берега Москвы-реки соединял уже не паром, а большой мост. В Снегирях весь мой любимый лес разбили на дачные участки для высшего командования армии, я даже не могла больше найти дорогу в Подпорино, по которой когда-то бегала к оврагу.

Мода тоже изменилась. Все, кто хоть мало-мальски мог себе это позволить, ходили с чернобурками в виде горжеток (морда сзади, на спине, хвост пришивался к шапке) или просто через

плечо. Вообще-то это были не чернобурки, а серебристо-черные лисы. Одна за другой дамы нашей кафедры появлялись с такими лисами, эта мода продержалась лет пять-шесть. С платьев и костюмов начали, сначала робко, снимать плечики, было трудно привыкнуть к новым покатым плечам. В ту зиму начали появляться сапожки. Их называли «венгерками», они были совсем невысокие, на каучуковых подошвах и с меховыми отворотами. В магазинах их еще не было видно, их шили, довольно дорого, частные сапожники. Эти сапожки сразу понравились всем, очень уж надоели вечные ботики. Еще в конце 1949 года в продаже появились первые шариковые ручки. Мне очень понравилось писать ими, но паста в них была плохая и запасных стержней не было — открылись специальные мастерские, где их перезаряжали такой же густой и неровно пишущей фиолетовой пастой.

Сталин

Вся страна тогда готовилась к семидесятилетию Сталина. Еще за месяц до юбилея в магазинах начали время от времени появляться «сталинские подарки»: шляпки, сумочки, лучше обычного сшитые блузки и т. п. Сам день отметили необычайно торжественно, в Большом театре, с пионерами, цветами и нескончаемыми славословиями. Телевизоров тогда не было, все слушали трансляцию по радио. Нам разрешили отпустить студентов и уйти домой раньше, чтобы все успели к приемникам. Культ достиг высшего расцвета. Существовало много красивых песен о Сталине, и каждый концерт по заявкам непременно начинался с одной из них. Поэмы о Сталине писались десятками. В день его рождения по радио читали одну, новую, в которой рождение Сталина описывалось подобно появлению Христа — на небе вспыхнула яркая звезда и возвестила о рождении Вождя, простая женщина родила будущего спасителя народов, такое в ту ночь произошло чудо! Многие наживались на этом пустом славословии. Например, в Университете марксизма наш руководитель семинаров по истории ВКП (б), человек неумный и ограниченный, написал диссертацию «Сталин в Великой Отечественной войне». Он нам зачитывал ее, диктовал тезисы, в которых на разные лады повторялось одно и то же, и имя Сталина упоминалось буквально в каждом предложении. Мне в то время вспомнился рассказ Леши Копянидзе: «Я до работы в санатории жил недалеко от озера Рица. Там Сталин отдыхает. Он любит охотиться, и нам с ребятами разрешали ему помогать — мы подгоняли к нему кабанов».

После юбилея в Музее изобразительных искусств устроили выставку подарков Сталину, убрав оттуда на время все художественные произведения. Помимо советских подарков (ковры с портретами, скатерти, шкатулки, вышивки, картины, бюсты) было несколько залов с подарками из «стран народной демократии» (Чехословакии, Китая, Венгрии и др.), и среди них можно было увидеть и роскошные мебельные гарнитуры, и много сервизов, одеж= ды, обуви, радиоприемников, ваз. Вещей было такое огромное множество, что люди в недоумении спрашивали друг друга: «Куда же Сталин все это денет?» Действительно, куда все это подевалось потом?! Конечно, люди смотрели с некоторой иронией на проявления этого нелепого культа (тогда, правда, такого слова в отношении Сталина еще не употребляли), но самого Сталина народ искренне обожествлял. За исключением тех немногих, кто все знал.

1950 год

В январе 1950 года всех преподавателей вызвали на проверку к заместителю министра высшего образования Самарину. Все были очень встревожены, чувствовали, что это неспроста, что наша спокойная, беззаботная жизнь кончилась. Не зная, чего ожидать, мы, помнится, ходили взад-вперед по Рождественке перед зданием министерства. Татьяна Амвросиевна взяла меня под руку и вдруг призналась: «Вы не представляете, как я боюсь. Что они будут спрашивать? У меня ведь брата посадили в 1937-м, а я об этом не написала в анкете. Вдруг они знают?» Вызывали всех по одному. В кабинете сидели замминистра и новый директор нашего института, Тарковский. Перед ними на столе лежали наши анкеты и характеристики. Вопросы они задавали, какие только приходили в голову, но не имеющие отношения к нашей квалификации и работе. «Когда ваш отец работал в Торгпредстве? — спросили меня. — И почему он вдруг приехал в Советский Союз?» Все это и в анкете, и в моей автобиографии было написано. С нами в Университете марксизма занимался преподаватель китайского языка, Борис Степанович Исаенко, очень умный, внешне и внутренне интересный человек. Он потом рассказывал мне: «В каком, — говорит, — году вы родились?» — «Как сказано в анкете, в 1914-м». — «Когда вы из Пекина приехали в Советский Союз?» — «В 1928-м». — «Сколько же вам было лет?» — «Четырнадцать». — «Интересно, — сказал замминистра, — и родились в 1914-м, и приехали сюда в 14 лет?» И дальше: «Вы пишете, что перевели на русский язык все

произведения Мао Цзедуна. Кто вам это поручил?» — «ЦК партии». — «А почему вам? Разве больше некому было?» И дальше в таком же духе…»

После этого в институте в течение двух месяцев сокращали работников. На нашей кафедре уволили Роберта Эльмстона, пожилого мужчину, проработавшего в институте много лет. Он пробовал судиться с институтом, но безрезультатно. С других кафедр тоже сняли несколько преподавателей. Все о чем-то шептались по углам. Куда-то на месяц таинственно исчезла Лера, потом появилась снова и стала давать уроки жене директора. Как-то весной мы шли домой с Лидой Барон с кафедры литературы, и она высказала то, что тревожило всех: «Лев Толстой, если загадывал что-то на будущее, писал «е. б. ж.» («если буду жив»), а я стала в таких случаях добавлять «е. н. в.» («если не выгонят»)».

И все-таки по поводу себя я была спокойна. В глубине души думалось: кто знает, может быть, с теми, кого выгнали, все-таки что-нибудь не совсем в порядке, меня же не гонят — все знают, что я хорошо работаю…

В феврале в Ростоке умерла тетя Анни. Это было для мамы большим ударом, сестру свою она любила больше всех на свете. Когда кончилась война, сестры быстро возобновили переписку. Анни писала, как им голодно и как соскучилась она по чашечке кофе, и мы раза три посылали ей посылочки с кофе, чаем и конфетами. Потом Анни стала писать реже и реже, и в письмах ее звучало какое-то уныние, раньше не свойственное ее натуре. Она писала, что «совсем обленилась» и по утрам ей неохота вставать и идти на работу. Наконец, от нее не было вестей месяца три, так что, когда я нашла немецкий конверт в ящике, тут же побежала с ним к маме на кухню: «Пляши, гагочка![70] Письмо от Анни!» «Ну наконец-то», — мама подбоченилась и сделала несколько танцевальных па. А когда разорвала конверт, там оказалось длинное письмо от тетиного старого приятеля Нантэ, и мама сразу, предчувствуя недоброе, опустилась на стул. Оказалось, что у Анни была опухоль мозга и она умерла во время операции. Мама проплакала всю ночь, а на следующий день, забыв про ссору, пошла к дяде Эле: ей хотелось узнать, можно ли было спасти Анни и нужна ли была операция. Настроение у мамы долго было ужасным. Она рассорилась с Дорой: та сказала, что грех маме так убиваться — вот Дора вообще ничего не знает о своих сестрах, а у мамы есть дочь, на что мама назвала ее глупой и бессердечной. Они больше года не разговаривали друг с другом. Только Анастасия Павловна успокаивающе действовала на маму, и мама, как и все эти годы, проводила у нее большую

часть времени.

Любовь?

Любовь моя к Олегу в ту весну усилилась, она стала как болезнь и теперь уже была совсем безнадежна. Олег пропускал очень много моих уроков — он занимался устройством своей будущей карьеры и развивал бурную общественную деятельность, готовил какие-то доклады, всюду его посылали от института делегатом, он собирался вступить в партию. Вдобавок к этому он стал встречаться с девушкой с первого курса, высокой тонкой пепельной блондинкой с очень пышными волосами и очень большими голубыми глазами, она мне почему-то напоминала стрекозу. Я, конечно, выведала, как ее зовут и у кого она учится. Мне сказали, что родители ее живут в Харькове, что она отличница и необыкновенная чистюля. Мне доносили, где их вместе видели — на остановке она держала его за руку, она гладила его плечо… Зачем мне это рассказывали? Ожидали, что я возьму пистолет и застрелю ее? Его? Мне было больно все это слушать.

Для меня по-прежнему никто, кроме Олега, не существовал. Хотя я бы могла в ту весну даже выйти замуж — во всяком случае, мне сделал предложение рыжий Леня Г., преподаватель китайского языка и староста нашей группы в Университете марксизма. Мы как раз возвращались с лекции в Доме ученых, и, когда он вдруг на площадке перед станцией метро «Дворец Советов» предложил мне руку и сердце, я даже испугалась. Мне не хотелось обижать его, и я обернула все шуткой, после чего мы остались добрыми товарищами. Хуже было то, что меня стал преследовать кореец Ким Ен Бок (Счастье Золотого Дракона), до предела уродливый, длинноносый, с близко посаженными глазами. Виноватой оказалась я сама, но кто мог такое предположить! Как-то во время одного из семинаров по философии я обратила внимание на грустное выражение его лица и на то, что, когда мы все вышли на перерыв, он один остался сидеть за нашим большим столом. Леня и Борис Степанович угостили меня в буфете конфетами, и, когда мы вошли обратно, я положила одну конфетку перед ним и сказала что-то подбадривающее (вроде «чтобы вам не было так скучно и грустно»). Ким Ен Бок воспринял это как объяснение в любви. Перед лекцией в Доме ученых он вдруг заговорил со мной, стал расспрашивать, куда я еду летом, и забормотал что-то насчет того, что я должна с ним вместе поехать на юг. Я все время была

уверена, что он шутит, ведь я знала, что в маленьком домике около института, где он жил, у него были жена и четверо ребятишек. Однако, когда я посмотрела на него, меня до мозга костей испугал серьезный, дикий взгляд его глаз. Я постаралась держаться от него как можно дальше и даже не смотреть в его сторону. Но Золотой Дракон начал меня преследовать. Однажды он выследил меня в метро и провожал до самого дома. «А вы знаете, зачем я просил, чтобы вы научили меня английскому языку? Я письмо вам хочу написать, чтобы вы прочитали про мою любовь», — говорил он и болтал еще всякую чепуху. Я несколько раз останавливалась и говорила, что не пойду дальше ни на шаг, если он не оставит меня в покое и не повернет обратно. Я была готова ударить его или плюнуть ему в лицо. С тех пор я старалась ехать вместе с кем-нибудь и выходить не на своей остановке.

Например, еду с Лерой до Курского вокзала, а оттуда домой на троллейбусе, но мне все равно все время казалось, что он идет за мной. Наконец я не выдержала и накричала на него, что пожалуюсь его жене и директору института, если он не прекратит преследовать меня. Он страшно обозлился и сказал, что не позволит мне играть собой, даже пригрозил жестоко отомстить мне. И все это получилось из-за того, что я дала ему конфетку!

Подруги

Решительно не везло мне в любви. Из моих подруг только у Нели было еще хуже. Один мальчик перестал с ней встречаться, когда увидел, в какой ужасной обстановке она живет с сестрой и неопрятной бабушкой. А потом за Нелей начал ухаживать один ее студент — приглашал в кино, сидел с ней на скамейке в скверике напротив ее дома. И вот однажды Неля прибежала ко мне, счастливая: на следующий день она идет с этим парнем в загс. Но когда она, нарядная, спустилась к нему, он поцеловал ее и сказал, что в этот день он будет очень занят и в загс они пойдут через неделю. Неля заметила, что этот разговор подслушивает один студент из его же группы. А на очередном занятии «жених» вложил в свою тетрадку письмо Неле с извинениями и объяснением. Оказалось, что он поспорил со своим товарищем на какую-то сумму, что Нинель Александровна поцелуется с ним и согласится пойти в загс. Этот наглец благодарил ее теперь, что она помогла ему выиграть пари.

Теперь мы с Нелей были совершенно уверены, что останемся старыми девами.

У других моих подруг жизнь была более веселой и

содержательной. Ира вышла во второй раз замуж — за красавца архитектора, кандидата наук из Академии коммунального хозяйства, где Ира работала машинисткой, пока заканчивала вечерний институт. «Как звать твоего нового мужа?» — спросила мама. «Орест, Орест Константинович». Мама рассмеялась и покачала головой: «Один муж у тебя уже сидит арестованный, и теперь опять Арест». Ира была счастлива, словно заново начинала свою жизнь.

Ляля

В феврале неожиданно вновь появилась Ляля. Она рассказала, что переехала в другую квартиру, живет теперь на Трифоновской улице, рядом с Рижским вокзалом, совсем недалеко от меня, а самое главное, в январе у нее родился сын. Вот запись из моего дневника:

22.11.50

…Вечером поехала к Ляле. Она очень мне обрадовалась… Посмотрела сынишку — лягушонок такой, сморщенный, с приплюснутой головкой… Это сейчас — вся ее жизнь. Для ухода за ним у нее множество всяких тряпочек, в стеклянных баночках ваточки, кормежка не по часам, а по минутам, купание в кипяченой воде при t° ровно 37°, с марганцовкой, соска моется чуть ли не в дистиллированной воде каждые пять минут. <…> Она уговаривала меня приходить купаться у них в ванне. Надо будет как-нибудь.

Мы в ту весну часто виделись с Лелей. Может быть, я была единственной из ее знакомых, кому она говорила правду и не играла ролей. Если я не появлялась у нее дней десять, то получала от нее открыточку: «Я страшно соскучилась по тебе, Мимимакочка» или «Киса, приезжай скорее!» Она меня в самом деле любила.

Майя в июле должна была родить и уехала в Ленинград, где у нее была тетя-гинеколог. Яша остался на некоторое время в общежитии, какие-то у него были дела. Между прочим, Анна Моисеевна уже около года была вторично замужем — в бюро по обмену квартир она познакомилась с симпатичным вдовцом, у которого тоже была взрослая дочь.

Несмотря на свою слепоту, Анна Моисеевна все еще была очень кокетливой женщиной. Брак этот, увы, длился недолго: муж ее в начале следующего года умер от язвы желудка.

В конце мая мы сдали последние экзамены в Университете марксизма и получили дипломы, под конец нам прочитал лекцию академик Тарле[71], а потом в Доме ученых было что-то наподобие выпускного вечера.

Неожиданный удар

Потом пришло время последнего перед отпуском заседания кафедры. «Под конец я приберегла еще один сюрприз, — сказала Татьяна Амвросиевна, глядя в мою сторону. — Кафедра выдвигает на звание старшего преподавателя Лору Борисовну Фаерман, всеми уважаемую, прекрасно зарекомендовавшую себя и т. д. С сентября мы поручаем ей, кроме того, руководство третьим курсом…» Все захлопали в ладоши, а я покраснела от неожиданной радости. Многие подходили и поздравляли, целовали меня, и мы побежали занимать очередь в кассу за зарплатой. Со следующего учебного года я должна была зарабатывать уже не 1050 рублей, а еще плюс 150 за выслугу лет и плюс 150 за «старшинство» — целых 1350 рублей!

Когда часа через полтора подошла моя очередь в кассу, наш симпатичный старичок-кассир Иван Иваныч посмотрел в ведомость и сказал: «Товарищ Фаерман, не велено вам пока выплачивать деньги; вы должны зайти к главному бухгалтеру, не знаю зачем». Я была очень раздосадована: бухгалтер уже ушел домой, значит, надо было на следующий день снова ехать в институт. «Ты не волнуйся, — говорили мои подружки, — наверное, это что-нибудь связанное с тем, что тебя назначают старшей, — скорее всего, велят снова справки какие-нибудь принести…»

На следующий день бухгалтер сказала мне, что задержать выплату моей зарплаты распорядилась не она, а директор: «Велел не выдавать вам денег, пока вы не побываете у него».

В полном недоумении я отправилась к директору. «Товарищ Фаерман, — сухо сказал он, — я уведомляю вас о том, что приказом по Министерству высшего образования вы переводитесь преподавателем в Запорожский институт сельскохозяйственного машиностроения».

Меня как громом поразили его слова. «Как? Почему? У меня здесь в Москве мать. Мне на кафедре ничего не сказали», — заикаясь, бормотала я, но он не стал пускаться со мной в пререкания. Он встал и только пожал плечами: «Приказ министерства. Распишитесь, что вас уведомили».

Я расписалась и побежала на кафедру. Там как раз оказалась Татьяна Амвросиевна. Я рассказала ей обо всем и уже потом не удержалась и заплакала. Добрая женщина была поражена не меньше меня, она сразу вскочила и сама побежала к директору: «Это что же еще за порядки, как это так — через мою голову, не посоветовались и не предупредили…»

Но, когда она минут через двадцать, раскрасневшаяся, вернулась, она только сказал мне тихо: «Ничего нельзя сделать. Он говорит, что это не он, а министерство решило». «Но там же меня никто даже не знает», — я все еще глотала слезы обиды. Как сказать все это маме? Как сказать всем? Что делать дальше?

Были в моей жизни и до, и после этого тяжелые моменты, смерть близких людей, но всегда я так или иначе бывала подготовлена, неожиданнее же и обиднее этого удара у меня не было.

Дядя Эля сразу высказал предположение, что меня уволили как еврейку. Антисемитизм в верхах, зародившийся в начале 1940-х, усиливался. Только теперь мне пришло в голову, что Локшина, Виталис, Пеккер, да и Яша Островский — все, кого за последнее время уволили с нашей кафедры, — тоже были евреи. Я оставалась последней.

Яша посоветовал мне написать письмо Сталину и помог его составить. К письму мы приложили мою прекрасную характеристику и справку о том, что мой отец был бойцом народного ополчения.

Когда я пришла за ответом на письмо, мне ответили в ЦК, что его прислали в министерство. В министерстве мне сообщили, что на моем письме было написано «По усмотрению министерства» и что приказ остается в силе.

Все лето было занято бесконечной беготней по инстанциям. Яша сказал, что надо попробовать написать еще одно письмо. Когда я в министерстве попросила отпечатать мне копию приказа, то машинистка, как раз беседовавшая с коллегами о планах на воскресенье, ошиблась и вместо «Запорожский…» напечатала «Звенигородский институт». Я воспользовалась этой опечаткой и написала, что министерство, мол, заменило мне институт и в Звенигород я бы, конечно, могла ездить, но выяснила, что там такого института вообще нет. Письмо снова переслали в Министерство, и на этот раз я вообще не нашла его следов.

В августе я уже так устала от напрасного ежедневного мотания, что решила на несколько дней поехать отдохнуть в Берниково, благо с нашей хозяйкой у меня велась переписка. Вот еще одна запись из моего дневника:

28. IV.50

…Пришло письмо от Екатерины Егоровны. Замечательная она русская крестьянка. Приглашает на лето к себе; я бы поехала, если бы не одна. Письмо ее, простое, наивное, очень меня обрадовало: написала мне о всех своих радостях и горестях. Пожалуй, я даже горжусь

тем, что она меня любит. Я заметила, что меня вообще любят крестьяне — наверное, потому, что я просто, «по-ихнему» себя с ними веду и разговариваю, и это с моей стороны не поза, не кокетничанье, а искренно. Скорее я притворяюсь у дядюшки при его гостях. <…> Волга, освещенные солнцем сосны, ароматная ширь полей — как все это невыразимо красиво. Я люблю даже запах русской избы: крепкая смесь дыма, парного молока, деревянных стен… Странно, что для меня вообще большую роль играют запахи, я по ним полнее чувственно все переживаю… какой-нибудь запах может неожиданно воскресить в памяти давно забытое. <…> Собачья какая-то у меня черта, право.

Я в те дни чувствовала себя настолько остро несчастной, что у меня появилась потребность что-то писать, рисовать. Я вырезала из тонкой бумаги разные ажурные коврики, и это занятие меня несколько отвлекало.

Однажды я увидела нечто такое странное, что об этом стоит рассказать.

Еще в марте мне снился сон, что я приехала в Зубцов и никак не могу найти правильную дорогу в Берниково. Я иду вдоль Волги и вижу: вместо Пищалина и нашей деревни над крутым берегом возвышаются какие-то железные башни, а вокруг них — деревянные бараки. И вот я блуждаю среди этих бараков, вижу незнакомых людей и начинаю понимать — здесь теперь добывают уголь (хотя железные сооружения были больше похожи на нефтяные вышки). Я тогда забыла этот сон. Каково же было мое удивление, когда, расставшись со своим попутчиком и пройдя еще метров двести, я подняла голову и увидела наверху нефтяную вышку из своего сна! Правда, там была только одна. Я поднялась немного выше — около вышки стояли два барака. Мой сон! Еще более странное чувство появилось, когда Екатерина Егоровна рассказала мне, что именно в марте приезжали геологи, стали бурить около Пищалина и нашли нефть! Геологи еще не уехали. Правда, женщина, квартировавшая у моей хозяйки, позже сказала мне, что нефть тут вряд ли будут добывать — это было бы неэкономично, потому что залегала она очень уж глубоко.

Отдыха у меня настоящего в ту неделю не получилось. Стояла какая-то странная погода — утром ясно, потом набегают тучи и весь день льет скучный мелкий дождь, и только вечером небо снова проясняется и виден хороший желтый закат. Так было каждый день.

Женщина-геолог была заядлой рыбачкой. У нее была лишняя удочка, и она звала меня с собой ловить рыбу. Она никогда не сидела на месте, закинет удочку, постоит минут пять — поймает ли, не поймает рыбку — и бежит дальше вдоль берега на новое место. Она сама насаживала мне хороших червячков, и я вставала рядом с ней, но всякий раз у нее клевало, у меня нет. Так я и не поймала ни единой рыбешки!

Когда я уезжала, Екатерина Егоровна дала мне в дорогу яичек, моркови и немного творогу Она проводила меня до Зубцова и по дороге рассказывала о похождениях из своей молодости. Я была благодарна, что она отвлекает меня, потому что на душе у меня по-прежнему было нерадостно.

Надо сказать, что ко мне с большим участием отнеслась Таня Барышникова. Другие девочки тоже иногда заходили — например, Оля с Лерой (с довольно бестактным вопросом: «А правду говорят, что тебя уволили, потому что ты еврейка?»). Потом придумали, чтобы я платно позанималась с ними немецким языком, так как всех заставляли сдавать кандидатский минимум, куда входил второй язык[72]. Также прислали мне, уже в начале сентября, «ученика», который заплатил вперед 200 рублей и больше не появлялся. Я только позже поняла, что таким образом они заставили меня принять от них хоть какую-то денежную помощь.

В конце августа мои подружки сообщили мне, что на нашу кафедру принято двенадцать молодых преподавательниц. Кто-то посоветовал мне обратиться в Конфликтную комиссию месткома; там было взялись за мое дело очень энергично, но ничего не могли сделать, все опять из-за того, что меня уволил не директор, а министерство. Помню, как я пришла по этим делам в начале сентября в институт, как я стою на кафедре возле стола лаборантки и вижу вокруг себя все эти незнакомые молодые лица. Все их уже знают по именам, переговариваются о каких-то делах, мне уже непонятных и от меня далеких. Я стою в стороне как отвергнутая, изгнанная из рая. Конечно, ко мне подходили знакомые, расспрашивали: «Ну как у тебя дела?» или «Ты снова к нам вернулась?» Качали головой и — «прости, некогда, сейчас звонок» — убегали на уроки. После этого несколько лет меня мучил время от времени сон: в каком-то дворце, или на улице в незнакомом городе, или в каком-то саду происходит праздник. Я вижу много радостных людей, все куда-то спешат, все что-то знают, и только я как бы в стороне, хочу быть вместе с ними, хочу узнать, что за праздник, куда все идут, и некого спросить…

После неудачи в Конфликтной комиссии мне посоветовали подать в суд в ВЦСПС. Три часа я выстояла в Доме Союзов (вход

сзади) в очереди на прием к юристу. Юрист оказалась очень внимательной и толковой женщиной: «Вас уволили без всякой причины и не по сокращению штата, на ваше место взяли новых работников. Это совершенно ясное дело, и оно может быть решено только в вашу пользу!» Она объяснила, как составить заявление, и велела принести его через два дня. Но через два дня вместо нее принимал какой-то мужчина (в очереди жалели — Лидию Безрук перевели в другой отдел), он прочитал мое заявление и вернул его мне: ВЦСПС не вправе судиться с министерством. Министерство подчиняется только Верховному Суду РСФСР, туда и следует обратиться.

Но у меня на это уже не было сил. Я больше никуда не ходила.

Между тем надо было как-то зарабатывать на жизнь. А устроиться куда-нибудь самой было невозможно. Преподавателей языков, да и вообще гуманитариев, в Москве было намного больше, чем нужно. По рекомендации Юры Клочкова я наведалась в медицинский институт и даже на курсы медсестер, где якобы нужны были преподаватели — правда, с немецким языком, — но это оказалось неверным. Женя Хазанов из бенгальской группы посоветовал мне попробовать пойти на радио, где он сам работал, сказал мне, к кому обратиться, но и там уже не было нужды в переводчиках. Одна знакомая Юлиной мамы порекомендовала меня в какое-то военное учреждение, расположенное в Левшинском переулке. Там мне дали перевести небольшой текст, похвалили за скорость, потом пожилой улыбчивый начальник в большом чине повел меня в свой кабинет. «Прежде чем я вам принесу из отдела кадров анкету, — сказал он, — мне хотелось бы побеседовать с вами. У вас есть какие-нибудь минусы в анкетных данных?» «У меня мама немка», — сказала я. Он улыбнулся: «В этом нет еще ничего страшного. А у вас, извините, какая национальность?» Я сказала. Он взял обе мои руки в свои и сказал: «Милая девушка, не подумайте обо мне плохо, я совсем тут ни при чем… Но сейчас время такое, вы, наверное, сами слышали, — отдел кадров вас не пропустит, и не мучьте себя, не надо даже заполнять анкету. Это все очень грустно, но это так, и я ничего не могу сделать…» Действительно, это было очень грустно.

Наконец Таня пошла со мной к Филюшкиным. Женя Филюшкин был моим бывшим студентом, а жена его, Вера, когда-то училась в институте вместе с Таней и преподавала английский в Институте инженеров водного хозяйства. Женя был очень слабым студентом, когда-то Вера обращалась к Тане за помощью, и мы заранее давали ей текст экзаменационного изложения и

тексты устных экзаменов, Женя под ее наблюдением вызубривал все это наизусть, так что даже при строгих ассистентах получал твердое три, а то и четыре. Филюшкины и раньше раза два приглашали нас с Таней к себе, они явно чувствовали себя обязанными, поэтому и мы вправе были теперь попросить у Веры помощи. Оказалось, что в МИИВХ как раз не хватало преподавателей языков, хотя и не было штатных единиц, но я рада была и почасовой работе. Вера порекомендовала меня, к тому же всем понравилось, что я знаю два языка. И с октября того года целых десять лет моей жизни были связаны с этим институтом. Десять совершенно потерянных мною с точки зрения роста моей квалификации лет…

Новая работа

Но я опять работала. Я могла ходить с поднятой головой.

От той же Веры я в ту осень узнала, что Олег женился. Я его больше не видела — только годом позже мелькнул впереди меня в театре, потом глазами встретились, и он даже не кивнул мне.

Поздней осенью Неля С. привела ко мне ученика: «Это Изя. Живет в нашей квартире. Бери с него за урок 15 рублей, не больше, я так договорилась с его мамой. Он учится в Университете на историческом, и ему не дается язык. Он женат, только что вернулся с далекого Севера». Ученик в самом деле оказался туповатым к языкам, но я его не прогоняла, потому что приработок мне был нужен, да к тому же он много и интересно рассказывал о местах, где побывал. Жена его была комячка и жила с их дочкой у своих родителей в Сыктывкаре.

В институте у меня были группы первого и второго курсов с немецким и английским языками, а также прием «тысяч» (переводов) у старшекурсников. Занятия начинались в октябре, так что четыре месяца летом и в январе у меня не было заработка, потому что почасовикам за отпуск не платили, так что с деньгами у нас было довольно туго.

Преподавателей на кафедре было от восьми до десяти, все они были симпатичные, приняли меня хорошо. Все халтурили, и не потому, что были нерадивые по своей природе, а потому, что за одно занятие в неделю студентов, в большинстве своем иногородних, все равно невозможно было чему-то научить. Все, от декана до последнего студента, относились к языку с презрением, поэтому приходилось делать вид, что нас удовлетворяют ответы студентов, что мы не видим шпаргалок и т. п. Мне сначала было трудно, хотелось научить ребят чему-нибудь, но они на уроках

читали книги и ели бутерброды. Особенно вызывающе вела себя одна группа, сплошь из девочек, которых я пыталась научить немецкому языку. Однажды на уроке они запустили в доску огрызком яблока и чуть не попали в меня. Все это было унизительно. «Тысячи» никто не приходил сдавать раньше мая, и тогда я засиживалась в институте до одиннадцати часов вечера. А как далеко было мне теперь ехать на работу! Я садилась у Сретенских ворот в трамвай № 1 и целый час ехала до Тимирязевской академии. Я разнообразила себе этот долгий путь тем, что превращала его в подобие посещения музея: выглядывая в окно, обращала внимание на что-нибудь одно — занавески на окнах, цветы на подоконниках, плащи прохожих, их зонтики, шляпы, сумки, номера машин и тому подобное.

1951-й и дальше

В январе я поехала к тете Зине. В тот мой приезд мы с ней особенно сблизились, много говорили по душам. У тети Зины теперь жила собака — огромная овчарка Зорька, злая как черт, готовая растерзать всякого, кто дотронется до ее хозяйки, хотя бы попробует поздороваться за руку. Юдя работала в отделе кадров милиции, и туда как-то принесли полудохлого щенка, от которого отказалась мать. Юдя принесла заморыша домой, тетя Зина, конечно, пожалела псинку, стала поить ее из соски молоком, выходила ее, и теперь ей жаль было расстаться с собакой. Раза два тетя Зина позволила мне вывести Зорьку гулять. Она была такая огромная, что я еле удерживала ее на поводке. Мы спускались с набережной на лед Малой Невы, и там я отпускала ее побегать.

Приглашала меня в гости и сестра дяди Сережи, Лариса Семеновна, которая теперь жила в другом доме. В войну она потеряла ногу, сильно постарела. Она снова угощала меня вкусными конфетками, но все было уже не так, как тогда, зимой 1939-го. Лариса Семеновна пригласила меня в концертный зал на Невском на концерт русской музыки начала XIX века — вальсы Грибоедова, романсы Булахова и других. Побывали мы вместе с тетей Зиной и у Анны Моисеевны, переселившейся к своему новому мужу. Майина семья тоже жила вместе с ней, у Майи родилась дочка Аленушка, для которой держали еще и няню. Все шесть человек помещались в одной, правда, очень большой комнате, перегороженной ширмой. В Ленинграде в то время с жильем было еще хуже, чем в Москве.

Я не думала тогда, что последний раз вижу свою любимую тетю. Но в сентябре того же года она умерла от инфаркта, и стало у меня еще одним большим другом меньше.

А в Москве ко мне продолжал ходить заниматься английским мой ученик Изя из Нелиной квартиры. Помимо занятий мы стали иногда ходить вместе в кино. Я познакомилась с его мамой, Беллой Исаевной, и тетей, Татьяной, у которых он и жил. Мне нравилось, что он много говорит, хорошо знает историю и литературу. Он рассказал мне, что с женой он решил развестись, что он и на Чукотку уехал, рассорившись с ней, а дочка родилась уже в его отсутствие, и он ее не видел. Меня несколько удивило: неужели не интересно ему посмотреть на свою собственную дочь?

Очевидно, потому, что я чувствовала себя в то время очень одинокой, у меня была сильная потребность в близком человеке, в каком-то жизненном пристанище. Я стала с нетерпением

ожидать каждого урока с Исаем. Однажды, в апреле, мы ходили с ним в Музей восточных культур, и на обратном пути, на Чистопрудном бульваре, он вдруг придумал, чтобы мы поженились. Его жена между тем не давала ему развода, и только после длительных хлопот Исая, в начале 1953 года, дело это было улажено, и мы смогли расписаться в загсе. А пока 1 июня, в мой день рождения, мы устроили что-то вроде неофициальной свадьбы. Белла Исаевна подарила мне туфли и синей шерсти на платье, а моя мама была против этого союза вообще и ворчала, зачем я не вышла за Юру Клочкова. Она по всякому поводу стала обижаться на своего зятя. Например, очень сердилась, что он по утрам не здоровается с ней, а он считал это излишним, потому что мы все спали в одной комнате. Вообще же он относился к маме совсем неплохо, даже старался угождать ей — во всяком случае, в первое время. Мы купили кое-что из мебели: книжный шкаф, большой матрац, из которого нам сделали тахту, небольшой письменный столик и три пуфика по 25 рублей штука. У Изи были деньги, заработанные еще на Севере, — они и пошли на покупку мебели. Нашу длинную комнату-кишку мы перегородили, поставив поперек книжный шкаф, поменяли местами платяной шкаф и мамину кровать. Получилось уютнее, но это стало еще одной причиной маминого неудовольствия — она обиделась, что ей выделили темный угол. Напрасно мы увещевали ее, объясняя, что она ведь будет только ночью спать в этом закуточке, а днем мы все одинаковые хозяева всей комнаты, — мы оставались «жестокими эгоистами». Старший сын Анастасии Павловны перегородил нам фанерным щитом прихожую, и мы могли спокойно есть за столом. Правда, под щитом был широкий зазор, куда соседи теперь старались наметать к нам мусор.

В середине июля мы с Исаем уехали в Берниково. Через несколько дней туда приехала и Белла Исаевна и поселилась в Пищалине у медовника. У Екатерины Егоровны весь дом был уже сдан, так что нам пришлось спать на сеновале, а питаться в ее комнатушке. Погода стояла в то лето жаркая. Мы ходили в Зубцов на рынок, собирали малину, но все было уже не так, как в 1948-м: вокруг нас жили чужие люди с назойливыми детьми, а Исай неожиданно оказался домоседом, в далекие походы он со мной не ходил, только до малинника или в другую сторону, до Зубцова. К своему разочарованию, я также выяснила, что мой муж не умеет ни плавать, ни играть в волейбол. Перед отъездом мы купили мяч, но оказалось, что он не умеет даже бросать его: он отбивался от него наотмашь вниз плотно сжатыми прямыми пальцами и не воспринимал моих объяснений. В воду он входил очень

медленно, с опаской приседая постепенно все глубже. Намочив наконец плечи, он начинал передвигаться ногами по дну, делая вид, что плавает. А я надеялась, он научит меня разным стилям…

Ужинать мы часто ходили к Белле Исаевне в Пищалино. Она вообще была большой мастерицей готовить и кормила нас то вкусными салатами, то пирожками с картошкой. Не нравилось мне только то, что Исай почти всегда приглашал ее с нами, если мы шли прогуляться. Что касается моей мамы, то из первого же ее письма выяснилось, что она очень обиделась на Исая за то, что, когда мы отъезжали, он не вышел из вагона проститься с ней. И в письмах, и вообще потом всегда она называла его не по имени, а только «твой муж».

В то лето о волках ничего не было слышно, зато очень обнаглели лисы. Средь бела дня рыжая утащила в Пищалине любимого петуха одной хозяйки, до Берникова были слышны причитания. А мы с Исаем потом нашли в лесочке место, где лиса этого петушка разделывала, — целую кучу перьев.

Когда я после лета пришла в институт, оказалось, что туда взяли шесть новых преподавательниц. Приехало много студентов-китайцев, так что образовалось больше групп, к тому же двое с кафедры ушли. Меня оставили на почасовой оплате, и я снова написала Сталину — на этот раз с лучшим результатом. Уже через неделю меня вызвал директор и очень любезно встретил: «Вы, наверное, догадываетесь, что ко мне был звонок из ЦК. Я хочу предложить вам пол ставки. Согласны?» Я, дура и размазня, пожала плечами, улыбнулась — что ж, пусть хоть полставки. «Тогда я вас соединю с товарищем из ЦК, и вы ему подтвердите, что согласны на такое решение вопроса». Все мои знакомые и родные прореагировали на это почти одинаковыми словами: «Ну и дура ты. Надо было требовать ставку, ведь они бы дали! А так ты будешь считаться лишь совместителем». Действительно надо было. В 1954 году, когда было небольшое сокращение штатов, меня опять уволили вместе с другой «полставочницей».

Осенью стало ясно, что в конце марта я должна родить. Мама отнеслась к этому ожидаемому событию очень неодобрительно. К тому же мы с Исаем сделали ужасную вещь, из-за которой мама надолго сделалась нашим врагом, — завели собаку. Исай, как и я, любил животных, и в октябре мы пошли на собачью выставку в Сокольники. Там продавали охотничьих собак, и мне очень понравился хорошенький, с лохматой мордой щенок по кличке Дек — помесь немецкой гладкошерстной легавой и дратхаара. Я поехала домой раньше, а Исай еще остался, через час он постучал в наше окно, и я увидела, что у него за пазухой щенок. Исай ликовал. «Дек?» — спросила я в форточку. «Нет, Дека уже

продали, это его сестричка, Пальма». Пальма была не столь симпатична, как ее брат, да и мамина реакция не оставляла сомнений. «Какая неслыханная наглость! Чтобы я жила в одной комнате с собакой!» — услышали мы, и никакие просьбы и уговоры не действовали. Между тем мы все больше привыкали к щенку, и он быстро рос, превращаясь в большую темно-коричневую псину. В половине шестого Пальма подходила к тахте, клала лапу на одеяло и начинала постепенно стаскивать его с меня — пойдем гулять. И я вставала, всовывала ноги в валенки, накидывала кошачью шубу, одолженную мне Татьяной Исаевной, и выходила с Пальмой на занесенный снегом двор. Наглости этой собаке было не занимать. Однажды за обедом я только отвернулась, как она подошла к столу и взяла с моей тарелки большой кусок курицы. Скандалы с мамой из-за Пальмы бывали иногда такие страшные, что я всю ночь не спала и плакала. Но спустя годы я, конечно, осознала, что мы в то время поступили с мамой нехорошо…

1952 год

20 марта у меня родилась дочка. Она должна была появиться на свет еще 19-го, но роды были долгие и тяжелые. Перед этим я почти до последнего дня ездила на работу: полставочникам декретный отпуск не оплачивали. Я была очень рада, что у меня появилась именно девочка, у меня и имя для нее было придумано — Марина. Когда она родилась, она первое время была очень похожа на китаяночку, может быть оттого, что я в то время в институте учила русскому языку китайцев и целыми днями видела перед собой их лица. Бабки говорят — надо перед родами больше смотреть на красивых людей, тогда и ребенок родится красивым, — может быть, не так уж это безосновательно[73].

Когда меня везли в такси домой из родильного дома, я узнала, что, пока меня не было, у нас в комнате сделали ремонт. «А как Пальмуха?» — спросила я. «Нет Пальмухи, — ответил Исай, — отдал я ее одному охотнику». У меня потекли слезы. «У тебя же дочка, — сказала мама, — а ты плачешь из-за какой-то собаки».

Первое время мне было трудно с ребеночком. Оказалось, что мама не только не умеет пеленать, но даже боится дотронуться до малышки. Она сказала, что, когда у нее родилась я, она тоже всего боялась и меня пеленал и купал только папа. Очень помогла мне во всех этих делах моя школьная подружка Нота, у которой было двое детей. Ляли в то время в Москве не было, вместе с

Леонидом и Сережей она была в экспедиции, на этот раз на Кавказе. От нее я получала только письменные советы. Вообще же смотреть мою дочку приходило много народу, и 12 апреля мы созвали гостей в честь рождения Маринки. Пришло много моих, маминых и Изиных друзей…

В июне Исай уехал на месяц в дом отдыха, что меня несколько обидело. Я видела, как другие мужья помогали своим женам. Некоторые даже стирали пеленки.

Купать девочку было удобно только на кухне (еще в 1948 году нам провели газ), но тут начались всякие сложности с соседями. Они ворчали, и мне приходилось всякий раз просить у них разрешения занять кухню на 15 минут. Они все равно то и дело врывались, распахивая дверь; получался сквозняк, и я нервничала, как бы девочку не простудили.

Если я не путаю, именно в 1952 году разрешили наконец вернуться в Москву тете Меле. Она сразу устроилась работать счетоводом в какую-то маленькую конторку и была относительно счастлива. Через два или три года, когда она находилась в доме отдыха под Москвой, у нее случился инсульт, и ее парализовало. Хотя после этого она прожила еще лет пятнадцать, она так и осталась полным инвалидом — с трудом выговаривала слова (хотя все понимала и помнила) и совсем не могла ходить…

1953 год

В марте вдруг умер Сталин. Помню, как в институте все стояли со слезами на глазах в коридоре перед кафедрой и слушали по радио бюллетень о его состоянии. Дома мама тоже всплакнула: «Что же теперь будет? Он же был для народа как отец». Тысячи людей побежали прощаться с его телом. Я дошла до Сретенских ворот, дальше к центру не пускали, и я свернула на Рождественский бульвар, но внизу, на Трубной площади, я увидела настоящее столпотворение. Там была давка, доносились крики, и я пошла домой. По радио объявили, что на следующий день будет организованное прощание населения и доступ в Колонный зал будет открыт с утра до пяти или шести часов. Мы с Исаем попросили маму посидеть с Маринкой и встали в хвост очереди на Колхозной площади. Было холодно, шел мокрый снег, а двигалась колонна чрезвычайно медленно. «Слышали, — крикнула недалеко от нас какая-то женщина, — Сталина-то, оказывается, врачи убили, евреи подлые, жиды!» «Конечно, евреи врачи, — подхватили другие, — горе какое, и никто за ними не следил!» За два часа мы дошли только до Лихова переулка, и

стало ясно, что до Дома Союзов мы не успеем дойти до закрытия такими темпами. Мы продрогли до костей и ушли домой.

Осенью я ждала еще одного ребенка. Белла Исаевна и мама были против. Мне было очень обидно, что они считали себя вправе давать мне в этом деле указания.

Надо было, однако, придумать что-то с летом, не хотелось, чтобы второй год Маринка дышала городским воздухом. Помогла мне опять Нота: муж ее был родом из деревни Поздняково, за Архангельским, и она с детьми проводила там летние месяцы у его родственников. 2 мая они взяли меня с собой. Мы доехали до Опалихи и оттуда шли километра три через кое-где еще не совсем освободившийся от снега лес, потом прошли по полю до деревни, где сначала направились к их родным, у которых выпили водки и из огромной сковороды все вместе ели яичницу с ветчиной. После этого народ стал петь «Славное море, священный Байкал», а Нота пошла со мной подыскивать дачу. Все было слишком для меня дорого, пока я наконец не сняла большую холодную комнату в доме, выказывающем свое презрение всей уличке тем, что он стоял как бы спиной к ней, обращенный лицом к речушке. Помимо нас в избе были сданы комнаты еще двум семьям.

В начале июня мы сначала перевезли вещи в грузовике, а на следующий день маму с Мариночкой. В лесу, когда мы присели отдохнуть и Исай спустил ее на травку, она сделала первые несколько самостоятельных шагов в своей жизни. В тот же день мы с Исаем уехали обратно в Москву — Исай сдавал экзамены, а у меня еще оставалось много студентов, не сдавших переводы.

Когда я через три дня снова поехала в Поздняково — везла продукты и в лесу то и дело останавливалась передохнуть и послушать (впервые в жизни!) пение соловья, я встретила недалеко от нашего дома Ноту с детьми. «Ты не пугайся, — сказала она, — но для тебя неприятная новость. Твоя Мариночка заболела корью». Оказалось, что еще вечером того дня, когда ее перевезли, у нее поднялась высокая температура, и бедная мама натерпелась волнения и страхов. Когда я приехала, девочке было уже полегче. Она лежала в своей кроватке в затемненной красной шторкой комнате, вся в красных пятнах. В комнате было довольно прохладно, и горела керосинка.

В июле я освободилась и стала постоянно жить на даче. За стеной нашей комнаты находился курятник, и петух часов с двух ночи громко кричал, словно стоял рядом с кроватью. Днем я чаще всего сажала Маринку в коляску и везла ее на другой берег речки, где среди кустарника перед забором летнего лагеря Военно-инженерной академии можно было нарвать немного земляники. Маринка с удовольствием ела ее и научилась сама отыскивать

ягодки. Лето было довольно дождливое, а места около деревни было сыроватые. Ехать же с коляской в более дальние места по слякотным дорогам было бы тяжело. В гости к нам на дачу приезжали Белла Исаевна, Юля и даже дядя Сережа.

Однажды утром я проснулась оттого, что хозяйский дед на всю мощь включил радио. Я стала вслушиваться и ушам своим не поверила: сообщали об аресте министра госбезопасности Берии, о раскрытии заговора, готовившем переворот[74]…

Исай в то лето окончил университет, защитил диплом (по истории Аляски). Его направили в управление железнодорожными школами и предложили место учителя истории в поселке Поныры Курской области. В конце августа он туда уехал.

«У тебя будет сын, точно тебе говорю», — сказал мне летом в Поздякове один старый седобородый дед. И в самом деле, у меня родился сын, да к тому же в день рождения моего папы, 6 октября. Я не могла не назвать его Борисом в память о Билльчике, хотя само по себе мне имя это не очень нравилось. Я собиралась дать ему имя Леонид, в память о моей первой детской любви.

Исай даже не прислал мне сразу ни телеграммы, ни письма. Только его тетя, Татьяна Исаевна, работавшая неподалеку от роддома, передала мне три великолепные красные розы.

Мальчик родился большеглазый, с черными волосиками, такой нежеланный. Мама сказала: «Не нужен мне в моем хозяйстве мальчишка». Белла Исаевна смотрела на него, презрительно опустив уголки губ. Исай, когда наконец написал, выразил сожаление, что это не девочка. Только Татьяна Исаевна воскликнула: «Да вы только посмотрите, у него же глаза как звезды!»

По странному совпадению вместе со мной (неделей раньше, неделей позже) родились детишки еще у двух преподавательниц нашей кафедры. Потом у всех по очереди собирались отпраздновать их рождение.

В жизни людей в то время происходили кое-какие перемены. Кажется, около 1954 года стали появляться телевизоры. Желание приобрести эту диковину было очень велико, поэтому по нашему переулку по утрам было не пройти. Телевизоры (была одна только марка, КВН, с линзой) продавались на Колхозной площади, в Главэкспроме, люди записывались туда в очередь и приходили по утрам на перекличку. Ждали своей очереди месяцы, а на крышах домов быстро вырастали целые леса антенн в виде буквы Т. Они тогда были индивидуальными. Наши соседи тоже купили себе телевизор. Но в отличие от обычая других

коммунальных квартир приглашать к себе по вечерам соседей посидеть перед экраном нас никогда не звали. Может быть, нам и некогда было бы — мама ложилась рано, часов в девять, а мне с двумя ребятишками хватало забот. Из одежды в те два-три года были в моде «пыльники» — белого цвета плащи из плотной вискозы, совсем не защищающие от дождя. Каждая уважающая себя женщина ходила летом в таком пыльнике. В магазинах их было трудно достать, и были они не так уж дешевы.

1954 год. ВСХВ

Весной 1954 года снова открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Ее не открывали раньше (хотя павильоны были готовы, все построены заново в национальных стилях, уже не из дерева, а каменные), потому что там нужно было установить гигантскую статую Сталина, а место для нее никак не могли выбрать (так, во всяком случае, говорили). Теперь ее открыли — без статуи. Первое время достать билеты было чрезвычайно трудно, но мы с Исаем все-таки попали туда, совершенно случайно. В одно из воскресений подбросили ребят на Кировскую, бабушке Белле, и поехали в Останкинский парк. Гуляли, гуляли и вдруг увидели у забора людей, главным образом мальчишек, человек десять. Когда мы подошли ближе, то увидели, что в заборе проделана лазейка, довольно неудобная, но мы, не задумываясь, по примеру других ею воспользовались. Отряхнув пыль, мы выбрались на аллею. Я была счастлива — в моей памяти это место всегда связывалось с Билльчиком, с радужными мечтами, и вот я гуляю здесь снова, с мужем, уже став матерью… Но странно по-прежнему ожила в душе мечта о чем-то прекрасном, несбыточном.

ВСХВ была очень красивым парком. В то время там было больше деревьев и цветов и, главное, вполовину меньше павильонов. Но даже если входить в павильоны, можно было получить удовольствие — там были выставлены не только сельскохозяйственные продукты республик, но и образцы их народного искусства, костюмов, музыкальных инструментов и т. д., там были оранжереи с растительностью южных республик. Только главный павильон был и тогда пустым и невыразительным, и еще не понравились с первого взгляда фонтаны с аляповатыми, почему-то позолоченными фигурами. А бывший главный вход, который теперь стал называться северным, казался красивее нового. После этого нелегального посещения мы в тот год ходили на ВСХВ еще раз, уже с билетами.

Поныри

Летом я с детишками поехала на месяц в Поныри, благо у нас был бесплатный проезд по железной дороге. Маринке было два года и четыре месяца, Боре десять месяцев. Он было зимой стал чахнуть, развился рахит — оказалось, что у меня было мало молока. Но за весну он очень хорошо поправился на искусственном корме, а два раза в неделю я носила его в поликлинику на облучение кварцем, так что и рахит исчез полностью.

Поселок Поныри был разбит войной, здесь долго стояли немцы. Тот месяц, что мы там жили, был жаркий, совсем без дождей, при малейшем ветерке по улицам носились тучи черной пыли. Вообще, чернозем удивил меня, все казалось углем, так привыкла я к подмосковным белым дорогам.

Исай снимал крохотную комнатушку в доме, принадлежавшем довольно странному семейству. Хозяин, Иван Трофимыч, был здоровенным детиной с вечной черной щетиной на щеках. Он любил вспоминать, что до войны занимался боксом. Он был на фронте, а сейчас работал на станции слесарем-обходчиком — обстукивал молотком вагоны, проверял, нет ли каких дефектов, и делал необходимый ремонт. Руки его всегда были в смазочном масле и дегте, и, придя домой, он долго и тщательно отмывал их щеткой и потом шел в большую комнату. Эта комната была двухсветная и почти пустая, в ней стоял только стол да вдоль окон подставки с разнообразными цветами. Вот в этой комнате он и садился на пол, прислонившись спиной к стене, всегда в одном и том же месте, и все свое свободное время вышивал крестом большую скатерть. Он сам придумал узор и с большим вкусом подобрал цвета ниток.

Жена его вышиванием не занималась. Это была дородная красивая женщина с белой кожей и длинной русой косой. Она работала при станции мужским парикмахером.

«Ах, как я устала…» — придя домой, говорила она томным голосом какой-нибудь графини и садилась на ступеньки крыльца рубить крапиву свиньям. При этом она то и дело театрально вздыхала. Муж ревновал ее ко всем клиентам — не знаю, обоснованно ли, во всяком случае право на свою ревность он имел. У этой четы было пятеро детей, старшему, Коле, семнадцать лет, Люсе пятнадцать (она была хорошенькая блондиночка, взявшая от родителей то красивое, что в них было), вторая же дочь, тринадцатилетняя Светлана, была чернявая, очень некрасивая и ни на кого не похожая. Во время войны в их доме жили фашистские солдаты, и Надежда Степановна прижила

эту Светлану с одним румыном. Иван Трофимыч терпеть не мог эту девочку, но жену простил, и она родила ему еще двух сыновей, оба лицом — вылитый отец, одному мальчику было шесть лет, другому пять. В то время когда мы жили там, Светка, получив за какую-то провинность от отчима затрещину, ушла из дома. Все переполошились, трое суток ее искали, потом мать одной девочки, жившей неподалеку, обратила внимание на то, что ее дочь после обеда уносит полные миски — якобы собаке, а на самом деле на сеновал. Оказалось, что там и скрывалась все это время Светлана — лежала и читала книгу.

Жизнь моя в Понырях была нелегкой. Комнатушка, где мы спали, совсем крохотная, и окошко в ней не открывалось, так что ночью было страшно жарко и душно. За водой надо было ходить на колодец в полукилометре от нашего дома, по дороге на этот колодец летали пчелы. Как-то раз одна запуталась у меня в волосах, и я в панике опрокинула на голову пустое ведро, стала визжать и так и добежала до колодца. Пчела тоже испугалась и даже не ужалила меня.

Утром, пока еще не было сильного зноя, я выносила коляску с Борей на солнышко, ставила Маринкину кроватку под вишни и начинала возиться у керосинки. Она у нас была одна, а готовить надо было отдельно завтрак детишкам, отдельно Изе, потом нагреть воду для стирки, потом готовить два обеда. Я не успевала как следует смотреть за ребятишками. Однажды утром Боря, любивший вставать и, ухватившись за козырек коляски, раскачиваться, опрокинул коляску, упал лицом в рыхлую землю у дома и молча стал глотать этот чернозем. Я очень испугалась за его животик — я даже не знала, долго ли он уже занимается этим делом и много ли съел. А Маринка в один из дней, пока я стирала, убежала куда-то через открытую калитку, и я не знала, в какую сторону бежать ее искать. Наконец мою дочку, с наслаждением жующую кусок черного хлеба, привела женщина из дома наискосок от нас: «Вы что же, не кормите свою девочку, что ли? Вошла к нам в дом и говорит: «Тетя, дай хлебца!»

Кроме ребят, на моем попечении была еще Динка — шоколадного цвета, с волосатой мордой дочь Пальмы, которую в свое время Исай отдал одному охотнику бесплатно с условием, что ему дадут потом щенка. Динка была шкодлива, в мать, но охотничий инстинкт у нее имелся: увидев на улице курицу, она делала стойку. Однажды она таки задавила цыпленка. Из наших детей она любила только Марину. Даже когда девочка опрокинула ее миску с едой и потом насыпала туда песку, Динка отнеслась к этому с пониманием. Однажды мы хотели за что-то наказать Маринку и поволокли ее к свинарнику, а Динка со

страшным лаем и рычанием набросилась на нас с Исаем и чуть не растерзала. К Борьке она относилась с презрительным недоумением — что за принц такой, в коляске его катают. Один раз, во время общей прогулки, она поставила лапы на бортик коляски и заглянула под козырек — ее страшная морда так напугала Борю, что он до сих пор боится собак. По утрам я выводила Динку за калитку и слышала от прохожих замечания: «Во, мужа нет, так она кобеля завела. Да еще страшного какого!»

Исай ежедневно сразу после завтрака отправлялся в школу и ждал там, когда привезут хлеб. Иногда он возвращался только часам к двум. Хлеба выдавали определенную норму, и вообще с продуктами было плохо; наши мамы два раза присылали нам посылки. В тот год даже случился неурожай знаменитых поныревских яблок. На рынке продавали только мед, темный, гречишный, — вокруг поселка простирались бескрайние поля гречихи.

Оказалось, что Исай умеет готовить прекрасные вареники с вишнями. Делал он их очень обстоятельно, каждый вареник прокалывал в двух местах булавкой. К сожалению, только два раза он продемонстрировал мне свое искусство. А я так не любила готовить!

Хозяйский сын Коля, который от своего отца, боксера-вышивальщика, унаследовал художественную жилку, ездил в Курск сдавать экзамены в училище живописи. Когда он приезжал, то всегда сразу брал на руки Маринку и играл с ней. Но однажды Маринка напрасно искала и ждала его — он почти целый день просидел в уборной: что-то у него случилось с животом. На следующий день у него все уже было в порядке, и он снова уехал в Курск. А Мариночка к вечеру того дня заболела, температура у нее поднималась все выше, она стонала и металась в кроватке. Исай побежал за врачом — местной знаменитостью Адамом Статкевичем, в которого все поныряне верили как в Бога.

Было уже около одиннадцати часов. Я сидела у кровати Маринки и не спускала с нее глаз. И вдруг она полузакрыла веки, из-под них блеснули белки ее глазок, она словно потеряла сознание. Я так испугалась, сознавая свое бессилие, что выбежала на дорогу встретить врача. Но я не знала, с какой стороны его ждать, и бегала взад и вперед перед домом, вглядываясь в темноту. Почти через час после того, как Исай ушел, я наконец различила вдали две фигуры и бросилась им навстречу. Адам, молодой, деловитый и самоуверенный, ускорил шаги. Он осмотрел Маринку, но заявил, что ничего не может сказать, пока нет каких-нибудь других симптомов, лекарств тоже пока не велел давать, только прикладывать холодные компрессы к головке. С

утра пораньше он обещал зайти снова. Утром стало ясно, что у Маринки плохо с животиком, правда, температура немного спала. Заболел и Боря.

«Я так и знал, что такая высокая температура может быть только от чего-нибудь инфекционного, — с гордостью сказал Адам Статкевич. — У них токсическая диспепсия. Вчера уже отправил в больницу Храповицкую с сыном, а перед этим Гольцову нашу с дочкой. Похоже, что эпидемия — у меня еще вызовы к другим детям. Поедете в больницу в Брусовое, я вам сейчас выпишу направление»[75].

После этого Исай долго ходил добывать подводу — Брусовое было километрах в восьми от Понырей. А я сбегала за водой и перестирала накопившуюся за утро большую кучу пеленок и простыней.

Наконец прибыла подвода, на которой был постлан небольшой стог сена, куда мы и уложили совсем ослабевших детишек. Мы сели рядом с возчиком и поехали. Жара стояла совсем невыносимая, без ветра, дорога шла все время через поле, под палящим солнцем, она была неровная, в ухабах, и за подводой чернело облако пыли, вскоре густым слоем покрывшей наши вспотевшие шеи и лица. Детишки, сначала хныкавшие, когда трясло особенно сильно, через некоторое время замолкли. Я то и дело оглядывалась, Маринку мне было видно, а Борю нет. Я попросила возчика приостановить лошадь, Исай слез и откинул пеленку, которой был прикрыт Боря. «Жив еще», — сказал он и снова накрыл его.

До больницы мы добрались часам к трем. Это был бывший помещичий дом из красного кирпича, с высокими ампирными окнами. Здание стояло на холме над широким оврагом, на другой стороне которого раскинулась деревня Брусовое. У въезда стоял столб с керосиновым фонарем, под ним — охапка сена для лошадей. Перед домом росли два очень толстых старых вяза и кусты сирени. Нас сначала повели в каменное строение, какое-то подобие бани. Всю нашу грязную одежду сложили в мешок, и нам велели помыться. Это было довольно трудно сделать, потому что детишки от слабости не могли даже сидеть и с лавки бы упали, а пол был каменный. Кое-как я все-таки помыла их в лоханке и сама ополоснулась. Нам выдали длинные рубашки и пеленки и повели нас в дом, в большую палату, где уже находилось несколько женщин с детьми. Нам выделили две койки в середине помещения. Палата была очень чистая — свежевыкрашенные белые окна и двери, голубые стены, после зноя снаружи казалось даже прохладно. Окна палаты выходили в большой яблоневый сад. Электричества в больнице не было, несложные операции и

прием родов совершались при керосиновых лампах.

Первую ночь мы провели очень неспокойно. Я сдвинула обе кровати и уложила ребяток поперек, боясь, как бы они не упали. Но, как только я немного задремала, Боря шлепнулся на пол, перебудив всех своим криком. Потом я в последний момент подхватила Маринку. Ребята лежали так неспокойно, что пришлось мне совсем не спать. На следующий день, на наше счастье, из палаты сбежала одна девочка лет двенадцати, и я перешла на койку у стены близ окна. Впредь я ложилась с краю и клала детишек к стене — падать уже было некуда.

В больнице этой было всего два врача, муж и жена среднего возраста, он — хирург, она — терапевт и гинеколог. Они жили в обвитом жимолостью домике рядом с больницей, при домике был большой сад, огород, и все утопало в пестрых цветах.

По утрам и вечерам нам раздавали лекарство — тогда как раз появилось новое средство, синтомицин, им и лечили ребятишек. Температура у них вскоре спала, но понос не прекращался. У всех других матерей были дети старше моих, от трех до шести лет, и они сами за ними стирали, если что-нибудь пачкалось, я же не могла помочь нянечкам, потому что нельзя было оставить Борю. Нянечки не роптали, но пеленок грязных у меня было много, и мне было очень неловко. Угостить нянечек мне было нечем.

Мои соседки по палате обычно после обеда брали привезенные из дома подстилки и одеяла и рассаживались со своими детьми под яблонями. Я, когда ребята мои немного окрепли, иногда тоже выходила с ними прогуляться. Борю я брала на руки, а Маринка топала за мной, крепко держась за мою длинную рубаху.

Пациентов в больнице было много. В коридоре недалеко от нашей палаты страшно стонала по ночам пожилая женщина, умиравшая от рака. Ей делали уколы морфия, но это уже не помогало. «Убейте меня, — просила она слабым прерывающимся голосом, — ну дайте что-нибудь, чтоб умереть…» Сердце разрывалось от этих стонов. Были и хронические больные, большинство из них — ходячие. Около дома всегда бродило несколько мужчин с палочками: очевидно, эти больные страдали от полученных еще в войну ранений. Как-то ближе к вечеру, когда жара немного спала, все ходячие больные и я с ребятишками расселись на высоком крыльце бокового входа, и был устроен концерт. Врач притащил из своего дома баян и пел русские народные песни, потом баян взял один молодой парень и стал играть «цыганочку», и врач долго лихо ее отплясывал, заслужив бурные аплодисменты пациентов.

Кормили в больнице отвратительно. Я не помню, чтобы

давали что-нибудь помимо манной каши, всегда полной твердых комков, но, наверное, в обед давали еще и какой-нибудь суп. Я усаживала своих ребят рядом со мной на койке, одного справа, другого слева, ставила себе между коленями миску и по очереди подносила им по ложке. Им это нравилось. Все другие женщины в палате вообще не ели больничной еды, только чай пили. Им ежедневно приносили что-нибудь из дома, а тем, кто был из Понырей, передавали через шоферов и возчиков. Одной мне не то что еды, даже записочки ни разу не прислали. Только когда нас должны были выписать, Исай передал через человека, что назавтра приедет и заберет нас. Он приехал на грузовике. Захватить для нас чистую одежду он не догадался, и нам пришлось надеть то пропотевшее и пропитанное черной пылью, в котором приехали. Почему-то мне вдруг стало жаль покидать больницу…

Вскоре после этого мы вернулись в Москву. Маринка совсем поправилась, а Борин животик пришел в норму только месяца через два после нашего возвращения.

1955 год

Ляля уговорила меня вместе снять дачу на лето, чтобы обошлось дешевле. Мы поехали в Ильинское, туда теперь ходил автобус от метро «Сокол», и быстро нашли подходящий дом, но пожить в нем нам потом не пришлось. Как-то в конце мая я возвращалась вечером от Тани Барышниковой, которая жила теперь на Подсосенском переулке, и меня сшиб велосипед, на котором сидело сразу трое подростков. Меня отшвырнуло в сторону, я разбила коленку и оцарапала руки, очки с меня слетели и разбились вдребезги. Меня подняли, мальчишек задержали, хотели пойти за милиционером, но я сказала, что ничего не надо и я сама дойду до троллейбуса. Коленку я обвязала платком, дома промыла ранку и думала, что все быстро пройдет. Но на следующее утро я не могла согнуть ногу, и дальше стало еще больнее. Фира Соловей из нашего дома довела меня до такси и повезла через площадь в больницу, но там отказались осмотреть мою ногу, потому что, хоть это и была травма от уличного происшествия, надо было прийти к ним сразу, в тот же вечер. Фира, сама врач, шумела, требовала, но безрезультатно. Только прививку от столбняка сделали.

Самыми мучительными были ночи — я могла лежать только на спине, и малейшее движение хотя бы пальцами ног страшной болью отдавалось в коленку, поэтому я совсем не могла спать.

Днем я с черепашьей скоростью, держась за мебель, ковыляла по квартире. Ляля поехала в Ильинское и отказалась от дачи. Приехал из Понырей Исай и наконец довел меня до поликлиники. Оказалось, что у меня бурсит (воспаление коленной сумки), мне назначили курс лечения токами УВЧ, от которых постепенно становилось все легче, хотя побаливала коленка еще до самой осени. Пришла меня навестить наша заведующая кафедрой Дина Авраамовна Старцева (по прозвищу Динетта), очень своеобразная, с причудами, женщина лет пятидесяти. Она принесла с собой большой букет цветов, но не передала его мне, а села с ним на стул. Завязалась натянутая беседа. Я предложила ей чаю, но она наотрез отказалась, даже покраснела почему-то. Вдруг она сказала, что торопится. «А эти вот цветы — вам от всей нашей кафедры», — и она положила букет на письменный стол, попросив меня проводить ее до двери. Когда я вернулась и взяла цветы, чтобы поставить их в вазу, из букета выпал конверт. В нем лежало 400 рублей и открыточка, подписанная всеми моими коллегами. Так вот почему Динетта так странно себя вела! Я села, и у меня полились слезы благодарности и умиления.

Исай, отработав положенные два года, насовсем уехал из Понырей. В Москве устроиться на работу он не смог и опять отправился на Север, в Аян. Там он прожил еще два года. Но и до его отъезда стало ясно, что мы понемногу расходимся все дальше.

Лето мы с мамой и ребятишками пробыли в Москве. Когда я смогла, все еще прихрамывая, ходить на более далекие расстояния, мы несколько раз на целый день уезжали на ВСХВ. Там всем нам было очень хорошо.

Между прочим, к тому времени на моей старой работе произошли большие изменения, о которых я узнавала от Тани. Институт востоковедения в Сокольниках был ликвидирован. Большинство преподавателей, и Тяню в их числе, перевели в Институт международных отношений (МГИМО), очень немногие попали в Университет на факультет восточных языков, а кое-кто вовсе никуда не был определен. Таня рассказывала мне, сколько в связи с этим на кафедре было интриг и слез.

Мой мучительный сон про одиночество больше не появлялся.

Бузланово

1956 год примечателен тем, что в то лето я впервые попала в деревню Бузланово, где с тех пор бываю почти ежегодно. Была уже середина июня, когда я вдруг надумала снова снять дачу и поехала по старой привычке в Ильинское. Но оказалось, что там

нельзя пускать дачников — рядом была правительственная трасса, да и купаться в Москве-реке теперь уже категорически запретили из-за близости Рублевской водопроводной станции. Женщина, в дом которой я зашла, посоветовала попробовать найти дачу в Бузланове и показала, как пройти туда: в гору, потом через лесок, а там еще полем километра три. Я пошла и с первого взгляда влюбилась в эту деревню. Даже сейчас, когда место это затоптано, загажено и безвозвратно искорежено, я никак не могу разлюбить его, как верная жена — своего покалеченного и контуженного мужа-ветерана.

В этой деревне было все — поле, прекрасные разнообразные леса с грибами и ягодами, веселая речушка Липка, в одном месте запруженная, так что образовалось озерцо. Место это не могло надоесть, потому что от деревни во все стороны лучами расходились дороги, всего около двенадцати, и каждая вела в другое место да еще пересекалась не одной тропой. Это были дороги в Ильинское, в Совхоз, в Александровку, через Хлебниковский лес к опушке, там же просека к речке, дороги Петровская, Дмитровская, Степановская (по названиям тех селений, куда она вели), путь вдоль опушки и берега запруды, дороги «Собачий Гриб», «Машкин путь», дорога в солдатский лагерь, в Никольское и в орешник. Про эти дороги и места, куда они ведут, я узнавала постепенно в последующие годы, а в первый раз мне понравилось расположение Бузланова. Однако избы, тогда еще без многочисленных веранд и пристроек, были уже сданы, и я дважды тщетно прошла по обеим улицам из конца в конец, пока одна женщина не предложила мне холодную комнатушке в доме своей дочери. Дочь ее, счетовод Зина, и ее муж, шофер Коля, были на работе. Домик стоял в глубине между другими участками, за магазином, его и не видно было с улицы. Пришел на обед хозяин, и я сняла эту комнатку за 450 рублей.

Мне хотелось, чтобы мама отдохнула от нас и пожила в Москве одна. Так мы и устроились, но она все-таки раз в неделю приезжала и привозила нам кое-что из продуктов. Путь на дачу был тогда совсем неудобный: автобус отходил от метро «Аэропорт», потом минут сорок езды до Ильинского (или Александровки), да еще идти три километра. Лето было дождливое и прохладное, ребятишки еще довольно маленькие, так что приходилось всюду таскать их с собой — в магазин, вечером за молоком, которое мы брали у одной женщины (тогда в Бузланове еще держали коров, и было стадо голов в десять). Прогулки мы в тот первый год совершали лишь недалекие: ну-ка посмотрим, ребятки, куда ведет эта дорожка… Мариночка в то лето была уже довольно самостоятельной девочкой. Борик, хотя

ему было уже почти три года, еще почти не умел говорить. Тянет меня за платье: «Мама! Мама! Мизя! Мизя!» На тропинке перед домом извивается дождевой червяк, а Борик подумал, что это змея.

У Маринки тоже были забавные моменты. Режет ножницами воздух. «Что ты делаешь?» — «Я мукробов режу. Они очень маленькие и их не видно, но, может, я разрежу несколько штук? И мы болеть не будем». Или: «Мама, а у волны есть зубки?» Объясняю ей, что такое волна. «Поняла? Это вода. А почему тебе подумалось, что у волны могут быть зубки?» — «А потому что ты нам читала в «Докторе Айболите»: «А в море волна, сейчас Айболита проглотит она». Думала, что волна — какое-то морское животное. Наверное, дети вообще никогда не задают вопросов глупых, просто мы не знаем логического хода их мыслей.

1957 год. Радио

В этом году для меня нашлась еще одна работа. На радио открылась новая редакция — вещание на немецком языке для немцев Поволжья, в начале войны переселенных в Казахстан и на Алтай. Они написали тогдашнему главе Западной Германии Аденауэру, что очень недовольны тем, что для них больше не выпускают газет и журналов, не ведут радиопередач и т. д. Аденауэр обратился к Хрущеву, и результатом было создание этой редакции. Ее заведующим назначили мужа одной женщины, работавшей в библиотеке вместе с Ирой, вот Ира меня и порекомендовала.

В отделе было два редактора — две очень красивые молодые женщины. Они работали через день, и в их обязанности входило выбирать в редакции последних известий материал для переводчиков, относить переводы для проверки и передавать их потом дикторам, а также отвечать на письма радиослушателей. Вся эта работа занимала меньше часа в день, остальное время они вели нескончаемые телефонные разговоры с подругами и родственниками да отчаянно флиртовали с дикторами и мужчинами из редакции последних известий. Однажды, придя на работу, я застала в нашем кабинете одного из них на коленях перед прекрасной Ниночкой, а Ирочка не раз запиралась там же и целовалась с диктором Кнаусмюллером. Переводчик в редакции был один, его звали Спартак, и при нем была машинистка, пожилая дама по имени Дыся Евсеевна, которую он люто ненавидел и называл за глаза Дуськой. Работы в редакции было много, и нужен был еще один внештатный переводчик.

«Ах, вы не умеете печатать, — разочарованно протянул мой новый начальник, когда я впервые пришла туда, — а еще одну машинистку мы не можем взять…»

Я обещала ему как можно скорее научиться печатать и действительно уже через месяц довольно уверенно и с большим удовольствием отстукивала свои тексты. Что касается моего контрольного перевода, то главный редактор вещания на немецком языке за границу, Вера Григорьевна, сказала, что все более или менее в порядке и меня можно взять на работу. Это была очень странная женщина лет сорока пяти, с волосами, выкрашенными в ярко-рыжий цвет. Некрасивое лицо ее было еще испорчено неумелой подкраской, в ушах болтались безвкусные малиновые серьги, на шее — бусы в три ряда, а одета она была или в помятую, видавшую виды синюю вязаную кофту, или в ярко-красное цветастое платье. Общий вид у нее был как у какой-нибудь дешевой продавщицы. Говорила она хрипловатым контральто, но всегда очень громко. Немецкое произношение у нее было настолько безобразным, что даже у худших своих школьных учительниц я такого не слышала. Манера выражаться у нее тоже была грубоватая, и сначала я ее ужасно боялась. «Что это ты, мать моя, поваренную книгу переводишь или политический текст?!» — орала она на меня. Или: «Хм. Опять язык как у домашней хозяйки, ну где ты в газете бы прочитала такое! Вот Спартак ваш, тот ошибочку грамматическую может сделать, но штампы все назубок знает, не перевод, а конфетка!» Я, конечно, с того времени стала очень внимательно читать немецкие газеты, стараясь запомнить стиль. Позже я поняла, что Вера Григорьевна — добродушнейшая женщина, что язык она, конечно, знает прекрасно, если кто переводил плохо, она как раз совсем не кричала, а просто тихо отметала таких, и на работу их не брали. Она уже улыбалась мне, когда я приносила ей свои переводы, и, читая их, бормотала себе под нос по-немецки: «Так… так… во время приема дело дошло до потасовки… так… завтрак прошел в обстановке взаимного непонимания и пьяных скандалов…»

Под конец своей работы на радио я так наловчилась, что выдавала штампы автоматически, только взглянув на начало русского предложения, и печатала, совсем не глядя на клавиши. Я могла одновременно переводить и с интересом слушать, как Спартак ругается с Дысей, смеяться шуткам то и дело забегавших к нашим красавицам дикторов, вместе с Ирой и Ниной хохотать над часто нелепыми и анекдотичными письмами слушателей.

В основном я работала вечерами, три раза в неделю, — приезжала из института, наскоро ужинала, часто поспевала еще и

постирать или погладить и ехала на Пушкинскую площадь (Путинковский переулок), где тогда помещался Радиокомитет. Поскольку работа там во всем отличалась от той, которую я делала днем, она воспринималась скорее как отдых, и только добравшись часам к одиннадцати домой, я чувствовала, как устала. Когда у меня в институте бывал свободный день, я работала на радио и днем.

Зарабатывала я примерно рублей 60–70 в день (мне платили «средний» тариф — по 13,50 за страницу), и это было большое подспорье. Я в тот год купила себе первые в своей жизни наручные часы.

Летом я опять сняла дачу в Бузланове, — познакомилась во время поисков с одним семейством, и мы сняли дом пополам. Так как я летом продолжала работать на радио, мы с мамой два раза в неделю сменялись, для этого купили проездной билет на автобус.

В то лето в Москве поводился всемирный фестиваль молодежи. Весь город был празднично украшен. Первую Мещанскую улицу переименовали в проспект Мира, в Лужниках открылся стадион. Даже на стеклах окон люди наклеивали специальные пестрые картинки с эмблемой фестиваля, расхаживали с бумажными флажками разных стран. Народ толпами валил по улицам, все пели и кричали: «Дружба! Туш-па!» Вечером после работы на радио я встречалась на площади Пушкина с Юлей или Таней, и мы смешивались с пестрой многоязычной толпой.

В Бузланове в то лето было особенно много грибов. Мы с детишками заходили в лес все дальше, разведали новые дороги. А вечерами слушали, как молодые дачницы распевают на деревенских улицах «Подмосковные вечера».

1958 год

После того как был запущен спутник с собакой Лайкой, Маринка нарисовала на эту тему картинку, которую я послала на конкурс детского журнала «Веселые картинки». Нас пригласили в редакцию на утренник, и Маринке была вручена вторая премия: годовая подписка на журнал и набор цветных карандашей. В журнале «Огонек» появилась статья Черепановых с описанием ее рисунка, а немного позже и сам рисунок был опубликован в «Веселых картинках». Я очень радовалась, что моя дочка такая талантливая…

МГИМО

В конце 1958 года Таня Барышникова по поручению Нины Богдановой, руководившей на кафедре английского языка МГИМО восточной секцией, пригласила меня вести одну группу у них в институте. Я с радостью согласилась, и получилось так, что какой-то период я работала в четырех местах! Днем в МИИВХе, вечером поочередно там же на подготовительных курсах для абитуриентов или на радио, да еще шесть часов в неделю в МГИМО. Если выкраивался один свободный вечер, то надо было побыть с детьми, надо было обстирать ребят и Исая, если была наша очередь — перемыть полы в квартире. Все это было одной из причин наших ссор с Исаем.

…В конце мая 1961 года меня ввели в штат МГИМО с окладом 1350, то есть 135, рублей (за выслугу лет), и я снова могла чувствовать себя совершенно полноценным человеком. За летние месяцы я по-прежнему не получила ни копейки, но радовало сознание, что это последний такой год. Я начала работать в МГИМО с полной нагрузкой, и снова работа начала мне доставлять большое удовольствие. К тому же меня окружали мои старые добрые знакомые по Институту востоковедения.

Вообще, после того как я попала в этот институт, в жизни моей уже мало что менялось, все текло более или менее однообразно, без потрясений и взлетов, поэтому дальше мои записи будут гораздо более краткими.

1962 год

Ребятки мои становились взрослыми. Особенно хорошо мне было с ними, когда им было 10–14 лет, потому что, с одной стороны, с ними можно было уже говорить как с большими, а с другой, они еще оставались моими, не тянуло их еще так сильно к сверстникам. Они с удовольствием ходили со мной на прогулки. В те годы мы часто по воскресеньям, когда мама уходила к дяде, садились в поезд (обычно с родного Белорусского вокзала), и ехали до какой-нибудь незнакомой станции, откуда отправлялись открывать Америки. Нам все это нравилось. Иногда мы брали с собой Таню Барышникову.

А летом я решила повезти детей на юг. Мы поехали в единственное знакомое мне место — в Лазаревку. Там мы после долгих поисков нашли жилье, довольно далеко от моря, но в окружении прекрасного сада, где росли инжир, миндаль и очень много цветов. К тому же за комнату запросили недорого, всего 45

рублей за месяц. Безоблачного своего настроения 1949 года я, конечно, вернуть уже не могла, но жили мы в Лазаревке неплохо, по два раза в день ходили купаться на море, вечером иногда катались на катере. Один прекрасный день провели в Сочи.

Исай изредка отвечал мне на мои письма — он жил теперь на Камчатке, в поселке Эссо. Я все-таки не решалась окончательно порвать с ним, мне все казалось, что ребятам, особенно Боре, когда подрастут, очень нужен будет отец.

В институте у меня появились новые приятельницы — Ася Булгакова и Таня Бусурина. И осенью я получила две группы, с которыми у меня постепенно сложились очень тесные дружеские отношения. Я заметила, что все еще не утратила способность увлекаться студентами, по-прежнему меня это вдохновляло…

<…>

Вместо заключения 1994 год. Поездка в Германию

В этом году вдруг произошло странное счастливое стечение обстоятельств, позволившее мне нежданно-негаданно еще раз побывать в Германии и увидеть все те места, где я росла.

Татьяна Бусурина и ее младшая дочь Лена решили расширить с моей помощью свои познания в немецком языке (Лена с мужем собирались переехать в Германию), и я еженедельно ездила к ним для занятий. Часто мне рассказывали там о некоей фрау Бертольд, гувернантке младшего сына известной виолончелистки Наталии Гутман, — она жила с мальчиком в Мюнхене, иногда привозила его в Москву и тогда общалась с Таниной семьей (старшая дочь Тани Аня дружит с Гутман). Фрау Бертольд неизменно привозила много подарков маленькому внуку Татьяны, но общение как таковое было не совсем обычным: оно шло с обеих сторон на ломаном английском, ибо фрау Бертольд не знала ни слова по-русски. Вот и пришла Таниной семье в голову мысль пригласить к себе вместе с фрау Бертольд и меня, чтобы мы побеседовали по-немецки.

Урзула Бертольд оказалась общительной женщиной 53 лет, высокой, худощавой, спортивного типа, в коротких джинсах. Она рассказала мне о себе — родилась в Гамбурге, в семье среднего достатка, мать хотела, чтобы дети получили хорошее образование, но в отличие от своего брата Урзула окончила лишь классы, соответствующие низшему неполному среднему образованию, и пошла учиться на курсы чертежников. Окончив курсы, она, однако, почувствовала, что ее призвание — сельское хозяйство, и уехала в Швейцарию, где несколько лет работала помощницей в одном крестьянском хозяйстве: ходила за коровами, ухаживала за садом. Попутно она заинтересовалась виноградарством и ходила на курсы по этой специальности. Потом поняла, что любит детей от 6 до 12 лет, и поступила воспитательницей в сельский детский приют. Однако, будучи человеком принципиальным, она через два-три года рассорилась со старостой этого сельского округа (о чем потом жалела), и уехала из Швейцарии. Работала в Мюнхене, потом в Любеке у пожилых людей компаньонкой, садовником. В Любеке ее порекомендовали как прекрасную гувернантку к шестилетнему сыну Наталии Гутман. «Зашу» Кагана, отец которого, третий и любимый муж Наталии, Олег Каган, рано умерший от рака, был талантливым скрипачом, тоже обучали музыке. Он был добрым,

но очень избалованным мальчиком. Ему и гувернантке сняли роскошную квартиру в Мюнхене, где они жили вот уже четыре года — мальчик учился в немецкой школе, был бесконечно предан фрау Бертольд, которую слушался с полуслова. По-видимому, у нее действительно был талант воспитателя.

Фрау Бертольд поинтересовалась, откуда я так хорошо знаю немецкий. Я сказала, что родилась в Берлине семьдесят один год тому назад. Она сказала, что теперь, когда стало легче везде ездить, я, наверное, часто бываю на родине. Мои слова, что я не была там шестьдесят три года, ее потрясли, но я напомнила ей, что для приезда нужно приглашение, а мои родные все давно уже умерли или неизвестны мне. После этого я все время переводила разговор на другие темы, но она продолжала глядеть на меня широко раскрытыми недоумевающими глазами и спрашивала снова и снова: «Неужели никого у вас нет в Берлине? А в Мюнхен вы не хотели бы приехать, я бы вас пригласила? Я все время стараюсь припомнить, нет ли у меня хоть кого-нибудь в Берлине…» Мне стало уже не по себе от такого ее участия, и я поспешила уйти. Она на прощание взяла мой телефон, и на следующий же день позвонила: «Приходите ко мне, мы с Зашей одни, фрау Гутман на гастролях. Посмотрите, какая у них квартира. Давайте еще поговорим». Отказываться было неудобно, я пошла, и мы опять долго говорили. Лейтмотивом все время было: «Неужели некому пригласить вас в Берлин?» Потом она проводила меня по Гоголевскому бульвару до метро, напоследок попросив оставить ей мои «анкетные данные». Это было в четверг, в субботу она летела с Зашей обратно в Мюнхен, а уже в следующий вторник в восемь часов утра раздался звонок: «Я вам выслала с фрау Гутман приглашение! Мне сказали, что вам не обязательно ехать в Мюнхен — можете в любой город. Остается только найти, у кого бы вы в Берлине могли остановиться». Через два дня приглашение было у меня, а еще через неделю она сообщила: фрау Гутман говорит, что я могу остановиться в Берлине у ее брата, Бориса Сапожникова, — вот его адрес и телефон…

Я все еще была ошарашена, меня будто тянули против моей воли столько новых, чужих и незнакомых людей. Но постепенно начала вертеться машина: получение русского заграничного паспорта (полтора месяца), потом получение анкеты и номера в посольстве ФРГ (запись в очередь в шесть утра, получение номера в четыре), потом ожидание, когда подойдет очередь номера (еще полтора месяца), затем, наконец, получение визы. Всю эту бюрократическую волынку я претерпела совершенно без рвения и энтузиазма, просто казалось — прислала же добрая женщина

приглашение и обидится, если я не воспользуюсь им. Кроме того, у меня и денег не было на такую поездку. Знакомые больше меня загорелись идеей отправить меня в Германию. Таня дала 50 марок, ее дочь Аня — аж 100 марок, Ирина — 6 долларов, Люда — 8 марок, оставшихся после ее тура Нюрнберг — Париж, Боря обещал 200 долларов, но всего этого было мало, одна дорога туда и обратно стоила около 600 тыс. рублей. И я решила отнести в антикварный магазин красивую старинную шкатулку из наследства, оставшегося от дяди Эли и тети Любы. Она оказалась севрской, ручной работы; ее оценили в миллион рублей, но до того дня, как я получила в посольстве визу, она еще не была продана («красивая вещица, но — лето, не сезон»). Однако (еще один счастливый случай) в день получения визы ее и продали. Я стала миллионершей и тогда, наконец, вдохновилась. Купила билеты на поезд, и вот 20 июля в десять часов вечера (опоздали на два часа) я сошла на перроне вокзала *Lichtenberg* своего родного города.

Первые часы были окрашены мрачной краской и полны волнений. Надо было позвонить Сапожниковым и расспросить, как ехать к ним. С трудом я нашла единственный на вокзале (а кажется, и в городе) телефон-автомат, по которому можно было звонить монетами, а не специальными карточками. Разменяла у одной старушки марку, а сама все время волновалась: что если никто не снимет трубку? Или скажут, что ничего обо мне не слышали?

Но недовольный женский голос сказал: «Что же вы так поздно?» — и объяснил, как к ним ехать: на *S-Bahn* с двумя пересадками до *Hermannstraße*, оттуда пешком идти минут пять. Она сказала, где мне надо пересаживаться, но не сказала, в какую сторону ехать, и я долго путалась. Было уже одиннадцать часов, пассажиров было мало, а которые были, не знали, где *Hermannstraße*, — словом, когда я наконец добралась до места, было уже двенадцать часов. Сапожниковы, как я потом поняла, были неплохие люди, но, как говорится, им только меня не хватало. В квартире из двух больших комнат и просторной кухни жили Борис Сапожников (47 лет, с шести до часу работал на ипподроме тренером и конюхом, а с восемнадцати до двадцати трех — в ресторанчике тапером, образование у него было музыкальное), его жена Наташа (25 лет, очень страдающая от того, что ей никак не давали *Arheitserlauhnis*[76] и приходилось сидеть дома), их дочка Мира двух лет, очень музыкальная и страшная крикунда (весь день во всю глотку орала «ма-ня! ня-ня!»), пятнадцатилетний сын Борис от первого брака (проблемный юноша, двоечник, хулиган, страдающий

клептоманией), два черных пуделя и кошка Маня. Кроме меня, в то время у них гостила Наташина мама из Москвы. Хороший бедламчик и без меня, но мне деваться было некуда. Я старалась в дальнейшем как можно меньше времени проводить у них — уходила рано утром, приходила вечером.

В первый же день я помчалась на свою родину. Сначала на *Albrechtstraße*, которая оказалась не такой широкой, как у меня в памяти. Чистая, обсаженная деревьями улица, многие дома вдоль которой были явно новыми. Не было уже и нашего дома № 99, на его месте — какая-то станция, кажется, по техобслуживанию автобусов, три дома рядом и напротив — новые. Видно, большая — а может быть, не одна — упала здесь в свое время бомба. Жаль, я собиралась войти внутрь. Я пошла по улице вниз, чтобы посмотреть *Stadtpark*, куда меня всегда водила мама гулять. Вот он, почти весь сохранился, много старых деревьев, все очень ухоженно. Немного изменена детская площадка и, по-моему, прибавилось водоемов, фонтанов, но может быть, мне просто изменяет память. У входа в парк появился большой многоэтажный дом, да в дальнем конце парка нет уже прямого выхода к *Teltowkanal*, там все было застроено особняками и шли уличные работы. Зато на противоположном берегу — та же труба *Gasanstalt*. Я пешком отправилась в *Lankwitz* (это километра четыре-пять). По дороге купила в магазине *Woolwortb* чайник. И ела мороженое, запивая минеральной водой. (Заодно упомяну, что все четырнадцать дней моего пребывания в Германии температура колебалась от 35 до 40 градусов, так что «домой» я приходила всегда совершенно мокрой.) Конечно, дома возлюбленной Фридриха Великого не могло быть, он ведь и в нашу бытность в нем (1923–1926 годы) был уже весь гнилой и заплесневевший. Сейчас на его месте двухэтажная белоснежная больница *Theresienkrankenhaus*, но совершенно сохранился скверик напротив дома, как бы островок вокруг церквушки среди улицы *Alt-Lankwitz*. Я уселась со своим чайником и бутылочкой на скамейку, окружавшую старинный, в два-три обхвата, каштан, который, конечно же, должен был помнить меня. Я просидела под ним целый час, и вокруг меня то и дело падали незрелые зеленые каштаны в колючих оболочках, которые я в детстве собирала. Все время у меня было чувство… не сентиментальной жалости «ах, прошли года» и т. п., а какой-то просветленной радости, успокоения, и мне было очень хорошо. А церквушка, оказалось, была деревенской церковью. XII века. Вернее, в 1943-м она сгорела, но ее восстановили точно такой, какая была. Даже мелодия звона ее часов мне показалась знакомой.

На обратном пути я нашла единственное здание из моего

детства, которое сохранилось, — мою школу. И там, на *Grundschule* $^1/_2$, до сих пор школа.

Пока меня не было, Сапожниковым уже обзвонилась фрау Бертольд с просьбой, чтобы я обязательно приехала в Мюнхен. Пришлось изменить план и вместо Росток-Гюстрова сначала поехать к ней, т. к. она 30 июля должна была ехать со своим подопечным в Гамбург.

На следующий день я погулялась по центру города, купила билеты в Мюнхен и зашла в зоопарк — огромный, в самом центре, зверей гораздо больше, чем в Москве, и их можно хорошо рассмотреть.

23-го я уехала в Мюнхен. Поезда в Германии — невообразимо удобные, у каждого кресла столик, прозрачные двери сами открываются при приближении человека, переход в другой вагон совсем не заметен, как незаметно и само движение поезда, такое оно плавное, словно не по земле едешь, а летишь. Каждые 15–20 минут проезжает тележка с разнообразными напитками и бутербродами, в каждом вагоне по два чистейших туалета, льется вода. Я, конечно, не отрываясь глядела в окно и восхищалась пейзажами: поросшие лесом невысокие горы с уютными деревеньками и прозрачными речушками. Наш маршрут был таким: Магдебург — Брауншвайг — Гёттинген — Кассель — Фульда. В Фульде, где я должна была пересаживаться на другой поезд, я от того поезда отстала! Опять пришлось понервничать, пока мне не объяснили, что я могу в Мюнхен ехать любым поездом — следующий шел через 50 минут. Добрые люди не показали, как позвонить фрау Бертольд. Ведь надо было предупредить ее, чтобы она встречала меня не в 16:30, а в 18 часов. Я поела в кафе мороженого, но по городу погулять не решилась. Новый поезд почему-то ехал через Нюрнберг, там развернулся и поехал через Вюрцбург и Аугебург в Мюнхен.

Квартира, которую снимали фрау Бертольд, оказалась великолепной, в новом, прекрасно спланированном доме, с тремя балконами, все в растениях. Я спала в отдельной комнате на широченной кровати. Фрау Бертольд не знала, как мне угодить, а я стеснялась и, зная ее бесцеремонный характер и требовательность к чистоте и порядку, боялась что-нибудь сделать не так. Она объявила, что на следующий день мы совместно с ее двумя приятельницами совершим автомобильную поездку в Альпы, где пройдем километров десять, а пока, вечером, мы немного прогулялись по Леопольд-штрассе.

Поездка в Альпы (около 70 км от Мюнхена) была сказочной! Приятельницы Урзулы оказались довольно старенькими — семьдесят шесть и семьдесят восемь лет, младшая из них

блестяще водила машину. Остановились мы в деревушке Байришцелл (церквушка с острым шпилем, белоснежные дома с черепичными крышами и разноцветной геранью на балконах) и отправились сначала гулять по окрестностям, потом пошли за 6 км в ресторанчик «Ципфельвирт». Навстречу попадались пешие, а больше на велосипедах, баварцы, все улыбчивые, все неизменно здоровались с нами *Gruß Gott*. В ресторанчике мы пообедали, отдохнули и двинулись назад. Я пошла по шоссе, хотя жара была страшная, но щебневые дорожки совсем измучили меня — обувь у меня была не для далеких альпийских прогулок. На обратном пути мы заехали к владелице машины попить кофе. Она жила в небольшом доме на *Alpenveilchenstraße*; за домом у нее был садик с аккуратно подстриженным газоном, обилием цветов и ягод, а посередине газона стояла раскидистая старая слива, похожая скорее на дуб, ветви ее едва не ломились от обилия слив. Под это дерево хозяйка поставила стол, накрыла красивой скатертью, и там, в прохладе, мы пили кофе с молоком и булочками, еще утром испеченными хозяйкой. Три женщины обменивались сплетнями, как на заправском *Kaffeeklatsch*[77], а я просто сидела, вполуха прислушивалась к ним и наслаждалась отдыхом.

На следующий день мы с фрау Бертольд ходили по магазинам, были в Английском саду, а вечером гуляли по берегу мелеющей, не очень благовонной речки Изар. Существовал большой соблазн сходить в оперу на «Свадьбу Фигаро» или «Дон Жуана», но я побоялась, что мне потом не хватит денег на другие поездки. Во вторник я пошла в Пинакотеку (где как раз шел ремонт, и картины переносили из старой Пинакотеки в новую), еще погуляла по городу, а фрау Бертольд между тем взяла мне билет Берлин — Росток, накупила всяких подарков и сварила форель (я как-то в разговоре упомянула, что никогда ее не ела). Не зная, как ее отблагодарить, я купила ей красивый букет роз.

В Берлин я вернулась уже без приключений. Там я еще погуляла в Груневальде, ходила в большую картинную галерею, в собор. В один из дней Наташа и ее мама позвали меня с собой в Брицер-гартен, где они часто гуляли с Мирочкой. Отказаться было неудобно, и я пошла с ними. Я не пожалела, так как парк этот оказался прекрасным. Даже пляжик там был для купания. Я, увы, не захватила в свою поездку купальника, поэтому не смогла освежиться ни в Берлине, ни в Мюнхене (где рядом с домом была купальня), ни в Байришцелле (рядом было большое озеро).

Побывала я и в Потсдаме, погуляла там по городу и долго сидела в тени в «Потсдамской Аркадии» — прекрасном парке на острове. Дворца я не посетила ни одного, ни в Мюнхене, ни в Берлине, ни в Потсдаме, — меня это как-то меньше интересовало,

ведь наверняка не очень они отличаются от петербургских.

В воскресенье, 31 июля, я поехала в Росток. Езды туда два с половиной часа. Еще в Мюнхене Урзула пыталась дозвониться Эсси, но ей сказали в справочной, что телефона ее у них не значится[78]. Я, правда, еще из Москвы написала Эсси, что, возможно, заеду к ней в конце июля или начале августа, но ответ получить не успела и ехала, не зная, застану ли ее в Ростоке. Продавец газетного киоска на вокзале объяснил мне, как дойти до Висмарше-штрассе, и, к счастью, Эсси оказалась дома и мне не пришлось ночевать в гостинице. Эсси искренне обрадовалась мне, тут же потащила вниз в свой бывший ресторанчик *Stralsunder* и основательно покормила. Потом мы гуляли по городу, прошли на берег Варно, где дул хоть какой-то бриз с моря, зашли в Мариенкирхе. Вечером она угостила меня шампанским и предложила выпить на брудершафт. Живет Эсси одна в трехкомнатной квартире, обставленной с роскошью и вкусом. Эсси очень богатая женщина (девять платяных шкафов полны ее нарядами, семь кофейных сервизов, отдыхает ежегодно в Португалии, Греции, на Мальорке и т. д., еженедельно ее внимательно осматривает врач; наследник ее — племянник мужа, который, видимо, очень внимателен к ней). Между прочим, у нее много книг — в основном эстонских, другие растащили родственники. Хотя она почти всю жизнь простояла у плиты и мойки, она интересуется историей, литературой, выигрывала призы за кроссворды в одной таллинской газете. В 1985 году она пригласила к себе в Росток всех, кто пятьдесят лет назад оканчивал с ней гимназию… Словом, женщина она очень общительная, многим интересующаяся. Она подарила мне 300 марок.

В понедельник я наконец-то поехала в Гюстров. И сразу почувствовала себя там как дома; город, казалось, принял меня как свою. Хотя перемен произошло ох как много! Сразу у вокзала — автобусная станция: рейсы во все окрестные деревни, куда когда-то хаживали пешком (была лишь одна линия — от Глевинских ворот до Инзельзее). Город стал меккой туристов. Был понедельник, жара достигла 40 градусов, а все буквально кишело туристами. Я сразу узкими переулочками прошла к собору, возле которого жила бабушка. Я знала от мамы, что того дома больше нет, и все-таки неприятно поразилась, когда увидела на месте бабушкиного и двух соседних домов двухэтажное красное кирпичное здание с зарешеченными окнами. Надписей никаких, но выглядит как тюрьма. Я полезла по берегу Рва, чтобы посмотреть, что за бабушкиным домом, где был сад, сарай и уборная. Часть двора отошла к соседней школе им. Бринкмана, а

часть — пустырь, поросший крапивой и сорняками (красивый дом настоятеля собора рядом еще стоит, и сад за ним обнесен каменной стеной). Переулочек, где я когда-то пролезала под лошадью и выронила бутылочку со спиртом, оказался не так уж узок. Видимо, поперек его тогда встала лошадь вместе с повозкой. Я обошла все окрестности — по-прежнему понравились площадь Парра и местность у замка. Я вошла в собор, где когда-то бывала по воскресеньям с бабушкой, потом заказала себе на Рыночной площади картофельный салат с сосиской, мороженое и воду, ведь деньги теперь у меня были и я внушала себе, что это — последний раз в жизни, и я ни в чем себе не должна отказывать. После обеда я зашла в Пфарркирхе, где посидела в прохладе. Играл орган, хотя службы не было. И тут я не выдержала, и у меня по лицу потекли слезы, слезы счастья и благодарности. Ведь моя религия — никогда ни о чем не просить Бога, только благодарить. В те минуты я мысленно и благодарила Бога за то, что он послал мне столько добрых людей и я смогла вернуться сюда.

Долго еще я бродила, удивляясь, во что превратился этот тихий, малолюдный городок. Было слишком жарко, чтобы поехать на Инзельзее или попытаться найти то место, где был среди других бабушкин сад…

Около девяти часов вечера я вернулась в Росток, на следующее утро — в Берлин, а уж через день — и обратно в Москву.

Мне казалось, что завершился какой-то круг, произошла связь с далеким детством. Но остаться жить там я бы не хотела, да и не могла. Наверное, оттого, что люди, близкие мне, все были и есть здесь. А без них как жить?

Вот и прожила я свою жизнь дважды. Первую половину этих записей создавала с удовольствием. Вторую — с все большим усилием и неуверенностью. Удивительно дальнозоркой становится к старости память!

Хватит ли внукам терпения и интереса все это перечитать?

Дополнения

Послесловие редактора

Рукопись воспоминаний Лоры Беленкиной занимает 350 страниц убористого текста. В «Предисловии», написанном, как и все воспоминания, «для домашнего пользования», автор пишет: «Подробно я опишу раннее детство, школьные годы и юность — примерно до 1945 года, более поверхностно — до рождения моих детей и уж совсем скупо — потом». Скупо описанное «потом» — около 30 страниц рукописного текста; вместе с наследниками Лоры Беленкиной было принято решение не публиковать данный отрывок. В этой части воспоминаний есть очень эмоциональные и личные эпизоды: о лете 1959 года, одном «из самых прекрасных в моей жизни», о сложных отношениях с Лялей Б., о разрыве с мужем Исаем. Довольно подробно о работе в МГИМО (о дружбе со студентами, о преподавателях), о поездке по туристической путевке в Венгрию и Чехословакию в 1963 году. 1964 год отмечен смертью дяди Эли — того самого дяди-хирурга, к которому приходил в первых числах июля 1941 года его старший брат Борис перед записью в ополчение. Середина 1960-х — написание учебника английского языка (вместе с подругами Татьяной Барышниковой и Татьяной Бусуриной), точнее, история мучительных бесконечных придирок, поправок и т. п., которая продлилась до 1974 года, когда наконец многострадальный учебник был издан. Прежде столь подробные и увлеченные описания путешествий становятся все лаконичнее. Ключевые, контрапунктные эпизоды этой финальной части жизнеописания — смерть самых близких людей — подруги Ляли в 1972 году и мамы в 1975 году. (Марга успела в 1967 году на месяц съездить в Германию (ГДР) к своей племяннице, это была ее первая и последняя поездка на родину после 36-летней разлуки.) Исключение в этой части мемуаров — «детективная новелла» про вызов Лоры в 1972 году на Петровку на допрос о возможной коррупции в МГИМО во время вступительных экзаменов (остроумно и протокольно точно воспроизведен диалог со следователем; видно, что случай стал одним из немногих событий этих лет, достойных, с точки зрения автора, «художественного» описания). Еще относительно подробно написано о новой институтской подруге — Лене Симоновой, жене журналиста-международника Владимира Симонова, дочери немецкого писателя-антифашиста Фридриха Вольфа. Заканчиваются воспоминания записями, относящимися к середине 1980-х годов.

Затем написаны авторские «Примечания и дополнения», часть

которых публикуются в сносках. Последние из этих примечаний — о смерти бывшего мужа Исая в 1998 году и смерти, через полгода, Ирины Шустовой, в дружбе с которой прошла вся жизнь Лоры начиная с раннего детства в Берлине.

Рукопись завершается описанием поездки в Германию 1994 года.

Не завершился круг

Воспоминания писались моей бабушкой Лорой Беленкиной на протяжении десяти лет — с середины 1980-х до середины 1990-х годов. В это время мы жили все вместе — мои родители, я с братом и бабушка — в тесной, но отдельной собственной трехкомнатной квартире на улице Старый Гай. Бабушка вела записи украдкой у себя в комнате и внимания на них не акцентировала. И как-то так получилось, что никто из нас до ее смерти их не читал…

Бабушка умерла в 1999 году. Все, что описано здесь, произошло задолго до моего рождения. Но многие вещи, обитавшие в нашей квартире, свидетельствовали о другой, длинной жизни не только бабушки Лоры, но и многих неизвестных мне родственников. Походная альпийская трость с металлическими наклепками с непонятными немецкими словами; старинные фотографии, в том числе с моими прапрадедами, в лица которых я с удовольствием вглядывалась в детстве, пытаясь найти сходство с моей семьей; неизменно выставлявшаяся под Новый год старинная рождественская объемная открытка; вышитая моей прабабушкой скатерть. Эти и многие другие семейные реликвии значили бесконечно много для бабушки и почти ничем не были примечательны для меня тогда. Конечно, я задавала вопросы, иногда бабушка сама начинала разговор и делилась ярким эпизодом из жизни. Но это никак не складывалось в моей голове в цельную картину жизни — все урывками, ассоциативно-предметно, да и много было в ее словах недосказанности.

Короткое время после смерти бабушки я жила в ее комнате и тогда же впервые прочитала мемуары. Я будто познакомилась с бабушкой заново, другими глазами увидела вещи, меня окружавшие.

Перечитывая текст, я каждый раз воспринимала его по-разному. То погружалась в детали, то проглядывала и останавливалась на любимых моментах, то обнаруживала новые подробности, незамеченные ранее, то, наоборот, пыталась найти что-то, что, мне казалось, было, — но не находила…

Я не находила ностальгии в привычном смысле — ни тоски, ни обобщений, ни идеологических надстроек, ни рефлексии, ни переосмысления. Как будто текст скроен из чистейшей, ни с чем не смешанной памяти. Мне бы хотелось понять, почему она не писала, например, о том, как переживала свое немецкое происхождение в годы войны. Почему даже спустя 50 лет, кроме

фактического пересказа событий и описания трудного, особенно для 1940 года, выбора отметки в паспорте — «еврейка» или «немка», она не оставляет других свидетельств, какая это была для нее глубокая психологическая травма. Возможно, это переживание так и не было разрешено, не была подведена смысловая черта ни тогда, ни позже. А возможно, отношение к жизненным парадоксам — разлуке с родиной или национальной самоидентификации — она намеренно не проговаривает. И действительно, выбранный бабушкой Лорой стиль, даже жанр — повествование изнутри пережитого момента, а не взгляд спустя прожитые годы — делает текст настолько живым, пульсирующим, насыщенным кульминациями и внутренними связями и дает мне как читателю возможность осмыслить и прожить ее жизнь по-своему и заново.

Совсем недавно я впервые оказалась в Германии. Я нашла школу, в которой бабушка окончила первый класс в 1929 году, и была удивлена, что она до сих пор действующая, нашла тот самый каштан, возле которого бабушка бегала в детстве. Я сидела под ним, и строчка «завершился какой-то круг», написанная ею после поездки в Германию в 1994 году, билась в моих висках. Завершился ли он? А что сейчас?

Не является ли все описанное в этой книге универсальной тканью бытия, а сплетения судеб и событий — неразрывными нитями, связывающими нашу жизнь с прошлым, отменяющими понятие завершенности, продлевающими в бесконечности циклы возвращений и повторений? Именно там, под каштанами, я ощутила полноту бабушкиной жизни, но никак не законченность.

Катерина Беленкина

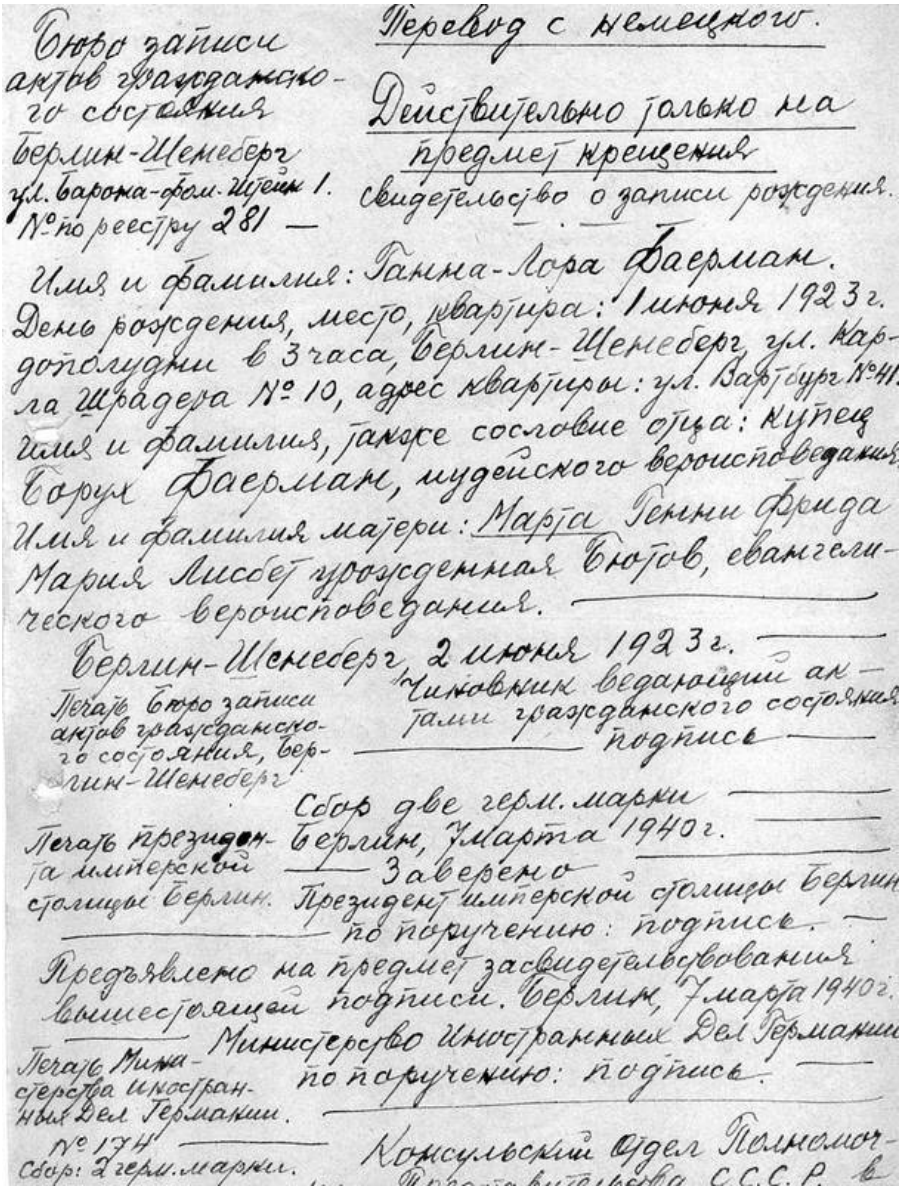
Иллюстрации

Германия

«Помню только бесконечные поездки на трамвае. Один раз мы долго стояли. Мама сказала: «Что-то сломалось. В колесе дырка», — и я пыталась себе представить, где в колесе дырка и почему она мешает нам ехать дальше. «Видишь — вон те две женщины, что сидят впереди? Это русские». Русских эмигрантов в Берлине было полно…»

Лагерь для интернированных гражданских лиц Хольцминден, Борис Фаерман сидит на земле второй от таблички влево, 23 августа 1917 года.

«…этот лагерь был, по-моему, для папы чем-то вроде особого университета. Именно там он выучился английскому, французскому, на которых потом свободно говорил и читал; именно там он познакомился с классической музыкой, научился хорошо играть в шахматы, а еще узнал цену дружбе и общению с другими людьми, равными в тех суровых условиях».



Перевод с немецкого.

Бюро записи актов гражданского состояния Берлин-Шенеберг ул. Барона-фом-Штейн 1. № по реестру 281 —

Действительно только на предмет предъявления свидетельство о записи рождения.

Имя и фамилия: Ганна-Лора Фаерман. День рождения, место, квартира: 1 июня 1923 г. дополудни в 3 часа, Берлин-Шенеберг, ул. Кардинала Шрадера № 10, адрес квартиры: ул. Вартбург № 41. Имя и фамилия, также сословие отца: купец Борух Фаерман, иудейского вероисповедания. Имя и фамилия матери: Марта Генни Фрида Мария Лисбет урожденная Бюров, евангелического вероисповедания.

Берлин-Шенеберг, 2 июня 1923 г.

Чиновник ведающий актами гражданского состояния подпись

Печать Бюро записи актов гражданского состояния, Берлин-Шенеберг

Сбор две герм. марки

Печать президента имперской столицы Берлин.

Берлин, 7 марта 1940 г.

Заверено Президент имперской столицы Берлин по поручению: подпись.

Предъявлено на предмет засвидетельствования выше стоящей подписи. Берлин, 7 марта 1940 г. Министерство Иностранных Дел Германии по поручению: подпись.

Печать Министерства Иностранных Дел Германии.

№ 1774 Сбор: 2 герм. марки.

Консульский отдел Полномоч-

«1 июня 1923 года в Берлине родилась Я». Свидетельство о рождении Ганны-Лоры Фаерман. Заверенный перевод 1940 года, сделанный в Берлине для получения советского паспорта.

Фотографии, сделанные Борисом Фаерманом в Германии в 1920-е годы

«…папа устроился на какую-то должность в кинокомпании «Сатурн». Ходил в потертом пальтишке с лагерной нашивкой на рукаве, голодный, но на первые заработанные деньги купил себе дешевый поддержанный фотоаппарат, которым снимать можно было только со штатива. С тех пор фотография стала его хобби…»

Борис Фаерман, автопортрет.

Wenn auch mancher Vorwurf durch die eigenartige unbestimmte, lichterfüllte Zeichnung des Monokels gewissermaßen in eine andere Sphäre gehoben wird, so wäre es grundfalsch, schlechtweg alle Aufnahmen, die „künstlerisch" werden sollen, nur mit der einfachen Linse aufzunehmen. Es gibt immer wieder Fälle, in denen die exakte Zeichnung des Anastigmaten das einzig Richtige ist!

Dann sei noch vor etwas gewarnt. Zunächst einmal verträgt die so eigenartige Zeichnung der Linse nur sehr schlecht Eingriffe der Retusche. Vielleicht aus demselben Grunde sieht weiter jede Monokelaufnahme in einem der Oelfarbenkopierprozesse geradezu unmöglich aus. Worüber niemand zu trauern braucht! Erinnern wir uns nur bei dieser Gelegenheit, welch ungemein ausdrucksfähiges Druckverfahren die einfache Bromsilbervergrößerung darstellt, wenn man sie nur beherrscht, gerade so wie der immer mehr der Vergessenheit anheimfallende Pigmentdruck mit seiner unübertroffenen Genauigkeit in der Wiedergabe der feinsten Tonwerte bei dieser Gelegenheit zu neuen Ehren kommen kann.

Hanne Lore Boris Fayermann-Berlin

Aus dem Photofreund-Wettbewerb 1925

Objektiv: Zeiß „Tessar" 1:3,5. — Kamera: Ernemann-Miniatur-Klapp. — Platte: Agfa-Extra-Rapid. Aufnahmezeit: April, 1 Uhr. — Blende: 1:6,3. — Belichtungszeit: $^1/_{50}$ Sek. Papier: Mimosa-Velotyp

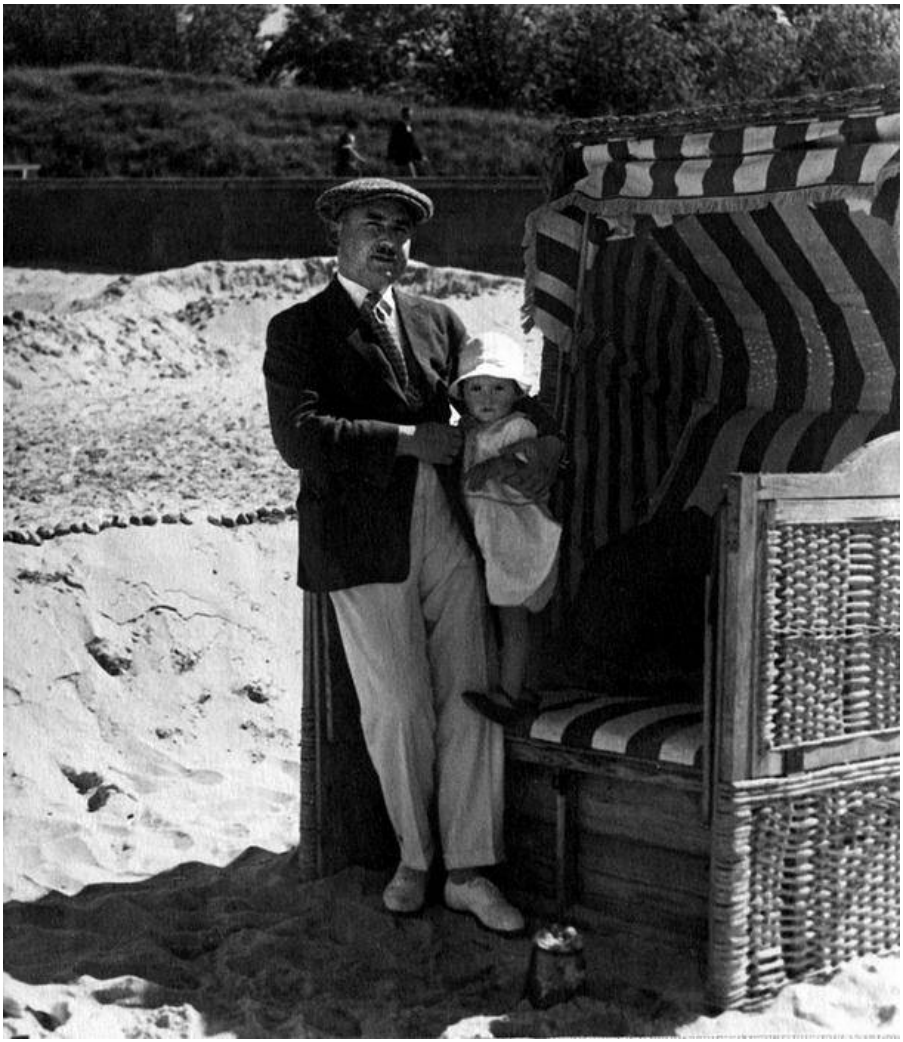
79

Страница из немецкого фотоальбома лучших фотографий сезона 1925–1926 годов. «Ганна-Лора», фотограф Борис Фаерман.

«Берлин тех лет был грешен и соблазнителен. Конечно, я и слов таких не знала в свои 4–6 лет, но была очень восприимчива к его разнообразным впечатлениям. И часто что-то неведомое и непонятное наполняло меня странной тоской».

«Какое впечатление на меня произвело само море, я не помню, но помню белый песок, запах сосен и шишки. Они нравились мне не меньше каштанов, и я всегда собирала их в корзиночку».

Бабушка Вильгельмина, Марга, Лора, неизв. Балтийское море.



«Папа пеленал меня умело и с удовольствием; мама заболела грудницей, и молоко у нее пропало, меня вскармливали искусственно — опять же часто бутылочку мне подавал папа, — наверное, поэтому именно он «запечатлелся», и я на всю жизнь оказалась папиной дочкой».

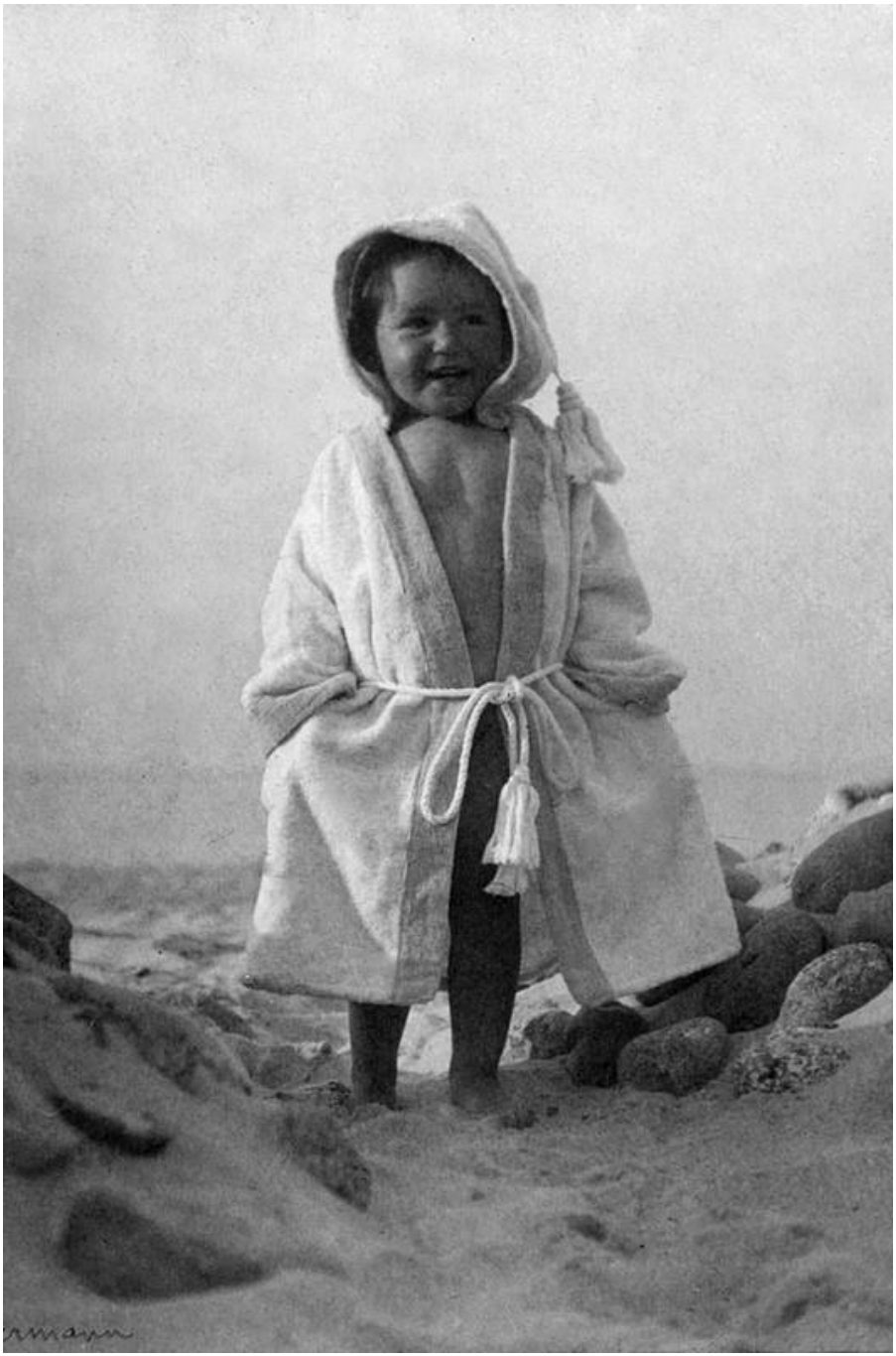
Лора и Борис Фаерман у пляжной кабинки на Балтийском море.

«Бабушка моя с материнской стороны, Вильгельмина Хан, была родом из большой крестьянской семьи, жившей в деревушке близ города Гюстрова в Мекленбурге».

Лора с бабушкой Вильгельминой на Балтийском море.

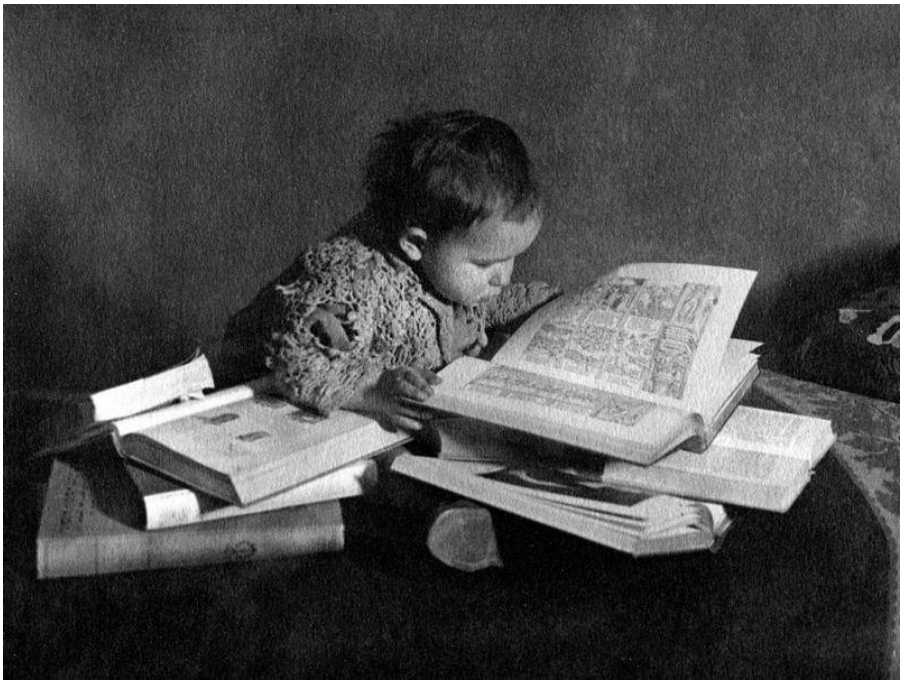
«Маму мою вообще-то звали Мартой (при крещении — Марта-Хенни-Мари-Лисбет), но она очень не любила это имя, называла себя только Маргой, и о ее настоящем имени никто даже не подозревал».

Лора и Марга.



«Иногда мы ездили в Росток к тете Анни, а оттуда — в Варнемюнде, купаться в море. Там был такой же, как в Арендзее, белоснежный песок, те же пляжные корзины с пестрополосыми навесами. Не было только сосен».

Лора с родителями.



«Помню свои две первые книжки — толстую с множеством

сказок и тонкую, картонную, где было мало текста и красивые пестрые картинки».

«Помню, как вечерами мы с мамой сидим на диване, мама вяжет, а на голове у нас надеты наушники. В них было слышно слова и музыку, но меня это не очень удивляло тогда».

«Помню, за мной однажды погнался гусак и больно ущипнул меня — факт, который родители мои не запомнили, а я неспроста до сих пор боюсь гусей».

«Кукол я никогда не любила и была более благосклонна к трем своим мишкам: большому белому Юмбо, остроносой, как лиса, Браут и маленькому коричневому Морхену».

«Я подумала и сказала: «Весной я хочу быть художницей. Летом — шофером поливальной машины. Осенью я хочу быть

замужем. А зимой буду балериной».

«Помню на окраине Обершрайберау справа от дороги среди цветочных клумб и подстриженных кустиков красивый деревянный дом с узкими окнами — это был музей».

Лора во время путешествия по горам Силезии перед мемориальной доской на доме, в котором жил писатель и философ Карл Гауптманн.

Лора и Марга.

«Из праздников самым большим и радостным было Рождество. И даже, пожалуй, не само Рождество, а все, что было до него. Детям разрешалось писать *Weihnachtsmann'*у (Деду Морозу) список подарков, которые бы им хотелось получить».

Лора в костюме Деда Мороза.

«Был Берлин — ясный, понятный и красивый, Берлин наших с папой воскресных прогулок по ренессансному центру: Шпрее, Тиргартен, Рейхстаг, Музей на острове, парки с разнообразными скульптурами, Груневальд и Тегель».

«Вечерами мы совершали небольшие прогулки по окраинам городка, там кое-где играла музыка. А в кустах зелеными огоньками светились светлячки. Именно в то лето я научилась читать…»

Лора и Марга.

«Каждое воскресенье папа ходил со мной гулять в большой парк неподалеку, от этих прогулок осталось впечатление праздничности и счастья. Папа во время этих прогулок пел, вернее, не пел громко вслух, а тихо мычал или насвистывал».

Лора и Борис Фаерман.

«Однажды мы вдвоем с папой едем далеко-далеко на трамвае, стоим на задней площадке, и так непривычно смотреть на выбегающие из под колес рельсы, сходящиеся вдали. Уже давно кончились дома и улицы, с обеих сторон только деревья…»

Окрестности Берлина.

«А потом, в середине февраля, настал тот вечер, когда мы с мамой сидели и что-то вырезали из бумаги, и вдруг вошел папа, дошел до середины комнаты, почти выронил свой тяжелый портфель, опустился на стул и сказал: «Меня посылают в Россию».

Москва

Таганская площадь. 1925 год. Рядом, на Воронцовской улице, жила семья Лоры с 1930 по 1931 год.

Демонстрация на улице Москвы. 1931 год.

«Один раз нас всех построили парами и объявили, что

сегодня день смычки. Я потом спрашивала у папы, что такое «смычка», но он тоже понятия не имел. Мы направились к Таганской площади».

«Не помню, куда мы поставили свои корзины, сундук и мебель, а сами перебрались опять в гостиницу. Станкоимпорт согласился оплачивать нам номер на седьмом этаже гостиницы «Ново-Московская» на углу Балчуга. Начался самый мрачный период моего детства».

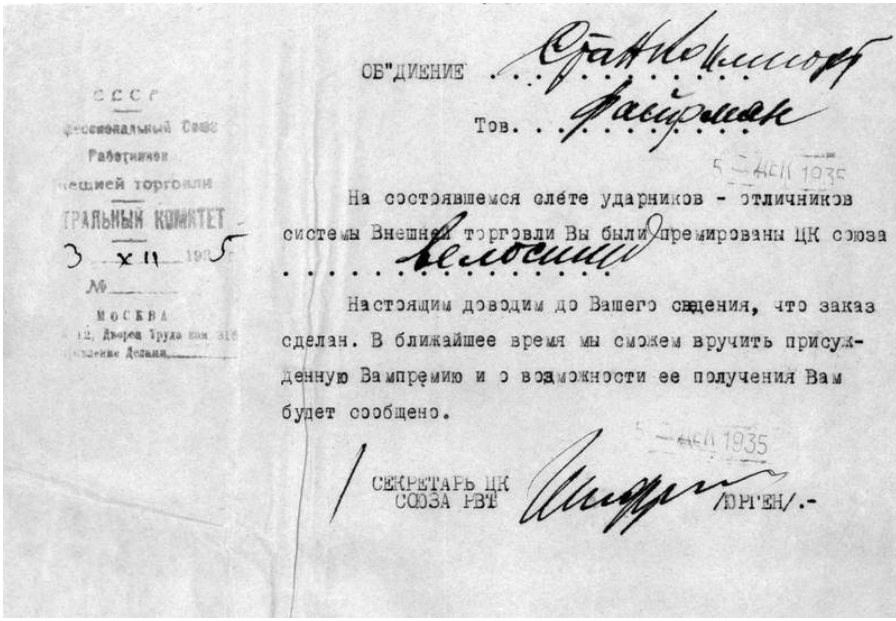
Дом на Балчуге, где в начале 1930-х находилась гостиница «Ново-Московская». Фотография начала 1920-х годов.

«Дома, где мы жили, давно уже нет… Он стоял непосредственно на площади, длинный, приземистый, в два с половиной этажа, с воротами, ведущими в небольшой узкий и темный двор. На первом этаже помещалась керосиновая лавка, рядом с ней — какая-то контора, на углу Арбатской улицы — магазин (какой был тогда — не помню, позже галантерейный). Вход на нашу лестницу был из подворотни, лестница совершенно темная, узкая и крутая».

«В здании ресторана «Прага» в те времена на втором этаже был маленький кинотеатрик».

Фотография Арбатской площади конца 1950-х годов.

«…мы сразу полюбили большую и светлую комнату, в которой даже наша скудная мебель встала как-то уютно. Какое было удовольствие опереться на широкий подоконник и глядеть вниз, на площадь!»



СССР
Профессиональный Союз
Работников
Внешней торговли
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
3 XII 1935
№
МОСКВА
12, Дворец Труда
Отделение Делами

ОБ"ЯВЛЕНИЕ Фаермаку

Тов. Фаермак

5 ДЕК 1935

На состоявшемся слёте ударников - отличников системы Внешней торговли Вы были премированы ЦК союза велосипедом.

Настоящим доводим до Вашего сведения, что заказ сделан. В ближайшее время мы сможем вручить присужденную Вам премию и о возможности ее получения Вам будет сообщено.

5 ДЕК 1935

СЕКРЕТАРЬ ЦК СОЮЗА РВТ /ЮРГЕН/.-

«Лето 1933 года было в общем-то довольно скучным. В июне мы редко ездили за город; может быть, оттого что было много дождей? Мне даже кажется, что у папы был в этом месяце отпуск, но он целыми днями не вставал из-за стола, все что-то писал и чертил. Он готовился сдавать техминимум и участвовал в каком-то конкурсе (в котором получил потом премию — велосипед; вернее, он им был награжден, но так никогда и не получил — велосипед заменили деньгами)».

Извещение о премировании Бориса Фаермана, 1935 год.

17389

Tagesausgabe

25 Juni – Sonntag

Bären-Zeitung

Druck und Verlag – Bärengemeinde

Chef-Redakteur – Bumm – Bazz – Brumm

Zens. No 1/c BAN

Raub der Braut

Freiwillige Befreien

– mißlungen

Nur unter Anwendung großer Anstrengungen ist es der Befreiergruppe gelungen, den Bären zu überschwimmen. Ganz naß und durchfroren, gründeten die zunächst ein Feuer an um sich zu erwärmen und zu trocknen. Sodann überprüften sie zum letztenmal die Pläne und Karten, vergewisserten sich mit Hilfe des Kompasses welche Richtung sie einzuschlagen haben. Es war [illegible] 4 Uhr 17 minuten Mitternacht. In 2 Stunden gelangten sie in die Stadt und schlichen an den Mauern entlang bis sie vor den Fenstern des Wohnpalastes des [illegible] Han-Lor standen. Ein Bär verspürte Lust [illegible] aber der Gleichgültigkeit [illegible] kehrte er bald heimwärts und [illegible] das Eichhorn und [illegible] gelöst. Zwei Baumstämme [illegible] Trümmern zerschmettert. Trotz des ungeheuren Lärmes [illegible] Han-Lor nicht ein mal. Dann versuchte man die mitgebrachte Bambusleiter aufzustellen. Der Führer [illegible] im Nu war ein Affe war bald [illegible] aber es reichte nicht bis zum [illegible] Stock. Sodann kletterte

Der Sekretär des Führers auch rauf. An die verletzte obere Sprosse angelangt stellte sich der Führer in auf die Schulter. Sogleich konnte er durch die Fensterscheiben sehen. Im gemachte das Palastes war aber [illegible] Stockdunkler. Was tun Er klopfte ganz leise an zu erschein pötzlich auf dem Fenster Brett die Braut. Sie drückte ihre Schnauze an die Fensterscheibe und bewegte ihre Lippen. Aber man konnte nichts verstehen. Die Braut wurde unruhig machte vergnügte gebärden als ob sie sagen wollte: "Schlägt die Glasscheiben in Scherben!" Der Führer wollte es schon vollführen als plötzlich .....

(Fortsetzung in der nächsten Abendausgabe)

ALLERLEI – NACHRICHTEN

o-o. Die [illegible]alle Anne [illegible] mit ihrer Bisenar Brust Milch der Pez hervorgezogen hat ist gestern an Altersschwäche gestorben. Man erwartet ein Krawall von Pez wo sie stets so Sauler von Ungeziefer gehalten hat.

um. – Der berühmte Hasarel-Kartenspieler Kuolux-Bär ist gestern beim Falkenspielen entlarvt worden. Seine Partner die Scharer Betrogenen haben sich gerächt in dem sie ihm eine tüchtige Flohspritze ins Kintere eingeführt haben.

xxx – Die verschiedenen Mitglieder der ehemaligen Delegation zur Pezerg

Befreiung sind gestern verurteilt worden jeder zu 7 Tagen öffentlichen Pranger. Morgen um 3 Uhr am Stadtbrunnen werden die angekündigten Die Prangen-Pfeiler sind bereits aufgestellt

[illegible] – Die von der Drogerie "Comfort" ins Handel gebrachte Qualitätspapier hat seine Beamten sehr enttäuscht. Das papier ist zwar zart-dünn [illegible] reißt aber sehr leicht. Die in allerleidenschaft gezogenen haben gestern die Benutzte, zerrissene, mit..... Papier-Muster der Direktion vorgelegt. Doch sind diese Papiere wird nicht zurückbezahlt

xxx – vom 1 Juli ab ist Maulsperre für Hausaffen angeordnet worden

oooo Angesichts der sich verbreiteten Durchfall-Krankheit [illegible] jetzt öffentliche Bedürfnis-Anstalten in den Hauptstrassen unserer Stadt aufgestellt werden. Es wird empfohlen Papier mitzubringen.

o+o+o – In zu stark verbreitetes Lied eine Falsche Nachricht dass Pez sich als adoptivvater Sohn des Menschen Han-Lor erklärt hat und nicht mehr an seine Heimat denkt. Diese Nachricht ist falsch und erlogen.

ooooo Unser korrespondent aus Tor Menschen stadt meldet dass die Bären Braut die sonnengebräunte Haut vom Menschen Han-Lor am Rande abgezogen [illegible] und mit Dampf aufgefüllt hat. Dafür [illegible]

Grammophon-Platten

"Le-Mule-Gull-Gull"

gesang

[illegible]ert durch Symphonischen

Orchester unter der Leitung des berühmten Dirigenten

BAM-TRUBA-BUM

Platte Gespielt von

Seiten – HBAN. –

[illegible]olange

[illegible] reicht

AFFEN-FETT !! Frisch !!

80% reines Fett-gehalt

ungesalzen !!

Delicatessen-Haus Akt.-Ges.

gegenüber Rathaus

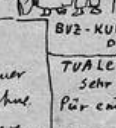


Foto-Atelier

Spezialität:

Hochzeit

Verlobung

Braut und Bräutigam

Aufnahmen

BVZ-KUK-BVZ-Fotograf.

Diplomiert

Heilkundiger Zahnarzt

Spezialität für Hauer und Backenzähne

Künstliche Gebisse, Stein-Zähne aus festestem Granit

Bester Ersatz für natürliche Zähne

TUALETTEN-PAPIER

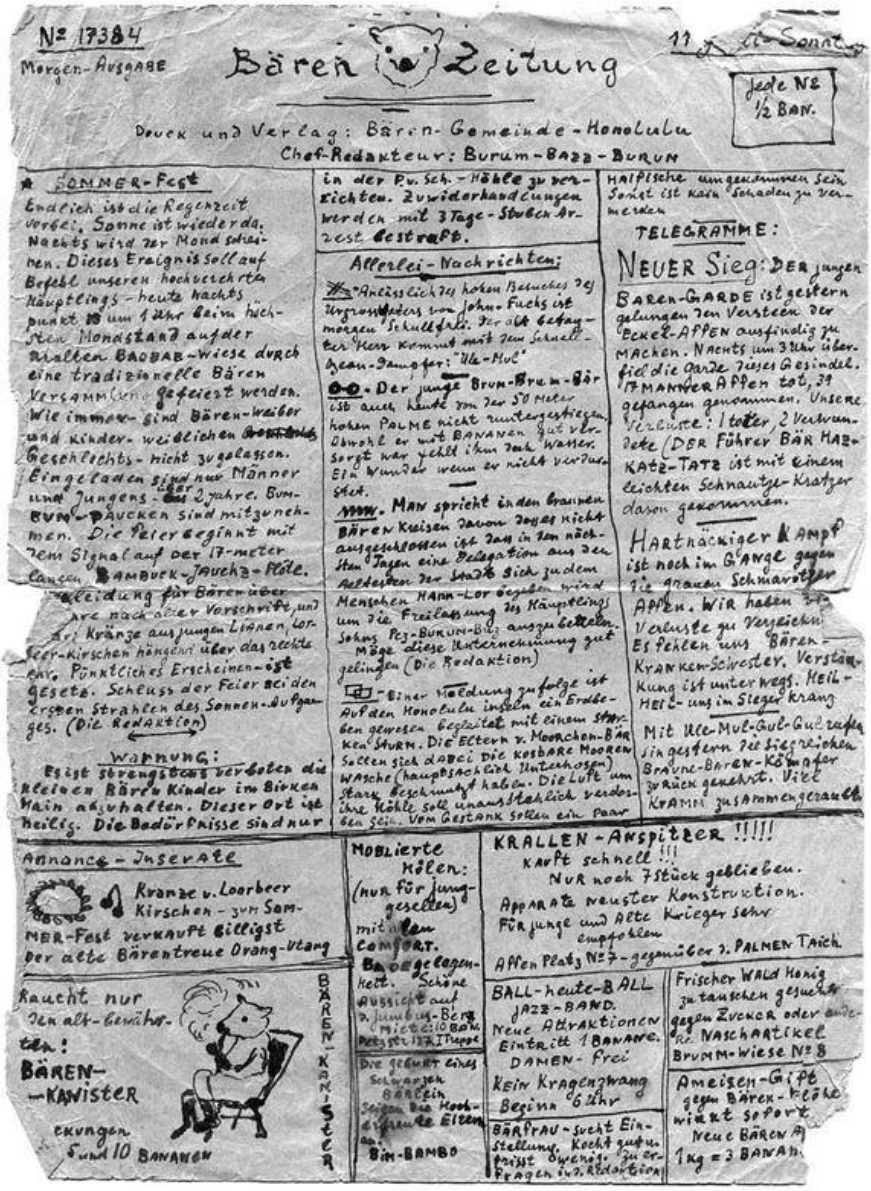
Sehr zart, reißt nicht [illegible]

Für empfindliche Pos [illegible]

angezeichnet.

Drogerie "Comfort" am Stadtor

Dieser platz ist zu vermieten



№ 17384
Morgen-Ausgabe

Bären Zeitung

11 [illegible] Sonat

jede Nr ½ Ban.

Druck und Verlag: Bären-Gemeinde-Honolulu
Chef-Redakteur: Burum-Bazz-Burum

★ SOMMER-FEST

Endlich ist die Regenzeit vorbei. Sonne ist wieder da. Nachts wird der Mond scheinen. Dieses Ereignis soll auf Befehl unseren hochverehrten Häuptlings - heute nachts punkt 13 um 1 Uhr beim höchsten Mondstand auf der Riesen BAOBAB-Wiese durch eine traditionelle Bären Versammlung gefeiert werden. Wie immer sind Bären-Weiber und Kinder- weiblichen Geschlechts- nicht zugelassen. Eingeladen sind nur Männer und Jungens- ab 2 Jahre. Bum-Bum-Pauken sind mitzunehmen. Die Feier beginnt mit dem Signal auf der 17-meter langen BAMBUK-JAUCHZ-Flöte.

Kleidung für Bären über 2 Jahre nach alter Vorschrift und drei Kränze aus jungen Lianen, Lorbeer-Kirschen hängend über das rechte Ohr. Pünktliches Erscheinen ist gesetzl. Schluss der Feier bei den ersten Strahlen des Sonnen-Aufganges. (Die REDAKTION)

Warnung:
Es ist strengstens verboten die kleinen Bären Kinder im Birken Hain abzuhalten. Dieser Ort ist heilig. Die Bedürfnisse sind nur in der Pu. Sch. - Höhle zu verrichten. Zuwiderhandlungen werden mit 3 Tage - Stuben Arrest bestraft.

Allerlei - Nachrichten:

Anciss Eich 71 hohen Besuches aus Urgrossvaters von John Fuchs ist gestern Schuldfrei. Der alt gestern Morgen Schuldfrei. Der alt Herr kommt mit dem Schnell-Ozean-Dampfer: "Ule-Mul"

OO. Der junge Brun-Brum-Bär ist aus Heute von der 30 Meter hohen PALME nicht runtergestiegen. Obwohl er mit BANANEN gut versorgt war fehlt ihm sein Vater. Ein Wunder wenn er nicht verhungert.

MM. Man spricht in den braunen Bären Kreisen davon sogar nicht ausgeschlossen ist dass in den nächsten 3 Tagen eine Delegation aus den Antipoden der Stadt Sich zu dem Menschen HAHA-LOR begeben wird um die Freilassung des Häuptlings Sohns Pez-Burum-Bitz auszuhandeln. Möge diese Unternehmung gut gelingen (Die Redaktion)

Einer Meldung zufolge ist auf den Honolulu Inseln ein Erdbeben gewesen begleitet mit einem starken STURM. Die Eltern v. Moorchen-Bär sollen sich dabei die kostbare Moorenwäsche (hauptsächlich Unterhosen) stark beschmutzt haben. Die Lufe im Höhle soll unausstehlich verdorben sein. Vom Gestank sollen ein paar Bären halbtote umgekommen sein. Sonst ist kein Schaden zu vermelden.

TELEGRAMME:

NEUER Sieg: Der jungen BAREN-GARDE ist gestern gelungen den Versteen der ECKE-AFFEN ausfindig zu MACHEN. Nachts um 3 Uhr überfiel die Garde diesen Gesindel. 17 MANNER Affen tot, 39 gefangen genommen. Unsere Verluste: 1 toter, 2 Verwundete (DER Führer BÄR HAZ-KATZ-TATZ ist mit einem leichten Schnautze-Kratzer davon genommen.

Hartnäckiger Kampf ist noch im GANGE gegen die grauen Schmarotzer Affen. WIR haben 2 Verluste zu verzeichnen. Es fehlen uns Bären-Krankenschwester. Verstärkung ist unterwegs. Heil-Heil - uns im Sieger krang

Mit Ule-Mul-Gul-Quetsch sind gestern die siegreichen Braune-Bären-Krieger zurück gekehrt. Viel KRAMM zusammengerauft

Annonce - Inserate

Kranze v. Loorbeer Kirschen - zum SOMMER-Fest verkauft billigst der alte Bärentreue Orang-Utang

MOBLIERTE Hölen: (nur für junggesellen) mit allen comfort. Baumgelegenheit. Schöne Aussicht auf d. Jumbug-Berg Miete: 10 Bam. pro Jahr 117 Tuppe

Die gefunden eines schwarzen Bärlein sollen Ihre Hoch-erfreute Eltern an Bin-Bambo

KRALLEN-ANSPITZER !!!!!
kauft schnell !!!
NUR noch 7 Stück geblieben.
Apparate neuster Konstruction.
Für junge und Alte Krieger sehr empfohlen
Affen Platz Nr 7 - gegenüber d. PALMEN Teich.

BALL-heute-BALL
JAZZ-BAND.
Neue Attraktionen
Eintritt 1 Banane.
DAMEN- Frei
Kein Kragenzwang
6 Uhr
Beginn

BARFRAU - sucht Einstellung. Kocht gut, tanzt flott, spricht Deutsch. Zu erfragen in d. Redaktion

Frischer WALD Honig zu tauschen gesucht gegen ZUCKER oder andere NASCHARTIKEL Brumm-Wiese Nr 8

Ameisen-Gift gegen Bären-Plage wirkt sofort. Neue Bären Ameisen 1 kg = 3 Banan.

Raucht nur den alt-Gewohnten: BÄREN-KANISTER

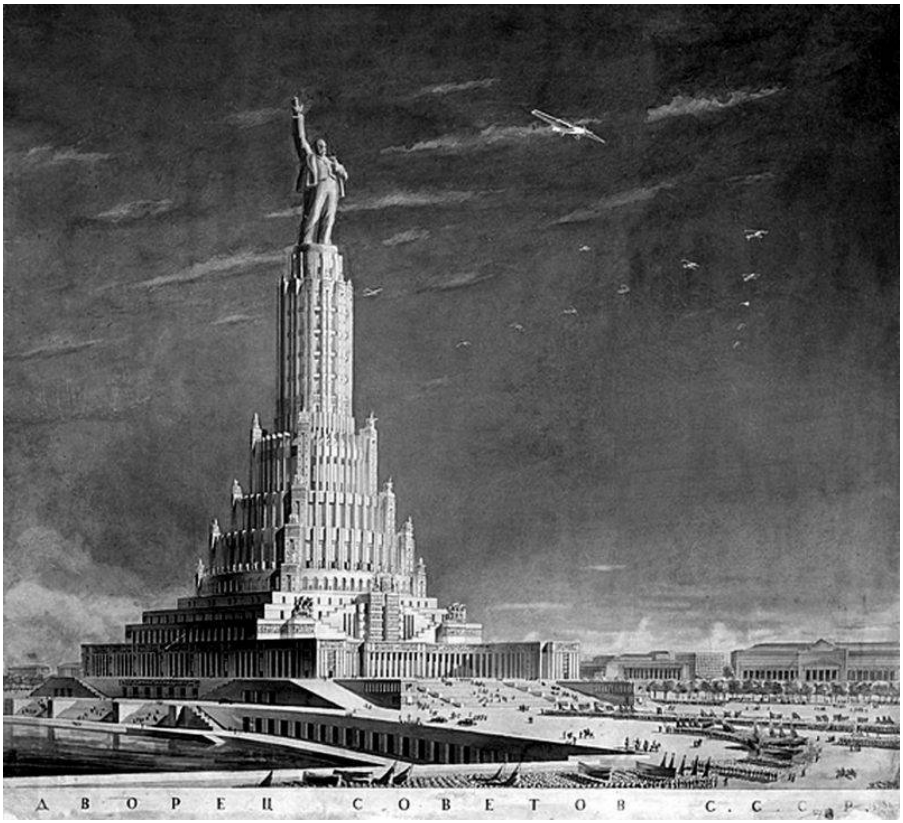
BÄREN-KANISTER
erfunden 5 und 10 BANANEN

«… и вот папа в виде отдыха стал сочинять для меня «Медвежью газету», которая меня очень смешила. Каким-то чудом «газеты» эти, писанные на обороте листков календаря, сохранились до сих пор».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
ВЫХОДЪ

«Справа от уборной располагался небольшой квадратный скверик, а еще дальше направо начинался бульвар, там сидел, глубоко задумавшись, Гоголь, по углам площади — фонари с львами, у львов были большие лапы, а на лапах кое-где заплатки из металла более светлого оттенка, все эти заплатки я со временем выучила наизусть».

«Напротив нашего дома стоял низкий белый домик, перед ним часто шагали солдаты. Они пели «Дальневосточная дает отпор» и еще что-то совсем монотонное. Левее находился кинотеатр «Художественный», за ним, немножко в глубине, — большой крытый Арбатский рынок».

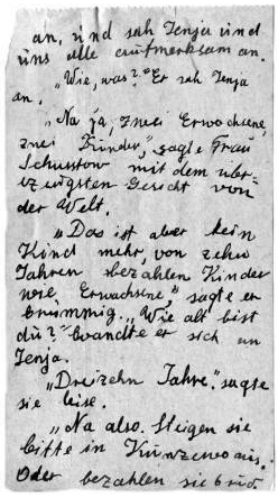


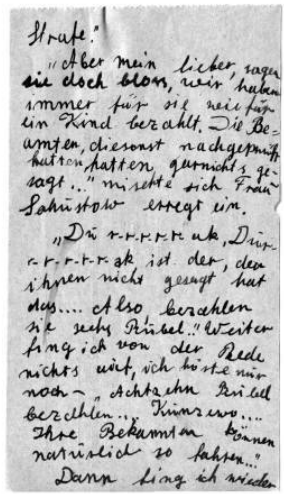
«Там еще до 1933 года, когда мы приехали на Арбат, снесли храм Христа Спасителя, и на его месте должны были построить

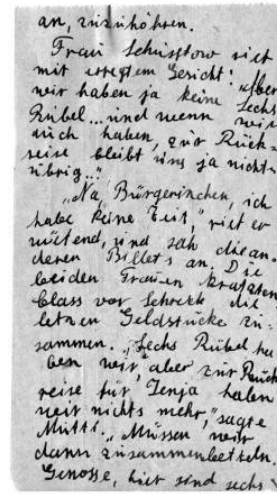
Дворец Советов. Дело, однако, не двигалось. Была — не помню, в каком году — выставка проектов этого дворца; она была в Доме Союзов, и мы с папой ходили ее смотреть. Позже на конкурсе был принят один из тех проектов: ступенчатый низ, а посередине — высокая круглая башня, увенчанная огромной фигурой Ленина».

«Приняли меня наконец в школу № 9 (бывшую Медведниковскую гимназию) в Староконюшенном переулке. Мне школа сразу понравилась во всех отношениях, начиная со здания».

Здание Медведниковской гимназии. Фотография 1910-х годов.







«Сохранились две тетрадочки (из трех) моего дневника. Дневник написан по-немецки (как и папина *Bren-Zeitung*) — это, очевидно, говорит о том, что я в то время все-таки еще думала на немецком языке. Дневник этот писался, видимо, от скуки, очень уж незначительны события, описанные в нем».

«Окно наше выходило на Сретенку. В то время там еще ходили трамваи, 2-й и 17-й, на последнем можно было через центр попасть на Арбат. Остановка была прямо напротив нашего окна, поэтому здесь всегда толпился народ».

Сретенка. Фотография 1920-х годов.

«Когда мы переехали, посередине Сухаревской площади еще стояла башня — мрачное закопченное здание из красного кирпича. Оно имело большую историческую ценность, но оказалось в наше время в нелепом месте и очень мешало транспорту».

«Под ее аркой помещались две пары рельсов, там грохотали трамваи, идущие со Сретенки на Первую Мещанскую, а трамвай Б и другие, ходившие по Садовому кольцу, объезжали ее дугой. Башню начали сносить в 1934 году, и никто об этом особо не жалел».

«Уже в 1935 году со Сретенки убрали трамваи, брусчатку залили асфальтом и проложили один из первых троллейбусных маршрутов — № 2, от Ржевского вокзала до Кутузовской заставы. Под нашим окном сразу стало тише. Стала меняться и Садовая — постепенно исчезали деревья и садики, вырастали новые дома, но этот процесс был более длительным…»

Сухаревская (с 1934 года — Колхозная) площадь в районе Сретенки.

Доска почета колхозников Московской области. 1930-е годы.

Сретенка днем.

Угол Сретенки и Колхозной площади. Слева виден дом на углу первого от площади Панкратьевского переулка, где жила Лора. Сейчас на месте первого ряда домов — выход из станции метро «Сухаревская».

«В то время я вообще влюблялась очень легко и часто, всегда, как мне казалось, с «огромной силой». Сама я между тем никому, кажется, не нравилась…»

Лора, 1938 год.

«Осенью я снова попала в другую школу. Эта школа тоже находилась на улице Мархлевского, но поближе к нам, во дворе за костелом, среди желтых кленов. Само здание тоже было желтого цвета, и вообще, если прежняя школа осталась у меня в памяти серым пасмурным пятном, теперь наступила солнечная полоса».

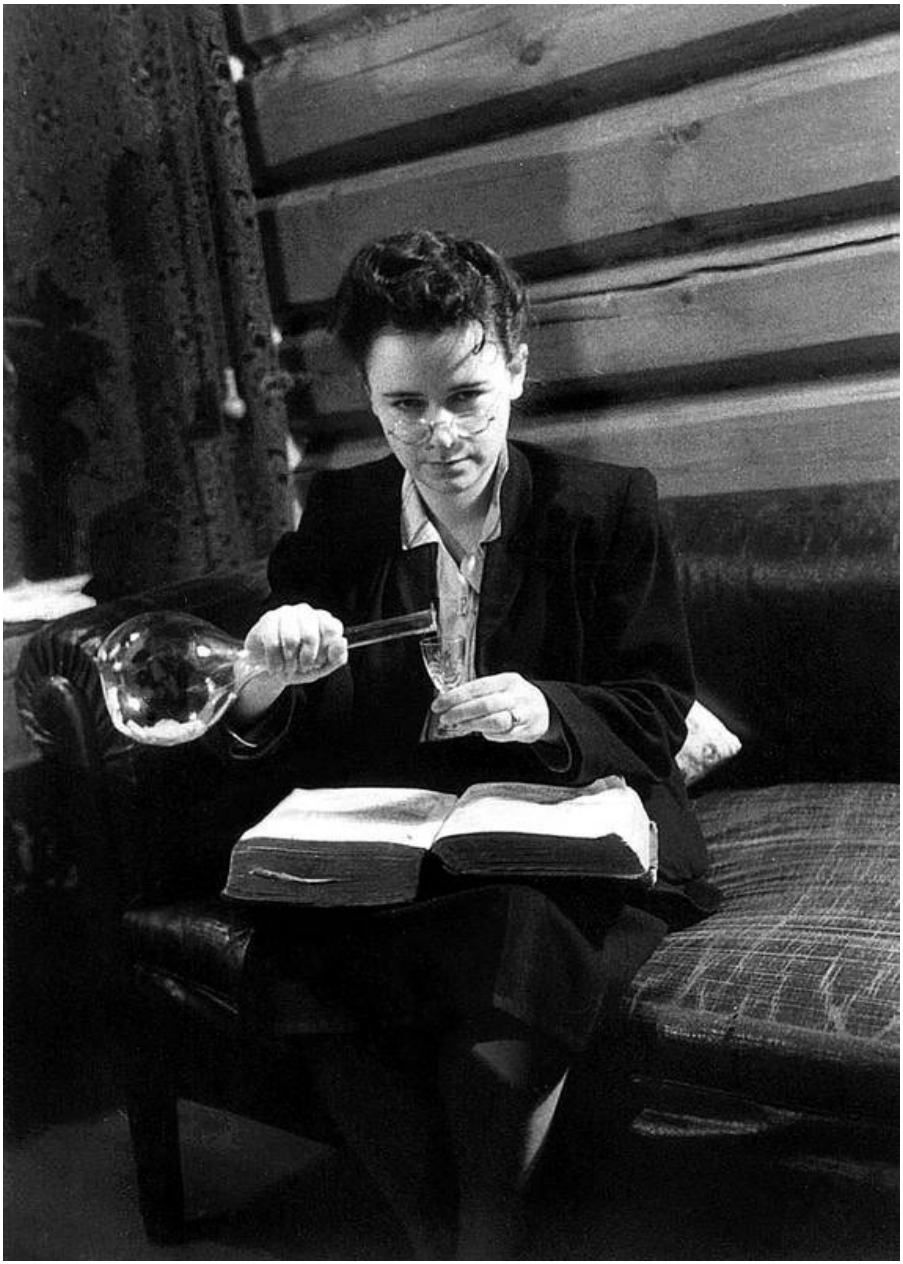
Католический костел (ныне полностью перестроен) на улице Мархлевского (ныне Милютинский пер.).

«Институт не отапливался. Мы сидели на лекциях в зимних пальто и шапках, часто даже в варежках. Чернила, которые мы приносили из дома в пузырьках, замерзали, поэтому мы чаще писали карандашом».

Институт иностранных языков на Метростровской (ныне Остоженка), 38.Слева от главного входа — памятник погибшим на войне студентам.

«Этот год начался с того, что мама уехала погостить к тете Матильде в Баку. Она пробыла там две недели, побывала у всех родственников, посмотрела на двухмесячную дочку Жени и привезла мне подарок от тети Матильды — колечко с бриллиантом».

Лора, 1949 год.



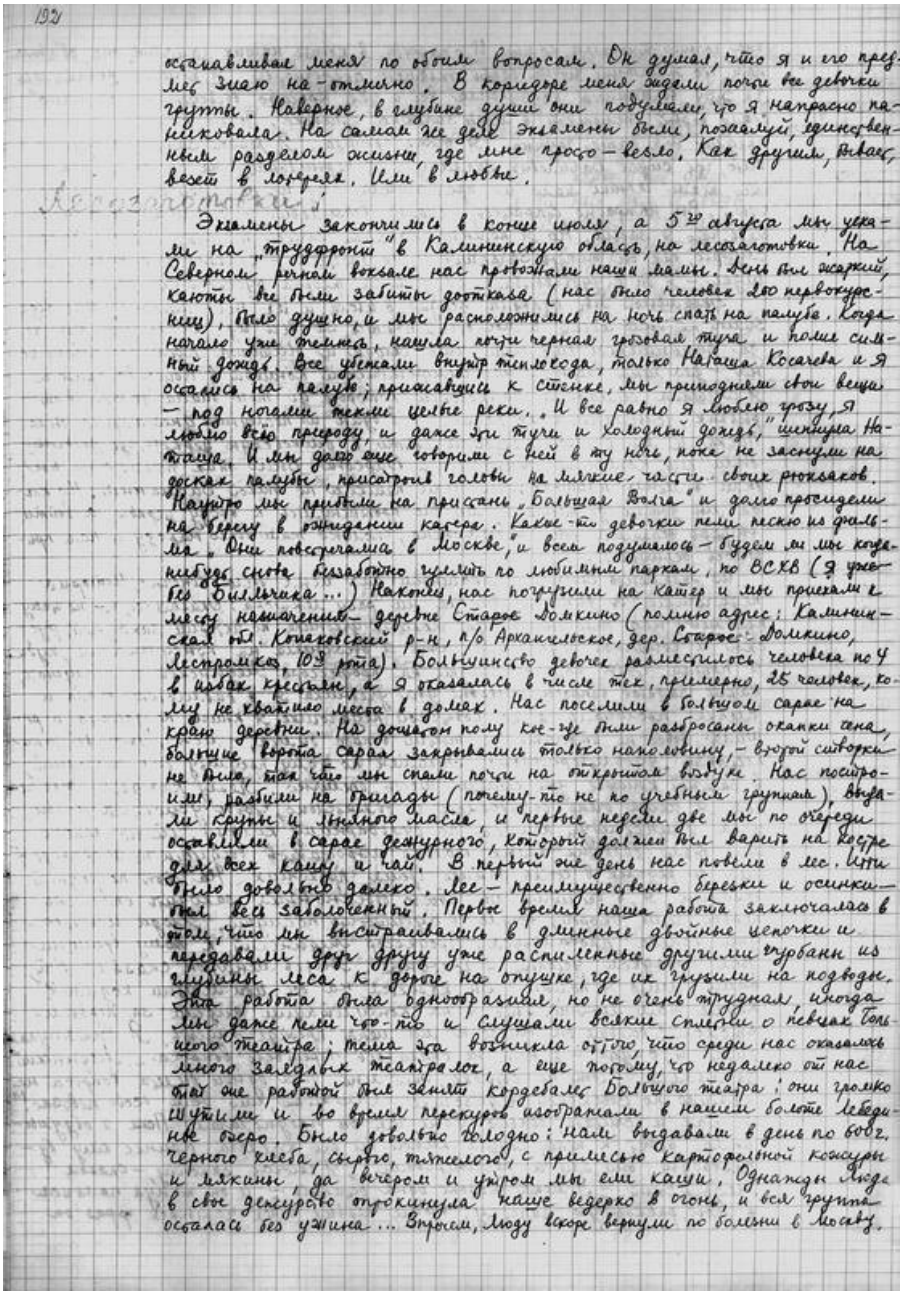
Лора, начало 1950-х годов.

«По поводу себя я была спокойна. В глубине души думалось: кто знает, может быть, с теми, кого выгнали, все-таки что-нибудь не совсем в порядке, меня же не гонят — все знают, что я хорошо работаю…»

«У тебя будет сын, точно тебе говорю», — сказал мне летом в Поздякове один старый седобородый дед. И в самом деле, у меня родился сын, да к тому же в день рождения моего папы, 6 октября. Я не могла не назвать его Борисом в память о Билльчике, хотя само по себе мне имя это не очень нравилось».

Боря Беленкин с бабушкой Маргой во дворе дома на Сретенке, 1958 год.

Боря и Марина, Сретенка, 1960 год.



192

осаждавшие меня по обоим вопросам. Он думал, что я и его предмет знаю на отлично. В коридоре меня задали почти все девочки группы. Наверное, в глубине души они подумали, что я напрасно напиковала. На самом же деле экзамены были, пожалуй, единственным разделом жизни, где мне просто-весело. Как другим, впрочем, весей в лотерея. Или в любви.

Экзамены закончились в конце июля, а 5-го августа мы уехали на „трудфронт" в Калининскую область, на лесозаготовки. На Северном речном вокзале нас провожали наши мамы. День был жаркий, каюты все были забиты до отказа (нас было человек 250 первокурсниц), было душно, и мы расположились на ночь спать на палубе. Когда начало уже темнеть, нашла почти черная грозовая туча и полил сильный дождь. Все убежали внутрь теплохода, только Наташа Косачева и я осались на палубе; прижавшись к стенке, мы приподняли свои вещи — под ногами текли целые реки. И все равно я люблю грозу, я люблю всю природу, и даже эти тучи и холодный дождь", шептала Наташа. И мы долго еще говорили с ней в эту ночь, пока не заснули на досках палубы, присатрив головы на мягкие части своих рюкзаков.

Наутро мы приплыли на пристань „Большая Волга" и долго просидели на берегу в ожидании катера. Какие-то девочки пели песню из фильма. Они повстречались в Москве, и всем подумалось — будем мы когда-нибудь снова беззаботно гулять по любимым паркам, по ВСХВ (я уже без Билычка ...) Наконец, нас погрузили на катер и мы приехали в лесу напротив деревни Старое Домкино (полный адрес: Калининская обл. Кимрский р-н, п/о Архангельское, дер. Старое-Домкино, Лесгромхоз, 103 отд.). Большинство девочек разместилось человек по 4 в избах крестьян, а я оказалась в числе тех, примерно, 25 человек, кому не хватило места в домах. Нас поселили в большом сарае на краю деревни. На дощатом полу кое-где были разбросаны охапки сена, большие ворота сарая закрывались только наполовину — второй створки не было, так что мы спали почти на открытом воздухе. Нас построили, разбили на бригады (почему-то не по учебным группам), выдали крупы и льняного масла, и первые недели две мы по очереди оставались в сарае дежурного, который должен был варить на костре для всех кашу и чай. В первый же день нас повели в лес. Идти было довольно далеко. Лес — преимущественно березки и осинки — был весь заболоченный. Первое время наша работа заключалась в том, что мы выстраивались в длинные двойные цепочки и передавали друг другу уже распиленные другими чурбаки из глубины леса к дороге на опушке, где их грузили на подводы. Эта работа была однообразная, но не очень трудная, иногда мы даже пели что-то и слушали всякие сплетни о певцах Большого театра; пение это возникло оттого, что среди нас оказалось много завзятых театралок, а еще потому, что недалеко от нас была еще рабочей была зимой кордебалет Большого театра; они громко шутили и во время перекуров изображали в нашем болоте лебедей на озере. Было довольно голодно: нам выдавали в день по 600 г. черного хлеба, сырого, тяжелого, с примесью картофельной кожуры и мякины, да вечером и утром мы ели кашу. Однажды люди в свое дежурство опрокинули наше ведерко в огонь, и вся группа осталась без ужина ... Впрочем, люду вскоре вернули по болезни в Москву.

Страница из мемуаров Лоры Беленкиной.

notes

Примечания

1

Бабушка (1860 (28.09) — 1934 (02)) — Бабушка моя с материнской стороны, Вильгельмина Хан (Hahn), была родом из большой крестьянской семьи, жившей в деревушке близ города Гюстрова в Мекленбурге. Две старшие ее сестры вышли замуж за городских чиновников, жили зажиточно и чурались своей крестьянской родни. Еще одна сестра жила потом с мужем в Ростоке, вторая вышла за крестьянина в другой деревне, тоже недалеко от Гюстрова. Оба брата остались крестьянами, один из них рано погиб — падая с сеновала, он напоролся на вилы. Бабушка же моя еще в очень юном возрасте пошла в няньки. Жила она в Ганновере при многодетной еврейской семье. Вильгельмина любила детей, и в той семье к ней очень хорошо относились, была привязана к этой семье и бабушка; впоследствии она дала всем своим детям имена тех воспитанников. Там, в Ганновере, ее приметил, проходя мимо дома, портной Юлиус Бютов, красивый молодой человек с широко расставленными карими глазами. Он влюбился в нежную голубоглазую Вильгельмину с первого взгляда. Из какой семьи он вышел, так никто и не узнал, невесте своей он сказал только, что родом из Штеттина, что рассорился с отцом и братьями и решил стать портным. Тогда ученикам-ремесленникам в Германии полагалось несколько лет скитаться, учиться у разных мастеров, потом проработать у кого-нибудь в подмастерьях, и если последний хозяин был доволен человеком, то выдавал ему свидетельство на звание мастера. Вот Юлиус как раз и заканчивал срок своего учения в Ганновере. Он женился на бабушке, и они обосновались в Гюстрове, где вскоре дед стал известным мужским портным, всеми уважаемым и ценимым. Появились дети: Пауль (умер в 14 лет от дифтерита), Берта, Эльза, Карл, Марга и Анна. Все четверо младших детей были похожи на отца — у всех крупные черты лица, широко расставленные глаза и довольно длинные носы с горбинкой.

Пока у Юлиуса дела шли хорошо, семья жила в достатке, Пауль и Берта учились в гимназиях. Но потом на Юлиуса стали находить странные приступы рассеянности, вдобавок к чему он начал попивать и на заработанные деньги угощал собутыльников. Клиентов становилось все меньше. Наконец он порезал в клочки уже сшитый для кого-то сюртук. Его увезли в дом для умалишенных, где он вскоре и умер. Оказалось, что у него была опухоль мозга — следствие того, что он еще в годы ученического странствования вблизи города Ауэ, несмотря на предостережение местных жителей, напился воды из радиоактивной речушки,

«содержащей свинец» (точнее, уран). Когда он умер, Анна только родилась, а маме было всего два года. Бабушку стали одолевать кредиторы: она и не подозревала, что муж ее наделал столько долгов. Но надо было расплатиться со всеми. Она распродала всю мебель и ценные вещи и поселилась со своими пятью детьми в доме для бедных. Сама же пошла работать прачкой и с утра до вечера стирала в чужих домах. Когда приезжал граф Фрайхерганц Эдлер хер фон унд цу Путлиц, она прислуживала у него в доме, и он ценил и жалел ее, чистоплотную, тихую и трудолюбивую, дарил ей одежду для ее детей. Вообще же жизнь бабушки, совсем молодой еще женщины (34 года), со смертью мужа потеряла всякую прелесть. Старшая ее дочь Берта вскоре уехала в Берлин, вышла там замуж и, насколько мне известно, больше в Гюстров к матери не приезжала. — *Здесь и далее — прим. автора, если не указано иное.*

2

Моисей (1899 (12.08) — 1978) — Из всех мальчиков семьи младший, Моисей, обладал самой приятной наружностью. Он, правда, рано облысел, но до старости оставался привлекательным. Он был очень мягок, добросердечен, порядочен до некоторой скучности. Гимназию он окончил с серебряной медалью, потом, после революции, окончил два факультета Бакинского университета — экономической географии и английского языка. У него была написана диссертация по географии Индии, но до защиты дело не дошло, и он потом всю жизнь преподавал английский язык.

Личная жизнь его сложилась очень странно. Он ухаживал за бакинской красавицей Р., несколько раз делал ей предложение, но та все оттягивала ответ и вдруг объявила ему, что выходит замуж за М., военного фармаколога. Моисею бы презреть ее, неверную, и жениться на другой — говорят, в него были влюблены многие хорошие девушки и выбор невест был богатый, но… Он отдал всю свою жизнь и свободу — Р. Муж ее оказался импотентом, и дочка, которую она родила, была от Моисея. Они втроем жили в одной квартире — М. был у Р. для души и для выходов в свет, а Моисей — для постели и кармана, ибо говорили, что она обирала его как липку. Дядя обожал дочку, которая папой называла не его. Он дружил с М. и часто ездил с ним на рыбалку. Р. играла Моисеем и то грозилась прогнать его, то плакала, что он ее не любит, занят диссертацией вместо того, чтобы заработать больше денег. Весь Баку, все родные смеялись над ним, пожимали плечами и крутили пальцем у виска. Когда дочка была в седьмом классе, кто-то рассказал ей о том, кто такой этот Моисей, живущий с ними в квартире, и она его возненавидела. За несколько недель до смерти я, впервые затронув с ним эту тему, спросила: «Как вы могли так жить?» И он ответил мне: «А что? Да, многие думали, что я дурак, что я несчастлив, а ведь на самом деле я был самым счастливым человеком на свете. Разве многим дано такое — иметь рядом с собой до самого конца единственную горячо любимую женщину и самого близкого друга? Ведь М. был золотой человек, я таких больше не встречал. И еще дочка. И потом мы вместе с Р. воспитывали внучку… Нет, нет, я уверен, что такое счастье мало кому выпадает. Я благодарен своей судьбе».

3

Дед (? — 1932) — Дед мой с папиной стороны, Лев Давыдович Фаерман, был польский еврей, каким-то образом попавший на Кавказ. Там он стал ухаживать за Верой Воскобойниковой, чьи родители, видимо, отказали ему как человеку очень бедному. Тогда он похитил свою возлюбленную, куда-то далеко умчал ее — говорят, отстреливаясь от погони, — и женился на ней вопреки воле ее родных. 6 октября 1888 года в городе Хасав-Юрте (Дагестан) родился их первенец, Борух (Борис), — это и был мой отец. После этого семья переехала в Евпаторию, затем в Баку и уже оттуда в Бухару. Там дед, перепробовавший в скитаниях много разных работ вплоть до портового грузчика, наконец осел и нанялся весовщиком к немцу, торговцу хлопком. Постепенно он увеличивал семью. Через два года после Бориса появился на свет Илья, еще через два года — Матильда, затем Хава (Ева), Моисей, Зинаида и уж в 1901 году последний, Исаак.

Сначала семья жила в бедности. Потом понемногу немец-хозяин, оценив трудолюбие своего весовщика, повышал ему жалованье, в начале нового века сделал его своим агентом, и семейство постепенно выкарабкивалось из полунищего состояния. К началу мировой войны дед уже был компаньоном своего скупщика хлопка. Он переехал в Самарканд, обставил там квартиру, купил пианино и много книг, нарядно одел своих детей, а жене подарил бриллиантовое колье и временами изменял ей, безумно его ревновавшей. Сразу после революции семья перебралась в Баку. Здесь в 1928 году умерла бабушка, несколькими годами позже и сам дед, и здесь же окончили позже свою жизнь Матильда, Моисей и Исаак.

Дети все были не похожи один на другого как внешне (Матильда и Ева — голубоглазые блондинки, в мать, остальные — темноволосые со светло-карими глазами. Исаак — худощавый, рослый, другие в большей или меньшей степени склонные к полноте), так и по характерам. Все они были умны и очень музыкальны: папа играл на балалайке, Илья на гитаре, Моисей и Исаак на рояле, у Зины был прекрасный голос, а бабушка играла на кларнете. У них даже был домашний оркестр.

4

Илья (1890 (8.11) — 1964) — Илья в молодости был горяч, непоседлив и влюбчив и вместе с тем, очевидно, расчетлив, иначе не стал бы он ухаживать за дочкой директора Самаркандской гимназии, старше его на три года и не такой уж хорошей собой. Но он обворожил ее и ее родителей, и ее папаша устроил его учиться в своей гимназии. Эту гимназию он окончил с золотой медалью, после чего сразу женился и уехал в Берлин учиться медицине. Учился он блестяще, одновременно живя веселой студенческой жизнью; когда началась мировая война, он уже окончил институт. Жена его уехала в Самарканд рожать дочку, а Илья отправился военным хирургом на фронт. Где-то на юге Украины он влюбился в младшую дочку одного очень богатого мельника из Мариуполя, развелся с женой, у которой в то время уже была маленькая дочка, и в 1916 году женился на украинской Любаше. Во время Гражданской войны он продолжал быть военным хирургом (у красных), но уже не на Украине, а на Кавказе, где-то близ границы с Персией. Когда наступил мир, Илья взялся за науку, защитил кандидатскую диссертацию, а перебравшись в Москву — и докторскую (работа по болезням селезенки). Ко времени нашего приезда в Москву он уже был профессором по общей хирургии, работал в Яузской больнице и был окружен восхищенными учениками.

5

Уже написав эту часть своего повествования, я нашла папину студенческую зачетную книжку: оказалось, что он еще был студентом в 1921 году. То есть какое-то время после освобождения из лагеря он продолжал учебу, прерванную в 1914-м, видимо, на II курсе. Всего он окончил три курса.

6

Фридрих Архенгольд — немецкий астроном, основатель и руководитель Народной обсерватории в Трептове, округе Берлина. — *Прим. ред.*

7

Ева (1894 —?). Хава, или, как называли ее у нас в семье, Гва, была красива и кокетлива. Она окончила курсы, кажется, зубных техников и уехала на Украину, там встретила молодого инженера Виктора Кнюпфера из почти обрусевших немцев и вышла за него замуж. В начале 1920-х он уехал с ней в Германию, где у него были родные. Виктор обожал жену и потакал всем ее капризам. Он был щедрый и веселый человек, хорошо пел и играл на гитаре. Но Ева находила его скучным. Флирты ее становились все серьезнее, наконец терпение Виктора лопнуло, и он развелся с ней. Мои родители, особенно мама, очарованная Виктором во время ланквицкого периода, очень осуждали Еву. После Виктора она завела себе любовника с мордой злодея, которого обожала и который, по словам моих родителей, был самовлюбленный хам и сутенер. После нашего отъезда в Россию она оставалась в Берлине, и о ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Братья и сестры считали ее предательницей и не переписывались с ней.

8

Нам потом удалось через тетю Анни узнать кое-что о судьбе этих наших бывших соседей. К 1945 году фрау Оленбостель уже умерла, Йохен погиб на фронте, а Дитер занимался спекуляцией — на черном рынке продавал американские сигареты.

9

Кофе должен быть черным как ночь, горячим как любовь, сладким как сон *(нем.). — Прим. ред.*

10

«Кому Бог желает оказать милость» *(нем.)*. Автор текста — Йозеф фон Эйхендорф (1788–1857), композитор — Теодор Фрелих (1803–1836). — *Прим. ред.*

11

«Странствие — радость мельника» *(нем.)*. Автор текста — Вильгельм Мюллер (1794–1827), композитор, скорее всего, Карл Фридрих Целльнер (1800–1860). — *Прим. ред.*

Хрустящие сосиски, колбаски. — *Прим. ред.*

13

Анни (1894 (05.02) — 1950) Младшая сестра мамы, Анни, по словам мамы, в детстве была мила, с роскошной черной косой и синими глазами. Во всяком случае, она нравилась одному богатому семейству, и те хорошо одевали ее, даже просили бабушку отдать ее им. Мужчинам она тоже, очевидно, нравилась: когда ей было лет 17, ее соблазнил сын богатого коммерсанта, она забеременела, и отец юноши дал ей солидную сумму с условием, что она и близко к их дому не подойдет. Сына своего он пригрозил лишить наследства, если тот будет дальше встречаться с ней, и отослал его в другой город. Анни тяжело переживала свой «позор». Родив сына, она сдала его в приют и уехала сначала к маме в Берлин, а потом в Росток, где ее никто не знал. Сына своего она так больше и не видела и замуж тоже побоялась выйти — как бы не вскрылся ее грех. Она проработала всю жизнь в Ростоке конторщицей на тракторном заводе Ланге. Она была очень доброй и щедрой, очень любила меня, много читала и прекрасно вышивала. До самой смерти у нее был в Ростоке верный и преданный друг старше ее лет на десять — толстый и лысый таможенный служащий Нанте. Анни была маминой любимой сестрой. Иногда мне казалось, что она любила ее больше всех на свете.

14

Тихо, тихо, тихо, ибо дитя хочет спать. Только ангелочки музицируют, радуются, ликуют у яслей *(нем.)*. — *Прим. ред.*

15

Ах, это все не так *(нем.). — Прим. ред.*

Больница в Берлине. — *Прим. ред.*

17

Разработанный в середине xix века немецким педагогом и издателем Густавом Лангеншайдтом и французским педагогом Шарлем Туссеном метод заочного изучения иностранных языков. — *Прим. ред.*

Крошка хлеба, булки *(нем.). — Прим. ред.*

19

В стране Европе… *(нем.) — Прим. ред.*

Сюрприз *(нем.). — Прим. ред.*

21

Дальнейшая судьба Злотниковых была такова: примерно в 1933 году они приехали в Москву и сразу получили прекрасную квартиру на ул. Короленко. Злотников к началу 1940-х уже был заместителем наркома внешней торговли. Его родная дочь Женя, окончив школу, перешла жить к своей матери; она окончила Литературный институт, долго работала в «Комсомольской правде», два или три раза была замужем — все это со слов тети Сони, я ее с 1939 года больше не видела. Вика окончила английский факультет МЕПИИЯ, ее послали с группой других выпускников учителем в одну из школ Новгородской области. Там впервые обратили внимание на ее странное поведение. Сначала из-за безответной любви она пыталась покончить с собой, потом она стала требовать, чтобы в их школе «завели коммунизм»: все молодые учителя получали от родителей посылки, и она призывала все присланное складывать и делить поровну, включая и старших, кому ничего не присылали. Другим это не понравилось, а Вика стала даже бить строптивых. Тогда ее отправили в Москву к психиатру. Оказалось, что у нее шизофрения (в семье ее отца тоже наблюдалась эта болезнь, например у его сестры). Ее немного подлечили, и она устроилась работать в библиотеку. Но там она поделилась своей зарплатой с уборщицей и стала требовать, чтобы всем уравняли оклады. После этого она периодически подолгу содержалась в психиатрической лечебнице (когда выходила оттуда, рассказывала всем о своей болезни как вполне нормальный человек). Состояние ее ухудшалось, она делалась даже буйной и агрессивной, и срок, который она проводила дома, становился все короче. Мы вообще встречались очень редко, последний раз я видела ее в 1973 году. Бывшая красавица Соня последние годы жизни жила невесело — Злотников умер еще в начала 1960-х. Женя потребовала себе половину его наследства, и Соне пришлось пойти на работу (во Внешторг). Когда я видела ее последний раз, у нее было очень больное сердце, и она уже не могла работать. Когда нам поставили в 1975 году телефон, мама сразу позвонила Соне, и они долго разговаривали. Вскоре Соня тоже умерла, и некому стало брать к себе Вику из лечебницы…

22

Фонарь, фонарь, фонарь — солнце, луна, звезды… *(нем.)* — *Прим. ред.*

23

Как мне хорошо вечером, вечером *(нем.). — Прим. ред.*

24

Когда колокола зовут к покою, колокола *(нем.)*. — *Прим. ред.*

25

Дорогие мне люди от меня далеко, далеко… *(нем.) — Прим. ред.*

26

Зинаида (1897 (24.04) — 1951 (26.09)). Моя любимая Зинаида — черноволосая, стройная, с восточными чертами лица, в молодости красавица. Окончив школу, она года два провела в развлечениях с веселой компанией друзей, а потом из толпы поклонников вдруг выбрала наивного голубоглазого чудака Сережу Леви. Она родила ему дочку, которую, так же как дочку Ильи, назвали Юдифью. Была она хорошей матерью и верной женой, но, будучи полна веселья и кипучей энергии, продолжала и в Баку, куда они переехали, проводить вечера, веселясь в компании интересных людей. Она хорошо пела и писала неплохие стихи. Однако в начале 1930-х Сережа увез ее на свою родину, в Ленинград, и там сразу кончилась ее веселая жизнь, и она хлебнула горя с суровой свекровью. Тетя Зина в моей жизни занимает большое место — если не по времени нашего с ней общения, то по значимости.

27

Матильда (1892–195?). Матильда в детстве и юности много помогала в семье, нянчила младших. Рассказывали, что как-то раз, держа на руках годовалого Моисея, она танцевала по комнате и зацепилась юбочкой за кипящий самовар; весь кипяток вылился ей на ноги, но у нее, девятилетней, хватило чувства ответственности и присутствия духа поднять младенца вверх и швырнуть его на далеко стоявший диван. Врачи тогда и не надеялись, что она выживет, однако через несколько месяцев она поправилась, правда, обе ноги у нее на всю жизнь остались в рубцах. Зато спасенный братишка с благодарностью вспоминал об этом до глубокой старости. Матильда училась медицине, сначала на каких-то курсах, потом года два жила в Берлине, где закончила образование. После этого она всю жизнь прожила в Баку, считалась хорошим хирургом, очень любила свою работу, но личная жизнь ее не сложилась. Была у нее в юности какая-то неудачная любовь, на этом все кончилось. Она так и осталась одна.

28

С нашими бывшими соседями Шубиными и Шибакиными мы изредка виделись — вплоть до самой войны. Шубины переехали в более просторную комнату на углу Больших Каменщиков. Дмитрий Иванович как-то заявился к нам на Панкратьевский, сидел со мной часа два, ждал маму. Он между прочим рассказал мне, что во время Первой мировой войны был в плену в Италии. «Я и говорить по-ихнему умею, — заявил он, — а́кыва — вода. А па́ни — это, стало быть, хлеб у них». Маме он потом тоже морочил голову целый час, прежде чем набрался наконец храбрости попросить три рубля на водочку — за этим он и пришел. В 1938-м заехала однажды Нюша; она училась в бухгалтерском техникуме. Она осталась хорошей, скромной девочкой. Но разговор у нас с ней не клеился. Шубиных мы больше не видели. А Шибакина Александра Григорьевна раза два в год заглядывала к нам, и мама к ней тоже ездила. У нее росла дочка Танечка. Борис после 7-го класса пошел в авиационное училище, гемофилия у него прошла. Незадолго до начала войны Александра Григорьевна пригласила всю нашу семью к себе на ужин — приготовила богатое угощение, напекла пирогов. Последнее, что мы с мамой узнали о них, — это то, что погиб Борис. Но не на фронте, а на каких-то учебных полетах.

29

ЗРК — закрытый рабочий кооператив. Эта категория «распределителей» была низшей, с довольно бедным снабжением. Тогда шутя говорили, что работники делятся на «Литер-А»-торов, «Литер-Б»-торов и зээркакеров.

30

Иван Майский (1884–1975) — дипломат, историк, публицист, член Академии наук СССР, первый редактор журнала «Звезда». 21 января 1932 года, будучи полпредом СССР в Финляндии, подписал советско-финский договор о ненападении. В 1943–1946 годах — заместитель наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова. Арестован в феврале 1953 года, освобожден в 1955-м, реабилитирован в 1960-м. Настоящее имя — Ян Ляховецкий. — *Прим. ред.*

31

Фридрих Вильгельм Пик (1876–1960) — немецкий коммунист, стоял у истоков Коммунистической партии Германии. С 1949-го по 1960-й был первым президентом ГДР. — *Прим. ред.*

32

Февраль 1991 года. В который раз убеждаюсь, как тесен мир. Никогда я не думала снова услышать о Машé. Но приходит с очередного собрания в обществе «Мемориал» мой сын Боря: «Ты нам когда-то рассказывала о Машé — ее Анной звали?» Бог знает, может быть, я ни разу в детстве не слышала, чтоб ее звали по имени. «У нее был сын Лео?» Ну уж это я знала точно! Оказалось, этот Лео живет в Вене (ему теперь должно быть уже за семьдесят), а Машé вместе с другими отвезли на границу и передали в руки гестапо! В Австрии тоже, оказывается, есть общество «Мемориал», и одна женщина по фамилии Бартельс привезла сюда список репрессированных австрийцев. Она дала Боре адрес Лео, и я ему сразу написала.

«Медвежья газета» *(нем.). — Прим. ред.*

Здесь впервые в дневнике он назван этим именем.

«Мама упокоилась» *(нем.). — Прим. ред.*

36

Эрнст Буш (1900–1980) — немецкий актер, певец, антифашист, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление дружбы между народами». — *Прим. ред.*

37

Так оставалось до конца моей учебы в школе. Разве что на 8 Марта можно было подарить букетик мимоз. В десятом классе мы купили своей классной руководительнице, которая вела нас пять лет, вазочку и послали к ней домой самых смелых мальчишек (вдруг с лестницы спустит). Учительница, прежде чем принять подарок, долго стыдила их и конфузилась.

38

Скорее всего, имеется в виду Александр Свешников (1890–1980) — знаменитый дирижер, педагог, хормейстер, лауреат Сталинской премии второй степени, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР. — *Прим. ред.*

39

Республиканский шутцбунд — военизированная организация австрийской социал-демократической партии, действовавшая с 1923 до 1936 года. — *Прим. ред.*

40

Леонид Николаев (1904–1934) — инструктор историко-партийной комиссии Института истории ВКП (б), член Коммунистической партии с 1923 года. 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного выстрелом в затылок застрелил Первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) Сергея Кирова. 29 декабря 1934 года был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, впоследствии не реабилитирован. — *Прим. ред.*

41

Павел Постышев (1887–1939) — Второй секретарь ЦК КП (б) Украины, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б). 28 декабря 1935 года в газете «Правда» было напечатан письмо Павла Постышева о восстановлении традиций новогодней елки. Постышев «прославился» активными поисками «врагов народа» и кампаниями против «фашистской символики» на детских товарах. Расстрелян 26 февраля 1939 года, реабилитирован в 1956 году. — *Прим. ред.*

42

Ян Кузьмич однажды повел нас в Музей антропологии на Моховой и заодно привел в морг медицинского факультета. На всю жизнь запомнились запах формалина и студенты, копающиеся у трупов в кишках! Увидев наши побледневшие лица, Ян Кузьмич улыбнулся: «Ну? Кто говорил — пойду учиться в медицинский? Не раздумали? Вам придется со всем этим иметь дело!»

Карточная игра. — *Прим. ред.*

Пионеры организовали сральный кружок *(нем.)*. — *Прим. ред.*

45

Перед своим зверинцем, сраженья ожидая, сидела голая Лорелея *(нем.)*. Пародия, использующая отрывки из «Перчатки» Фридриха Шиллера. — *Прим. ред.*

Дорогая теща, большой кувшин сломан *(нем.)*. — *Прим. ред.*

47

Иприт (горчичный газ) — боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, синтезированное в Германии в 1822 году и впервые примененное немцами в 1917 году против англо-французских войск. Фосген — обладающее удушающим действием химическое вещество, использовавшееся в Первую мировую войну в качестве боевого отравляющего вещества. Люизит — темно-коричневая жидкость, отравляющее вещество кожно-нарывного действия. — *Прим. ред.*

Константин Сатин — один из героев пьесы Максима Горького «На дне». — *Прим. ред.*

49

Джамбул Джабаев (1846–1945) — казахский и советский поэт, в 1941 году получил Сталинскую премию второй степени. — *Прим. ред.*

50

«Укротители коней» — скульптурная композиция Петра Клодта, установленная на Аничковом мосту через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. — *Прим. ред.*

51

Эвакуационный госпиталь — медицинское заведение, где производится стационарное лечение эвакуированных больных и раненых. — *Прим. ред.*

52

Виктор Талалихин (1918–1941) — военный летчик, Герой Советского Союза, одним из первых применил ночной таран. Погиб в бою возле Подольска 27 октября 1941 года. — *Прим. ред.*

53

Имеется в виду всеславянский радиомитинг «Славяне едины в борьбе с немецким фашизмом» с широкой радиотрансляцией за границу, проходивший 10–11 августа 1941 года в Москве. Выступления его участников и отчет о митинге передавали по радио на весь мир, его опубликовали все центральные и региональные газеты. — *Прим. ред.*

Речь идет об оказании первой медицинской помощи в случае отравления химическим оружием. — *Прим. ред.*

55

Соломон Михоэлс (1890–1948) — театральный актер и режиссер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени, первый председатель Еврейского антифашистского комитета. В 1948 году был убит в Минске сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР, убийство было замаскировано под несчастный случай. — *Прим. ред.*

Яков Флиер (1912–1977) — советский пианист, педагог, народный артист СССР. — *Прим. ред.*

Людоед. — *Прим. ред.*

58

В конце октября 1941 года со мной произошла странная вещь — то ли совпадение, то ли телепатия. (Я только не помню, было ли это действительно 29 числа.) Когда я ложилась спать, я всегда клала рядом с собой на стул любимые наручные часы Билльчика (они у нас были единственными в доме). И вот утром я тогда вдруг проснулась от странного царапающего звука: часы на фанерном сидении стула, казалось, подвинулись, словно кто-то хотел их снять оттуда или, наоборот, положил. Я приподнялась, взяла часы в руки — было шесть. Попробовала повторить тот звук — получилось. Но сами они не могли шевельнуться. «Наверное, Билльчик вспомнил о них», — подумала я тогда. А теперь думаю — он умирал в ту минуту и вспомнил обо мне.

59

Имеется в виду Иваньковское водохранилище, расположенное в Тверской области, в верховьях Волги. — *Прим. ред.*

На самом деле композитор этой колыбельной до сих пор не известен, авторство часто приписывают Моцарту. — *Прим. ред.*

61

Ave, Caesar, <Imperator>, morituri te salutant (Славься, цезарь, <император>, идущие на смерть приветствуют тебя) — согласно сочинению римского историка Гая Светония Транквилла, этими словами гладиаторы, отправляющиеся на арену, приветствовали императора Клавдия. — *Прим. ред.*

Это была правда. В аудиториях были блохи и порой шныряли крысы.

63

В моей жизни еще дважды живо воскресали воспоминания о том лете в Луховицах — Чурилках. В 1971 году я ехала на теплоходе в Рязань. После пристани Дединово я не отрываясь смотрела на правый берег, надеясь увидеть хоть какие-то следы Чурилок. Но берег оказался слишком высоким, и ни одного строения с реки не было видно. Зато от самого Дединова вдоль берега тянулись деревья, довольно толстые. Кто и зачем их посадил? Ведь их в половодье должно заливать. Может быть, для укрепления берега? Значит, в том месте уже нет так поразившего меня тогда бескрайнего простора. Второе напоминание о «Красной пойме» — пример того, как тесен мир. От Иры я много лет слышала о ее приятельнице Доре, которая, окончив институт на отделении французского языка и недолго проработав в школе, стала зарабатывать себе на жизнь шитьем. Портниха она была прекрасная, за пошив брала дорого и очень разбогатела. Ира часто рассказывала о ней, но встретиться нам все не доводилось. Увидела я ее только в 1984 году, на Ирином 60-летии. За столом шел оживленный разговор, коснулись школы, преподавания там языков, и Дора сказала, что, хоть в институте и учила французский, преподавать ей приходилось английский. На мой вопрос она ответила, что закончила МГПИИЯ. «В каком году?» — «В 1945-м». — «Тогда вы, может быть, знали Эру Воеводу?» — «Это красавицу-то? В одной группе учились». Дальше она стала рассказывать, что вся их группа (как и мы с Людой тогда) была влюблена в профессора Звавича и как он потом бросил свою жену и женился-таки на одной студентке из их группы… «А летом, — спросила я, — вы ездили куда-нибудь на трудфронт?» — «А как же. Никогда не забуду, как мы весело жили в Луховицах, на самом берегу Оки». — «В Чурилках?» — «А вы откуда знаете?!» Оказалось, она была одной из тех шумных и веселых девушек, которые жили в соседней с нами комнате и доводили нашего юношу-пасечника. Очень приятно было через сорок лет вспомнить то время, и радовало, что и другие помнят те прекрасные места.

64

Валя Емельянова, наш министр скотоводства, в то время уже была замужем за офицером Павлом Романенко, а летом, после госэкзаменов, у нее родилась дочка, на которую мы все ходили смотреть. В том же году она вместе с мужем уехала на Дальний Восток, и я о ней больше не слышала — много лет. И вдруг, в 1983 году, мне говорит Таня Бусурина (моя приятельница по работе в МГИМО): тебе привет от Вали Романенко! Оказалось, муж Тани лежал с больной ногой в больнице и подружился с соседом по палате, Павлом Романенко. Один раз Таня навещала мужа одновременно с женой этого Романенко. Познакомились, разговорились: обе в разное время кончали МГПИИЯ. «Я в 1952-м, а вы когда?» — «Я в 1945-м». — «Одна моя подруга тоже. Может, вы знаете ее…» Примерно через месяц мы были в гостях у Вали. Оказалось, что живем мы совсем недалеко друг от друга. Вспомнили студенческие годы, посмотрели фотографии. И я узнала грустное — Валина подруга Галя Скребкова (Галембус, наш милый министр внутренних дел) умерла от рака еще в 1955 году.

День Победы. — *Прим. ред.*

66

Кажется, здесь уместно привести еще один пример того, как мир тесен. Когда я училась в десятом классе, я однажды прочитала написанное на парте карандашом: «Кто здесь сидит в I смене? Я Иза Шевес, 5-й кл. «Б». Я нацарапала ответ, и мы с этой девочкой обменивались короткими фразами. Один раз между сменами увидели друг друга, улыбнулись. Примерно в ту же пору мы ехали как-то с Билльчиком в троллейбусе в направлении нашей Колхозной площади, и папа вдруг увидел знакомого мужчину: «А, вы тоже здесь живете?» — «Да, я в Ананьевском переулке». — «Мы вот тоже с дочкой домой едем». — «В каком классе ваша дочка? В какой школе учится? Ах, моя Иза тоже в той же школе, она еще только в пятом классе, круглая отличница». Наша остановка, мы сошли. «Кто это был? Очень симпатичный мужчина». — «Работал когда-то у нас в Станкоимпорте». — «Как его фамилия?» — задаю я совсем уже праздный вопрос. «Шевес». И вот теперь, сидя как-то у Нели, я небрежно перебираю тетради ее студентов, смотрю Нелины поправки и отметки, читаю фамилии на обложке. Вдруг — аккуратненькая тетрадка, внутри одни пятерки, — И. Шевес. «Неля, это парень или девочка?» — «Это девочка, Иза Шевес». «Опиши, как она выглядит». «Черненькая, кудрявая. Учится лучше всех». Так мне три раза косвенно попадалась совсем незнакомая мне Иза Шевес.

Центральное бюро по обслуживанию иностранцев. — *Прим. ред.*

68

Карл фон Мекк (1821–1876) — российский предприниматель и один из основоположников железнодорожного транспорта страны. Жена Карла Федоровича, Надежда фон Мекк (1831–1894), — меценатка, покровительница П. И. Чайковского. — *Прим. ред.*

69

Александр Ферсман (1883–1945) — один из основоположников российской геохимии, вице-президент (1926–1929) Академии наук, по словам Алексея Толстого — «поэт камня». — *Прим. ред.*

Гага — так я в шутку называла маму.

71

Евгений Тарле (1874–1955) — историк, академик Академии наук СССР. — *Прим. ред.*

72

Тогда было такое веяние — каждый преподаватель вуза должен стать кандидатом наук. Начали с того, что всех заставили сдавать кандидатский минимум. Еще в марте мы ездили на занятия по истории языка к профессору Аракину, готовились по языкознанию, читали Марра, и вдруг появилась статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Подобно тому как незадолго до этого заклеймили Вейсмана, Моргана, Бербанка и других биологов и вознесли одного ничтожного Лысенко, так теперь был осмеян и выброшен весь Марр, Соссюр и другие и разумным был помимо самого Сталина объявлен только грузинский профессор Чикобава. Нам это тогда понравилось — учить было легче, можно было никого, кроме Чикобавы, не читать.

73

Все китайцы, с которыми мне тогда довелось иметь дело, были необыкновенно трудолюбивыми и симпатичными. Они учились русскому языку с удовольствием, а мы охотно учили их. Для нас несколько раз устраивались семинары в Министерстве, где нас знакомили с особенностями китайского языка и методикой обучения китайцев русскому. Многое в нашем быте удивляло китайцев. Больше всего их напугал… черный хлеб, они не хотели даже его попробовать. «Я шел вчера в общежитие по коридору и свистел песню, а комендант сказал, что я хулиган и свистеть неприлично. Почему? У нас в Китае свистеть хорошо. А здесь, если я буду петь в общежитии — можно, почему тогда свистеть нехорошо?» «Почему в общежитии комендант не разрешает играть в карты? Почему шахматы, шашки — можно, хорошо, а карты плохо? Мы же не играем на деньги…»

До сих пор помню имена моих студентов: хорошенький и смышленый, совсем молодой еще мальчик Цзан Юй, сын капиталиста Нань Син-Цзю, некрасивая, с длинным лошадиным лицом Гуань Синь и миловидная, как с картинки, Янь Ай-Фень. Красоту, впрочем, они воспринимали иначе, — на одном из уроков мне надо было объяснить им значение слова «красивая». Девочек на занятии в тот день почему-то не было. Я показала мальчикам красивую картинку, сравнила с другой, показала цветок, сказала: «Красивая — это такая, на которую приятно смотреть, хорошая для глаза, — роза красивая, девушка красивая, такая как Янь Ай-Фень…» Мальчики почему-то хихикнули. Потом закачали головами: «Гуань Синь красивая!» Я подумала, что они просто смеются над ее внешностью. Но через некоторое время я узнала, что в общежитии была драка из-за Гуань Синь! А на Янь Ай-Фень что-то никто из ребят не обращал внимания.

74

К тому времени Неля тоже вышла замуж, за инженера из Брянска, и уехала к нему. В Москве на Кировской остались только ее младшая сестра Майя с сынишкой, с ней я теперь часто общалась. Она закончила истфак педагогического института. Еще когда она была на последнем курсе, рассказала мне такую историю. Училась у них на курсе одна интересная девушка, Таня N, не москвичка, жила в общежитии. Шла она как-то по улице, вдруг около нее остановилась машина, там сидел офицер, который пригласил ее сесть к нему. Предвидя интересное приключение, Таня села в машину. «Вас еще вчера заметил один человек, — сказал ей офицер, — он просил привезти вас к нему». Она поинтересовалась, что за человек, но офицер только загадочно улыбнулся: «Приедем, узнаете». Он привез ее в скрытый за высокой каменной стеной особняк на углу Садовой и улицы Качалова. Там девушку провели по анфиладе богато обставленных комнат, и она очутилась в роскошной спальне. Стены ее были увешаны дорогими картинами, на полу ковер, в котором тонули ноги. В глубоком кресле перед мраморным столиком с вазой, полной всевозможных фруктов, сидел мужчина в пенсне, одетый в шелковую пижаму. Берия! Таня глазам своим не поверила, по ошибке назвала его Лаврентием Иосифовичем. Она стала его любовницей. Конечно, Берия наверняка запретил ей говорить об их встречах, но девочке, разумеется, хотелось похвастаться перед подружками, к тому же она была уверена, что ей одной выпала такая честь. Ее возили к Берии каждую неделю в определенный день и час. «Как меня там угощают! Я никогда и не видела таких изысканных блюд!» Она стала одеваться по последней моде. Узнав, что она живет в общежитии, Берия поселил ее в однокомнатной квартире. Когда она сказала, что скучает по матери, он ответил, что она может вызвать мать, московскую прописку он ей устроит. Позже машина перестала приезжать за Таней. Все это происходило, кажется, в 1950 году. Вот об этой истории я и вспомнила, услышав новость.

Адам Статкевич вскоре стал действительно известным врачом. Осенью того же года я случайно купила журнал «Огонек» и нашла там большую, с его портретом, статью о талантливом сельском враче.

Документ, дающий разрешение на работу. — *Прим. ред.*

Болтовня за кофе *(нем.). — Прим. ред.*

78

Кажется, я раньше вовсе не упоминала эту Эсси Хельме. С нею мама познакомилась во время своей поездки в Росток в 1967 году. Муж Эсси был совладельцем ресторанчика Stralsunder. Сама Эсси — эстонка из Таллина. Стали посылать друг другу поздравления в Рождество. Позже Эсси несколько раз ездила в Эстонию к родным через Москву, и мы встречали ее на вокзале, помогали ей компостировать билеты, гуляли по городу и провожали на поезд.